ISSN 0130–6545

3. 1984

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Мексиканская революция против порфирианской диктатуры. (фрагмент)

Цветные иллюстрации номера~
работы мексиканского художника
Давида Альфаро Сикейроса

Генеральный секретарь ЦК КПСС
Константин Устинович
ЧЕРНЕНКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

13 февраля 1984 года состоялся внеочередной Пленум Центрального Комитета КПСС.

По поручению Политбюро ЦК Пленум открыл член Политбюро, секретарь ЦК КПСС тов. К. У. Черненко.

В связи с кончиной Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Ю. В. Андропова участники Пленума ЦК почтили память Юрия Владимировича Андропова минутой скорбного молчания.

Пленум ЦК отметил, что Коммунистическая партия Советского Союза, весь советский народ понесли тяжелую утрату. Ушел из жизни выдающийся деятель Коммунистической партии и Советского государства, пламенный патриот, ленинец, неутомимый борец за мир и коммунизм.

Находясь по воле партии на важнейших постах партийной и государственной работы, Юрий Владимирович Андропов отдавал все свои силы, знания и огромный жизненный опыт осуществлению политики партии, упрочению ее связей с массами, укреплению экономического и оборонного могущества Советского Союза.

Много внимания уделял Ю. В. Андропов проведению в жизнь выработанной XXVI съездом КПСС и последующими Пленумами ЦК КПСС линии на всемерную интенсификацию производства, ускорение научно-технического прогресса, совершенствование управления народным хозяйством, усиление ответственности кадров, организованности и дисциплины, на неуклонный рост материального и духовного уровня жизни народа.

Большой вклад внес Ю. В. Андропов в развитие всестороннего сотрудничества стран социалистического содружества, в укрепление единства и сплоченности международного коммунистического и рабочего движения, в поддержку справедливой борьбы народов за свою свободу и независимость. Под его руководством последовательно и настойчиво осуществлялся на международной арене ленинский внешнеполитический курс нашей партии и государства — курс на устранение угрозы термоядерной войны, на твердый отпор агрессивным происках империализма, на упрочение мира и безопасности народов.

Пленум подчеркнул, что в эти скорбные дни коммунисты, весь советский народ еще теснее сплачивают свои ряды вокруг ленинского Центрального Комитета партии, Политбюро ЦК КПСС, полны решимости беззаветно бороться за претворение в жизнь ленинской внутренней и внешней политики партии.

Участники Пленума ЦК выразили глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Пленум ЦК рассмотрел вопрос об избрании Генерального секретаря ЦК КПСС.

По поручению Политбюро ЦК с речью по этому вопросу выступил член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР тов. Н. А. Тихонов. Он внес предложение избрать Генеральным секретарем ЦК КПСС тов. К. У. Черненко.

Генеральным секретарем Центрального Комитета КПСС Пленум единогласно избрал тов. Черненко Константина Устиновича.

Затем на Пленуме выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. К. У. Черненко. Он выразил сердечную благодарность за высокое доверие, оказанное ему Центральным Комитетом партии.

Тов. К. У. Черненко заверил Центральный Комитет КПСС, Коммунистическую партию, что приложит все свои силы, знания и жизненный опыт для успешного выполнения задач коммунистического строительства в нашей стране, обеспечения преемственности в решении поставленных XXVI съездом КПСС задач дальнейшего укрепления экономического и оборонного могущества СССР, повышения благосостояния советского народа, упрочения мира, в осуществлении ленинской внутренней и внешней политики, которую проводят Коммунистическая партия и Советское государство.

На этом Пленум ЦК закончил свою работу.

РЕЧЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС
ТОВАРИЩА К. У. ЧЕРНЕНКО

Дорогие товарищи!

Сердечно благодарю членов Центрального Комитета за оказанную мне высокую честь — избрание Генеральным секретарем ЦК. Я полностью сознаю громадную ответственность, которая ложится на меня. Понимаю, какая важная, какая исключительно сложная предстоит работа. Заверяю Центральный Комитет, партию, что приложу все свои силы, знания, весь свой опыт, чтобы оправдать доверие, чтобы вместе с вами продолжить ту принципиальную линию нашей партии, которую последовательно и настойчиво проводил в жизнь Юрий Владимирович Андропов.

Организаторский талант, ясный творческий ум, верность ленинизму в теории и политике, острое чувство нового и способность аккумулировать живой опыт масс, непримиримость ко всему, что чуждо нашему мировоззрению и образу жизни, нашей морали, личное обаяние и скромность — все это снискало Юрию Владимировичу огромный авторитет и уважение в партии и народе.

Партия поручала ему сложные и ответственные участки работы. Особенно ярко раскрылись лучшие политические и человеческие качества Юрия Владимировича Андропова на постах Генерального секретаря ЦК КПСС и Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Он не щадил себя, стремясь всегда быть на высоте стоящих перед ним задач.

Юрий Владимирович внес весомый личный вклад в коллективную деятельность Центрального Комитета, Политбюро ЦК по разработке всесторонне взвешенного и реалистичного курса партии на современном этапе — курса на совершенствование развитого социализма. Под его руководством прошли ноябрьский (1982 года), июньский и декабрьский (1983 года) Пленумы ЦК КПСС, которые стали важными вехами в жизни партии и народа. В решениях Пленумов получила дальнейшее творческое развитие и конкретизацию политическая линия XXVI съезда КПСС.

Много сил и энергии отдавал Ю. В. Андропов в борьбе за обеспечение мирных условий созидательного труда советских людей, за упрочение позиций социализма на международной арене.

Юрий Владимирович хорошо понимал: источник авторитета партии в том, что свое руководящее положение, свою почетную авангардную роль она завоевала и подкрепляет самоотверженным служением народу, умением точно выразить интересы трудящихся, вооружить их верной марксистско-ленинской программой действий.

Убедительным свидетельством правильности внутренней и внешней политики КПСС, ее соответствия требованиям и духу времени является горячая всенародная поддержка этой политики. Партия твердо идет избранным путем — путем коммунистического созидания и мира.

Так было раньше. Так будет всегда!

Но все мы понимаем, товарищи, что одного желания идти этим путем мало. Нужно уметь не только поставить правильные цели, но и упорно добиваться их, преодолевая любые трудности. Нужно реалистически оценивать достигнутое, не преувеличивая, но и не пре-

уменьшая его. Только такой подход предохраняет от ошибок в политике, от соблазна принять желаемое за действительное, позволяет отчетливо видеть, как говорил Ленин, «что́ именно мы «доделали» и чего не доделали».

Недолгий, до обидного недолгий, товарищи, срок суждено было Юрию Владимировичу Андропову трудиться во главе нашей партии и государства. Всем нам будет не хватать его. Он ушел из жизни в самый разгар большой и напряженной работы, направленной на то, чтобы придать мощное ускорение развитию народного хозяйства, преодолеть трудности, с которыми столкнулась страна на рубеже 70—80-х годов. Но все мы знаем, как много удалось сделать партии за это короткое время, как много нового, плодотворного получило права гражданства и утвердилось на практике. Продолжать и коллективными усилиями двигать дальше начатую под руководством Юрия Владимировича работу — лучший способ воздать должное его памяти, обеспечить преемственность в политике.

Преемственность — не отвлеченное понятие, а живое, реальное дело. И суть ее прежде всего в том, чтобы, не останавливаясь, идти вперед. Идти, опираясь на все достигнутое раньше, творчески обогащая его, концентрируя коллективную мысль, энергию коммунистов, рабочего класса, всего народа на нерешенных задачах, на ключевых проблемах настоящего и будущего. И это всех нас ко многому обязывает.

Сила нашей партии — в ее единстве, верности марксизму-ленинизму, в способности развивать и направлять творческую активность масс, сплачивать их идейно и организационно, руководствуясь испытанными ленинскими принципами и методами. Вы знаете, товарищи, какое огромное внимание уделяли в последнее время наш Центральный Комитет, Политбюро ЦК, Юрий Владимирович Андропов вопросам совершенствования работы государственного аппарата, улучшения стиля партийного руководства. Один из них — четкое разграничение функций партийных комитетов с задачами государственных и хозяйственных органов, устранение дублирования в их работе. Это крупный вопрос политического значения. И не все, говоря откровенно, отлажено тут как следует. Бывает, что работники Советов, министерств, предприятий не проявляют необходимой самостоятельности, перекладывают на партийные органы вопросы, которые должны решаться ими самими. Практика подмены хозяйственных руководителей расхолаживает кадры. Более того, она таит в себе опасность ослабления роли партийного комитета как органа политического руководства. Для партийных комитетов заниматься хозяйством — значит прежде всего заниматься людьми, ведущими хозяйство. Это надо помнить всегда.

Товарищи! Полтора месяца назад, на декабрьском Пленуме ЦК, мы дали всестороннюю оценку положения дел в области социально-экономического развития страны. В принятом постановлении особо подчеркнуто, что сейчас важно сохранить набранный темп, общий настрой на практическое решение задач, неуклонно повышать уровень партийного и государственного руководства экономикой, активнее развивать позитивные тенденции, придать им устойчивый характер. Последовательно выполнять эти установки Пленума — наша прямая обязанность.

Весь наш опыт подтверждает: важнейшим источником силы партии всегда была, есть и будет ее связь с массами, гражданская активность миллионов трудящихся, их хозяйский подход к делам на производстве, к проблемам общественной жизни.

Долг партии коммунистов — постоянно сверять свой курс, свои решения, действия прежде всего с мыслями рабочего класса, с его громадным социально-политическим и классовым чутьем. Владимир

Ильич Ленин всегда высоко ценил прямоту, жизненную обоснованность и ясность суждений рабочего человека, чутко прислушивался к его мнению, оценкам событий и людей, искал и находил в них ответы на самые злободневные вопросы.

Прислушиваться к слову, идущему из рабочей среды, с переднего края социалистического строительства, держать совет с людьми труда — это и сегодня должно быть первейшей обязанностью, глубокой внутренней потребностью каждого коммуниста-руководителя.

Уметь вовремя увидеть и поддержать народную инициативу, причем в самом широком смысле — от хозяйского, творческого отношения к делу на рабочем месте до активного участия в управлении государством, обществом,— в этом величайший, можно сказать, неисчерпаемый резерв нашего прогресса. Каждым крупным своим достижением наша экономика в той или иной мере обязана творческим починам трудовых коллективов, их собственным, как принято говорить, встречным планам.

Глубокое удовлетворение вызывает широкий отклик трудовых коллективов страны на призыв декабрьского Пленума — добиться сверхпланового повышения производительности труда на 1 процент и дополнительного снижения себестоимости продукции на 0,5 процента. Патриотический подъем, энергия и деловитость, с которыми трудящиеся, партийные, профсоюзные, комсомольские организации взялись за решение этой задачи, вселяют уверенность, что успех будет обеспечен.

Думаю, что следует рассмотреть вопрос о том, чтобы все средства и ресурсы, которые будут получены за счет этого, а они немалые — направить на улучшение условий труда и быта советских людей, медицинское обслуживание, строительство жилья. Это полностью отвечало бы высшей цели политики партии — всемерной заботе о благе человека.

Вообще, товарищи, нам, видимо, следует подумать о том, чтобы творческие начинания, новаторство трудящихся лучше стимулировались материально и морально.

В самой основе советского строя заложена социальная справедливость. И в этом его огромная сила. Потому столь важно, чтобы она неукоснительно соблюдалась в повседневных делах, идет ли речь о заработной плате и премиях, распределении квартир или путевок, о награждениях — словом, чтобы все делалось по справедливости, в соответствии с трудовым вкладом каждого человека в наше общее дело.

Здесь есть над чем поработать партийным, профсоюзным, комсомольским организациям, хозяйственным руководителям. Многое зависит от самих трудовых коллективов. У них сейчас — большие, закрепленные в законодательном порядке права. Дело за тем, чтобы полнее их использовать.

За последнее время партия обогатилась новым опытом руководства социалистическим обществом. Мы стали лучше использовать преимущества, возможности нашего строя. К их числу, безусловно, относятся организованность и сознательность масс. Отсюда наше внимание к укреплению порядка, дисциплины.

Вопрос об организованности, о порядке — для нас ключевой, принципиальный. Насчет этого двух мнений быть не может. Всякая разболтанность, безответственность оборачиваются для общества не только материальными издержками. Они причиняют серьезный социальный, нравственный ущерб. Это хорошо понимаем мы, коммунисты, понимают миллионы советских людей. И вполне закономерно, что поистине всенародное одобрение получили меры, принятые партией в целях повышения трудовой, производственной, плановой, го-

сударственной дисциплины, по укреплению социалистической законности.

В этой области удалось уже кое-что сделать. И все знают, как это благотворно подействовало на производственные дела, на нашу общественную жизнь, да и просто на настроение людей. Но неверно было бы полагать, что сделано уже все. Нет, товарищи, жизнь учит, что тут расслабляться никак нельзя.

Что касается основных направлений развития нашей экономики, они четко определены партией. Интенсификация, ускоренное внедрение в производство достижений науки и техники, осуществление крупных комплексных программ — все это в конечном счете должно поднять на качественно новый уровень производительные силы нашего общества.

В серьезной перестройке нуждаются система управления экономикой, весь наш хозяйственный механизм. Работа в этом плане только началась. Она включает в себя широкомасштабный экономический эксперимент по расширению прав и повышению ответственности предприятий. Идут поиски новых форм и методов хозяйствования в сфере услуг. Несомненно, они дадут много полезного, помогут нам решить стратегически важную проблему — поднять эффективность всего народного хозяйства.

Давайте, однако, спросим себя: а не получается ли так, что для иных хозяйственных руководителей ожидание результатов экспериментов служит прикрытием их пассивности, стремления работать по старинке? Конечно, обновление экономических структур — дело ответственное. Здесь не мешает соблюдать и старое мудрое правило: семь раз отмерь, один отрежь. Но это вовсе не оправдывает тех, кто вообще не желает считаться с изменившимися условиями, с новыми требованиями жизни.

Проявлять на всех уровнях больше самостоятельности, смело вести поиски, идти, если надо, на оправданный риск во имя повышения эффективности экономики, роста благосостояния народа — вот чего мы ждем от наших хозяйственных кадров.

Вы знаете, что в минувшем году ЦК КПСС и правительство разработали и приняли ряд постановлений по принципиальным вопросам развития экономики. Эти решения дали в руки партийных и хозяйственных органов определенные рычаги повышения эффективности производства, ускорения экономического развития страны.

Намеченные меры, а они имеют не только хозяйственное, но и большое политическое значение, будут претворены в жизнь лишь в том случае, если их выполнение станет главным содержанием повседневной работы каждой партийной организации, каждого работника.

Решая задачи сегодняшнего дня, мы создаем предпосылки для достижения гораздо более высоких рубежей в будущем. Может быть, о нашем завтрашнем дне, о двенадцатой пятилетке, еще рано говорить в деталях, но главные проблемы, главные направления предстоящей работы видны уже сейчас.

Новая пятилетка прежде всего должна стать началом глубоких качественных изменений в производстве, пятилеткой решающего перелома в деле интенсификации всех отраслей нашего народного хозяйства. Современная материально-техническая база и система управления должны обрести новые, более высокие качества.

Не менее важно сейчас обеспечивать все более тесную взаимосвязь экономического, социального и духовного прогресса советского общества. Невозможно поднимать экономику на качественно новый уровень, не создавая необходимые для этого социальные и идеологические предпосылки. Равным образом невозможно решать назревшие проблемы развития социалистического сознания, не опираясь на прочный фундамент экономической и социальной политики.

Строить новый мир — это значит неустанно заботиться о формировании человека нового мира, о его идейно-нравственном росте. Именно под этим углом зрения, как известно, рассмотрел вопросы идеологической, массово-политической работы июньский Пленум ЦК. В соответствии с его установками партия будет добиваться, чтобы эта работа полностью отвечала характеру больших и сложных задач совершенствования развитого социализма.

Осмыслить эти задачи в их комплексе, наметить четкую долгосрочную стратегию их решения, показать связь наших текущих дел с коммунистической перспективой — вот что должна нам дать новая редакция партийной программы. Ее подготовке Центральный Комитет придает огромное значение.

Товарищи! Разрабатывая планы дальнейшего развития нашей страны, мы не можем не учитывать положения, складывающегося в мире. А оно сейчас, как вы знаете, сложное и напряженное. Тем большее значение приобретает в этих условиях верный курс партии и Советского государства в области внешней политики.

Борьба за дело прочного мира, свободы и независимости народов всегда была в центре внимания Юрия Владимировича Андропова. Под его руководством Политбюро ЦК и высшие органы нашей государственной власти формировали активную внешнюю политику, отвечающую этим благородным принципам. Политику, направленную на избавление человечества от угрозы мировой ядерной войны. Эта ленинская политика мира, основные черты которой на современном историческом этапе определены решениями последних съездов КПСС, отвечает коренным интересам советского народа, да, в сущности, и других народов мира. И мы решительно заявляем: от этой политики мы не отступим ни на шаг.

Совершенно ясно, товарищи, что успех дела сохранения и укрепления мира в значительной мере зависит от того, насколько велико будет влияние на мировой арене социалистических стран, насколько активны, целеустремленны и согласованны будут их действия. Наши страны кровно заинтересованы в мире. Во имя этой цели мы будем стремиться к расширению сотрудничества со всеми странами социализма. Всемерно развивая и углубляя сплоченность и сотрудничество со странами социалистического содружества — во всех сферах, включая, конечно, и такую важную сферу, как экономическая,— мы тем самым вносим большой вклад в дело мира, прогресса и безопасности народов.

Обращаясь к братским странам, мы говорим: в лице Советского Союза вы и впредь будете иметь надежного друга и верного союзника.

Одной из основ внешней политики нашей партии и Советского государства была и будет солидарность с народами, сбросившими ярмо колониальной зависимости и вступившими на путь самостоятельного развития. И особенно, конечно, с народами, которым приходится отражать атаки агрессивных сил империализма, создающего то в одном, то в другом районе мира опаснейшие очаги кровавого насилия и военных пожаров. Быть на стороне правого дела народов, выступать за устранение таких очагов — это сегодня тоже необходимое и важное направление борьбы за прочный мир на земле. Принципиальная позиция нашей партии в этих вопросах ясна, чиста и благородна, и ее мы будем придерживаться неуклонно.

Теперь об отношениях с капиталистическими странами. Великий Ленин завещал нам принцип мирного сосуществования государств с различным общественным строем. Мы этому принципу неизменно верны. Сейчас, в век ядерного оружия и сверхточных ракет, он необходим народам, как никогда ранее. К сожалению, некоторые руководители капиталистических стран, судя по всему, не отдают себе в этом ясного отчета. Или не хотят отдавать.

Мы хорошо видим угрозу, которую создают сегодня для человечества безрассудные, авантюристические действия агрессивных сил империализма,— и говорим об этом в полный голос, обращая на эту опасность внимание народов всей земли. Нам не требуется военное превосходство, мы не намерены диктовать другим свою волю. Но сломать достигнутое военное равновесие мы не позволим. И пусть ни у кого не остается ни малейших сомнений: мы и впредь будем заботиться о том, чтобы крепить обороноспособность нашей страны, чтобы у нас было достаточно средств, с помощью которых можно охладить горячие головы воинствующих авантюристов. Это, товарищи, очень существенная предпосылка сохранения мира.

Советский Союз как великая социалистическая держава полностью сознает свою ответственность перед народами за сохранение и укрепление мира. Мы открыты для мирного взаимовыгодного сотрудничества с государствами всех континентов. Мы за мирное решение всех спорных международных проблем путем серьезных, равноправных, конструктивных переговоров. СССР будет в полной мере взаимодействовать со всеми государствами, которые готовы практическими делами помогать уменьшению международной напряженности, создавать в мире атмосферу доверия. Иными словами — с теми, кто действительно будет вести дело не к подготовке войны, а к укреплению устоев мира. И мы считаем, что в этих же целях должны быть в полной мере использованы все имеющиеся рычаги, включая, конечно, и такой, как Организация Объединенных Наций, которая и создана была для сохранения и укрепления мира.

Товарищи, нас, советских коммунистов, искренне радует, что в борьбе за мирное будущее и прогресс человечества мы идем рука об руку с миллионами братьев по классу, с многочисленными отрядами мирового коммунистического и рабочего движения. Неизменно верные принципу пролетарского интернационализма, мы с горячей симпатией и глубоким уважением относимся к борьбе наших зарубежных товарищей за интересы и права трудящихся и видим свой долг в том, чтобы всемерно крепить связывающие нас узы.

Вот что хотелось бы сказать сегодня о линии нашей партии в международных делах. И мы уверены, что ее всей душой горячо поддерживает советский народ.

Товарищи!

Все свои достижения советские люди неразрывно связывают с деятельностью партии. Беззаветно преданная массам, партия пользуется полным доверием масс.

Только что в партийных организациях завершилась отчетно-выборная кампания. Она вновь показала высокий уровень сознательности и активности коммунистов. На руководящие посты избраны авторитетные, опытные, знающие люди.

В работе Пленума участвуют первые секретари крайкомов и обкомов партии. К вам, товарищи, хотелось бы обратиться особо. Центральный Комитет хорошо знает, как широк круг ваших обязанностей, ваших забот. Знает, как много от вас зависит в решении и наших текущих, ближайших и стратегических задач. Политбюро ЦК уверено, что вы сделаете все необходимое для обеспечения устойчивых темпов роста промышленного производства, успешного выполнения Продовольственной программы, развития трудовой активности масс, для реализации мер, направленных на подъем народного благосостояния. И тем самым — для повышения авангардной роли партии.

Любой выборный пост в нашей партии — пост ответственный. Избрание в партийный комитет надо рассматривать как своего рода кредит доверия, выданный членами партии своим товарищам. И это доверие должно быть оправдано самоотверженным трудом. Таков

наказ участников прошедших собраний и конференций. Сейчас, на пороге выборов в Верховный Совет СССР, этот требовательный наказ партия передает и тем коммунистам, которые выдвинуты кандидатами в депутаты, войдут в высший орган государственной власти.

Неисчерпаемая сила советских коммунистов — в сплоченности их рядов. В полной мере эта сила раскрывается, когда, говоря словами Ленина, «мы *все*, члены партии, *действуем как один человек*». Именно так, дружно, сплоченно действует ленинский Центральный Комитет КПСС, его руководящее ядро — Политбюро ЦК. Это позволяет принимать выверенные, всесторонне взвешенные решения, ведущие к упрочению союза рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, братской дружбы народов Союза ССР.

Подлинно партийная, деловая и творческая атмосфера, в создание которой так много сил вложил Юрий Владимирович Андропов, была и будет обязательным условием работы Центрального Комитета партии. Это — залог дальнейшего роста авторитета КПСС, успешного решения стоящих перед нами больших и сложных задач коммунистического созидания.

РЕЧЬ
ЧЛЕНА ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ТОВАРИЩА Н. А. ТИХОНОВА

Дорогие товарищи!

Коммунистическая партия, наш народ, мировое коммунистическое и рабочее движение понесли тяжелую утрату. Оборвалась жизнь Юрия Владимировича Андропова — выдающегося деятеля нашей партии и Советского государства, пламенного патриота социалистической Родины, неутомимого борца за мир и коммунизм.

Короткий срок, год с небольшим, возглавлял Юрий Владимирович Центральный Комитет. Но как много за это время сделано. Следуя курсом XXVI съезда, творчески обогащая его, партия под руководством ЦК КПСС добилась уверенного продвижения страны на всех направлениях экономического и социального прогресса.

Многогранной была деятельность Юрия Владимировича, и на ответственных постах, которые доверяла ему партия, он отдавал все свои силы и знания служению интересам народа.

У каждого из нас свежи в памяти глубокие выступления Юрия Владимировича на ноябрьском (1982 г.) и последующих Пленумах ЦК, в которых дана четкая программа реализации преимуществ социализма, решения актуальных проблем коммунистического строительства.

Он умело и энергично направлял деятельность Центрального Комитета, Политбюро по мобилизации коммунистов, всех трудящихся на ускоренное развитие экономики, совершенствование управления народным хозяйством, укрепление организованности и дисциплины.

Опираясь на коллективный опыт, чутко улавливая потребности общественного развития, Юрий Владимирович внес большой личный

вклад в работу партии по усилению могущества Советского государства, повышению благосостояния советских людей.

Он настойчиво боролся за последовательную реализацию миролюбивого внешнеполитического курса партии, курса на устранение угрозы термоядерной войны, на решительный отпор агрессивным происка империализма.

Мы все глубоко переживаем большое горе, которое постигло нашу партию, весь советский народ. Но долг коммунистов-ленинцев состоит в том, чтобы еще теснее сплотить свои ряды, крепить единство партии и народа.

Политбюро ЦК выражает твердую убежденность в том, что Пленум Центрального Комитета продемонстрирует перед всей страной, перед всем миром непреклонную волю партии твердо и последовательно идти и дальше верным ленинским курсом.

Настойчиво и целеустремленно будет проводиться линия, выработанная историческим XXVI съездом КПСС и последующими Пленумами ЦК, на интенсификацию производства, повышение эффективности экономики, ускорение научно-технического прогресса, реализацию Продовольственной программы, на все более полное удовлетворение материальных и духовных потребностей советских людей.

Партия и впредь будет крепить нерушимый союз рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции, братскую дружбу народов нашей Родины.

КПСС и Советское государство всегда будут верны идеалам мира, дружбы и сотрудничества между народами всех стран, идеалам социального прогресса.

Дорогие товарищи!

Политбюро обсудило вопрос о Генеральном секретаре ЦК КПСС и единодушно поручило мне предложить Пленуму избрать Генеральным секретарем Центрального Комитета нашей партии товарища Черненко Константина Устиновича.

Константин Устинович прошел богатую жизненную школу. Знает он и нелегкий крестьянский труд, и солдатскую службу, и будни сельского райкома.

Многие годы он возглавлял ответственные участки партийной работы в Красноярской, Пензенской, Молдавской партийных организациях, в аппарате ЦК КПСС.

Где бы ни трудился Константин Устинович, он всегда проявлял себя как талантливый организатор масс, пламенный пропагандист марксистско-ленинских идей, непоколебимый борец за претворение в жизнь политики нашей великой партии.

Коммунистам, советским людям Константин Устинович хорошо известен как выдающийся деятель Коммунистической партии и Советского государства, верный соратник таких руководителей ленинского типа, какими были Леонид Ильич Брежнев и Юрий Владимирович Андропов.

Работая в Политбюро и Секретариате ЦК, Константин Устинович многое сделал для развития и утверждения ленинского стиля партийного и государственного руководства, для которого характерны глубокое понимание ключевых вопросов общественного развития, реалистический подход к оценке достигнутого и нерешенных проблем, высокая требовательность к кадрам и в то же время доброжелательное отношение к ним, опора на инициативу и опыт трудящихся.

Константина Устиновича отличает умение зажечь людей своей энергией, новаторским отношением к любому делу, сплотить товарищей на дружную коллективную работу.

Хотелось бы особо подчеркнуть его постоянную потребность в общении с массами, его внимание к каждой человеческой судьбе —

будь то талантливый ученый или знатный металлург, солдатская мать или молодой писатель.

Константину Устиновичу принадлежит видная роль в разработке крупных теоретических проблем совершенствования развитого социалистического общества, в создании целостной концепции идеологической деятельности КПСС на длительную перспективу.

Константин Устинович принимает самое активное участие в формировании стратегических направлений нашей миролюбивой внешней политики, в деятельности КПСС по укреплению единства и сплоченности международного коммунистического и рабочего движения.

Наши военные работники знают, как много занимается Константин Устинович вопросами укрепления обороноспособности страны, оснащением Вооруженных Сил современной техникой, идейной закалкой личного состава армии и флота.

Политбюро уверено, что Константин Устинович Черненко на посту Генерального секретаря ЦК КПСС будет достойно возглавлять боевой штаб нашей партии.

Тесно сплотившись вокруг ленинского Центрального Комитета и его руководящего ядра, вооруженные ясной и четкой программой действий, выработанной XXVI съездом партии, последующими Пленумами ее Центрального Комитета, коммунисты, все советские люди с оптимизмом смотрят в будущее и полны решимости своим самоотверженным трудом обеспечить дальнейший расцвет нашей великой Родины.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЛЕНА ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС ТОВАРИЩА М. С. ГОРБАЧЕВА

Товарищи! Мы завершаем наш внеочередной Пленум ЦК, собравшийся в ответственный момент жизни партии и народа. Пленум прошел в обстановке единства и сплоченности. На Пленуме с чувством огромной ответственности перед партией и народом решены вопросы преемственности руководства.

Пленум показал, что партия пойдет и дальше ленинским курсом, выработанным XXVI съездом КПСС, ноябрьским (1982 г.), июньским и декабрьским (1983 г.) Пленумами ЦК. С особой силой это проявилось в единодушном избрании товарища Черненко Константина Устиновича на пост Генерального секретаря ЦК КПСС, в полной поддержке положений и выводов по проблемам внутренней политики и внешнеполитической деятельности партии и государства, высказанных в его выступлении на сегодняшнем Пленуме ЦК КПСС.

Позвольте от имени Политбюро выразить уверенность, что члены ЦК, все участники Пленума, возвратившись на места, в партийные организации, будут действовать в духе единства и сплоченности, высокой требовательности и ответственности, которые характеризуют настоящий Пленум Центрального Комитета партии.

Желаем вам всем успехов в работе.

Пленум объявляется закрытым.

Константин Устинович ЧЕРНЕНКО

Константин Устинович Черненко родился 24 сентября 1911 года в деревне Большая Тесь Новоселовского района Красноярского края, русский.

Член КПСС с 1931 года. Образование высшее — окончил педагогический институт и Высшую школу парторганизаторов при ЦК ВКП (б).

Трудовую жизнь К. У. Черненко начал с ранних лет, работая по найму у кулаков. Вся его дальнейшая трудовая деятельность связана с руководящей работой в комсомольских, а затем в партийных органах. В 1929—1930 годах К. У. Черненко заведовал отделом пропаганды и агитации Новоселовского райкома ВЛКСМ Красноярского края. В 1930 году он пошел добровольцем в Красную Армию. До 1933 года служил в пограничных войсках, был секретарем партийной организации пограничной заставы.

После окончания службы в армии К. У. Черненко работал в Красноярском крае: заведующим отделом пропаганды и агитации Новоселовского и Уярского райкомов партии, директором Красноярского краевого дома партийного просвещения, заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации, секретарем Красноярского крайкома партии.

С 1943 года К. У. Черненко учится в Высшей школе парторганизаторов при ЦК ВКП (б). По окончании учебы с 1945 года работает секретарем Пензенского обкома партии. В 1948 году был направлен в Молдавскую ССР и утвержден заведующим отделом пропаганды и агитации ЦК Компартии Молдавии. Работая в этой должности, он много сил и знаний отдал экономическому и культурному строительству в республике, коммунистическому воспитанию трудящихся.

В 1956 году К. У. Черненко выдвигается на работу в аппарат ЦК КПСС, где он возглавил сектор в Отделе пропаганды, и одновременно был утвержден членом редакционной коллегии журнала «Агитатор». С 1960 года он работает начальником секретариата Президиума Верховного Совета СССР. В 1965 году К. У. Черненко утверждается заведующим Общим отделом ЦК КПСС. В 1966—1971 годах он — кандидат в члены ЦК КПСС. На XXIV съезде партии (март 1971 г.) избирается членом Центрального Комитета КПСС, а в марте 1976 года на Пленуме ЦК КПСС, состоявшемся после XXV съезда партии,— секретарем ЦК КПСС.

С 1977 года он — кандидат в члены Политбюро, а с 1978 года — член Политбюро ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 7—10-го созывов. Депутат Верховного Совета РСФСР 10-го созыва. К. У. Черненко был членом советской делегации на международном Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 год), участвовал в переговорах в Вене по вопросам разоружения (1979 год).

Константин Устинович Черненко — видный деятель Коммунистической партии и Советского государства. На всех постах, которые поручала ему партия, он проявил высокие организаторские способности, партийную принципиальность, преданность великому делу Ленина, идеалам коммунизма. К. У. Черненко —автор ряда научных трудов по актуальным вопросам повышения руководящей роли партии в жизни советского общества, совершенствования стиля и методов партийной и государственной работы, развития социалистической демократии. На июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС К. У. Черненко выступил с докладом, в котором определены главные направления улучшения идеологической деятельности КПСС в современных условиях.

За большие заслуги перед Родиной Константин Устинович Черненко дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда и награжден тремя орденами Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени, многими медалями Советского Союза. Он является лауреатом Ленинской премии.

К. У. Черненко награжден высшими наградами социалистических стран.

ОБРАЩЕНИЕ

Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР

к Коммунистической партии, к советскому народу

Дорогие товарищи!

Коммунистическая партия Советского Союза, весь советский народ понесли тяжелую утрату. Оборвалась жизнь выдающегося деятеля ленинской партии и Советского государства, пламенного патриота социалистической Родины, неутомимого борца за мир и коммунизм Юрия Владимировича Андропова.

Его жизнь — образец беззаветного служения интересам партии и и народа, великому делу Ленина. На всех постах, где по воле партии трудился Юрий Владимирович Андропов, он отдавал свои силы, знания, огромный жизненный опыт неуклонному осуществлению политики партии, борьбе за торжество коммунистических идей. Качества крупного политического руководителя ярко проявились во всей многогранной деятельности Ю. В. Андропова — на комсомольской работе и в организации партизанского движения в Карелии в годы Великой Отечественной войны, на ответственных участках партийной и дипломатической деятельности. Много труда вложил он в укрепление безопасности нашего государства.

Со всей силой выдающиеся способности и организаторский талант товарища Андропова — руководителя ленинского типа — раскрылись в его работе на постах Генерального секретаря ЦК КПСС и Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

Короткий срок довелось Ю. В. Андропову возглавлять Центральный Комитет КПСС. Но за это время партия, следуя курсом XXVI съезда, творчески обогащая его, обеспечила уверенное продвижение страны на всех направлениях экономического и социального прогресса.

Важными вехами в жизни партии и народа, в укреплении их нерушимого единства стали ноябрьский (1982 г.), июньский и декабрьский (1983 г.) Пленумы ЦК КПСС. В решениях Пленумов, в выступлениях Ю. В. Андропова была развита и конкретизирована современная стратегия партии — стратегия совершенствования зрелого социализма.

В этот период усилия партии и народа были сконцентрированы на ускорении развития экономики, на улучшении управления народным хозяйством, укреплении партийной, государственной и трудовой дисциплины, повышении ответственности кадров, на развитии творческой активности масс.

Принятые партией меры подчинены одной цели — росту благосостояния советских людей, усилению могущества Советского государства. Во всем этом велики заслуги Юрия Владимировича Андропова.

Значителен вклад Ю. В. Андропова в развитие всестороннего сотрудничества стран социалистического содружества, в укрепление единства и сплоченности международного коммунистического и рабочего движения, в поддержку борьбы народов за свободу и независимость.

Юрий Владимирович
АНДРОПОВ

Под его руководством ЦК КПСС и Советское государство последовательно и настойчиво осуществляли на международной арене ленинский внешнеполитический курс — курс на устранение угрозы термоядерной войны, на твердый отпор агрессивным происка империализма, на упрочение мира и безопасности народов.

В эти скорбные дни коммунисты, весь советский народ еще теснее сплачивают свои ряды вокруг ленинского Центрального Комитета партии, Политбюро ЦК КПСС. Трудящиеся Советского Союза видят в Коммунистической партии своего испытанного, коллективного вождя, полны решимости беззаветно бороться за претворение в жизнь ее внутренней и внешней политики, выражающей коренные интересы народа. Ленинский курс партии непоколебим. Партия вооружена ясной и четкой программой действий, выработанной XXVI съездом КПСС, последующими Пленумами ее Центрального Комитета.

КПСС будет и впредь настойчиво и целеустремленно проводить линию на всемерную интенсификацию производства, ускорение научно-технического прогресса, усиление организованности и дисциплины, на неуклонный рост материального и духовного уровня жизни народа. Она будет крепить нерушимый союз рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции, братскую дружбу народов СССР, развивать социалистическую демократию, воспитывать людей в духе советского патриотизма и пролетарского интернационализма, преданности великим идеалам коммунизма.

В нынешней сложной, опасно обострившейся международной обстановке КПСС, Советское государство считают своим первейшим долгом последовательно отстаивать дело мира, проявлять выдержку и бдительность, решительно срывать авантюристические замыслы империализма, укреплять оборонную мощь страны.

Советский народ — убежденный противник решения спорных международных вопросов силой. Мир без войн — наш идеал. В борьбе за прочный мир вместе с нами — братские страны социализма, коммунистические и рабочие партии, борцы за национальное и социальное освобождение, широкие народные массы, выступающие за предотвращение термоядерной катастрофы.

Наша партия и государство будут и впредь твердо и неуклонно проводить в жизнь принципы мирного сосуществования государств с различным общественным строем. Мы желаем жить в мире со всеми странами, активно сотрудничать с теми правительствами и организациями, кто готов честно и конструктивно работать во имя мира.

Советский народ твердо знает: партия, Центральный Комитет, его руководящее ядро непоколебимо верны ленинскому знамени, делу Великого Октября. Партия свято дорожит доверием народа и считает высшей целью своей деятельности заботу о благе и счастье советских людей. Единство партии и народа было, есть и будет источником нашей силы.

В памяти коммунистов, всех советских людей Юрий Владимирович Андропов навсегда останется как человек беспредельно преданный учению Маркса — Энгельса — Ленина, принципиальный и скромный, близкий к людям труда, чуткий к их нуждам и заботам, умеющий подчинить все интересам социалистической Отчизны.

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров СССР выражают глубокую уверенность в том, что коммунисты, все советские люди с новой силой проявят свою классовую сознательность и организованность, свои высокие коллективистские качества, целеустремленным самоотверженным трудом обеспечат выполнение народнохозяйственных планов и социалистических обязательств, дальнейший расцвет нашей великой Родины.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

3 *март* *1984*

Содержание

УМБЕРТО КОСТАНТИНИ — О богах, человечках и полицейских *(Роман. Перевод с испанского Владимира Максимова)* 3

ЛИЛИАН ВУТЕРС — Стихи *(Перевод с французского и вступление М. Кудинова)* 78

Рассказы монгольских писателей

ДОНДОГИЙН ЦЭВЭГМИД. СЭНГИЙН ЭРДЭНЭ. ДЭМБЭЭГИЙН МЯГМАР. НАНЗАДЫН НАДМИД *(Перевод Висс. Бильдушкинова, Н. Очирова)* 83

БХИШАМ САХНИ — Рассказы *(Перевод с хинди Л. Кузнецова)* 105

СТИВЕН КИНГ — Мертвая зона *(Роман. Окончание. Перевод с английского О. Васильева и С. Таска)* 133

Литературные иллюстрации

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС — Стихи разных лет *(Перевод с испанского Бориса Дубина. Вступление И. Тертерян)* 166

Критика

Г. ЗЛОБИН — Боязнь истории *(Страницы современного американского романа)* 174

Заметки писателя

АНДРЕ БРИНК — На разные голоса 188

СИТАНЧУ МЕХТА — Значение классики для нашего времени *(Перевод с английского М. Салганик)* 191

Наш календарь

К 100-летию со дня рождения Катарины Сусанны Причард

А. ПЕТРИКОВСКАЯ — Прометеева искра 193

Публицистика

КСЕНИЯ МЯЛО — На путях бунта: от протеста к террору 197

Документальная проза

ДАВИД АЛЬФАРО СИКЕЙРОС — Мозаика жизни *(Перевод с испанского М. Былинкиной, Ю. Козлова, В. Ткаченко. Вступление Е. А. Козловой)* 213

Советская литература за рубежом 214, 224

Антирубрика

МАРК ТВЕН — Рассказы *(Перевод с английского Людмилы Биндеман)* 225

ВИЛЬГЕЛЬМ БУШ — Стихи *(Перевод с немецкого Бориса Хлебникова)* 232

Наши гости

Г. ВЕРЖХОВСКАЯ, А. ЧУГУНОВА — Гэ Баоцюань, Гао Ман *(Китайская Народная Республика)* 233

Среди книг

Издано в СССР

ФЕРНАНДО НАМОРА — Об искусстве врачевания *(Писатель о себе и о своих книгах)* 235

Издано за рубежом

В. ЖУКОВА — В мире «шоу-бизнеса» ◆ М. СЕРГЕЕВ — Поиски и блуждания Пита Аттена *(Франц-Йозеф Дегенхардт. Бард)* ◆ А. НИКОЛАЕВСКАЯ — Поэзия Свифта 250 лет спустя *(Джонатан Свифт. Полное собрание поэтических сочинений)* 238

Из месяца в месяц 244

Авторы этого номера 255

На 1-й и 4-й страницах обложки — работы мексиканского художника ДАВИДА АЛЬФАРО СИКЕЙРОСА «Автопортрет», (1943), «Социальное обеспечение рабочих при капитализме и социализме» (фрагмент).

© «Иностранная литература», 1984.

УМБЕРТО КОСТАНТИНИ

О богах, человечках и полицейских

РОМАН

Перевод с испанского ВЛАДИМИРА МАКСИМОВА

I

Мы испытывали истинное наслаждение, слушая нашего секретаря сеньору Вивиану Мастрокарбоне де Джаннелло, читавшую нам свое прекрасное стихотворение. А за несколько минут до этого наш председатель сеньор Чавес в свойственной ему галантной манере произнес вступительное слово. Мне даже запомнилось несколько великолепных фраз из его выступления, вроде такой, как «цветистый поток проникновенного пения» или «власть женского любовного зова». Вполне естественно, что яркая речь сеньора Чавеса и стихи, которые он посчитал для себя честью объявить, приковали всеобщее внимание. Забегая несколько вперед, скажу, что председатель нашего кружка, испанец по происхождению, был управляющим солидной компании по продаже недвижимости. Собственно, запомнились мне стихи и высказывания председателя из-за одной, на первый взгляд незначительной, детали. В тот момент, когда сеньор Чавес выступал, а точнее, когда он важным тоном выделил слова «любовного зова», сеньор Фругони, стоявший, вопреки своему обыкновению, за последним рядом кресел, вдруг дважды кашлянул, и мне показалось, что кашель его прозвучал хоть и не так громко, но весьма нарочито. Вначале я подумал, что неожиданный кашель был, вероятно, своего рода реакцией на слова сеньора Чавеса, однако позднее, не без некоторого удивления, я пришел к выводу, что причиной его беспокойства — и вы сами в этом убедитесь — было нечто иное.

Хотя поэтическое дарование выступавшей на этом вечере сеньоры Джаннелло значительно уступает — и нам следует признать это — тонкости и изяществу дарования Ирене, которая, кстати сказать, на нашем собрании в среду 26 ноября была единодушно избрана контролером, однако исполненные вдохновенно, нежные, а порой и скорбные строки ее творения до глубины души растрогали всех присутствующих. Именно поэтому я с особой горечью обратил внимание на то, что сеньор Фругони, обычно такой внимательный и восприимчивый к стихам членов кружка — особенно если авторами были представительницы прекрасного пола,— вдруг неожиданно вышел из зала, пересек просторный дворик, утопавший в глициниях, и, не очень-то скрывая свою озабоченность, направился в небольшое помещение напротив, где висел телефон.

Я украдкой взглянул направо. Ирене, полностью поглощенная вдохновенными образами поэмы и ритмическими интонациями голоса сеньоры Джаннелло, казалось, ничего не замечала вокруг. На фо-

© Editorial Nueva Imagen, S. A., México, 1979.

не голубых обоев зала ее тонкий профиль, напоминавший старинную камею, отражал дух нашего объединения, ту «магическую общность любителей поэзии», о которой говорилось в нашем уставе. Ее изящная, гибкая шея подалась вперед, глаза были полузакрыты, мускулы лица слегка подрагивали, прядь мягких белокурых волос опустилась на висок, а сквозь прозрачную бледность кожи можно было различить, как пульсирует в венах кровь. Помнится, когда я украдкой наблюдал за ней, мне показалось, будто Ирене стало зябко. Это выглядело странно: хоть на ней и было легкое, элегантное, цвета лазури платье без рукавов, но день-то был достаточно жарким, и никто — дабы не мешать сеньоре Джаннелло — даже не порывался включить вентилятор. Видимо, ее просто немного знобило, и она, не отрывая глаз от сцены, взяла лежавший рядом с папкой шерстяной жакет и накинула его на плечи. К счастью, ничего особенного в этом не было. Озноб вскоре прошел, и лицо ее обрело прежнее, безмятежное выражение. Меня охватило желание взять ее руку, поцеловать и признаться ей в своих чувствах.

Вдруг я вспомнил, что в среду 26 ноября после нашего собрания, на котором по моему предложению она была избрана контролером, я совсем уже готов был это сделать, но, как ни печально признаваться, просто не решился. В тот вечер я провожал ее по тенистой улице Маркоса Састре к остановке автобуса № 110, на нем она обычно возвращалась домой. Мы шли медленно, созерцая деревья, ограды, сады. Стоял прекрасный теплый вечер. Вдруг на кусте мы увидели светлячка — а их так редко можно встретить в Буэнос-Айресе. Мы остановились, чтобы получше разглядеть его. Маленькое крылатое чудо перелетело через ограду и, как бы прощаясь, помигало нам своим маленьким фонариком.

По всему было заметно, что Ирене вовсе не торопится домой. Время от времени она бросала в мою сторону нежный и вопрошающий взгляд, будто действительно чего-то ждала от меня. Еще никогда не представлялось мне более удобного случая объясниться, чем в тот вечер. Однако на протяжении всего пути словно какая-то таинственная сила мешала мне признаться ей в своих чувствах, и у меня лишь вырвалось, что стихи ее прекрасны и что высокая оценка ее творчества, данная руководством нашего кружка, весьма справедлива. Все это прозвучало довольно глупо, не отрицаю, но тогда это было единственное, что пришло мне в голову.

И вот теперь на нашем собрании мы снова сидели рядом, однако момент был явно неподходящим, к счастью, я прекрасно это сознавал и не пытался возобновить свои ухаживания, не удавшиеся в более подходящей обстановке то ли от сознания собственного ничтожества, то ли от внезапно нахлынувшей трусости. Я постарался сдержать душевный порыв, возникший так некстати, и продолжал слушать сеньору Джаннелло с большим вниманием и почтительностью, что в нашем кругу считалось обычной нормой поведения.

В своих стихах сеньора Джаннелло говорила о вечере и о дожде. Я даже припоминаю строку «под бременем своим застыла кариатида», которая произвела на меня большое впечатление, хотя присутствие Ирене и неожиданный уход сеньора Фругони беспокоили меня. Сеньора Джаннелло читала темпераментно, временами делая многозначительные паузы, в ее руке слегка подрагивал листок, исписанный стремительным, угловатым, даже, я бы сказал, агрессивным почерком. Мне показалось, что еще сильнее листок задрожал, когда ушел сеньор Фругони. Эта незначительная деталь вскоре объяснила мне то, что вначале казалось несколько загадочным. На эту мысль навели меня и глубоко прочувствованные слова стихотворения. В нем сеньора Джаннелло со свойственной ей страстностью поведала нам о невыносимых минутах ожидания в одиночестве. Одиночество, говорилось в стихотворении, «не принесет покоя беззащитному сердцу твое-

му, что в оковах томится ужасных, подобно Лаокоону в смертельных объятиях змей».

В тот момент я вспомнил, как сеньор Фругони, превосходный поэт, пишущий в духе поэзии гаучо, и владелец магазинчика «Цветок лилии», несколько недель тому назад доверительно рассказал мне о серьезной размолвке с женой. Он объяснил, что размолвка эта была настолько серьезной, что помешала ему закончить большую поэму «Привидение на телеге», о которой он уже объявил нам, и хотел прочесть ее в следующую среду на заседании нашего кружка.

Он дал понять, что причиной ссоры с женой была внезапно нахлынувшая «безнадежная и мучительная любовь». И тут-то я припомнил, что в последнее время сеньора Джаннелло подписывала стихи девичьей фамилией, а сеньор Джаннелло, обычно поджидавший ее в машине после наших собраний, уже давно не появлялся в доме № 2562 по улице Теодоро Вилардебо́, где мы заседали.

Мне стало грустно, когда я осознал вдруг ситуацию, в которой оказались два любимых всеми члена нашего кружка, и я даже опасался, не произойдет ли нечто более серьезное в ту среду 3 декабря, когда мы собирались отметить на триста пятьдесят шестом заседании десятую годовщину нашего поэтического содружества, носящего имя «Полимния»[1].

II

От агента Паскуали младшему офицеру-адъютанту Ковасу

Во вторник 18 ноября 1975 года в 14.30 я приступил к дежурству на перекрестке улиц Маркоса Састре и Теодоро Вилардебо и находился в этом районе до 20.43, пока не появился капрал Никодемо Рамирес, чтобы сменить меня.

Прибыв на место и не заметив ничего подозрительного — не было ни людей, ни машин,— я прошел по тротуару мимо домов с четными номерами, начав осмотр с номера 2500 по улице Теодоро Вилардебо.

Докладываю: в результате наблюдений мною установлено, что в доме № 2562 по улице Теодоро Вилардебо действует то ли группа, то ли комитет, то ли общественный клуб под названием «Полимния», о чем свидетельствует бронзовая дощечка размером приблизительно 15×30 см, прибитая в правом верхнем углу входной двери.

На протяжении всего времени наблюдения входные двери здания были плотно закрыты, иными словами, никто не входил туда и не выходил оттуда во вторник 18 ноября от 14.30 до 20.43.

Показания соседей и местных лавочников, которым я представился как санитарный инспектор, подтверждают данные, изложенные в донесении, поступившем 15 числа сего месяца. А именно: по средам около 17.00 по указанному адресу собираются лица мужского и женского пола в количестве от 15 до 20 человек и продолжают там находиться примерно до 21.30, а покидают здание небольшими группами, с явным намерением не привлекать внимания.

Результаты проведенных бесед подтверждают, что председателем этой группы действительно является некто Ромуальдо Чавес, сведениями о котором уже располагает начальство.

Хесус Меихиде, владелец булочной «Золотой колос», находящейся по адресу Байгоррия, 2199, сообщает, что по понедельникам, средам и пятницам рано утром в здании появляется женщина, известная жителям квартала как донья Зулема, которая занимается уборкой помещений. Донья Зулема, производящая уборку и в доме Меихиде, предположительно проживает или только числится проживающей по адресу Эльгера, 4045, в глубине двора.

[1] Поли́мния (или Полигимния)— в древнегреческой мифологии одна из девяти муз, покровительница священных гимнов и музыкальных искусств. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

Меихиде сообщает также, что особняк на Теодоро Вилардебо много лет принадлежал женщине преклонных лет по фамилии Лобос. После ее смерти особняк был приобретен компанией по продаже недвижимости «Делос», где как будто бы служит упомянутый Ромуальдо Чавес, и при его посредничестве сдан в аренду «Полимнии».

В свете вышесказанного предлагаю по средам усилить наблюдение за объектом. Фотоаппаратуру можно установить перед домом № 2541 по улице Теодоро Вилардебо в автомашине, оформленной как такси, что прекрасно смог бы сделать сержант Лонго.

III

С высокой и уединенной вершины Олимпа обычно улыбающаяся Афродита устремила свой божественный, на сей раз омраченный взор в сторону особняка на улице Теодоро Вилардебо — этого поистине райского уголка, где группа благоразумных смертных с благоговением слушала стихи сеньоры Джаннелло.

Рядом с богиней находился быстроногий Гермес, сердце которого наполнилось безотчетным страхом при одном лишь виде недовольного лица Афродиты, а в некотором отдалении от них, опершись на массивное копье, стояла Афина, непокорная дочь Зевса, ясные очи которой искрились гордостью и радостью по случаю недавно одержанной победы.

И тут красавчик Гермес в своих золотых сандалиях, огорченный и озабоченный тем, что между двумя богинями воцарился дух Разногласия, и испытывая страх перед несчастьями, которые этот дух Разногласия мог ниспослать на опекаемого им сеньора Фругони, искусного мастера торговых сделок, обратился к Афродите в традиционной манере:

— О несравненная дочь Урана, белокурая Афродита, богиня с волшебной талией, с прекрасной грудью, пробуждающей пылкое желание, под нежным и пламенным взором которой быстрее распускаются цветы на лугах, разгорается вожделение у животных, а мужчины и женщины впадают в сладострастное безрассудство любви, поведай мне, прошу тебя, что стало причиной твоего раздражения, подобно черному облаку-смерчу, внезапно поднявшемуся из разбушевавшегося летом моря и быстро распространившемуся над землей, бросившему тень на твое божественное лицо, столь любимое богами и смертными?

И ответила тогда Афродита, рожденная из пены:

— Почему ты спрашиваешь меня об этом, о Вестник богов, которого однажды я так горячо возлюбила? Об этом лучше спроси у той, что стоит, опершись на свое могущественное копье, словно божество кровавой войны, у той, совиные глаза которой светятся победой и ликованием.

Спроси ее, и пусть она сама ответит тебе, какими хитрыми уловками, недостойными Бессмертной, она помогла духам Ничтожности и Неуверенности одержать верх над любимым мною Пуличиккио, сердце которого сковала трусость, и он не решился признаться в любви безупречной Ирене, девушке с пышными белокурыми волосами, в душе которой я зажгла огонь нежной страсти, превратившись в маленького светлячка, что, мигая фонариком, терпеливо ждал, спрятавшись в темном саду на улице Маркоса Састре.

Не дав Афродите закончить полную горечи речь, грозная дочь Зевса Афина, богиня с ясными очами, потрясая конским хвостом на сверкающем шлеме, дрожа от переполнявшей ее ярости, возгласила:

— Замолчи, шарлатанка, интриганка, неисправимая прелюбодейка, которую законный муж, прекрасный кузнец Гефест, поймал с любовником, воинственным Аресом, в ловко расставленные сети и на целый день выставил на поругание Бессмертным.

Да, ты угадала, это я поспешила приказать духам Ничтожности и Неуверенности кружить над улицей Маркоса Састре, чтобы заставить молчать бесстыжий язык твоего подопечного Хосе Мариа Пуличиккио и оградить тем самым приятную моим очам честную и целомудренную Ирене Бенгоэчеа, девственницу, всецело поглощенную вязанием и озабоченную развитием собственного интеллекта, от ненужных тревог и огорчений безрассудной и непостоянной любви, сбивающей смертных с праведного пути добродетели.

Не только это проделала я, о легкомысленная и распутная Афродита. Я пробудила неколебимое чувство супружеского долга в мятущейся душе сеньора Фругони, которому покровительствует Гермес и которого страстная сеньора Мастрокарбоне Джаннелло, введенная в соблазн тобой, о неустанная мастерица козней и хитроумных ловушек, намеревалась разлучить с законной супругой, желая провести с ним ночь на омерзительном ложе прелюбодеяния.

Так знай же, интриганка и совратительница, я не пропущу ни одной из твоих козней, ибо дородный и прекрасный человек — водитель грузовика Теофило Джаннелло уже давно находится под моим покровительством, а если из-за собственного характера он и не получает удовлетворения на брачном ложе, то никогда не изменяет жене.

Такую вот речь произнесла неукротимая Афина, и нежнейшей Афродите пришлось сдержать свой гнев, ибо она заметила, как в порыве высочайшего негодования угрожающе колыхнулись блестящий щит и надежное массивное копье богини.

А у божественного Гермеса затрепетали от страха легкие крылышки на сандалиях, ибо гнев Афины предвещал жестокую бурю, и юный красавец не решился своим красноречием защитить свою бывшую возлюбленную Афродиту, олицетворение красоты, и уж тем более попытаться прогнать неистовый дух Разногласия, воцарившийся между богинями.

Испугавшись беды, которую разъяренная богиня могла бы низвергнуть на смертных, и прежде всего на сеньора Анибаля Фругони, не без помощи быстроногого Вестника, ловко продававшего товар в магазинчике «Цветок лилии», бог устремил свой полный тревоги взор в сторону тенистого квартала Вилья-дель-Парке.

А тем временем, подобно огромному и прожорливому хищному стервятнику, неумолимо описывающему круги над издыхающей коровой, мрачная черная тень, опускаясь все ниже и ниже к намеченной жертве, парила над домом № 2562 по улице Теодоро Вилардебо. Эта черная тень повергла в ужас крылатого Гермеса, ощутившего приближение беды. И тогда обратился он к обеим богиням с такими мудрыми словами:

— Любимые богини, сдержите хотя бы на время свой грозный гнев и, прошу вас, устремите взоры на улицу Теодоро Вилардебо. Там вы увидите мрачную тень, нависшую над домом, где в эту минуту наши подопечные, ничего не подозревая, с наслаждением слушают страстные стихи сеньоры Джаннелло. Пожалуйста, прекратите до моего возвращения ваши споры, а я с быстротою мысли долечу до улицы Теодоро Вилардебо и осторожно разведаю, что это за тень, кто наслал ее и что она ищет, кого подстерегает в этом сказочном месте, а возвратившись, я расскажу вам обо всем.

В знак согласия обе богини кивнули своими прекрасными головками, а Вестник Гермес, подобно стреле, выпущенной из лука мощной рукою, полетел к дому № 2562 на улице Теодоро Вилардебо, где цвели дивные глицинии.

IV

Человечки, собратья, компаньоны мои по этому потрясающему мимолетному приключению, которое называем мы жизнью, случай-

ные попутчики на этом эфемерном шарике, который беспрестанно вращается в космическом пространстве.

Человечки, жалкие, пугливые, хилые, непоседливые мартышки, появившиеся на свет волею судеб из-за какого-то дьявольского смешения генов у некой убогой и праздной обезьяны.

Человечки, бедные родственники, двоюродные братья, если можно так сказать, такого чудесного, спокойного и совершенного существа, как изящная полуобезьянка лемур, наслаждающаяся изысканной пищей, а также бизона, внушающего уважение своей мощной холкой, и осторожного волка, уничтожающего стада овец, и пантеры, и дельфина, и зебры, и уверенного в себе слона, и быстроногого оленя, и хитрого кота, и кита, и льва — таких статных, таких гордых и таких естественных.

Ну, а что же вы, мои человечки, неуклюжие, подозрительные, запуганные, страдающие, вечно созерцающие звезды, любопытные, задающие бесчисленное множество вопросов, увлекающиеся ритуальными танцами, беспокойные, болтливые, рассказывающие свои сны, говорящие о странных кошмарах, в которые вмешиваются боги (в лучшем случае вещающие гекзаметром), неутомимые изобретатели различных сделанных наспех безделушек из дерева, глины, камня, бронзы, шерсти, кожи, безделушек с абсурдными рисуночками, символизирующими эти сны, возгласы или слова?

Человечки-огнепоклонники, человечки-музыканты, играющие на флейтах, барабанах, изобретающие струны, чтобы натянуть их на лук; человечки, с завыванием произносящие речи, которые доводят слушателей до экстаза, вызывая у них и страх, и гнев, и смех.

Человечки, черт вас побери, человечки, знающие, что такое смерть, безнадежные изобретатели пародий на жизнь, отчаянные выдумщики никому не нужных игрушек, таких, как, скажем, раскрашенный отпечаток руки на камне, маска, дольмен, Библия, Тадж-Махал, карликовое садовое деревце, стихи сеньоры Джаннелло; и все это повторяется и всегда остается одним и тем же — гласом вопиющего в пустыне; собратья мои, как же вы хотите иметь все это еще при жизни и невероятно боитесь смерти!

Человечки, да, вы остаетесь человечками, хоть скоро и обретаете мужество, любовь, чудо, чудодейственную красоту, героизм. Сначала стопоходящие обезьянки, потом люди, подобные богам, а затем и сами боги.

Человечки, дорогие мои человечки, мельчайшие пылинки в космосе; как суетливые муравьи, расползаясь по земле, вы все еще играете в странные игры, а балансируя на краю гибели, распеваете песни, вопрошаете, проклинаете... одним словом, достаточно забавны вы, если хорошо присмотреться.

V

Кружок «Полимния» («объединение поэтов квартала Вилья-дель-Парке», как указывается в наших пригласительных билетах) — организация весьма общего характера, деятельность которой полностью посвящена взаимообогащению и развитию поэтического дара ее членов. Кружок был создан 21 сентября 1965 года группой избранных поэтов нашего района по инициативе двух выдающихся деятелей культуры квартала Вилья-дель-Парке: неоценимого сеньора Ромуальдо Чавеса, о котором уже говорилось выше, и нашей первой председательши сеньоры Брихиды Рамирес де Урдампильеты. И по сей день в знак вечной памяти висит портрет покойной сеньоры Урдампильеты — черты лица благородны и строги — рядом с написанным ею акварельным портретом Доминго Фаустино Сармьенто [1], нашей национальной гордости, подаренного «Полимнии» в честь первой годовщи-

[1] Доминго Фаустино Сармьенто (1811—1888) — аргентинский писатель, государственный деятель, был президентом республики.

ны кружка. Часто сеньор Чавес, сеньора Циммерман или юный Ромилио Соса, также в порядке чествования нашей бывшей председательши, читают ее стихи. Короткие и изящные патриотические стихи, посвященные главным образом выдающимся личностям, ученым, просветителям, институтам (таким, например, как вооруженные силы, национальное управление путей сообщения или сберегательная касса). Свои стихи сеньора Рамирес де Урдампильета — она была родом из провинции Тукуман и до ухода на пенсию служила директором колледжа — читала обычно на торжественных актах в своем учебном заведении. Многие из ее бывших учеников, и среди них была Ирене, вспоминают о ней с огромной любовью и глубоким восхищением.

Именно поэтому для многих из нас кружок «Полимния» — прекрасное место, где мы упражняемся в творческих композициях и оттачиваем наше поэтическое мастерство, а также — почему бы не сказать и это? — дружеское убежище для одиноких людей. Я, например, обязан «Полимнии» гораздо большим, чем может показаться на первый взгляд. Мое непритворное влечение к поэзии имеет уже многолетнюю историю, но, по правде говоря, никогда бы — если не считать того, что два сонета я напечатал в журнале «Расон де Вилья Девото», и еще одной публикации, которой меня удостоил журнал «Ревиста де ла Асосиасьон банкария»,— никогда бы, повторяю, не узнали люди о моем призвании, я бережно храню его в своем сердце вместе с чувством глубокой и искренней признательности за доброжелательный прием в нашем содружестве.

Я пишу главным образом сонеты, в чем признаюсь с некоторой робостью. Это строгая поэтическая форма, интимная и отшлифованная как драгоценность, своей четкой структурой позволяющая выразить самые тонкие и сложные чувства, и подобной форме я безусловно останусь верен всю свою жизнь. Благодаря моим сонетам я пользуюсь некоторым престижем среди членов кружка и уже, начиная с чтения первых стихов, занял, как принято говорить, место человека, которого помнят и даже, осмелюсь сказать, уважают члены «Полимнии».

Сейчас я пишу триптих, адресованный в завуалированном виде Ирене. Испытываю огромное желание поскорее завершить его, чтобы прочитать на следующем собрании кружка в среду. Думаю, что из тактических соображений мне не следует откладывать этого — сонеты несомненно произведут впечатление на моих коллег и главным образом, разумеется, на Ирене, у которой восприимчивость к поэзии — без преувеличения — просто поразительна, а уж потом я решусь заявить ей о своих чувствах.

В первые дни существования «Полимния» проводила свои еженедельные собрания либо там, где проходили занятия фольклорного кружка «Эль Омбу́», либо в помещении, которое предоставляла нам Ассоциация коммерсантов улицы Куэнка. Однако лет пять тому назад благодаря стараниям великодушного и деликатного сеньора Чавеса нам удалось снять в аренду комфортабельный особняк на улице Теодоро Вилардебо, где мы теперь и собираемся, а через некоторое время он, вероятно, поступит в нашу собственность.

Члены «Полимнии» — видимо, уместно сказать и об этом — принадлежат к различным социальным слоям. На нас клевещут, когда сознательно выдумывают, что мы, дескать, организовали закрытый кружок, попасть в который очень трудно. Мы не ставим каких-либо специальных условий для вступления в качестве активно действующего члена; помимо обычных требований, предъявляемых к членам любого кружка и касающихся общественной и личной морали, нас объединяет только любовь к поэзии, и нам запрещается — об этом четко говорится в уставе — обсуждать любые темы, касающиеся религии или политики. Среди нас есть учителя, служащие, коммерсан-

ты, один член «Ротари клаб» из нашего района, преподаватели музыки, люди других специальностей.

Так как «Полимния» — отрадное и благопристойное убежище, где можно отдохнуть душой, наш кружок часто посещают пенсионеры, которых не устраивают встречи с друзьями просто за чашкой кофе или на площади (ко мне это не относится, но, думаю, что и со мной может произойти то же самое, когда вдруг подкрадется пенсионный возраст), одинокие женщины, незамужние (как, например, Ирене), вдовы или дамы, у которых уже взрослые дети, и поэтому они располагают свободным временем и могут заняться любимым делом, на что раньше не находилось и минуты. По той же причине среди нас можно встретить и людей, физические недостатки которых не позволяют им посвятить себя другим видам общественной деятельности. Примером может служить сеньорита Кистернмахер, образованнейшая женщина, дающая платные уроки, в частности немецкого языка, а между тем она — превосходная поэтесса (опубликовала две книги, а некоторые ее стихи были напечатаны в литературном разделе газеты «Ла Пренса»). На занятия нашего кружка ее привозят в инвалидной коляске либо мать, либо служанка. Или, скажем, упоминавшийся Карлос Мастандреа, такой же, как и я, любитель сонетов (хотя, должен признать, многого ему недостает), передвигающийся при помощи костылей. Да, чуть не забыл слепого сеньора Паско, автора милых стихотворных строк, написанных им для народных мелодий.

Действительно, «Полимния» объединяет нас всех, а среди хаоса, насилия, жестокости и прочих правонарушений, царивших в Буэнос-Айресе в то лето 1975 года, наш кружок служит нам спасительным островком, мирным оазисом, где культ духа еще преобладает над грубой материальностью. Здесь, под крышей и во дворике, утопающем в глициниях, мы находим наконец то, чего не получали от жизни на протяжении стольких лет: возможность создать поэтическое братство (цитирую наш устав), установить контакт с миром прекрасного на основе бескорыстной, искренней и самоотверженной любви, уравнивающей нас всех,— любви к поэзии.

VI

От младшего офицера-адъютанта Коваса
старшему унтер-офицеру Фариасу

В среду 19 декабря, в 15.48 машина отдела, замаскированная под такси, прибыла на место, указанное агентом Паскуали. Однако по предложению сержанта Лонго пришлось отогнать ее метров на десять в сторону улицы Байгоррия, так как наблюдению мешало присутствие частного автомобиля зеленого цвета марки «пежо», столичный номерной знак 456 764, принадлежащего некоему Ромуальдо Чавесу.

Наша машина стояла с открытым капотом, чтобы инсценировать неполадки в моторе, тогда как агенты, которые вели наблюдение, занимали следующие места: я, то есть тот, кто докладывает, расположился за рулем и время от времени выходил из машины якобы проверить мотор, а на самом деле, улучив момент, стремился заглянуть внутрь находящегося под наблюдением дома, как только открывалась входная дверь; капрал Рамирес расположился рядом, иными словами — рядом с водителем на переднем сиденье, и держал на коленях тщательно прикрытый курткой автомат на случай внезапного нападения; сержант Лонго разместился в машине на заднем сиденье.

С момента нашего прибытия на место до 16.24 в здании, находящемся по адресу: Теодоро Вилардебо, 2562, ничего подозрительного не наблюдалось. В указанное выше время на кнопку звонка у входной двери нажал человек, первым пришедший на собрание. Речь идет о грузном субъекте с проседью в волосах, в возрасте от 50 до 60 лет, который прихрамывал или, возможно, прикидывался хромым, так как по улице он шел, опираясь на 2 (два) костыля, хотя, как удалось за-

метить сержанту Лонго, для хромого он передвигался слишком быстро. В отношении этого субъекта считаю обязательным доложить, что капралу Рамиресу кажутся знакомыми его лицо и особые приметы, в свое время капрал Рамирес лично инспектировал подразделение 37а, однако пока он предпочитает не делать поспешных выводов и ждет данных для установления этой личности, чтобы подтвердить свое подозрение. Ему открыл дверь молодой брюнет с подстриженными усиками, который, согласно соответствующему донесению, рано утром вошел в здание, открыв дверь своим ключом. Обоих удалось сфотографировать.

Начиная с 16.40 стали прибывать другие лица. Они приходили либо в одиночку, либо группами по два или по три человека. На кнопку звонка у входной двери они не нажимали, так как входная дверь на ключ не была заперта, и эти люди сами открывали ее и входили в дом. Все они были сфотографированы сержантом Лонго, который беспрерывно щелкал аппаратом и был вынужден дважды сменить пленку.

Субъект Ромуальдо Чавес прибыл в 16.54. Он вышел из указанного выше автомобиля «пежо» зеленого цвета в сопровождении женщины, которая, по имеющимся у нас сведениям, не является его любовницей.

В 16.58 из-за угла дома на улице Маркоса Састре появился субъект Анибаль Фругони и через некоторое время вошел в дом на улице Теодоро Вилардебо. Таким образом полностью подтвердилась информация, полученная 15-го, о его посещении собраний в этом доме.

Ровно в 17.00 появилось лицо женского пола, приблизительно 30 лет, в инвалидной коляске, которую везла другая женщина более преклонного возраста, одетая весьма элегантно.

В 17.08 со стороны улицы Байгоррия появился низкого роста брюнет примерно 40 лет, который, похоже, был слепым, так как держал в руке тонкую трость белого цвета и постоянно постукивал ею о тротуар. Он был последним из прибывших, после него уже никто в здание не входил.

Итак, в дом № 2562 на улице Теодоро Вилардебо вошло 18 человек. К этому числу надо еще добавить того человека, который уже находился внутри, и таким образом общее количество собравшихся составит 19.

Мы продолжали вести тщательное наблюдение за домом до 22.00 и лишь на короткое время дважды заходили в бар на улице Куэнка, так как сержанту Лонго, страдавшему расстройством желудка, необходим был туалет.

В течение всего нашего пребывания вблизи объекта наблюдения мы неоднократно слышали бурные аплодисменты, которые, по-видимому, были вызваны речами или призывами, провозглашавшимися различными ораторами.

В 21.35 в здании погас свет, и замеченные нами лица стали расходиться маленькими группами. Фотоаппаратом мы не пользовались из-за плохого освещения.

Последним вышел уже упоминавшийся Ромуальдо Чавес, который оставил ключ в двери и направился к своему «пежо» в компании двух женщин, которых он пригласил сесть в машину, и они приняли его предложение.

К данному рапорту прилагается конверт, содержащий 52 (пятьдесят две) фотографии.

Характеристики лиц останутся у нас на хранении для того, чтобы в дальнейшем мы могли расширить наблюдение.

Предлагается незамедлительно установить слежку или постоянное наблюдение по месту жительства за субъектами Ромуальдо Чавесом и Анибалем Фругони.

P.S. В случае если будет опознана личность субъекта, которого помнит предположительно капрал Рамирес, речь, по-видимому, пойдет, как он сообщил мне в последний момент, о бывшем заядлом игроке и полицейском осведомителе, с которым был в контакте в 1962 году, он может быть для нас чрезвычайно полезным в данном деле.

VII

Подобно мысли, проносящейся с огромной быстротой, подобно времени, пролетающему в мгновение ока, над далекими морями и горами, бескрайними лугами и лесами, в которых водятся сатиры, над городами, где люди говорят на странных языках, мчится Вестник богов Гермес в легкокрылых сандалиях. Остановился он над комфортабельным кварталом Вилья-дель-Парке.

А черная тень, словно тень огромной хищной птицы, медленно и угрожающе описывала круги над старым особняком на улице Теодоро Вилардебо, между улицами Байгоррия и Маркоса Састре. То она, не переставая кружить, летала над домом, то, как огромное пятно, подобное холодному и омерзительному животному, располагалась на оцинкованной крыше, то, расползаясь по чисто выбеленным стенам, спускалась к мощенному плитами дворику, усаженному заботливо ухоженными цветами, то поднималась до верхушек глициний.

Но тень была невидима для глаз смертных, и никто из тех, кто находился в доме и, сидя на стульях, расставленных в несколько рядов в маленьком зале с голубыми обоями, слушал стихи сеньоры Мастрокарбоне Джаннелло,— никто не мог видеть эту тень и не имел о ней ни малейшего представления.

Лишь Ирене Бенгоэчеа, любимица богов, наделенная даром провидения, вздрогнула в тот самый момент, когда тень, совершив круг, располагалась на крыше. Более того, не зная истинной причины этой дрожи и считая, что просто вдруг похолодало, Ирене, взяв шерстяной жакет и накинув его на плечи, не обратила внимания на то, что ее жест вызвал беспокойство у сеньора Хосе Мариа Пуличиккио.

Но божественные глаза Вестника заметили Тень, и потому Гермес, возлюбленный Афродиты, с сжавшимся от страха сердцем и напрягшись всем телом, готовый к постыдному бегству, обратился к ней:

— О безвестная тень, я, Гермес, прозванный Вестником, направлен богами Олимпа. Я сын Майи и Зевса-громовержца. Именем Бессмертных я требую, чтобы ты назвала свое имя и сказала мне, кто послал тебя сюда, в утопающий среди зелени квартал Вилья-дель-Парке, что ты ищешь, что нужно тебе от людей, живущих в этом уголке покоя.

И замедлив тогда свой полет над огромным райским деревом на улице Байгоррия, сразу скрывшемся в темноте, будто на него опустилась ночь, заговорила тень унылым и хриплым голосом:

— Благоразумный посланник богов, я знаю тебя и знаю то, что боги доверяют тебе важные миссии. Поэтому слушай меня внимательно и передай Бессмертным, чтобы никто из них не пытался мешать мне выполнять поручение, данное мне другим могущественным Бессмертным.

Так знай же, зовут меня Глашатай Смерти, и послал меня разъезжающий на черных конях Гадес[1], чтоб в течение всего сегодняшнего дня, 3 декабря 1975 года, я постоянно кружила над домом № 2562 по улице Теодоро Вилардебо, дождалась бы удобного момента и перенесла в подземное царство мрака, откуда я и прилетела, души смерт-

[1] Гадес (Аид, Плутон) — в древнегреческой мифологии бог подземного царства мертвых.

ных, которые сейчас находятся под этой крышей и чьи имена я храню в своей надежной памяти.

И поборов охвативший его страх, снова спросил неугомонный Гермес:

— Скажи мне, пожалуйста, мрачный Глашатай Смерти, сколько смертных, которые сейчас, удобно устроившись в креслах, слушают страстные слова сеньоры Джаннелло, должно быть переправлено в подземное царство безжалостного Гадеса? Как имя и фамилия каждого из этих смертных? Какова причина, побудившая бога действовать столь ужасающим образом?

И сотрясая ветви деревьев, ответила так тень Глашатай Смерти:

— Слушай внимательно, Вестник богов. Двенадцать — вот точное количество смертных, за которыми я пришла. Но мне не разрешено оглашать их имена и причины, побудившие поступить так Гадеса, действующего анонимно, ведь боги, вероятно, попытались бы — я предупреждаю, что это бесполезно,— помешать делу, столь тщательно подготовленному тем, кто господствует в подземном царстве мрака, а это вызвало бы его страшный гнев.

И вновь пересилив охвативший его страх, спросил Гермес, бог в легкокрылых сандалиях:

— Пусть тебя не волнуют мои вопросы, о божественный Глашатай Смерти из подземного царства Гадеса, ибо я должен задать тебе последний вопрос: как ты будешь действовать? К каким земным или божественным средствам ты прибегнешь, чтобы унести двенадцать жизней тех, кто, ничего не подозревая, сидит в этом маленьком зале с голубыми обоями?

Но не ответила на вопросы дотошного Гермеса тень Глашатай Смерти и с неприятным шумом покинула ветви райского дерева, которые вздрогнули, будто холодный ветер подул на них, и вновь стала медленно кружить над домом № 2562 по улице Теодоро Вилардебо.

И снова страх охватил Гермеса, он отступил, предположив, что тень набросится на него, и быстрее молнии помчался в сторону Олимпа, чтобы передать богиням услышанные им прискорбные вести.

VIII

Сеньора Джаннелло уже заканчивала чтение своего прекрасного стихотворения. Спокойно и с достоинством она бросила строгий взгляд на то место, где только что находился сеньор Фругони. Затем она, подняв глаза, устремила свой взор как бы к небесному слушателю и наконец, смиренно опустив руки, продекламировала поэтическую строку, которая навсегда запечатлелась у меня в памяти. «Раз мне начертано судьбою ждать, я жду»,— промолвила она и склонила голову, словно ей пришлось сделать весьма трудное признание.

Раздались бурные и долго не смолкавшие рукоплескания. Мне кажется, что редко у нас чтение стихов удостаивалось столь горячих и неистовых аплодисментов. Все свидетельствовало об огромном впечатлении, которое произвели стихи на слушателей. Ирене восторженно аплодировала, ресницы ее трепетали, подбородок вздрагивал, все тело ее, казалось, встрепенулось от слов и жестов сеньоры Джаннелло, которая с застывшей на лице улыбкой, не выпуская из рук листков, произносила слова благодарности. Я тоже с жаром аплодировал, но должен сказать, что меня все более тревожило странное исчезновение сеньора Фругони. Мне необходимо было знать, куда он ушел и не надо ли ему помочь. Ждать больше я не мог, еще не смолкли аплодисменты, а я, извинившись перед Ирене, поднялся с места.

Миновав соседние кресла, на которых сидели сеньор Паско, незнакомая мне сеньорита — никто не заметил ее появления в зале — и мать сеньориты Кистернмахер, я вышел во двор.

Сразу же я направился в небольшое помещение в глубине двора, где, по моему предположению, должен был находиться сеньор Фругони. Пройдя через двор, уже погруженный в сумерки, я не мог не остановиться перед изумительными глициниями. Хотя было уже начало декабря, среди густой листвы еще сохранились цветы. Я с наслаждением смотрел на то, как красиво сплетались молодые и старые лозы. Некоторые мощные побеги, появившиеся этой весной, нежно обвивали старые, узловатые. И я подумал, что именно такими они должны остаться навсегда — едиными в этом с каждым разом все более прочном и тесном объятии. И вдруг мне пришло в голову, что вот такая сила, такая чувственность, такие крепкие объятия могли послужить прекрасным образом для моего третьего сонета, посвященного Ирене. Чтобы не забыть, я взял записную книжку и быстро занес в нее осенившую меня мысль. Задержавшись всего лишь на несколько секунд, я продолжил поиски сеньора Фругони.

И действительно, я нашел его в комнатушке домика во дворе. Он сидел у телефона, обхватив голову руками. Правда, юный Ромилио Соса — я, очевидно, не заметил, как он прошел мимо, поскольку был занят пометками в записной книжке,— опередил меня. Он уже стоял возле сеньора Фругони, дружески похлопывая его по плечу, будто пытаясь успокоить или утешить.

Меня до глубины души тронул поступок Ромилио. Этот молодой брюнет из провинции, рабочий текстильной фабрики, с которым мы однажды познакомились по чистой случайности (он был женихом служанки сеньориты Кистернмахер), никогда не пропускал наших собраний и на этот раз выказал человеческую отзывчивость, искреннее понимание тревог ближнего, чего многим из нас, по-видимому, так не хватало, по крайней мере в ту минуту. И тогда я вспомнил его многостороннюю деятельность в нашем кружке: он покрасил фронтон здания, навел порядок в саду, залатал дыры на крыше и починил притолоку у двери. Все он делал по собственной инициативе, никто из нас не просил его об этом. Среди других черт его характера обращало на себя внимание его огромное желание учиться и та легкость, с которой он запоминал целые поэмы и затем нам декламировал, поражая слушателей благозвучием своего тукуманского произношения. Он тоже писал стихи, но, не знаю почему, не хотел показывать свои сочинения. Он всегда всем улыбался и со всеми был любезен, и было ясно, что он очень удобно чувствовал себя в нашей компании.

Меня взволновал, повторяю, искренний жест юного Сосы. Я почувствовал, что этот не по-мужски мягкий, свойский жест (на который я бы из-за некоторой сдержанности своего характера, как мне казалось, был просто не способен), несомненно, был единственно возможным в тот момент.

Ромилио не задавал вопросов, не произносил душещипательных слов, а лишь молча похлопывал по плечу сеньора Фругони, будто пытаясь утешить брата, своего ровесника. Я понял, что надо уважать их молчание, и, опершись о дверной косяк, глядя на обоих, остался стоять, не произнося ни единого слова.

Но — я не берусь сказать, к счастью или наоборот,— следом за мной шла сеньора Циммерман, которая, так же как и я, была представителем руководства кружка. Дело вовсе не в том, что я сомневался в тактичности и благоразумии сеньоры Циммерман, просто мне казалось, что в ту минуту нельзя было проявлять больший темперамент, чем это делал юный Ромилио.

Постараюсь пояснить сказанное. В сороковых годах сеньора Циммерман была актрисой любительского еврейского театра. Хотя у нее и сохранился легкий акцент, она, как и Ромилио, слывет среди нас превосходным декламатором. Стихи она читает с большой проникновенностью, оттеняя всевозможные нюансы — то страсть, то романтизм, то нежность,— чего требовали стихи, порой сочиненные дру-

гими авторами, но отвечавшие ее вкусу. Много стихов написано ею самой, в основном они адресованы детям, кое-какие из них печатались в литературных журналах. Помимо своей, по ее словам, лихорадочной деятельности в «Полимнии» (она повторяла это на каждом заседании руководства кружка) сеньора Циммерман является членом Союза аргентинских женщин, членом подкомиссии по вопросам культуры какой-то еврейской общины, читает лекции на темы воспитания детей, пишет статьи для женских журналов.

Она, разумеется, быстрее любого из нас поняла драматизм ситуации, скрывавшийся за строками стихотворения сеньоры Джаннелло и красноречивым исчезновением сеньора Фругони. Она не колебалась ни секунды. Усевшись рядом с сеньором Фругони, мягким, но категорическим жестом она попросила нас с Ромилио удалиться, а сама по-матерински обратилась к сеньору Фругони: «Нам с вами есть о чем поговорить, не так ли, дорогой?»

IX

От старшего унтер-офицера Фариаса комиссару Бевилакуа

21 ноября 1975 года

Считаю необходимым доложить, что полностью подтвердились подозрения капрала Рамиреса в отношении субъекта, упоминавшегося в рапорте от 20 ноября «Наблюдение за домом № 2562 по улице Теодоро Вилардебо». На этого субъекта нами заведено дело-формуляр.

Сам факт, что эти подозрения возникли до того, как были получены запрошенные нами необходимые дополнительные сведения, подтверждает, что, как и всегда, капрал Никодемо Рамирес проявил усердие и служебное рвение при исполнении своего патриотического долга.

В свете этих соображений хотел бы предложить при очередном представлении в Управление ходатайства о повышении в должности иметь в виду капрала Рамиреса.

Выполнив эту само собой разумеющуюся и справедливую миссию по отношению к находящемуся у меня в подчинении человеку, перехожу теперь к главной теме доклада.

Что касается наблюдаемого субъекта, то это действительно Карлос Архентино Мастандреа (по кличке Хромой), аргентинец, вдовец, удостоверение личности № 1 453 806, проживает в федеральной столице по адресу: Чарлоне, 934; в 1962 году был осужден на 30 дней за нарушение Закона об азартных играх, согласился добровольно и без всякого вознаграждения сотрудничать с подразделением 37а в качестве полицейского осведомителя.

Должен обратить внимание на высшую степень сообразительности и преданности моего подчиненного капрала Рамиреса, который для выполнения своего трудного задания явился в четверг 20 ноября в 21.00 (будучи освобожденным от несения службы) в бар, расположенный на перекрестке улиц Федерико Лакросе и Альвареса Томаса, так как вспомнил, что упомянутый Мастандреа обычно в это время посещает данное заведение. Как капрал Рамирес и предполагал, он нашел его там — Мастандреа сидел за столом и играл в карты с тремя другими лицами. Капрал Рамирес незаметно сел за столик, стоявший в отдалении, в углу комнаты. Услышанные им фразы (по крайней мере те, которые субъекты произносили громко) касались исключительно игры и не затрагивали ни политических, ни других тем, и потому не считаю целесообразным приводить их.

В 23.37 Мастандреа, уплатив за напитки и распрощавшись с приятелями, покинул бар, в связи с чем капрал Рамирес незамедлительно ipso facto[1] продолжил за ним слежку.

[1] В силу самого факта *(лат.)*.

Помимо упомянутых данных, ut supra [1], капрал Рамирес, используя свои контакты в районе, навел справки и получил некоторые сведения, представляющие для нас особую ценность в случае, если Мастандреа стал бы упорствовать, отказываясь сотрудничать с нами, а именно:

1) вместе с ним в указанном доме № 934 на улице Чарлоне проживают: дочь по имени Клара, зять по фамилии Росалес, водитель автобуса по маршруту № 63, и два их сына в возрасте 9 и 7 лет, которых зовут, соответственно, Тито и Пучо;

2) основным занятием в жизни данного субъекта является ссуда под проценты денег, которые он компенсирует, продавая в кредит часы и драгоценности водителям автобусов.

22 ноября 1975 года

Ровно в 9 часов указанного выше дня капрал Рамирес появился в доме по адресу: улица Чарлоне, 934, и сразу же назвал себя, поскольку дверь ему открыл сам Мастандреа.

В первый момент субъект прикинулся, что не узнал его, однако после того, как ему были предъявлены компрометирующие его сведения (дата задержания, сотрудничество с полицией при расследовании нападения на мебельный магазин на авениде Фореста, донос мастера, занимающегося изготовлением ключей), он перестал упираться.

На вопрос, поддерживает ли он связь с подразделением, субъект ответил отрицательно и заявил, что выполнял некоторые задания лишь короткое время, поскольку у него тогда не было иного выхода.

На вопрос, что он имел в виду, когда сказал, что у него не было иного выхода, Мастандреа заявил, что покойный комиссар Дукассе угрожал вновь упрятать его за решетку и избить палками, если он откажется с ними сотрудничать.

На вопрос, когда он порвал связь с подразделением и какова была причина, побудившая его так поступить, он ответил, что сделал это в декабре 1964 года прямо в тот же день, когда умер комиссар Дукассе

Сообщив ему, что нам известна его тесная связь с людьми из «Полимнии», и спросив, готов ли он сотрудничать с нами добровольно, чтобы установить некоторые незначительные детали, он ответил, что, к сожалению, из-за своего преклонного возраста и плохого состояния здоровья предпочитал бы не возобновлять контакты с подразделением.

На вопрос, каким образом он впервые попал в «Полимнию», он ответил, что сделал это с помощью некоей Аурелии Кистернмахер, с которой совершенно случайно познакомился в институте восстановления здоровья инвалидов.

На вопрос о подлинных мотивах этой связи он ответил, что из-за любви к стихам решил принять приглашение, сделанное упомянутой Кистернмахер, а потом, не беря на себя никаких обязательств, посетил несколько собраний указанного кружка.

На вопрос, каковы характер и тема стихов, которые он сочинял, он ответил, что в основном это были грустные стихи.

Припугнув его, я сказал, чтобы он прекратил разыгрывать из себя идиота и сразу бы признался, что за дьявольщина происходит на этих собраниях, он ответил, что, по крайней мере, на тех собраниях, на которых он присутствовал, лишь читали стихи и, насколько ему известно, ни в карты, ни в какие другие азартные игры не играли и не производили никаких противозаконных сделок.

На неожиданный вопрос, посещали ли марксистские элементы кружок, он ответил, что, на его взгляд, никаких марксистских элементов в кружке не было.

---

[1] Как сказано выше *(лат.)*.

После такого грубого и неуважительного ответа капрал Рамирес предъявил ордер на арест, гласивший, что он обязан немедленно явиться к старшему офицеру. Ордер был принят субъектом без малейшего сопротивления.

Когда его привели, мне пришлось предварительно оказать небольшой нажим на него, чтобы сломить упорство и неподчинение властям. Затем я напомнил ему, как бы мимоходом, о некоторых грязных делишках, в каких он был замешан. Мы дали ему понять, что нам точно известны места работы его дочери и зятя, а также адрес школы, где учатся его внуки. И только после этого да еще после нескольких минут легкого допроса Мастандреа принял решение добровольно и бескорыстно сотрудничать с нами. Ему сказали, что для начала он должен лишь представить подробный список членов «Полимнии», указав полностью их фамилии и домашние адреса.

На вопрос, не смог ли бы он представить нам эти данные на следующий день, он ответил, что мог бы заполучить их в среду 26 ноября, иными словами — во время следующего собрания кружка, и как только он будет располагать этими сведениями, он передаст материалы тому лицу, которое ему укажут.

Ему объяснили: чтобы не беспокоить его лишний раз, капрал Рамирес сам придет за ними к нему домой 27 ноября в 8 часов утра. Со стороны субъекта возражений не последовало.

Продолжаем вести наблюдение за домом № 2562 по улице Теодоро Вилардебо, но теперь уже каждодневно в четыре смены. На данный момент какими-либо новыми сведениями не располагаем.

X

И пока тень продолжала медленно и угрожающе кружить над домом на улице Теодоро Вилардебо, чтобы принести в эту ночь леденящую сердце смерть двенадцати из его простодушных посетителей, Вестник Гермес быстро летел в сторону Олимпа и прибыл туда в кратчайшее время.

А непокорная Афина и такая же Афродита восседали на том же месте, повернувшись друг к другу своими божественными спинами и, охваченные прежней яростью, не хотели разговаривать друг с другом, не желая даже обменяться взглядами своих сверкающих очей.

С трудом переводя дыхание после недавней зловещей встречи, обратился к обеим богиням Гермес, обладатель золотых сандалий, и произнес полные грусти слова упрека:

— Правильно поступили трудолюбивые смертные, навсегда позабыв о своих жалких и равнодушных богах, которые то ли из-за того, что прошло слишком много лет, то ли из-за своих постоянных и изнурительных раздоров, а может быть, и по причине непристойного тщеславия, допустили, чтоб не только пелена закрыла им глаза и перестали слышать их уши, но и чтобы высохли и уменьшились их сердца, столь храбрые и великодушные в другие времена.

Так знайте же, богини, пока вы пребываете здесь, занятые своими бесконечными и бесполезными спорами, полный ненависти Гадес не теряет времени даром, как это делаете вы, а без устали и милосердия готовится уничтожить смертных, которых вы незаконно называете своими подопечными.

Тень, которую мы видим отсюда, есть не что иное, о легкомысленные и вечно спорящие богини Олимпа, как Глашатай Смерти, посланный властелином царства мертвых Гадесом, чтобы принести страшную смерть двенадцати человечкам, которые, не проявляя ни малейшего беспокойства, умиротворенно слушают теперь взволнованные стихи сеньоры Джаннелло.

От таких слов посланника богов сжалось сердце бесстрашной Афины, обеспокоенной судьбой непорочной Ирене Бенгоэчеа. Горючие слезы полились из глаз Афродиты, представившей ужасную

судьбу, которая ожидала Хосе Мариа Пуличиккио и несравненную сеньору Джаннелло. И Гермес скорбел об участи, уготованной его подопечным — ловким и велеречивым коммерсантам сеньору Анибалю Фругони и сеньору Ромуальдо Чавесу.

И заговорила тогда непокорная дочь Зевса, храбрая Афина, и произнесла такие справедливые слова:

— Ты сказал очень мудро, благоразумный Гермес, хотя твой жестокий упрек прозвучал слишком грубо. Отсюда, с вершины Олимпа, я хорошо вижу черные круги, которые описывает над нашими любимыми смертными мрачный Глашатай Смерти, посланный владыкой подземного царства Гадесом. И хотя мне, как и тебе, известно, что никто не может изменить намерений Гадеса, разъезжающего на своих сверкающих конях, позволь немного подумать. И тебя, прекрасная Афродита, приглашаю поступить таким же образом.

Посмотрим, что нам под силу предпринять в ближайшие часы. Если не удастся помешать мрачным керам унести в подземное царство души наших подопечных, то хотя бы постараемся сделать приятными последние минуты их жизни на благодатной земле. А ты, благоразумный посланник, лети быстрее птицы, уж если на тебе крылатые сандалии, и постарайся тайно проникнуть в царство могущественного Гадеса.

Поскольку тень не пожелала открыть тебе причину решения безжалостного Гадеса, не захотела поведать о страшном способе, посредством которого еще до окончания дня будут переправлены двенадцать душ в его царство, быть может, какой-нибудь служитель из числа тех, кто черным призраком бродит там, под землей, не подозревая о наших планах, откроет тебе всю правду.

Повиновался приказу скорый на ногу Гермес и быстрее ветра полетел в подземное царство мрака за железными вратами, где правит молчаливый Гадес. А две богини, нахмурив божественные брови свои, устремили с вершины Олимпа взоры в сторону дома № 2562 по улице Теодоро Вилардебо и в глубоком молчании стали размышлять.

XI

Мы с юным Ромилио Сосой почувствовали в первый момент, что нас как будто недооценивают, и даже — а почему бы и нет? — нас несколько унизило столь бесцеремонное поведение сеньоры Циммерман. Дело вовсе не в том, что мы рискнули бы оспаривать ее превосходство в роли психолога или наставника по вопросам воспитания, но обращаться с нами как с надоедливыми детьми — это уж слишком. Мы понимающе посмотрели друг на друга и оставили сеньору Циммерман наедине с сеньором Фругони в маленькой комнате домика в глубине двора.

Когда мы, возвращаясь в зал, пересекали патио, Ромилио сказал мне:

— Ну что ж, думаю, так будет лучше.

Отбросив обиды и полностью доверившись сеньоре Циммерман, которую, безусловно, осенил сам господь, мы вернулись в зал, где еще продолжался перерыв. Я уже говорил, что ночь была достаточно душной. Кому-то пришла в голову мысль включить наконец вентилятор. Чудная машина на подставке, которую мы приобрели недавно, красивая, покрытая эмалью приятного светло-зеленого цвета, с широкими лопастями и работавшая почти бесшумно, обвевала всех свежим и бодрящим ветерком.

Ирене поднялась с кресла и встала рядом с нашей секретаршей. Я не мог оторвать глаз от рук сеньоры Джаннелло: нервничая, та складывала и вновь разглаживала три рукописных листка. В эту минуту до меня донесся голос Ирене, и, услышав его, я, признаюсь, как всегда, ощутил прилив теплых чувств.

Ирене очень вежливо и тактично расхваливала композицию пре-

красной поэмы, которую мы только что прослушали. Со свойственной ей искренностью и некоторой застенчивостью, которая для меня — одна из основных ее привлекательных черт, Ирене поздравляла сеньору Джаннелло. Сеньора Джаннелло с присущей ей простотой и несколько преувеличенной самоуверенностью улыбалась и благодарила за хвалебные слова в ее адрес, но время от времени бросала быстрый и полный страсти взгляд в патио, уже погрузившийся в сумерки. Не в силах преодолеть охватившее ее беспокойство, она захотела закурить сигарету, но дважды легкий ветерок от вентилятора задувал огонек спички. Далее произошло такое, о чем я не могу умолчать. Сеньор Чавес, который находился в другом конце зала и вел оживленную беседу с сеньоритой Кистернмахер и сеньором Мастандреа, вдруг пересек зал и широким жестом, полным галантности, дал ей прикурить от своей зажигалки. Не скажу, что этот весьма любезный жест удивил меня (он характерен для сеньора Чавеса), однако мне показалось, что в данном случае это было сделано уж слишком учтиво и скорее всего не без умысла. Ирене тоже поразила быстрота, с какой подбежал наш председатель, и она дала мне это понять, слегка подняв брови. Я подумал, что, вероятно, следует воспользоваться ситуацией, чтобы установить более интимное и доверительное общение с Ирене. В свою очередь дав ей понять, что я уловил и правильно истолковал ее реакцию — хотя в данных обстоятельствах предпочтительнее было бы вовсе ничего не заметить,— я направился к сеньоре Джаннелло, чтобы поцеловать руку и искренне похвалить ее стихи.

Именно в этот момент сеньор Мастандреа, который медленно передвигался на своих костылях, похоже следя за сеньором Чавесом, совсем некстати подошел к нам. На лбу его выступили капельки пота, взгляд выражал явную озабоченность. Он неуклюже (и невежественно) пролепетал какие-то слова восхищения в адрес сеньоры Джаннелло, а затем без стеснения остался стоять рядом, отчего все почувствовали себя неловко. Ему нечего было сказать, и думаю, он не понимал даже сути нашего разговора. Поэтому мы (Ирене, сеньора Джаннелло, сеньор Чавес и я) прекратили разговор, подавленные непонятно почему забеспокоившим нас неучтивым молчанием Мастандреа. У меня было такое ощущение, что его мысли в тот момент были где-то далеко-далеко. Мне припомнились его ужасные сонеты, как вдруг Мастандреа, вопреки чувству такта и хорошему тону, взял меня под руку и отвел в сторону. Второй раз за вечер мы обменялись с Ирене заговорщическими взглядами, и я комическим жестом изобразил: ну что, мол, поделаешь с ним. Мой жест она восприняла с улыбкой, а я стал слушать Мастандреа.

Сеньор Мастандреа, с которого пот лил уже ручьями, хотел что-то сказать мне и не решался, лепетал, запинался, начал толковать невразумительно о собраниях кружка, которые он назвал неблагоразумными, «и прежде всего в свете тех проблем, того, что происходит...». К моему большому удивлению, он стал говорить, что нам надо быть более осмотрительными, осторожными. «Быть умнее, вы поняли?» — говорил он, прикладывая ладонь к губам, будто доверял мне бог знает какую важную тайну. Я не на шутку встревожился и прямо спросил его, что же он все-таки хочет сказать.

XII

28 ноября 1975 года

От комиссара Бевилакуа старшему инспектору Гусо,
Главное управление федеральной безопасности

Дорогой земляк,
вчера вечером я уж было собрался заглянуть к тебе на службу, но в последний момент возникли некоторые осложнения. Поэтому

и решил воспользоваться поездкой младшего офицера Гросси, чтобы передать все бумаги, которые я хотел вручить тебе лично (по правде говоря, это был лишь предлог, чтобы встретиться и немного поболтать с тобой. Надеюсь, нам еще представится другой подходящий случай).

Прими во внимание, земляк, что среди такого количества никому не нужных бумаг есть две или три, которые я в самом деле хотел бы обсудить с тобой. Одна касается того типа, которого я должен был передать людям Козла. Недавно я узнал, что этот обормот, младший инспектор Дилео, задержал его как миленького, а для того, чтобы не было шума, ничего более дурацкого не придумал, как сообщить об этом родственникам. Свинство! Этот недоумок всегда был таким вот. А теперь в какой-то газетенке напечатали различные ходатайства и прочие бредни, в которых требуют освободить типа. Мелькает мое имя. Дружище, как бы нам это отрегулировать? Мне немного осталось до пенсии, и, признаюсь, мне все это порядком осточертело.

Второе дело — циркуляр командующего Первой армией, полученный мною вчера утром и имеющий некоторое отношение к первому делу. В связи с многочисленными покушениями на вояк он приказывает усилить наблюдение за объектами и к 26 полицейским, которыми я располагаю в районе, добавить еще из расчета не менее 3-х (трех) на объект.

Спрашивается, откуда, черт побери, я возьму 52 агента в штатском, чтобы не оставить без охраны половину нашего начальства или по меньшей мере дюжину важных фабрик? Посоветуй, пожалуйста, как мне поступить: тебе-то известно многое из того, чего мы не знаем.

И третье дело, насчет которого я хотел бы посоветоваться с тобой,— это об особняке на улице Теодоро Вилардебо. Вначале я не придавал ему особого значения и сказал тебе об этом лично, получив донос. Ты знаешь, это в районе Куэнки и Ногойи. Случайно тут замешана жена Фругони, красотка что надо. Но, похоже, все значительно серьезнее, чем я предполагал. И ты согласишься со мной, когда просмотришь бумаги. Среди них — доклады агента Паскуали, младшего офицера-адъютанта Коваса и старшего унтер-офицера Фариаса. Прилагается также конверт с 52 фотоснимками. В этом конверте, обрати внимание, ты найдешь полный список имен с адресами и номерами документов всех членов или лиц, посещающих «Полимнию». Это точная копия того документа, который вручил Мастандреа капралу Рамиресу во время встречи с ним в четверг в 8 утра, как между ними было условлено, 27 ноября.

Чтобы получить ценный список, этот тип Мастандреа сказал руководителю группировки, что список ему нужен для поздравлений членам «Полимнии» перед Новым годом. Все прошло нормально, и никаких подозрений этот тип ни у кого не вызвал.

Да, еще одно дело. Мастандреа, как сообщил капрал Рамирес, был страшно напуган и иногда даже в своих донесениях противоречит сам себе. Стало быть, с группировкой у него куда большие связи, чем субъект намеревался представить при первых с ним беседах. Имей это в виду.

Во всяком случае (я говорю тебе это для твоего же спокойствия), капрал Рамирес и не собирался нажимать на него слишком. Напротив, он был очень любезен и сказал ему, что, поскольку тот сотрудничает с нами добровольно (и если никому не проговорится), то у него нет оснований опасаться за себя или же за своих родственников. Хорошо, не правда ли?

Обрадованный Мастандреа сделал нам подарок — капралу Рамиресу, Фариасу и мне. Подарил трое часов, которые обычно продает в кредит. Из предосторожности я, не будь дураком, немедленно вернул часы Рамиресу и потребовал, чтобы тот оформил как положено подписанную расписку об уплате наличными.

Я лично считаю, что следует провести еще один допрос, и уж тогда Мастандреа запсет «Кумпарситу» со всеми вариациями. Но пока лучше оставить все так, как есть, ослабив сети, чтобы в спешке ненароком не спугнуть куропатку, иначе улетят и другие пташки.

Забыл написать тебе, земляк, что все их квартиры — под лупой. А кроме того, сеньор Мастандреа в любой момент пошлет тебе дамские часики, чтобы ты мог кому-нибудь подарить, или предпочитаешь мужские?

Наконец, ответь мне по поводу охраны, о чем я писал выше, и постарайся для меня поскорее решить эти проблемки. А теперь, когда у тебя под рукой все бумаги, побыстрее дай им ход, ждем с нетерпением.

Приезжай к нам в субботу отужинать с супругой и детьми. Что думаешь насчет этого?

Обнимаю,

Бевилакуа.

XIII

Подобно ястребу, который, охотясь за маленькой беззащитной полевой мышью, камнем падает на свою жертву, стремительно опустился божественный Гермес в подземное царство Гадеса во исполнение желания Афины, богини с ясными очами.

Он долетел туда в одно мгновение, с головокружительной быстротой и, переступив бронзовый порог, вошел в железные врата. Благодаря такой стремительности ему не смогли помешать ни мрачный лодочник, ни трехголовый пес, охраняющий вход в подземное царство.

Подземное царство Гадеса напоминало необъятных размеров пещеру, окруженную глубокими черными реками. Ужас наводили ледяные стены, по которым бесконечным потоком струилась вода. Тишина, лишь изредка нарушаемая отдаленным таинственным эхом, сжимала сердце мужественного Гермеса.

По бесконечным лабиринтам подземного царства бродили в молчании тени умерших. А эринии, керы и другие верные слуги безмолвного бога занимали привилегированные места на берегах рек, в долинах и на равнинах.

Вдали Гермес увидал группу, удобно расположившуюся на возвышенности, в стороне от остальных умерших. И подумал тогда божественный Гермес, что, может быть, кто-то из покровительствуемых и преданных Гадесу обитателей Эреба, не ведая о том, что он — Вестник богов с Олимпа, и ответит на вопросы, на которые злонамеренно отказалась ответить ему тень.

Группа состояла из блистательных мертвецов, и все они в своей земной жизни были либо военачальниками, либо блюстителями порядка. Все они погибли от рук подрывных элементов. И всех их любил безмолвный Гадес, поскольку, пока они ходили по земле, они поставляли бесчисленное множество душ в его подземное царство.

И тогда, приняв облик высокопоставленного военачальника, только что прибывшего в подземное царство, Гермес, Вестник богов в крылатых сандалиях, произнес:

— О блистательные мертвецы, верные слуги могущественного Гадеса, я только что прибыл в это мрачное подземное царство. Мне неведомы здешние законы и обычаи, и я хотел бы задать вам несколько вопросов, если вы пожелаете мне ответить на них.

От имени этой привилегированной группы заговорила тогда тень полковника Рамона Фалькона — среди них он первым прибыл в подземное царство, 3 мая 1909 года. Он обратился к Гермесу со следующими словами:

— Спрашивай, вновь прибывший, в котором все мы легко узнали высокопоставленного военачальника, ибо об этом свидетельствуют твоя яркая военная форма, многочисленные ордена и выправка. Мы удовлетворим твое желание с огромным удовольствием.

Зычным голосом и приняв соответствующую позу, заговорил тогда Гермес:

— Мне ничего не известно об этом огромном подземном царстве, и поэтому прошу вас, о великие военачальники, скажите мне, за какую провинность неумолимый Гадес собирается доставить сюда сегодня ночью души двенадцати смертных, мирно сидящих в эту минуту в прекрасном домике на улице Теодоро Вилардебо, и кроме того, какими земными или неземными силами воспользуется могущественный бог, чтобы сразить эти двенадцать жизней?

Лихо закрутив тогда кончик своего нафабренного уса, тень прославленного Рамона Фалькона сказала:

— Вы знаете, о высокопоставленный умерший, вот почти уже три недели назад, а именно 15 ноября, непогрешимые авгуры объявили могущественному Гадесу, что 3 декабря 1975 года подрывные элементы — я возьму на себя смелость предположить, что это наверняка будет какой-нибудь анархист с польской фамилией, вооруженный самодельной бомбой [1],— отправят в мрачное подземное царство выдающегося генерала Касереса Монье, которого по многим причинам любит ненасытный Гадес.

Приведенный в ярость этим ужасным сообщением, Гадес тщательно разработал план своей мести. В тот же день, когда авгуры предсказали смерть его выдающегося подзащитного, вселился дух Доноса в душу законной супруги Анибаля Фругони, и она передала в подразделение 45а донос.

Далее 21 ноября бог, приказы которого все мы выполняли на земле, приказал духам Усердия, Профессионального Призвания и Служебного Рвения проникнуть в сердце капрала Никодемо Рамиреса, чтобы тот, исключительно по собственной инициативе, навел все необходимые справки относительно бывшего игрока, члена «Полимнии» Кардоса Архентино Мастандреа.

А затем, дабы ничто не было пущено на самотек, 22 ноября вселились духи Слабости и Страха в сердце Мастандреа, который принял все предложения, сделанные ему капралом Рамиресом, и с большим усердием подготовил для него список членов «Полимнии». И нужно отметить, что колеблющийся Мастандреа, не сознавая того, был уже готов разрушить тщательно разработанные планы Гадеса. Это произошло в тот вечер, когда Мастандреа, несомненно побуждаемый интриганкой Афродитой, попытался признаться в своих злоключениях сеньору Хосе Мариа Пуличиккио, для чего взял его под руку и отвел в сторону.

Однако безжалостный Гадес, уведомленный о том, что должно было произойти это неожиданное признание, несомненно, поставившее бы под угрозу осуществление его плана, быстро принял меры предосторожности. На черной скоростной карете, запряженной превосходными лошадьми, подъехал Гадес под землей к дому на улице Теодоро Вилардебо, остановился под полом зала с голубыми обоями и концом рукояти бича трижды ударил снизу в паркетный пол. Этого сигнала могущественного Гадеса было достаточно, чтобы Мастандреа быстро прервал начатое было им признание и, испугавшись, завел глупый разговор о сонетах. Такое поведение вызвало сильное смятение в душе сдержанного Хосе Мариа Пуличиккио.

Итак, чтобы не докучать ненужными подробностями, скажу тебе, о доблестный военный, что все сведения о прошлой жизни каждого члена «Полимнии» находятся сейчас в руках органов национальной безопасности. А поскольку это прошлое, как правило, тяжкое, поскольку чуть ли не каждый из членов «Полимнии» так или иначе связан с преступными и антипатриотическими элементами, то сделай сам надлежащие выводы, о прославленный пришелец.

[1] Имеется ввиду анархист Симон Радовитский, убивший в 1909 г. начальника полиции г. Буэнос-Айреса полковника Рамона Лоренсо Фалькона.

И снова заговорил тогда быстроногий Гермес, и сказал он эти слова зычным, командирским голосом:

— С огромным вниманием выслушал я тебя, о благородный полковник Рамон Фалькон, которому покровительствует сам Гадес, но ты еще не сообщил мне, к каким средствам прибегнет безжалостный бог, чтобы осуществить свои замыслы.

И звонким командирским голосом ответила тень полковника Рамона Фалькона, мужественным жестом разглаживая кончики нафабренных усов:

— Не знаю, в каких странах Южной Америки нес ты свою ответственную службу, о прославленный военный, но, судя по тому, как ты наивен, ты не похож ни на аргентинца, ни на уругвайца, ни на бразильца или чилийца.

Ты должен знать, что по каналам, абсолютно нам неизвестным, вскоре все узнают о тяжком прошлом членов «Полимнии» и в первую очередь узнает об этом ультраправая террористическая группа, которая, разумеется, не имеет ничего общего с нашими прославленными учреждениями.— Когда он произнес эти слова, Гермесу показалось, что по суровому лицу полковника, умершего еще в 1909 году, пробежала почти неуловимая улыбка.

И, вздохнув с облегчением, тень полковника Рамона Фалькона вновь обратилась к Гермесу со следующими мрачными словами:

— Ты должен знать, что этой группой командует таинственная личность по кличке Козел, а не наши честные товарищи по оружию, которые выполняют приказы могущественного Гадеса профессионально. Неизвестные нам лица на четырех прекрасных автомобилях марки «форд-фолкен» подъедут этой самой ночью к дому на улице Теодоро Вилардебо. Вооруженные до зубов и переодетые в форму полицейских, они выйдут из автомобилей и увезут с собой двенадцать смертных, приговоренных Гадесом.

Несколькими часами позже, если тебя интересуют подробности, о доблестный военный, двенадцать лиц, посещающих «Полимнию», и среди них несколько женщин, будут умерщвлены на пустырях Эсейсы [1]. Руки у них будут связаны за спиной, липкой лентой будут заклеены рты, а избитые тела их будут изрешечены пулями крупного калибра. О чем-нибудь еще ты хочешь спросить меня, о прославленный пришелец?

Но не успел он задать новые вопросы быстроногому Гермесу, как тот, снова превратившись в стремительного Вестника Олимпа, взмахнул крылышками сандалий и полетел передать эти страшные вести Афине и Афродите, которые с нетерпением уже поджидали его.

XIV

Услышав мой довольно резкий и настораживающий вопрос, Мастандреа заколебался. Он опустил глаза и уставился в пол, как будто бы искал что-то, и, уклонившись от прямого ответа, снова погрузился в скромное молчание. Думаю, что это он своими костылями два-три раза постучал в этот момент о паркет. Вероятно, он был чем-то встревожен и нервничал. Будто что-то или кто-то заставил его замолчать. Чтобы успокоить его, я снова задал вопрос, но уже более ровным и дружелюбным тоном:

— Почему вы не объясните мне все достаточно ясно, сеньор Мастандреа? Я действительно ничего не понимаю.

И вдруг, как будто сразу же забыв то, о чем он начал было говорить со мной, быстрым и решительным жестом, каким обычно выхватывают пистолет, он вытащил из внутреннего кармана пиджака несколько бумаг и протянул их мне.

— Хочу, чтобы вы прочитали,— сказал он.— Я разошлю это всем

[1] Предместье Буэнос-Айреса, где расположен аэропорт.

членам.— А затем, по-прежнему кружа вокруг да около, он стал мне кое-что объяснять.

Мастандреа хотел якобы по случаю приближающегося Нового года направить каждому члену «Полимнии» нечто вроде поздравительного буклета. В буклете будут воспроизведены — по его словам, «в качестве подарка» — несколько сонетов, написанных им за последнее время. Для этого-то на прошлой неделе он и попросил у сеньора Чавеса подробный список наших членов с их домашними адресами. Я заметил, что, на мой взгляд, это прекрасная идея, и даже поздравил его. Дело в том, что, несмотря на полное отсутствие художественных достоинств у его ужасных сонетов, меня умилило желание такого типа, как Мастандреа, которого я как-то назвал даже невоспитанным, быть по отношению к каждому из нас столь внимательным и любезным.

Такой простой и вполне понятной оказалась на деле причина, по которой Мастандреа взял меня под руку и чуть ли не оттащил от того места, где я стоял: он хотел показать мне свои сонеты. И, вероятно, хотел бы услышать слова одобрения либо критические замечания.

Я надел очки и стал читать. Серия сонетов называлась «Исповедь и сетования одинокого человека», все они затрагивали тему страдания и неудач автора.

Как всегда, они были явно плохими. Бесспорно плохими, без каких-либо смягчающих эпитетов. Много общих мест, невыносимых образов, рифмы крайне бедные, неизменно оканчивающиеся на «оге» и «ом». Сонеты изобиловали стилистическими несоответствиями, отсутствовала минимальная ясность.

Припоминаю первое сжавшее сердце четверостишие. Если не ошибаюсь, звучало оно примерно так:

Душа моя в заботах и тревоге,
Моя печаль всегда со мною рядом.
Из прошлого вдруг зло возникло на пороге,
Меня пугая своим страшным взглядом.

Я закончил чтение, спрятал очки и сказал ему, что, по-моему, стихи просто превосходны, мне понравилось их величие, и я уверен, что они вызовут необычайный эмоциональный эффект у каждого из членов «Полимнии», когда те получат их напечатанными в буклете.

— Абсолютно такого же мнения о них и сеньора Кистернмахер,— сказал мне тогда хромавший (в разных смыслах) сеньор Мастандреа. Стало быть, я не единственный, кому Мастандреа доверил чтение сонетов. Ну что ж!

Человеку хотелось продолжать разговор, иными словами, слушать и слушать хвалу своим безрадостным стихам, но мне уж больше нечего было ему сказать.

К счастью, в этот момент в комнату вошел сеньор Фругони в сопровождении сеньоры Циммерман. Очень бледный, сеньор Фругони, заставляя себя ступать твердо, будто все его тело отказывалось подчиняться принятому им решению, направился к группе, окружавшей сеньору Джаннелло (это была приятная и веселая группа, там находилась и Ирене, которую я, вопреки моему желанию, вынужден был покинуть, когда меня так не вовремя отозвал в сторону несносный сеньор Мастандреа). Я хотел воспользоваться приходом обоих друзей, чтобы отойти от него. Но, видимо, было уже предрешено, что ничего хорошего меня сегодня не ожидало. Едва я отделался от Мастандреа, как ко мне подошла на этот раз благословенная сеньора Циммерман, она дружески и вместе с тем повелительно взяла меня под руку, оттащила в угол зала, не дав ни малейшей возможности сопротивляться, и усадила рядом. Я, естественно, подчинился и приготовился ее выслушать.

— Я все устрою,— произнесла она доверительно, а тем временем ее правая рука быстро описала в воздухе сверху вниз полукруг, будто от этого простого жеста, разгоняющего комаров, как по волшебству могли развеяться в одну секунду и без особых усилий не только серьезные заботы взбудораженного сеньора Фругони, но и все остальные мировые проблемы.

Я сказал ей, что меня это радует, но, к сожалению, многого я не понимаю. Тогда сеньора Циммерман с материнским терпением, снисходительно, словно говорила с ребенком, вздохнула и постаралась вкратце изложить все, пытаясь сделать это как можно доступнее.

Довольно смутно — так как говорила она очень быстро, полушепотом и как никогда с большим акцентом,— но я все же начал улавливать кое-что относительно поведения сеньоры Фругони, которое сеньора Циммерман неоднократно называла «иррациональным». Из всего я понял, что сеньора Фругони «ни за что на свете» не хочет давать развод. И кроме того, своим примитивным и «абсолютно иррациональным» поведением держит в страхе бедного сеньора Фругони.

— Вы хотите знать, дорогой, какими средствами? Угрозами, угрозами, действительно вселяющими ужас.

Сеньора Циммерман перечисляла каждую из страшных угроз, касаясь указательным пальцем правой руки каждого пальца на левой: убить (большой палец), расправиться с детьми или украсть их (указательный палец), донести на него в — я так и не понял в какое — учреждение национальной безопасности (средний палец), расправиться с ним самим «при помощи наемных убийц» (безымянный палец), лишить его магазина (мизинец), шантажировать (снова большой палец) и так далее.

— А вот что произошло, почему вдруг столько угроз сразу? — спросила сеньора Циммерман, раскрыв ладони, наклоняя голову и прищурив глаза, как бы готовясь тщательно проверить глуповатого ученика. Я развел руками, давая понять, что не знаю, как ответить. Тогда она со своей обычной педагогической мягкостью объяснила, что благодаря обширным познаниям в области психологии пришла к мудрому заключению. Бесспорный вывод напрашивается сам собой: сеньора Фругони ничего не будет предпринимать и вскоре добровольно согласится на развод. Когда? Естественно, как только она, сеньора Циммерман, поговорит с ней и объяснит многие вопросы.— Какие же это вопросы, дорогой?

Вопросы очень важные: вопросы любви, супружеских отношений, фатальности, духовных привязанностей, денег, которых, безусловно, будет у нее в достатке, когда разведется с сеньором Фругони; еще она расскажет о почти аналогичной ситуации у ее золовки, которая сейчас снова вышла замуж за управляющего израильским банком и очень счастлива.

— Вы понимаете, дорогой?

Я ответил, что прекрасно понял ее, несмотря на свою непоправимую глупость, а сам тем временем не переставал поглядывать в сторону группы, где находилась Ирене, стараясь — признаюсь в этом — прислушаться к их разговору.

По правде говоря, я не знал, как предложить сеньоре Циммерман подойти к ним. Я пытался придумать способ, чтобы сделать это повежливее, как вдруг отчетливо услышал, что сеньор Чавес произнес слово «угрозы». Сеньора Циммерман также услыхала это и, нахмурив брови, посмотрела на меня. Я подумал — и сеньора Циммерман тоже, я в этом уверен,— что секрет сеньоры Фругони стал достоянием всех, и в совершенно непредвиденной форме. Тогда я предложил ей немедленно подойти поближе, ибо то, о чем говорилось там, могло бы заинтересовать ее.

Сеньор Чавес снова произнес слово «угрозы», но в другом контексте, чем мы думали.

— Угрозы,— говорил он,— которым мы, мужчины и женщины, честные, уважающие законы и преклоняющиеся перед торжествующей святыней поэзии, не должны придавать ни малейшего значения.

Слово «угрозы», таким образом, относилось совершенно к другой теме. Я поинтересовался, в чем было дело, и тогда сеньор Чавес, улыбаясь и стараясь все обратить в шутку, рассказал следующее: в доме, где собирался кружок, а также в доме сеньора Чавеса несколько дней тому назад раздались грубые угрозы по телефону. Я снова спросил, уже несколько обеспокоенный, о характере этих угроз.

— Глупости,— ответил сеньор Чавес, элегантно поворачиваясь на каблуках и обращаясь ко всем,— угрозы, скажем, политического характера. Это наверняка какой-то смехотворный ляпсус. Нас, вероятно, спутали с каким-то комитетом или с чем-то в этом роде. Прошу вас не волноваться. Я постараюсь выяснить все там, где должны в этом разобраться.— И сделав светский жест, он добавил: — А сейчас, что вы скажете, друзья мои, если после перерыва мы продолжим слушать наших любимых и восхитительных поэтов?

XV

29 ноября 1975 года

От старшего офицера Фариаса комиссару Бевилакуа

Докладываю, что в указанный выше день, приблизительно в 14.00 капрал Рамирес вновь осуществил визуальное обследование дома Карлоса Архентино Мастандреа, воспользовавшись тем обстоятельством, что автор данного донесения послал записку, в которой он просил произвести обмен часов, приобретенных им недавно, так как в них обнаружились дефекты.

Субъект, который встретил капрала Рамиреса в маленькой комнате, служившей складом для старья и конторой одновременно, в тот момент сидел за столом и переписывал начисто шариковой ручкой через копирку нечто похожее на циркуляр, адресуемый членам «Полимнии».

На вопрос, что он пишет, этот субъект ответил: поскольку ему удалось выпросить у руководителя группировки список членов, которых он якобы хочет поздравить по случаю Нового года, то ему ничего не остается делать, как составить текст поздравления, чтобы не возбуждать подозрений.

На вопрос, собирается ли он рассылать поздравления, написанные под копирку, он ответил, что нет — он переписал текст начисто, желая отправить его в типографию.

На вопрос, не кажется ли ему, что для поздравительной открытки текст слишком велик, он ответил, что хотел воспользоваться случаем и включить в поздравление некоторые из своих стихов, которые написаны на тонком оранжевом картоне в виде буклета.

На вопрос, не считает ли он должным представить нам копию того документа, который готовит, после некоторых колебаний и с явным нежеланием он наконец вручил его, не скрывая досады и проявляя нервозность.

Хотя в тексте и нет ничего такого, что могло бы изменить ход проводимых расследований, но в дополнение к уже переданным документам и полагая, что этот буклет может содержать зашифрованную информацию, которую следует проанализировать, считаю целесообразным направить вам снятую под копирку копию, реквизированную капралом Рамиресом.

XVI

Сверкая доспехами, Гермес снова пересек беспредельный Эфир и взлетел к Олимпу, на вершине которого, окруженной облаками,

поджидали его, уже начиная проявлять нетерпение и беспокойство, Афина, богиня с ясными очами, и несравненная Афродита — две покровительницы тех смертных, которые в этот момент с энтузиазмом аплодировали сеньоре Джаннелло, только что закончившей чтение своей поэмы.

Едва коснувшись крылатыми ногами золотистого покрова Олимпа и с трудом переведя дыхание — его волшебное сердце билось с огромной силой, ибо мчался он с головокружительной быстротой,— сказал так исполнительный Гермес, обращаясь сразу к обеим богиням:

— О богини, все я разузнал и выполнил тем самым пожелание божественной Афины.

Знайте, что поводом, из-за которого мстительный Гадес набросился на двенадцать наших подопечных, как обычно, явился каприз, и поэтому он неоспорим. Непогрешимые авгуры известили его, что сегодня, 3 декабря 1975 года, подрывные элементы должны отправить в мрачное подземное царство прославленного генерала Хорхе Эстебана Касереса Монье, которого по многим причинам возлюбил ненасытный Гадес.

Посему, дабы осуществить свою пагубную месть, Гадес уничтожит кровавым и страшным образом двенадцать смертных, которых он в тот же вечер переправит в подземное царство за железными вратами. Свой грозный взор обратил он на тех, кто посещает дом на улице Теодора Вилардебо, а они, как вы знаете, соберутся все вместе в тот вечер в маленьком зале.

Что же касается средств, к которым прибегнет ненавистный Гадес, чтобы выполнить свою кровавую затею, о любимые богини, то для этого будут отобраны люди, личность которых трудно установить, но принадлежат они к ультраправой террористической организации, воспользуются эти люди четырьмя первоклассными автомашинами марки «форд-фолкен», в тот день они остановятся у дома № 2562 на улице Теодоро Вилардебо, выйдут из машины, вооруженные грозным оружием и одетые в форму полицейских, силой втащат в свои автомобили двенадцать смертных, приговоренных Гадесом.

Вот такую речь произнес не знающий усталости Гермес, и поспешила ответить ему неукротимая Афина:

— Мы внимательно выслушали тебя, благоразумный Вестник. Насколько я поняла, практически уже невозможно противостоять могущественному Гадесу и выхватить из его цепких рук подстерегаемую им добычу. Невозможно также, ввиду его холодного, угрюмого и нелюдимого характера, красноречивыми словами убедить Гадеса отказаться от добычи. Если у прекрасной Афродиты нет иного мнения, я абсолютно уверена в том, что гибель наших подопечных мы должны воспринять как непоправимый, свершившийся факт.

Вслед за ней заговорила Афродита, богиня с очаровательным лицом, которая, обращаясь к искушенной в военном деле Афине, произнесла:

— Сказанное тобою, о доблестная дева, правда. Но хочу верить, что минуты тяжелого раздумья, предложенные тобою, не прошли для нас впустую. Размышляя, я пришла к выводу, суть которого я изложу тебе сейчас, если ты захочешь меня выслушать. Это верно, что мы, богини Олимпа, уже не можем противостоять безжалостному Гадесу, с которым даже сам Зевс, его могущественный брат, не пожелает вступить в схватку. Однако сделаем так, чтобы духи Счастья и Любви, беспрекословно выполняющие мои приказания, а также дух Удовольствия, порожденный духом Разума, над которыми имеешь ты свою неоспоримую власть, вселились сегодня же вечером, о Афина, в души благородных посетителей дома № 2562 на улице Теодоро Вилардебо и заполнили бы радостью и наслаждением те короткие минуты, которые им осталось жить.

И тогда ответила неукротимая дочь Зевса:

— Я с радостью подтверждаю, что ты предвосхитила мои мысли, несравненная Афродита. Мои раздумья привели меня, безусловно совсем иными путями, но к тому же выводу, какой сделала ты. И я справедливо ожидала услыхать от тебя именно это, а потому предлагаю тебе заключить союз, условия которого мы, преисполненные твердой решимости, будем неукоснительно соблюдать.

Мы поклянемся, если ты этого пожелаешь, прекратить наше соперничество, нашу древнюю безжалостную междоусобицу, пока кровожадный Гадес осуществляет свой замысел по отношению к посетителям дома № 2562 на Теодоро Вилардебо.

Как доказательство того, что наш договор вступает в силу, я сделаю так, что дух Незыблемого Супружеского Долга без промедления покинет душу безукоризненного Анибаля Фругони и последний горячо откликнется на любовные призывы сеньоры Джаннелло. А затем я сделаю так, что духи Робости и Нерешительности, подобно зайцам, преследуемым гончими, покинут блистающего своей элегантностью Хосе Мариа Пуличиккио, чтобы он без страха мог обращаться к своей возлюбленной Ирене.

А ты, прекрасная Афродита, подашь мне знак и сделаешь так, чтобы духи Признания и Нежности проникли в непобежденное сердце радующей мой взор безупречной Ирене Бенгоэчеа, тридцатидевятилетней девственницы, которой я не буду мешать принять признания в любви твоего подопечного, восхитительного сеньора Пуличиккио.

И еще ты, богиня-обольстительница, позволишь духу Мудрого Согласия, которого я ниспошлю, вкрасться в душу усердной сеньоры Циммерман, чтобы та с умом вышла из трудной ситуации, а мстительное сердце сеньоры Фругони, моей подопечной, не побуждало бы ее к эксцессам.

Однако я хочу, чтобы ты, интриганка Афродита, помнила о том, что после осуществления кровожадным Гадесом своего замысла мы вновь вернемся к нашему древнему спору, поскольку отвратительны моему сердцу твои лукавые проделки, точно так же как твое сердце отвергает мое бесхитростное поведение. А теперь скажи мне: заключаешь ли ты такой союз на условиях, которые я только что объявила?

И ответила божественная Афродита с нетерпением:

— Я принимаю, непокорная и девственная Афина, все условия этого союза, которые ты только что предложила мне, и если направишь свой взор в сторону дома на улице Теодоро Вилардебо, ты обнаружишь, что наш договор вступил в силу.

Однако именем твоего отца Зевса-громовержца я прошу тебя, о богиня, не будем растрачивать понапрасну драгоценное время. Полетим сейчас же к тенистому кварталу Вилья-дель-Парке, немедленно войдем в старинный дом на Теодоро Вилардебо и пробудем там вместе с нашими возлюбленными смертными вплоть до печального момента, когда незаметно подъедут четыре «форда-фолкена» и исполнится замысел безжалостного Гадеса.

Я спрячусь за быстро вращающимися лопастями вентилятора, купленного ими недавно, и оттуда стану направлять на всех сидящих в уютном маленьком зале с обоями голубого цвета приятный легкий ветерок, который будет ласкать их и вызовет сладкий прилив любви даже в самом надменном и черством сердце.

Ты же, превратившись в никому не знакомую сеньориту, сядешь на свободное кресло между сеньором Паско, слепым на оба глаза, и матерью сеньориты Кистернмахер в том же самом ряду, где сидят Ирене и сеньор Пуличиккио, и будешь следить за всеми и оказывать благотворное влияние.

Что же касается тебя, о божественный и неутомимый Гермес, останься за пределами этого зала. Ты немедленно предупредишь нас, как только заметишь, что из-за угла появился бампер первого «форда-фолкена», или же услышишь вдалеке зловещий рокот его мотора.

Такие слова произнесла белокурая Афродита, и, не тратя времени на бесполезные споры, богини вместе с Гермесом стремительно покинули вершину Олимпа и вскоре оказались в тенистом квартале Вилья-дель-Парке.

И Афина превратилась в незнакомую сеньориту, которая горячо зааплодировала вдохновенным словам сеньоры Джаннелло. И Гермес, превратившись в ночную бабочку, порхал по двору. И Афродита спряталась за быстро вращающимися лопастями вентилятора, купленного недавно, и, превратившись в легкий ветерок, ласково обвевала всех, отгоняя от их сердец безотчетный страх, вызванный словом «угроза».

Афина со своей стратегической позиции между сеньором Паско и матерью сеньориты Кистернмахер вызвала дух Непоколебимого Супружеского Долга и приказала ему: «Немедленно оставь истерзанную душу сеньора Фругони!» Духам Трусости и Нерешительности, прочно засевшим в душе сеньора Пуличиккио, она крикнула в гневе: «Прочь отсюда!»

Затем она обратилась к духу Разумного Согласия и приказала: «Проникни немедленно в душу сеньоры Циммерман!» И сеньора Циммерман загорелась желанием найти выход из создавшейся ситуации, она решительно направилась к помещению в глубине двора, чтобы тактично поговорить с сеньором Фругони...

Афродита же направила легкий ветерок на возбужденное тело Ирене Бенгоэчеа, тридцатидевятилетней девственницы, и лицо ее сразу же залилось краской, она потупила взор и стала быстро перелистывать пятьдесят страниц своей тетради, заполненной стихами, написанными простым карандашом.

А подув на искусного соблазнителя сеньора Чавеса, она постаралась сделать так, чтобы его ухаживания за сеньорой Джаннелло вызвали безудержную ревность в многострадальном сердце сеньора Фругони. И пока сеньор Чавес, подталкиваемый легким ветерком, направленным Афродитой, быстро прошел через комнату с горящей зажигалкой в руке, дух Безудержной Ревности уже вселился в сеньора Фругони и помог ему без промедлений решиться ответить на любовь, предложенную страстной сеньорой Джаннелло.

Когда Афродита поняла, что робкое сердце Хосе Мариа Пуличиккио не избавилось еще от страха, что на него сильнее, чем на других, подействовало сообщение о телефонных звонках, она приказала: «Явитесь немедленно, дух Памяти и дух Тщательного Анализа, проникните в душу моего подопечного сеньора Пуличиккио, чтобы он во время перерыва переворошил в памяти все, что в прошлой жизни каждого из членов «Полимнии» было связано с политикой, и быстро понял: телефонные звонки не имели отношения ни к одному из них,— и он избавится от страха».

Заботливо опекали боги благодушных завсегдатаев дома на улице Теодоро Вилардебо, и никого из прибывших с Олимпа не беспокоила затянувшаяся декламация, они не проявляли интереса к ужасным стихам, ибо для них, как известно, и Гомер, и Уитмен, и сеньора Мастрокарбоне де Джаннелло были всего-навсего хрупкими человечками, которым не избежать смерти, подстерегающей их на протяжении крошечного отрезка времени их существования на планете, такой же крошечной, хрупкой и бренной.

XVII

Предложение нашего дорогого сеньора Чавеса вызвало у всех нас — в той или иной степени — самую горячую поддержку. Сеньора

Циммерман энергичным тоном заявила: «Да, сеньор!» — ударила в ладоши, будто давая всем понять, что перерыв закончен и мы должны выстроиться в ряд, соблюдать дистанцию, сделать перекличку — слева направо — и немедленно занять свои места в абсолютно идеальном порядке. Сеньора Джаннелло ответила ей на это грациозным жестом послушной школьницы. В этот момент она находилась неподалеку от вентилятора, в воздухе затрепетала прядь ее прекрасных иссиня-черных волос, шаловливо задев щеку сеньора Фругони. Затем, нежно улыбнувшись, она совершенно непринужденно взяла под руку автора «Привидения на телеге», который восторженно смотрел на нее. Сеньор Фругони — не знаю, то ли после умных слов, сказанных сеньорой Циммерман, то ли после прикосновения шаловливых волос,— казалось, успокоился и даже повеселел. Оба неторопливо направились в глубину зала, сели в последнем ряду, прижавшись друг к другу. Сеньор Мастандреа, как всегда в самый неподходящий момент, проворчал нечто похожее на «Я голосую «за», присовокупив вполголоса, вероятно, какую-то дерзость, обращенную к матери автора телефонных угроз. Два своих костыля он прислонил к стене и тяжело опустился в кресло у выхода. Он продолжал обливаться потом и, чтобы не запачкать рубашку ручьями, стекавшими по его двойному подбородку, засунул за воротник огромный коричневый платок, напоминавший салфетку или детский нагрудник.

Другие члены кружка, не проявляя ни поспешности, ни страха, ни нервозности, стали возвращаться на свои места, занимать пустовавшие кресла. И во всем этом, в их решимости во что бы то ни стало вновь вернуться к чтению стихов сквозило молчаливое единодушие.

Мне показалось, что уже никто не вспоминал об угрозах, которые все с легкостью — по-моему, даже с чрезмерной — сочли результатом чьей-то шутки (сеньорита Кистернмахер), или зависти (сеньора Джаннелло), или ошибки (сеньор Паско и сеньора Циммерман), или же, как наивно мне прошептал на ухо юный Ромилио Соса, местью раздраженной сеньоры Фругони.

Я машинально попытался отыскать взглядом сеньора Чавеса. Он стоял в глубине зала рядом с сеньоритой Кистернмахер, внимательно изучая список лиц, которые должны будут читать стихи во втором отделении нашего вечера (и, конечно, обдумывая наиболее цветистые фразы своего представления выступающих).

Небольшая заминка позволила мне восстановить в памяти недавние, уже миновавшие мрачные минуты, проанализировать все происшедшее — скорее желая развлечься, чем с иной целью,— и уяснить для себя, могут ли мои собратья по перу принадлежать к какой-либо политической или другой организации. Должен признаться, что это было весьма забавной и невинной тренировкой ума. Но мне это помогло, и, сам не знаю почему, я сразу же избавился от всяческих страхов или беспокойства, вызванных угрозами. Я полагаю, что настало время дать краткую характеристику каждому члену нашего кружка.

Вполне естественно, начну с председателя. Сеньор Чавес, испанец по происхождению, служит управляющим в одной из солидных компаний по продаже недвижимости, является членом «Ротари клаб» в Вилья-дель-Парке. Помимо его неясных республиканских идеалов и связей с масонскими ложами, которые, по его словам, принимали активное участие в борьбе за нашу независимость, он никогда не разделял какой-либо идеологии, которая не была бы истинно демократической.

А сеньор Фругони? О сеньоре Фругони было известно лишь, что он — перонист старой закваски, хотя и не был членом перонистской партии. В действительности активистом этой партии была его жена (не знакомая никому из нас, но довольно часто упоминающаяся на страницах этой книги), которая, как вскоре нам стало известно, вхо-

дила в состав одного из так называемых «рабочих комитетов». Являясь сторонницей самого ортодоксального и официального направления, она вне подозрений политического характера. Что же касается самого сеньора Фругони, то любой мог бы согласиться со следующим простым и явным выводом: чрезмерная занятость в магазине «Цветок лилии», серьезные трудности духовного и семейного характера, которые удручали его, неуклонное посещение всех собраний кружка, где наряду с обязанностями казначея, к которым он всегда относился весьма серьезно, он предавался прежде всего прочувствованному исполнению своих бесконечных поэм о гаучо (их он обычно выписывал тушью на листках тонкого испещренного рисунками картона, имитирующего кожу) — все это настолько заполняло его досуг, что для активного участия в деятельности каких-либо партий у него просто не оставалось свободного времени.

Я не хотел пропускать себя и подумал, что, хоть меня и можно было назвать сторонником радикальной партии — с давних пор все в моей семье были радикалами,— но если не считать моего участия в голосовании и того, что однажды я был избран счетчиком голосов по просьбе моих родственников, я никогда не занимался политической деятельностью. Я действительно не занимался подобного рода деятельностью, если опять-таки не считать — вспомнил я об этом не без хитринки — чтения от корки до корки открыто оппозиционной режиму газеты «Ла Пренса»; некоторые ее беспощадные и язвительные комментарии (нередко и возмутительные — не отрицаю) по поводу отдельных акций нашего правительства или военных мы обычно пересказывали друг другу, встречаясь на улице с глазу на глаз.

В этот момент юный Ромилио Соса вошел в зал и молча занял место в предпоследнем ряду. Что же касается принадлежности Ромилио Сосы к перонистской организации, то это ни у кого не вызывало сомнений. Самым пикантным было то, что он наивно полагал, будто все мы, ибо нас он считал добрыми людьми, должны были последовать его примеру.

Рядом с Ромилио, обмахиваясь журналом как веером, каждый раз спрашивая, который час, и объясняя юноше глубокий смысл стихов, что она будет читать сегодня вечером, сидела сеньора Циммерман. Принадлежность ее к какой-либо партии также не вызывала у нас сомнений. Но я вспомнил ее великодушное и благоразумное поведение на собраниях кружка и признал, что за исключением одного случая, когда мы обратили внимание на то, как она пыталась распространить в кружке боны компартии, проводившей кампанию по сбору средств, она никогда не порывалась вести среди нас политическую либо идеологическую работу. И я вспомнил, как в тот раз сеньора Циммерман, проявив малоприятную для нее, но в то же время достойную похвалы самокритичность, признала свою ошибку и с тех пор, хотя ее имя продолжало изредка появляться в газетах, в основном в связи с отдельными общественными мероприятиями или деятельностью Союза аргентинских женщин, никогда больше — это надо признать — не нарушала положений нашего устава.

Затем я стал размышлять о слепом сеньоре Паско, и сколько бы я ни пытался вспомнить, не мог привести ни одного хотя бы малозначительного факта, свидетельствовавшего о его политических взглядах. Скорее всего у него их просто не было.

Сеньор Мастандреа вытащил второй платок и вытирал им теперь лоб. В личности Мастандреа, основываясь главным образом на его сонетах, я обнаружил странную смесь консерватора, сектанта, адвентиста седьмого дня, и любителя старых танго с некоторыми националистическими чертами и даже, осмелился я заметить себе, с чертами, свойственными сторонникам генерала Росаса [1], хотя сам он ни разу

[1] Хуан Мануэль де Росас (1793—1877) — диктатор Аргентины, его пребывание у власти продолжалось двадцать четыре года.

не говорил об этом, и прежде всего никогда не упоминал имени последнего.

Сеньор Чавес, с присущим ему тактом и изящными манерами, извинился перед сеньоритой Кистернмахер за то, что прерывал беседу с ней, ласково взяв ее руки в свои, и только после этого направился на сцену. Улыбка восторга и удовлетворения пробежала по лицу сеньориты Кистернмахер. Я наблюдал за тем, как она на своей инвалидной коляске передвигалась по проходу, чтобы как обычно занять место в первом ряду. У меня было еще несколько секунд поразмышлять о ней. Я вспомнил, что во время одного ее поэтического выступления, по случаю годовщины со дня рождения Гёте, она показала себя противницей нацизма, однако всем было ясно, что больше ее волновали проблемы теософии и оккультных наук, нежели проблемы политики.

Наш председатель снова взял список поэтов, записавшихся для выступления в эту среду, и приготовился уже объявить фамилию поэта, открывавшего второе отделение.

Ирене, задержавшаяся где-то, быстрой походкой на цыпочках вошла в зал и села рядом со мной.

На этом и завершились мои размышления о членах нашего кружка. Я пришел к счастливому выводу, что никто из нас не мог служить объектом предполагаемых (и почти уже забытых) угроз. И уж тем более не мог быть этим объектом сам кружок, руководство которого неустанно следило за неукоснительным выполнением пятого пункта нашего устава, согласно которому всем членам запрещалось «затрагивать в дискуссиях политические и религиозные темы».

Поэтому, не проявляя больше беспокойства, я приготовился внимательно слушать. Первым на сцену должен был выйти слепой сеньор Паско. Сеньор Чавес объявил его выступление, отозвавшись о нем как о «нашем любимом певце земных чувств». Затем он дружески взял его под руку и проводил на сцену.

XVIII

От старшего инспектора Гусо (Главное управление федеральной безопасности) комиссару Бевилакуа (подразделение 45а)

29 ноября 1975 года

Уважаемый Бевилакуа,

прошу тебя избегать в будущем всякого рода переписки личного характера. Это не соответствует должности, которую я занимаю. Кроме того, я не полагаюсь, и ты уж извини меня, ни на твое благоразумие, ни на твою скромность — что с тобой поделаешь!

Лишь в порядке исключения я отвечу на твое письмо от 28 ноября (которое я только что сжег) и надеюсь, что в последний раз вынужден обращать на это твое внимание. Ты уже достаточно долго работаешь комиссаром и, как мне кажется, должен был бы приобрести определенный опыт.

Скажу тебе откровенно, Бевилакуа: мне никоим образом не нравится то, как ведется работа в твоем подразделении. Приведу один пример. Паршивый младший офицерик, которого ты направил ко мне, нагло («кретин», как сказал бы мой старик) вынудил дежурного офицера спросить у меня, готов ли ответ на твое письмо, дескать, он опаздывает. Вспомнив о тебе, я не засадил его в карцер, но заставил этого идиота подождать до четырех часов утра, так и не передав ему никакого письма.

Ты скажешь мне, что это был всего лишь идиотизм младшего по званию и что ты к этому не имеешь никакого отношения. Пусть будет так, но подобное поведение, дорогой Бевилакуа, достаточно ясно свидетельствует о тяжком проступке младшего инспектора Дилео.

Это как раз то, что ты весьма бестактно называешь «свинством». Пойми раз и навсегда, Толстяк, что это не просто свинство. Это грубейшее нарушение дисциплины, за которое ты должен его сурово наказать и за которое ты сам уже сейчас расплачиваешься. Я бы сказал тебе, что это такое, если бы не многолетняя дружба, связывающая нас с тобой.

Давай договоримся, Бевилакуа. «Ошибки», подобные тем, которые совершил Дилео, не должны повторяться.

И уж тем более недопустимо, чтобы ты в своих письмах с такой развязностью сообщал подробности конфиденциальной информации, которые, как ты сам увидишь, компрометируют тебя до...

Мы живем, Бевилакуа, в очень трудное время. Я прекрасно знаю, что тебе немного осталось до пенсии. И знаю также, что тебя по-настоящему не интересовала учеба на курсах усовершенствования в Соединенных Штатах, что я неоднократно предлагал тебе. Но ты должен понять, что в наши дни в Буэнос-Айресе с кругозором деревенского комиссара ты уже не можешь руководить, как двадцать лет назад, когда я был всего лишь офицеришкой-писарем и работал под твоим началом в подразделении 45а.

Если моя карьера, как ты сказал мне в прошлый раз на банкете, была «головокружительной и блестящей», то она стала такой лишь потому, что я сразу оценил обстановку смутного времени, в которое мы живем, осложненного прежде всего тем, что сегодня мы сталкиваемся с новым видом преступности — преступностью подрывных элементов. Я вовремя понял, что для успешной борьбы с этой преступностью нам необходимы поездки за границу для повышения квалификации. Вот, Бевилакуа, и весь секрет моей столь «головокружительной и блестящей» карьеры.

А теперь позволь разъяснить тебе: то, что твой младший офицер вынудил дежурного спросить меня, готов ли мой ответ, не было случайностью, а напротив — свидетельствовало об идиотизме младшего инспектора Дилео. Я говорю тебе, Бевилакуа, совершенно искренне, что в этом виноват исключительно ты.

По вполне понятным причинам не хочу вдаваться в детали (объясняю: я не люблю копаться в деталях), однако учти, если тебе это неизвестно: тот, которого задержал Дилео и имя которого мелькает в твоих бумагах,— племянник одного депутата. Все это не было бы так серьезно, если бы депутат не поддерживал близких отношений с некоторыми ныне здравствующими генералами. Что скажешь?

Мне очень жаль, Бевилакуа, что в прессе уже появились требования об освобождении его, но здесь я ничем не могу тебе помочь. Все зависит от того решения, которое примут представители трех родов Вооруженных сил в ближайшие недели в отношении различных дел, в раскрытии которых они весьма заинтересованы. А если так будет и дальше продолжаться, то я очень опасаюсь, Толстяк, что тебе придется подать в отставку. Вероятнее всего, надо сделать так, чтобы кровь не просочилась в реку, но в любом случае тебе необходимо сделать не столь уж многое. Поэтому сохраняй спокойствие и во всем положись на Бога. Вот и все, что в отношении этого я могу тебе сказать.

Другой вопрос — обеспечение охраны высшего военного состава Вооруженных сил (я прошу тебя не употреблять в письмах слово «вояки», даже если эти письма личные). В какое, ты думаешь, время мы живем, Бевилакуа? Как ты можешь сомневаться, стоит ли тебе выставлять охрану, если об этом просит командующий Первой армией? Да черт с ними, с этими фабриками, дорогой мой! Пусть твое начальство спрячется в стальной сейф, если у него нет иного выхода. Но тебе не стоит даже и в мыслях допускать невыполнение этого приказа. Не удивляйся, Бевилакуа, но подобные действия говорят о

том, что либо ты многое забыл, либо недооцениваешь ряд обстоятельств, либо не знаю уж, что там еще. Ты меня понимаешь?

А теперь перехожу к твоему третьему вопросу, который мне представляется наиболее важным,— группа, занимающаяся подрывной деятельностью в доме № 2562 по улице Теодоро Вилардебо. Надеюсь, на наше с тобой счастье, старший офицер Фариас правильно ведет дело. Кстати, с помощью Фариаса мне удалось выявить некоторые твои ляпсусы, о которых когда-нибудь мы поговорим отдельно. Я очень внимательно прочитал все донесения и особенно донесение Фариаса. Блестящую работу проделал капрал Никодемо Рамирес. Меня все больше и больше интересует этот парень. Направь его ко мне в Управление в понедельник к 10.00. Думаю, что для меня может представлять интерес его работа непосредственно в нашем департаменте.

По твоей просьбе направляю копии данных из картотеки. В действительности, как ты сам убедишься, это краткое изложение донесений, позволяющее вести обычную нашу работу. Дело в том, что есть люди, которых раздражают очень подробные донесения. Не знаю, понимаешь ли ты, что я имею в виду.

Увидишь, какие рыбешки водятся на территории твоего подразделения. Однако, Бевилакуа, поосторожней с этим: дело «Теодоро Вилардебо, 2562» переходит непосредственно в ведение Главного управления федеральной безопасности. Тебе ясно?

Как известно, преступная подрывная деятельность, почти разгромленная в сельских областях, сосредоточивается теперь в районах густонаселенных. Это мы хорошо усвоили на курсах у мистера Томаса. Поэтому дело «Теодоро Вилардебо, 2562» представляется нам чрезвычайно серьезным. Объединенные Вооруженные силы займутся разработкой мер, которые будет необходимо принять в будущем.

Постарайся это получше понять, будь умнее на сей раз и не вмешивайся, что бы ни произошло. Идет? Если твое участие будет необходимо, мы своевременно предупредим тебя об этом.

Линия, проводимая в отношении Мастандреа, была полезной до настоящего момента, я признаю это, и, как ты заверяешь меня, не вызывала никаких подозрений. Быть может, субъект уже сделал все, что мог, и мне представляется рискованным продолжать в дальнейшем использовать его, ведь речь идет не о расследовании нападения на мебельный магазин на авениде Фореста, а о чем-то более важном и имеющем отношение к священным интересам нашей родины. А на таких типов, как Мастандреа, особенно полагаться не следует. Забудь про него и доверься мне. Если тебя это интересует: твоя фамилия не появится ни в одном документе.

По данным, которыми мы располагаем, деятельность названной выше группы многообразна. Принятые нами меры, безусловно, помогут пролить свет на ряд террористических актов, совершенных в зоне. Субъекты Ромуальдо Чавес и Сара Циммерман, по-видимому, являются особо важными кадрами в этой преступной организации. То же можно утверждать и в отношении Хосе Мариа Пуличиккио, о котором известно, что это чрезвычайно опасный тип. Хотя данная ячейка действует как легальная организация под «крышей» «Полимнии», не исключено наличие арсенала на вилле по улице Теодоро Вилардебо. Преступники наверняка попытаются оказать отчаянное вооруженное сопротивление. Поэтому действовать будем исключительно мы. Не рискуй понапрасну своими людьми.

Прежде чем закончить это письмо, которое становится уже слишком длинным, хочу уяснить для себя ряд деталей:

1) не понимаю и не хочу понимать всего, что связано с часами. Запрещаю тебе даже упоминать об этом;

2) не знаю, кого ты имеешь в виду, когда говоришь о субъекте по кличке «Козел». Кто это такой? Меня он не интересует. Племян-

ник депутата никогда не был задержан в подразделении 45а. Поэтому никто его оттуда не вызволял. Смотри не давай информации прессе, когда она заговорит о группах содействия полиции и тому подобном.

Прилагаю для тебя копии данных из картотек, а на отдельном листе — список имен всех лиц, составленный в алфавитном порядке, вместе с номерами их удостоверений и уточненными домашними адресами. Просмотри их, но держись в рамках. Начиная с завтрашнего дня с 0 часов наблюдение будем вести исключительно мы. Имей это в виду, и снова повторяю: ни за что на свете не вмешивайся. Даю тебе этот совет ради твоего же благополучия и надеюсь, что ты меня послушаешь.

Благодарю за приглашение, однако в гости к тебе прийти не смогу и думаю, что мне не удастся этого сделать в течение довольно длительного времени.

С уважением,

Гусо.

XIX

ЧАВЕС РОМУАЛЬДО, он же Золотой Клюв или Галисиец.
Испанец, 59 лет, холост, служащий.

Родился в Вильяльпандо (Саморра, Испания) в 1917 году. Деятельность в стране рождения неизвестна. В 1934 году прибыл в Аргентину, уже между февралем и июлем 1937 года его фамилия неоднократно появляется в списках лиц, поддерживающих своими взносами Международную организацию помощи революционерам (МОПР).

В 1938 году активно участвует в бурной антифранкистской демонстрации, был задержан вместе с другими 42 испанцами — ярыми сторонниками красных. Во время демонстрации он вместе с другими нес испанский республиканский флаг огромных размеров, в отношении этого случая имеются достоверные сведения, хотя и нельзя их доказать. Оставлен на свободе «за отсутствием улик».

В 1958 году фигурирует как заместитель руководителя общественного спортивного клуба «Аргентинский Восток» — пропагандистский центр масонской ложи «Восток», тесно связанной с международным франкмасонством.

В его холостяцкой квартире на улице Аргерич, за которой было установлено круглосуточное наблюдение, бывают кроме женщин легкого поведения молодые мужчины и женщины с книгами в руках или пакетами подозрительного характера и некоторые его соотечественники, как установлено, марксистской ориентации. По меньшей мере три женщины, члены группы «Полимния», посещали его квартиру в течение всего нынешнего периода наблюдения за домом. В трех случаях швейцар этого дома информировал, что через дверь можно было слышать, как проигрывались пластинки со старинными болеро, а иногда слышался звон бокалов. Это известная практика; кроме того, чтобы помешать подслушиванию разговоров, таким образом пытаются представить подобные встречи как обычные любовные свидания, на самом же деле, как предполагается, они демонстрируют высокую степень организованности.

Особо важная информация. В двух случаях его имя как управляющего компании по продаже недвижимости скомпрометировано при реализации помещений, позднее использованных подрывными преступными элементами. Одним из этих помещений была вилла на улице Кондарко, где во время обыска геройски погиб сержант Ретамар. В обоих случаях в результате ловких действий адвокатов удалось доказать его невиновность. Следует отметить, что совершенно случайно одним из этих адвокатов оказался доктор Франсиско Сотомайер (он же Пако), погибший недавно от рук неизвестных лиц и обвиненный в поддержке подрывной деятельности, так как пытался очернить доброе имя полиции своими заявлениями о пытках в тюрьмах. Прекрас-

но разбирается в юридических тонкостях. По-видимому, является важным лицом в преступной организации. Хотя и считается заместителем Циммерман, его знают как председателя «Полимнии».

БЕНГОЭЧЕА ИРЕНЕ, член конгрегации «Непорочное зачатие». Аргентинка, 39 лет, незамужняя, преподает в церковных школах.

По-видимому, является внучатой племянницей известного анархиста Пруденсио Бенгоэчеа, портового грузчика, руководителя организации ФОРА [1], погибшего в результате несчастного случая, происшедшего с ним в комиссариате 2а г. Авельянеды в 1932 году.

В 1957 году входила в состав хора ассоциации басков «Эускади». В том же году хор участвовал в нелегальном коммунистическом фестивале, проводившемся в луна-парке. В сообщениях Интерпола указывается, что некоторые члены ассоциации «Эускади» в настоящее время, вероятно, связаны с террористической организацией басков ЭТА.

С 1961 года преподает испанский язык и литературу в колледже «Святое сердце». Наш осведомитель в колледже сообщает, что она — сторонница революционизации «третьего мира».

Помимо участия в собраниях группы «Полимния», где ей отводится важная роль (отвечает за финансы), она регулярно посещает собрания бывших учеников колледжа «Наша богоматерь дель Уэрто», прибежище мятежных священников «третьего мира» и место встреч элементов подрывного перонизма.

Посещает богослужения по воскресеньям и исповедуется у падре Корреа. Падре Корреа посещал Кубу в 1971 году, в результате на него был совершен ряд покушений.

XX

А пока неукротимая Афина и прелестная Афродита, которых объединял нерушимый союз, отодвинувший на задний план всякие распри между ними, вместе с храбрым Гермесом, обутым в золотые сандалии, заботились о своих подопечных, жизнь которых в короткий срок должна была, вероятно, закончиться неминуемой гибелью от рук жестоких пассажиров четырех автомобилей марки «форд-фолкен», угрюмый и могущественный Гадес мрачно наблюдал за ними из своего подземного царства.

Как раз в тот момент, когда великодушный сеньор Ромуальдо Чавес, дружески взяв под руку, галантно провожал на сцену безупречного сеньора Паско, слепого на оба глаза, ужасная гримаса презрения исказила и без того страшное лицо Гадеса, который, зябко кутаясь в плотный черный плащ, произнес речь перед несметным легионом своих слуг:

— Оставьте все страхи и приблизьтесь ко мне, мои верные и умные слуги, разделяющие со мной суровость нашего промозглого подземного царства. Устремите, прошу вас, свои взоры в сторону старого дома на улице Теодоро Вилардебо в благоустроенном квартале Вильядель-Парке. Следите за тем, что происходит внутри маленького зала с голубыми обоями, и смотрите, как непостоянная Афродита и самонадеянная Афина ради своих подопечных забыли на время об извечном соперничестве и, подобно рычащим сукам, оскалив клыки, защищают своих шаловливых щенят, полагая, что таким образом им удастся уберечь их от хищников, стараются исполнить желания этой ничтожной группки смертных, двенадцать из которых я собираюсь переправить сюда сегодня ночью.

Посмотрите также, как неустанный посланник с Олимпа, хитрец и вор, изворотливый Гермес, превратившись в беззащитную ночную бабочку с крылышками, покрытыми серой пыльцой, кружит над ухо-

[1] ФОРА — Региональная федерация рабочих Аргентины, создана в 1901 г. анархистами.

женным двориком, над развесистой глицинией с узловатыми ветвями, над оцинкованной крышей, над райскими уголками улицы Теодоро Вилардебо ради того, чтобы первому узнать о прибытии моих несгибаемых посланцев на четырех «фордах-фолкенах» и сразу же сообщить об этом обеим богиням с Олимпа, своим союзницам.

Посмотрите на разгневанную Афину, которая, полная лицемерия, сняла с себя сверкающий шлем, отставила в сторону устрашающее копье и величественный щит, с умиротворенным лицом под видом неизвестной и прекрасной сеньориты, благовоспитанно скрестив руки на коленях и смешно подняв дугой божественные брови, внимательно приготовилась слушать земные поэмы слепого брюнета сеньора Паско.

Понаблюдайте, прошу вас, за интриганкой Афродитой. Она ловко спряталась за прозрачными пластмассовыми лопастями блестящего вентилятора, и легкий ветерок от него ласково щекочет кожу, вызывая приятное состояние любовного забытья у тех, кто, не ведая об их действиях, слушает, сидя в креслах, яркую вступительную речь сеньора Чавеса.

Наблюдайте, наблюдайте, о мои верные и любимые слуги, многочисленные легионы тех, кто гордо сидит на привилегированных местах в этом просторном подземном царстве,— жестокие неустанные керы, целомудренный Харон, страшный Цербер с тремя кровожадными головами, тени тех, кто еще при жизни поставлял в мое подземное царство многочисленных жителей земли: полицейские, палачи, создатели газовых камер, военные, истребители людей, тираны, наемники, министры экономики, землевладельцы, банкиры, владельцы крупных предприятий, бюрократы, предатели, фанатики и сектанты всех мастей.

Наблюдайте, наблюдайте за передвижением этих трех дерзких обитателей Олимпа, которые, подобно жалким насекомым, тяжело размахивая крыльями, летают среди прилично одетых членов «Полимнии». А теперь, когда вы с презрением проследили, как они действуют среди человечков, которых сам я приговорил к смерти, обратите без страха ко мне свои взоры и послушайте мои правдивые слова.

И стуча от холода зубами, произнес безжалостный Гадес:

— Правду говорю я вам, о мои кровожадные и верные слуги, что никоим образом не беспокоят меня эти легкомысленные полеты бабочек — полеты трех обитателей Олимпа, ибо знайте: ничто не помешает мне осуществить задуманное, и им не удастся оттянуть хотя бы на несколько секунд тот час, когда свершится все, что я задумал.

Итак, сегодня, 3 декабря 1975 года, за несколько минут до 23.00 двенадцать этих ничтожных и беззащитных смертных, которых бессмысленно опекают сейчас трое могущественных Бессмертных, в страшных муках распрощаются с жизнью при содействии тайной группы непреклонных ликвидаторов, руководимой моим любимцем, и сразу же войдут в мое холодное подземное царство за железными вратами, откуда никто еще не возвращался.

XXI

Наш дорогой председатель оставил сеньора Паско на сцене. Затем, спустившись на две ступеньки, сел рядом со своей подругой по духу, сеньоритой Кистернмахер.

Сеньор Паско не знаю почему, но не снял темных очков и направил блуждающий взгляд слепого в угол зала, по всей вероятности, ожидая наступления полной тишины. Затем, как всегда он это делал, сеньор Паско вытащил из кармана пиджака маленькие листки серого картона, испещренные рельефно-точечным шрифтом Брайля, на ощупь расположил их по порядку и стал читать.

Сеньоре Сикарди, выдающейся пианистке нашего квартала, пос-

вятил сеньор Паско первое из стихотворений под названием «Бессонница». «С благодарностью и восхищением в связи с приближающимся ее восьмидесятилетием»,— сказал он невыразительно и скороговоркой, как будто бы текст вызубрил. После того как было прочитано посвящение, сеньор Паско положил на левую руку темные картонки, быстро и уверенно водя по ним пальцами правой руки, он приглушенным и монотонным голосом прочитал первое стихотворение, затем остальные стихи, читая одно за другим без пауз, не выделяя названий.

Я напрягал слух, стараясь как можно лучше понять услышанное, когда так же монотонно, как и начал, сеньор Паско вдруг прекратил чтение. Поскольку никто не ожидал этого, в зале на несколько секунд воцарилась напряженная тишина. К счастью, неизвестная сеньорита, сидевшая рядом с ним, вдруг с энтузиазмом зааплодировала, и все мы стали ей вторить. Вероятно, она была подругой сеньора Паско, подумал я, и хорошо знакома с его стихами.

Сеньор Паско, и на этот раз сопровождаемый сеньором Чавесом, вернулся на свое место между мною и неизвестной сеньоритой. Неизвестная сеньорита поднялась в знак приветствия и, взяв его под руку, что-то прошептала ему на ухо. Должно быть, это были особые слова восхищения, так как лицо сеньора Паско буквально осветилось широкой улыбкой благодарности. Все еще улыбаясь и бормоча «спасибо, спасибо», он сел рядом со мной, тогда и я, протянув руку, тоже поздравил его и, воспользовавшись минутной паузой, попросил — я сделал это тихо, так как сеньор Чавес собирался объявить следующего поэта,— копию этих стихов, чтобы насладиться в уединении.

Он обещал дать их мне в следующую среду; я даже не успел сказать, что предпочел бы прочесть их сегодня же вечером, как сеньор Чавес хорошо поставленным голосом уже произносил со сцены горячие слова о своей любимой подруге, сеньорите Кистернмахер. «Наша утонченная Изида,— доносилось до моих ушей,— которая, вероятно, приподнимет для нас хотя бы край своей таинственной вуали...»

Как только сеньор Чавес закончил очередную вступительную речь, сеньорита Кистернмахер, передвигаясь в коляске, оказалась напротив нас. Оттуда она и начала читать свои удивительные, возбуждающие, странные стихи. Некоторые из них были чрезвычайно краткими и состояли всего лишь из одного слова. Темы других стихотворений касались перемещения душ из одного тела в другое или же в высшие сферы Вселенной, и мы все должны были радостно приветствовать их. Она довольно часто пользовалась словами из санскрита, но великодушно объясняла нам их значение после каждой поэмы. Несмотря на академический тон этих разъяснений, наши чувства, вызванные ее стихами, не ослабевали. Напротив, ласкаемые легким дуновением ветерка, исходившего от вентилятора, и как бы усыпляемые мягким тембром ее голоса, мы все ощутили, что нити необъяснимой глубокой связи протянулись между нами и таинственной сеньоритой Кистернмахер.

Произнеся последнее слово стиха, сеньорита Кистернмахер из своей коляски послала каждому из нас воздушный поцелуй. Она так неожиданно и естественно это сделала, что многие из присутствующих не только бурно зааплодировали, но и ответили ей тем же самым жестом или же повторяли: «Спасибо, дорогая, спасибо», поднимались, чтобы пожать ей руку или же ласково поцеловать в лоб. Была настолько приятная обстановка, что сеньору Чавесу пришлось сделать значительную паузу, прежде чем подняться на эстраду и объявить следующего выступающего.

Когда прекратились аплодисменты, поцелуи и поздравления, когда платки стерли последние слезы, а веер сеньоры Циммерман своими ритмичными взмахами подтвердил, что зал возвратился к прежнему

состоянию после пережитых эмоций и что можно продолжать чтение, именно тогда сеньор Чавес снова поднялся на эстраду со списком в руке. Он откашлялся и произнес свое слово перед выступлением очередного поэта.

С удивлением и нескрываемым волнением я понял еще до того, как имя ее было названо, что сеньор Чавес имеет в виду Ирене. Незнакомая сеньорита тоже поняла это сразу, так как она раньше всех повернула изящную головку и взглянула на Ирене своими большими ясными глазами, отражавшими глубокий ум и обширные познания. Когда сеньор Чавес, чье загадочное вступление продолжалось дольше обычного, упомянул о ее недавних обязанностях контролера, весь зал наконец постиг, о ком идет речь, и разразился неистовыми аплодисментами, к ним присоединился и сеньор Чавес, который, улыбаясь, устремил на Ирене взгляд, показавшийся мне чрезмерно нежным. Далее, как и следовало ожидать, он упомянул о литературной премии, которой наградила ее Национальная сберегательная касса за прекрасную поэму «Детство и сбережения», напечатанную впоследствии в различных книгах для чтения, и, сделав галантный жест, сказал:

— Оставляю сцену ради прекрасной, юной поэтессы Ирене Бенгоэчеа и попрошу встретить ее бурными аплодисментами.

Название первого ее стихотворения звучало таинственно: «Посвящается Х, который этого не знает». Это был, чему я удивился, хорошо написанный сонет, в котором уже в первом четверостишье, начинавшемся словами: «Нежнейшие цветы выращиваешь ты, но почему не замечаешь цветка, что распустился рядом...», я угадал если не свое влияние, то по меньшей мере невольную попытку, скажу не скромничая, подражать тому, что могло считаться моим стилем.

Эти слова были своего рода ответом на мой сонет, называвшийся «Даме», о котором знала только она,— из-за некоторых довольно смелых образов, содержавшихся в последнем трехстишье, я не считал благоразумным читать этот сонет членам кружка.

Трудно, конечно, представить себе несказанное волнение, которое я испытывал, слушая ее стихи. Среди прекрасных образов сонета — не знаю, обманывал ли я себя,— я уловил завуалированное обращение ко мне. Две последние строки звучали примерно так: «Скажи свое слово, о мудрый садовник, и я не буду бояться света, если Бог мне его ниспошлет». Казалось, в них автор напоминал мне о моей застенчивости прошлой ночью и, по-видимому, настоятельно советовал побороть свое идиотское молчание. Более того, в следующем стихе она с меланхолическим спокойствием воспевала солнечный закат на одной из улиц предместья. Это была целая поэма, написанная верлибром — стилем, обычным для ее стихов,— кое-где она вводила разговорный язык и типичные буэнос-айресские выражения. Она читала стихи, делала паузы, и я отчетливо услыхал слова о той старой магнолии, что растет на улице Маркоса Састре в трех кварталах от дома — места встреч членов нашего кружка. Много раз по дороге до улицы Наска, где она садилась в 110-й автобус, мы останавливались полюбоваться этой магнолией, восхищаясь красотой ее кроны, опьяняющим ароматом цветов. Значит, по меньшей мере в плане строго поэтическом вот уже целую неделю я занимал ее мысли. И если бы у меня оставалась хотя бы тень сомнения, то упоминание почти в конце стиха «одинокого блуждающего светлячка» окончательно убедило меня в этом. Я заметил, как при слове «светлячок» неизвестная сеньорита заерзала в кресле и повела бровями, будто образ этот абсолютно не устраивал ее.

Затем Ирене прочитала другое стихотворение, посвященное Гертрудис Гомес де Авельянеде [1], и еще одну поэму, в которой речь шла

[1] Гертрудис Гомес де Авельянеда (1814—1873) — испано-кубинская писательница, поэт и драматург.

о вознесении души к Богу. Ее выступление завершилось под бурные аплодисменты. Я тоже горячо аплодировал не переставая, пока Ирене грациозно и застенчиво проходила между рядами, чтобы занять свое место возле меня. Мы с неизвестной сеньоритой перестали аплодировать последними. Лицо Ирене раскраснелось, а руки заметно дрожали. Я шепотом поздравил ее, приблизив для этого губы к самому уху. Сеньор Чавес уже собирался объявить предпоследнего выступающего поэта.

С трудом выслушал я длинный перечень многочисленных качеств, украшавших сеньору Циммерман. Я будто парил в облаках, ощущая, как никогда ранее, близкое и теплое присутствие Ирене, улавливая, не знаю уж каким таинственным образом, даже биение ее сердца. Легкий ветерок, исходивший от вентилятора, странно и сладко опьянял меня. Словно сквозь пелену видел я, как сеньора Циммерман вынимала из своей большой желтой папки множество листков, напечатанных на машинке и скрепленных скрепкой. Помню, что буквально через несколько минут, когда она плавными жестами изображала детский хоровод, я, поборов охвативший меня страх и стараясь вести себя как можно естественнее, быстро положил ладонь на кисть Ирене. Я почувствовал, как задрожала ее тонкая рука.

XXII

ЦИММЕРМАН САРА ПРЕКАКСКИДЕ.
Полька, 55 лет, замужем, журналистка.

Известная коммунистка, активистка. Скрывает свою подлинную деятельность, занимает ключевые посты в различных культурных организациях. Без нее не обходятся независимые театры, союз женщин, кооперативные общества, литературные мастерские, лиги по защите брошенных кошек, подкомиссии культуры, кино и клубы, районные библиотеки, выставки картин, поэтические журналы, фольклорные кружки и другие органы марксистской пропаганды.

Есть документы, свидетельствующие об ее участии в различных печатных органах, таких, как «Золотой скарабей», «Вы — женщины», «Гасета литерариа», «Для тебя» и другие. Специализируется на детских стихах; прикрываясь их невинным содержанием, пытается внедрить вирус безбожного и беззаконного коммунизма. На протяжении многих лет характеризуется как профессиональный агитатор.

В 1954 году выступила на митинге в защиту Гватемалы. В 1965-м выступала в защиту Санто-Доминго. В 1968-м — в защиту Кубы. В 1973-м — в защиту народа Чили.

Считается подлинным руководителем ячейки на Теодоро Вилардебо, а субъект Ромуальдо Чавес по кличке Галисиец — только ее заместитель.

Ее муж Абраам Циммерман — коммунист, член руководства марксистского кружка.

Старшая дочь — Делия Циммерман — аргентинка, 19 лет, студентка медицинского факультета, была задержана 27 августа 1973 года, когда писала на стенах домов вблизи своего факультета лозунг по поводу событий в Трелеве[1]. Хотя через 48 часов она была освобождена и против нее не было возбуждено дело, мы располагаем отпечатками ее пальцев, фотографиями, анкетными данными и проч.

Ее младшая дочь — Рита Циммерман — аргентинка, 17 лет, студентка, изучает социологию. Посещает курсы художественной гимнастики и гитары. Выступала на фестивалях в пользу политических заключенных. За ней ведется тайное наблюдение, так как наши осведомители на ее факультете подозревают, что она занимает важный пост в подпольной Народно-революционной армии.

[1] Речь идет о кровавых репрессиях военного режима против демократов в аргентинской провинции Чубут.

СОСА РОМИЛИО, он же Негр.
Аргентинец, 23 лет, холостяк, рабочий текстильной фабрики.

Родился в поселке Монтерос (провинция Тукуман), там же, где ныне покойная, бывшая руководительница группы «Полимния» Брихида Урдампильета, или Брихида Рамирес. Поэтому не вызывает удивления прямая связь ячейки с антигосударственными выступлениями, зарегистрированными в данной провинции.

Рабочий на фабрике «Судамтекс» принимал участие в массовом митинге, состоявшемся 5. 07. 75, и голосовал за проведение забастовки. Член перонистской организации молодежи. Живет в пригороде Колехиалес. Как сообщает наш осведомитель, активно участвует там в собраниях соседей и в организуемых манифестациях, беспорядках или сборах подписей под петициями. По сообщениям другого осведомителя, он обычно стоит в первых рядах демонстрантов, несет флаг или бьет в большой барабан. Участвовал в организованном на вилле якобы фестивале, где читал стихи на деревенские темы.

Его видели, когда он тайно работал каменщиком в доме № 2562 на Теодоро Вилардебо, в связи с чем можно предположить, что в этом здании функционирует «народная тюрьма».

Считается в высшей степени опасным.

ФРУГОНИ АНИБАЛЬ, он же Левша.
Аргентинец, 46 лет, женат, коммерсант.

Сведениями о его прежней деятельности не располагаем.

Владелец магазина «Цветок лилии». Член Союза коммерсантов на улице Куэнка, входит в кооперативное общество «Полицейский очаг». По всей вероятности, речь идет об очень ловко организованной маскировке.

В сообщениях, поступивших в подразделение 45а от осведомителей на улице Куэнка и Ногойя, отмечается, что он торгует наркотиками и сам наркоман, гомосексуалист, руководит экстремистской организацией, объявленной в 1973 году нелегальной, занимается контрабандой подсвечников и настенных барометров, не брезгует перекупкой краденых вещей, пускает в ход банковские чеки по несуществующим счетам, друг Эктора Кампоры[1], поставляет женщин в публичные дома, специалист по подделкам картин, садист и поэт.

Отъявленный левак. Обращает на себя внимание тот факт, что свои стихи он подписывает — «Левша Анибаль».

XXIII

И произошло так, что точно в семь часов вечера 3 декабря 1975 года исполнилось предсказание авгуров и неожиданно отдал богу душу прославленный генерал Хорхе Эстебан Касерес Монье: под градом искавшего жертву свинца, который обрушили на него подрывные элементы, упал он, любимец великого Гадеса, в нескольких километрах от чудесного города Параны, в провинции Энтре-Риос, где так много птиц. Умер бывший начальник полиции, и унеслась его душа в подземное царство Гадеса.

И тогда могущественный бог, оповещенный о кровавой смерти своего подзащитного, пришел в дикую ярость. Вселяющее ужас скрежетание его зубов долетело до самых отдаленных уголков огромного подземного царства. Стремительно вошел он в черную карету, запряженную великолепными лошадьми, с силой сжал устрашающий бич и преисполнился решимости осуществить уже давно запланированную им траурную миссию.

[1] Эктор Кампора с мая по июль 1973 года был президентом Аргентины, возглавляя буржуазно-реформистское перонистское правительство, в условиях резкого обострения обстановки в стране был вынужден уйти в отставку.

Холодная улыбка мелькнула на его лице, все нити, необходимые для осуществления его ужасающей мести, были тщательно сплетены, и недоставало лишь некоторых последних деталей.

И рассек Гадес воздух длинным бичом, и сразу же предстала перед ним кровопийца-эриния, застыв в ожидании неотвратимого приказания.

И дрожа от ярости, обратился к кровопийце-эринии могущественный Гадес, царствующий под землей, с такими словами:

— Взгляни, кровопийца-эриния, на то здание в квартале Палермо, на которое я тебе сейчас укажу, и, превратившись в помощника Козла, пойди к этому идиоту, который, словно одержимый, продолжает сидеть у черного телефона, и сделай так, чтобы он немедленно прекратил передавать по телефону бессмысленные угрозы.— И при этих словах исчезла кровопийца-эриния.

И снова взмахнул бичом беспощадный Гадес, и вторая эриния предстала перед богом. И, сдерживая твердой рукой яростных коней, сказал Гадес второй эринии:

— Послушай, вторая эриния, именно в тот момент, когда Козел, приятный очам моим, читает в раздражении информацию о посетителях дома № 2562 на Теодоро Вилардебо, ты превратись в Срочный Телефонный Звонок, исходящий от высших военных кругов.— И на его глазах исчезла вторая эриния.

И в третий раз щелкнул Гадес длинным бичом в морозном воздухе Эреба, и третья эриния услужливо предстала перед богом. И, обращаясь к третьей эринии, сказал Гадес, зверски ощерив зубы и распахнув свой черный плащ:

— Послушай, третья эриния, внедрись в душу моего возлюбленного кровожадного Козла и превратись в дух Немедленного Выполнения Приказа, сделав так, чтобы душа его сразу же захотела выполнить задание, которое будет ему поручено.— И на его глазах исчезла третья эриния.

И быстро полетели три эринии в сторону серого здания в квартале Палермо, чтобы незамедлительно выполнить приказания Гадеса, тогда как сам бог с нетерпением поджидал их, предусмотрительно не покидая свою быструю карету.

И подлетела первая эриния к серому зданию в квартале Палермо, и, превратившись в помощника Козла, стала сурово бранить другого его подчиненного, который уже приготовился набрать номер телефона, и угрожающе спросила, не намерен ли он своей маниакальной настойчивостью помочь желанной добыче сбежать. И этот идиот, от которого исходили угрожающие звонки, оторвался от телефонного аппарата, так как понял наконец, что Козел сурово накажет его, если посетители дома № 2562 на Теодоро Вилардебо разбегутся, напуганные его постоянными угрозами и тщательно подбираемыми непристойными словечками.

И вторая эриния прилетела на террасу того же здания в квартале Палермо и быстро превратилась в Срочный Телефонный Звонок представителя высших военных кругов. Она заставила ритмично звучать колокольчик телефона на столе у Козла. Продолжая читать листки с информацией, Козел поднял левой рукой полированную телефонную трубку и рассеянно сказал: «У аппарата». И вторая эриния мужественным голосом высокопоставленного военного в двух словах рассказала на ухо Козлу о насильственной смерти генерала Касереса Монье от рук подрывных элементов. Вторая эриния сделала длинную паузу и тоном, не терпящим никаких возражений, весьма скупо произнесла: «Двенадцать». И Козел, любимец мрачного Гадеса, точно понял смысл этого единственного слова.

И третья эриния полетела к цветущему кварталу Палермо. Через замочную скважину она проникла в скромный кабинет Козла, сделала несколько лихорадочных кругов над большим столом, заваленным на-

чиненными автоматами «фал», «итака» и девятимиллиметровыми пистолетами браунинг, превратилась в Незамедлительное Выполнение Приказа и незаметно вкралась в душу координатора параполицейских групп.

И Козел, попав в сети духа Незамедлительного Выполнения Приказа, пожелал исполнить немедля скупое приказание, полученное из черной телефонной трубки. В правой руке он еще держал анкету опасного экстремиста Хосе Мариа Пуличиккио (он же Пепе), на столе были разбросаны анкеты других членов «Полимнии». И Козел избрал самый легкий и короткий путь.

Была среда, 3 декабря, а согласно сообщениям агента Паскуали, младшего офицера Коваса и старшего офицера Фариаса из подразделения 45а, именно по средам вечером все эти экстремисты, эти мерзкие антигосударственные элементы собирались в находящемся под наблюдением их убежище на Теодоро Вилардебо, 2562.

И прежде чем удалиться, третья эриния, превратившаяся в Незамедлительное Выполнение Приказа, наклонилась к уху Козла и вкрадчиво прошептала ему, что, хотя они, несмотря на все, что ему известно, и не являются такими уж экстремистами или антигосударственными элементами и не так уж опасны, тем не менее у этих несчастных смертных есть одно, главное преимущество, которое состоит в том, что в эту ночь они соберутся все вместе, облегчая тем самым выполнение кровавой мести.

И координатор параполицейских групп по кличке Козел взглянул на часы и увидел, что было ровно 19 часов 55 минут. Нажав кнопку аппарата, он позвонил одному из подчиненных и, приблизив свое бородатое лицо к микрофону, поспешно отдал приказ машинам 25, 41, 70 и 72 в 20.40 быть в гараже в полном снаряжении.

И тут же открылась дверь, и несколько подчиненных вошли в кабинет. Они отобрали и взяли с собой много сверкающего оружия, которое лежало на столе из твердого дуба, а также мотки веревки и клейкую ленту, чтобы отнести все это в машину 25, на которой обычно ездил сам Козел, любимец подземного владыки Гадеса.

И в течение нескольких минут с того момента, когда Козлом был отдан поспешный приказ, переданный им шепотом по аппарату связи с многочисленными кнопками, из разных пунктов огромного города ринулись четыре сверкающих автомобиля марки «форд-фолкен» черного цвета и без опознавательных знаков, пугая завыванием сирен застигнутых врасплох прохожих, и повернули в сторону таинственного гаража, расположенного в Вилья-Креспо.

Гадес, сидя в карете, забрызганной кровью, с удовлетворением наблюдал за ними. И напрасно его великолепные кони с лоснящимися крупами стремились вырваться из-под власти ездока, пытаясь не отстать от быстро мчавшихся машин, мощная рука бога крепко держала вожжи, поскольку еще не наступил момент для решительных действий.

XXIV

— Прекрасно... светлячок... я тоже...— удалось мне пролепетать ей на ухо во время паузы между двумя стихами сеньоры Циммерман. Но слова были уже не нужны. Ирене, не переставая смотреть на сцену, улыбалась, улыбалась мне, и наши руки сплелись, а наши тела с необоримой притягательностью наклонялись друг к другу, как будто бы искали друг друга после вынужденной и мучительной разлуки, причиной которой была моя трусость; желая наверстать упущенное, подталкиваемые приятным дуновением легкого ветерка, исходившего от вентилятора, мы прижимались друг к другу еще крепче.

А тем временем сеньора Циммерман продолжала вещать. Наконец, она объявила нам последнее в этот вечер стихотворение. Оно на-

зывалось «Белье на траве, или Трудные взаимоотношения пары в период отрочества».

Ирене, стараясь привлечь мое внимание, сделала мне знак мизинцем, как будто — сам не знаю почему — тема эта касалась непосредственно нас. Люди откашливались, двигали стульями, переглядывались, видимо уже заранее предвкушая что-то благодаря интригующему названию стихотворения. Сеньор Чавес, сидя в первом ряду, опершись локтем о спинку коляски сеньориты Кистернмахер, улыбался, не скрывая любопытства. В этот момент в дверях появилась донья Зулема, уборщица нашего помещения, которая наверняка пришла получить свое жалованье, как всегда в начале месяца. Обычно поступали так: знаками подзывали сеньора Фругони, у которого наготове был конверт с ее зарплатой и уже составленной распиской, сеньор Фругони выходил, все устраивал в течение нескольких секунд и быстро возвращался в зал. Но в этот вечер донья Зулема, заметив, что сеньор Фругони был слишком занят сеньорой Джаннелло, не решалась помешать ему. К тому же было очень жарко, а вентилятор создавал особенно приятную атмосферу в зале, да и название поэмы привлекло ее внимание; донья Зулема, вдова, уроженка провинции Корриентес, имеющая нескольких детей, пышнотелая и очень симпатичная, тихо вошла и села в кресло рядом с обливающимся потом сеньором Мастандреа. Сеньор Мастандреа приветствовал донью Зулему, крепко пожав ей руку, и жестом, который осмелюсь назвать кокетливым, незаметно убрал платок, повязанный на шее.

Сеньора Циммерман, воспользовавшись безмолвным появлением доньи Зулемы, проделала в течение нескольких секунд упражнение по снятию напряжения, а когда внимание зала было восстановлено, она менторским тоном повторила название стихотворения, затем отошла в глубину эстрады и заколкой, предусмотрительно припасенной, заколола волосы на затылке, подражая прическе молоденькой девушки, и трепетным, неуверенным голосом подростка стала рассказывать о своих тревогах, приведших слушателей в умиление.

В драматическом стихотворении говорилось о девушке, родители которой не позволяли ей даже приближаться к некоему юноше из-за того, что их семьи исповедовали разные религии. Тем не менее влюбленные продолжали тайно встречаться. В один теплый весенний вечер они оказались в лесу. Юноша в полном отчаянии предлагает ей вместе покончить жизнь самоубийством. Однако девочка, более практичная и, судя по некоторым важным деталям, более умная, предлагает ему поступить решительнее.

Девочка раскрывает юноше свой «надежный и смелый план»: он должен немедленно овладеть ею, чтобы она родила сына, и родители заставят их пожениться. Стихотворение заканчивалось такой сценой: мягко покачнулась травинка у их ног «от неслышного падения ее лифчика». Эти слова сеньора Циммерман произнесла медленно, с чувством затаенного сладострастия, не отрывая глаз от деревянного пола и уронив на него безвольно маленький белый платочек, таинственно появившийся у нее в руке. Легкий ветерок от вентилятора подхватил на лету платочек и отнес к самому краю эстрады, волнующая картина в лесу вдруг приобрела ослепляющую реальность.

Аплодисменты действительно были оглушительными, как в большом театральном зале. Сеньор Чавес встал и закричал: «Браво!» Сеньор Фругони и сеньора Джаннелло тоже встали со своих мест и, расталкивая всех, пробирались вперед, чтобы поздравить сеньору Циммерман. Ирене, на которую сцена самопожертвования девушки произвела глубокое впечатление, несколько раз сказала: «Чудесно!»— откидываясь в изнеможении на спинку кресла, явно испытав сильное эмоциональное переживание.

Стихотворение, похоже, захватило и Мастандреа. Видимо, оно было единственным из всех услышанных, которое ему понравилось, пото-

му что он потирал руки и приговаривал: «Потрясающе» — и даже настойчиво просил прочесть стихотворение на «бис». Я заметил, как он что-то прошептал на ухо донье Зулеме, которая вначале широко раскрыла глаза, но потом, наверняка из-за какой-нибудь непристойности, отпущенной Мастандреа, разразилась громким хохотом, который, к счастью, потонул в аплодисментах.

Неизвестной сеньорите, сидевшей слева от меня, по-видимому, не очень-то понравилось это сочинение. Однако когда воодушевленный сеньор Паско высказал несколько весьма похвальных замечаний в отношении стихотворения «Белье на траве», она, красноречивым жестом показав мне, что все понимает, произнесла: «Ах, главное, что вам понравилось». Затем озабоченно посмотрела на входную дверь, в проеме которой увидела большую ночную бабочку, и, вздохнув, добавила: «Бедные мои дети»,— и эта фраза у меня вызвала беспокойство.

Но какое мне было дело до мнения сеньориты, которая, помимо того, что оказалась пуристкой, походила еще и на весьма тщеславную особу. Я направился к эстраде, желая поздравить сеньору Циммерман.

Аплодисменты стали затихать, но сеньора Циммерман не сошла с эстрады, а, подняв вверх руку, жестом попросила нас замолчать и сама стала объявлять имя поэта, который, вероятно, и должен был завершить сегодняшний вечер.

— Превосходный поэт и прозаик, бизнесмен и драматург Ромуальдо Чавес, достойный председатель нашего кружка,— сказала она и затем говорила о его способностях руководителя, о его превосходных качествах джентльмена, коммерсанта, поэта, гражданина и так далее и даже со свойственной ей грациозностью упомянула о его славе покорителя женских сердец.

Несмотря на преувеличения и остроты, представление сеньора Чавеса публике было очаровательным, все мы с удовольствием слушали сеньору Циммерман, а сеньор Чавес лишь изредка, прикидываясь возмущенным, покачивал головой. Когда же сеньора Циммерман закончила свое вступительное слово, сеньор Чавес галантно поцеловал ей руку, помог сойти на две ступеньки с эстрады и поднялся сам, чтобы приступить к чтению стихов.

— Однако прежде чем я прочту вам некоторые из своих скромных сочинений,— обратился он к залу,— я хотел бы сказать несколько слов.

XXV

ПУЛИЧИККИО ХОСЕ МАРИА, он же Пепе.

Аргентинец, 47 лет, холост, служащий филиала Национального банка в Вилья-Уркиса.

Хотя против него нет данных уголовного или политического характера, однако есть достаточно оснований считать его опасным субъектом, а именно:

1) Его фамилия и номер телефона обнаружены в записной книжке экстремиста Ансельмо Фернандеса, он же Лысый, который, скончавшись в результате внезапного сердечного приступа, произошедшего с ним при допросе, не успел дать каких-либо показаний в отношении этого субъекта.

2) На многих из большого количества фотографиях, отснятых сотрудниками данного отдела во время похорон руководителей экстремистов Ортеги Пеньи и Сильвио Фрондиси, погибших от рук неизвестных лиц, на заднем плане виднеется тощий субъект в очках, с начинающейся плешью, которым, согласно данным фотоанализа, является не кто иной, как ловко замаскированный Х. М. Пуличиккио.

3) Из сообщений Мастандреа видно, что субъект является прямым подручным (вторым заместителем) Циммерман, иными словами — ведущим лицом в организации.

4) В своей оценке (благоприятной), которую он высказал Мастандреа относительно одного из сонетов последнего под названием «Восстановление», Пуличиккио, согласно донесениям нашего осведомителя, вынужден был приложить усилия, чтобы скрыть свое ироничное отношение к отдельным героям истории нашей страны и свое преклонение перед различными символами, чуждыми нашему государству.

5) Кроме того, в многословном, неясном и противоречивом сообщении Мастандреа, несколько сокращенном офицером Фариасом, Пуличиккио выступает знатоком в вопросах распутства, в непристойных порнографических делах. Посредством этих отклонений (и безусловно, других, еще более порочных и невообразимых), как сообщает Мастандреа, субъекту удалось развратить Бенгоэчеа и завоевать ее болезненную и абсолютную привязанность. Он добавляет также, что до вступления в организацию Пуличиккио Бенгоэчеа поддерживала с Мастандреа весьма нежные отношения, которые затем, под давлением ее нынешнего поработителя, были резко оборваны.

6) Вероятнее всего, учитывая вышесказанное, субъект, помимо того, что подозревается в экстремизме, связан с торговлей и потреблением наркотиков.

КИСТЕРНМАХЕР АУРЕЛИЯ ВАНДА, она же Пупи.

Немка, принявшая аргентинское гражданство, 34 лет, не замужем, дает частные уроки.

Связана с кругами граждан, говорящих по-немецки, в различных странах, в том числе в Венгрии и Германской Демократической Республике.

Получает обильную корреспонденцию. В письмах затрагиваются в основном темы магии, астрологии, оккультных наук, что свидетельствует о ее связях с международным франкмасонством марксистского толка и объясняет ее тесную дружбу с известным франкмасоном Ромуальдо Чавесом.

Ведет активную пропаганду среди паралитиков и калек (именно она уговорила нашего осведомителя вступить в организацию) и оказывает на них бесспорное влияние. Она, по-видимому, принимала активное участие в демонстрации инвалидов совместно с перонистской молодежью, направлявшейся в сторону улицы Гаспара Кампоса.

Особо важная информация:

а) экстремистка Роса М. В. де Кампс брала у нее частные уроки в течение 1967 года;

б) другая ее ученица, Эмма Аревало, является двоюродной сестрой любовницы террориста Рафаэля Касаса, убитого во время стачки в городе Росарио.

Рекомендуется: тщательно осмотреть инвалидную коляску, ввиду предполагаемого сокрытия подрывной пропагандистской литературы или оружия.

XXVI

В то время как четыре черных автомобиля марки «форд-фолкен» с поднятыми антеннами и отлаженными моторами стояли наготове в темном гараже района Вилья-Креспо, неутомимый Гермес, Афродита и Афина, подобно родителям, которые с любовью опекают своих нежных детей, заботились о беззащитных смертных, с восхищением и огромным вниманием слушавших оригинальную сеньору Циммерман, и старались удовлетворить каждое их желание.

Но тень Глашатай Смерти уже не совершала медленных кругов над домом № 2562 на Теодоро Вилардебо, а превратившись в большое влажное пятно, расположилась на оцинкованной крыше над маленьким залом и приготовилась наблюдать оттуда за кровавыми деяниями свирепых посланников Гадеса.

С минуты на минуту ожидали боги Олимпа услышать зловещий рокот моторов и внушающий ужас скрежет колес по мостовой улицы Теодоро Вилардебо, покрытой мелкой брусчаткой, поскольку они знали, что сам Гадес осуществлял последние приготовления, и поэтому запланированная смерть двенадцати членов «Полимнии» приближалась.

А пока сеньора Циммерман в очередном стихе изображала бесчеловечного негодяя, истязающего свою бедную туберкулезную жену, Афродита направила благотворный поток свежего воздуха на еще крепкий стан доньи Зулемы. И донья Зулема не осталась безучастной. Как только сеньора Циммерман нравоучительным тоном объявила свое следующее стихотворение «Белье на траве, или Трудные взаимоотношения пары в период отрочества», донья Зулема тихо прошла между рядами кресел, на которых разместились гости, и опустила свой пышный зад в кресло рядом с сеньором Мастандреа.

И направила Афродита легкий ветерок, исходивший от вентилятора, на истекавшего потом сеньора Мастандреа, который искоса посмотрел налево и увидел, как дородная донья Зулема села рядом с ним, отчего радостно затрепетало его сердце. Повернувшись, он смущенно пожал руку донье Зулеме и незаметно сорвал с шеи полосатый коричневый платок, чтобы показаться более элегантным неотразимой и нежной донье Зулеме.

И неукротимая Афина, превратившаяся в неизвестную сеньориту, услышав эротическое название стихотворения сеньоры Циммерман, хотя эта тема и не была ей особенно приятна, пожелала, чтобы слова проникли в самое сердце ее подзащитной безупречной Ирене Бенгоэчеа с тем, чтобы ею завладели эмоции и передались затем сеньору Хосе Мария Пуличиккио, которому Афина, по причине заключенного с Афродитой союза, должна была простить его любовные проделки на улице Маркоса Састре.

А девственница Ирене Бенгоэчеа, услышав из уст сеньоры Циммерман слова «взаимоотношения пары» и «отрочество», подумала, что они непосредственно касались ее только что возникших, но еще не оформившихся взаимоотношений с великодушным сеньором Пуличиккио, и сделала многозначительный жест мизинцем, а он в ответ слегка сжал ей руку и наклонился к ней всем телом страстно влюбленного.

И в тот момент, когда раскрасневшаяся девица из стихотворения снимала с себя белье на глазах у испуганного юнца, Афродита направила приятный легкий ветерок на прекрасную и богоподобную сеньору Джаннелло и на восхитительного и столь любимого Гермесом сеньора Фругони, которые сидели в последнем ряду, тесно прижавшись друг к другу.

И пожелала им Афродита опьяняющей, непродолжительной, но полной счастья любви, потому что время, которое оставалось им жить, исчислялось минутами, и пожелала также Афродита, чтобы эти минуты были бы похожи на бокалы с превосходным вином.

И сеньор Фругони полностью забыл о всех всерьез волновавших его проблемах и стал думать только о теплой и шелковистой коже сеньоры Джаннелло, которую он незаметно поглаживал рукой, дрожавшей от пылкой любви.

А сеньора Джаннелло, опьяненная счастьем, мысленно уносилась в радужную высь, и постепенно подступало к ней ощущение наслаждения, в то время как голова ее покоилась на плече сеньора Фругони, а из груди вырывались гортанные, ни с чем не сравнимые звуки.

И со своего места в четвертом ряду, сидя возле слепого сеньора Паско, направляла Афродита умный взгляд своих ясных очей в сторону своей подопечной — эрудированной и болезненной сеньориты Кистернмахер, которую несколько минут тому назад посетил дух Непреодолимой Силы Убеждения.

И сеньорита Кистернмахер своими непонятными стихотворениями и академическими разъяснениями слов из санскрита убедила всех в настоятельной необходимости всеобщей любви, и все восторженно согласились с ее проникновенными речами и выразили ей чувство всеобщей любви и благодарности горячими заверениями и дружескими поцелуями в лоб.

Однако Афина подумала, что она должна подарить своей подопечной новый и мудрый вид счастья, для чего, превратившись в дух Нежной Дружбы, проникла в соблазненную душу сеньора Ромуальдо Чавеса, любимого обеими богинями, сидевшего рядом с сеньоритой Кистернмахер.

И неудержимо овладело сеньором Ромуальдо Чавесом чувство нежной и душевной дружбы к сеньорите Кистернмахер, обе руки которой он неожиданно — в тот момент, когда сеньора Циммерман застыла в позе девочки, бросающей на траву лифчик,— поцеловал с искренней страстью и ласково назвал ее Пупи, весьма умно прокомментировав вполголоса только что выслушанные стихи.

И с нетерпением поджидала Афродита Дору, служанку сеньориты Кистернмахер, так как ее жених Ромилио Соса был опечален и одиноко стоял в углу зала,— не хотела прелестнейшая богиня, чтобы Ромилио провел вдали от своей возлюбленной те считанные минуты, которые ему оставалось жить.

И поэтому во время перерыва Афродита превратилась в дух Срочного Усердия и в таком виде проникла в душу элегантной мамы сеньориты Кистернмахер.

И мама сеньориты Кистернмахер вспомнила во время перерыва, что ей нужно было сделать в центре города одно неотложное дело, и потому быстро направилась в соседнюю комнату, подошла к телефону и, набрав номер, тут же связалась с Дорой, попросила ее заехать за сеньоритой Кистернмахер в дом на Теодоро Вилардебо.

И стали затихать несмолкавшие аплодисменты, адресованные сеньоре Циммерман; она уже подняла правую руку, чтобы восстановить тишину и объявить выступление сеньора Ромуальдо Чавеса, но Дора, смуглая служанка из квартала Вилья-дель-Парке, служанка сеньориты Кистернмахер, все не приходила, и это вызывало беспокойство у Афродиты, с нетерпением поглядывавшей на дверь.

И сеньора Паско, сидевшего рядом с неукротимой Афиной, превратившейся в незнакомую сеньориту, глубоко тронуло храброе поведение девицы из стихотворения, снявшей с себя белье, а так как разум его видел то, чего не могли видеть глаза — юное и прекрасное полуобнаженное тело юной и прекрасной девицы, произносившей дрожащим голосом стихи,— одинокое сердце его сильно забилось.

А пока происходило все описанное выше, весьма благоразумный посланник Гермес, преобразившись в огромную ночную бабочку с толстеньким и мохнатым тельцем, без устали выполнял свою важную миссию. Он тяжело подлетел к двери маленького зала и уселся на покрытую лаком притолоку, намереваясь сообщить неизвестной сеньорите, что у него еще нет новостей.

И сидел Гермес на притолоке, беседуя с неукротимой Афиной, когда вдруг ощутил мощную струю приятного воздуха, который с лопастей вентилятора щедро посылала Афродита. И тогда внезапно все серое тельце ночной бабочки охватило любовное волнение.

И поэтому, опасаясь прервать прилив сладострастья, опустился Гермес на целомудренную и нежную мяту, скрывавшуюся среди аккуратно ухоженных растений, украшавших дворик.

И как раз, когда сеньор Чавес произнес перед пристойно одетыми членами «Полимнии» несколько коротких фраз, завел Гермес с мятой интересный разговор, изобиловавший любезными и ласковыми словами.

XXVII

Сеньор Чавес, на котором, несмотря на удушающую жару, надет был безупречный серый костюм с жилетом, воткнул в петлицу алую камелию, всего лишь несколько минут назад украшавшую плоскую грудь сеньориты Кистернмахер. Мне не удалось заметить, когда она подарила ему ее, однако наверняка это было сделано во время откровенных изъявлений чувства дружбы, после того как закончила чтение стихов сеньора Циммерман.

Безусловно, этот необычный алый цветок, сверкавший в лацкане его пиджака, еще больше подчеркивал не только естественную элегантность нашего любимого председателя, но и свидетельствовал о той исключительной, праздничной атмосфере, созданию которой, очевидно, способствовали его речи.

И действительно, все было именно так. Пока Ирене жестами показывала мне на неожиданный цветок в лацкане и демонстративно переводила взгляд на сеньориту Кистернмахер, сеньор Чавес уже начинал импровизированное выступление.

Хорошо поставленным голосом он упомянул о «плодотворной деятельности» «Полимнии» в течение заканчивающегося года. Он рассказал о сорока восьми собраниях кружка поэзии, проведенных в этом году, «включая очень приятное и по многим причинам незабываемое собрание кружка в нынешнюю среду, 3 декабря».

Далее он сказал, что сейчас вполне уместно отметить превосходную работу рядовых членов «Полимнии», и для каждого из них он находил теплые, нежные и яркие похвальные слова. Не могу отрицать ту почти детскую радость, которую я испытал, когда с эстрады громко было объявлено мое имя и наш председатель, указывая в мою сторону, посоветовал всем присутствующим брать с меня пример за мое регулярное посещение сорока восьми собраний кружка в 1975 году, причем он отметил также, что я никогда не опаздывал на эти собрания.

В тот момент, когда сеньор Чавес желал Ирене, как и прежде, успешно и счастливо выполнять обязанности контролера, вдруг в дверь с улицы кто-то позвонил. Юноша Ромилио Соса попытался было подняться, но сеньора Циммерман уже выходила из маленького зала и, пройдя затемненный коридорчик, направилась к входной двери. Мы услышали звон ключей, звук отодвигаемой задвижки, знакомый скрип старинных дверных петель, и до нас вдруг донесся веселый, прозвеневший, как колокольчик, женский голос: «Привет!» И этот голос вынудил сеньора Чавеса прервать выступление. Не скрывая мужского любопытства, он стал дожидаться появления новой гостьи. Послышались быстрые шаги в коридоре; опередив на несколько метров сеньору Циммерман, в дверях зала появилась наша знакомая Дора, привлекательная служанка (быть может, компаньонка) сеньориты Кистернмахер.

Не обращая внимания на несколько протокольную атмосферу собрания и не проявляя никакого беспокойства по поводу нарушившего тишину перестука ее каблучков, Дора, которая была одета довольно вызывающе и держала в руке огромный букет мимоз, пожелала «доброго вечера всем»; покачивая прекрасными и соблазнительными бедрами, она подошла к матери сеньориты Кистернмахер. С ней Дора перекинулась несколькими короткими фразами, произнесла в конце: «Да, непременно»,— и снова застучали по паркету гулко отдававшиеся в тишине каблучки, когда она быстрой походкой прошла через весь зал и, очень довольная, села рядом со своим женихом, юным Ромилио Сосой. Дора звонко поцеловала Ромилио и фамильярно взяла его за руку.

Сеньор Чавес, который, пока в зале были еще слышны торопливые шаги Доры, внимательно и с улыбкой смотрел на нее (я вынужден

добавить, что лицо его как-то странно порозовело), затем, манерно скрестив руки, он продолжил произносить многообещающую, но еще ничем не подкрепленную речь.

Закончив ту часть, которая касалась общественной работы, он стал говорить в основном о поэтической деятельности «Полимнии» в течение 1975 года. Со свойственным ему красноречием он отметил особые моменты в жизни кружка, которая, по его мнению, достигла зенита. Он вкратце отметил самые счастливые выступления и самые незабываемые стихи каждого из членов «Полимнии». Свое перечисление (я был удостоен высокой чести быть названным в связи с некоторыми сонетами об осени, прочитанными мною в самом начале вечера) он закончил словами о блестящем исполнении стихов сеньорой Джаннелло и сеньорой Циммерман в этот действительно исключительный вечер.

Затем, склонив голову, сеньор Чавес сделал большую паузу, явно собираясь удивить слушателей чем-то необычным. Когда ему показалось, что публика уже готова внимательно выслушать его, он поднял голову и сказал:

— И кроме того, в этот вечер я не могу не упомянуть о том, что точно так же, как благоухание, исходящее от этого цветка, до каждого из нас доходит волнующее пожелание удачи и блаженства...

Он снова сделал паузу, отчего ожидание публики еще больше возросло, и наконец произнес то, что собирался сказать с самого начала; этим, видимо, и объяснялась его несколько странная манера выступления.

Он начал всесторонне анализировать поэму «Любовь летом» сеньориты Кистернмахер, затем перешел ко всеобщей любви — «оси, вокруг которой вращается бесконечная вселенная», и тут же сумел сымпровизировать несколько прекраснейших метафор. А когда ожидание слушателей достигло максимального напряжения, он сказал:

— Любовь, стремительно пройдя длинный путь Истории и Жизни, преобразив на этом пути широкие просторы равнодушной материи, возродилась сегодня здесь, в дорогом нашему сердцу зале.— Широким жестом показал он на стены с голубыми обоями и закончил свое выступление метафорой, которая несмотря на то, что исходила от сеньора Чавеса, показалась мне весьма изысканной.— В этом уютном и хорошо проветриваемом зале,— сказал он,— Афродита и Афина, заключив перемирие, способствовали расцвету любви в момент жестоких душевных переживаний.

Кому особенно приятным показалось то, что Афина и Афродита установили мир, так это неизвестной сеньорите, сидевшей рядом с сеньором Паско,— она сразу же зааплодировала, и всем нам пришлось последовать ее примеру.

— Итак,— произнес сеньор Чавес хорошо поставленным голосом, с четко выраженным испанским акцентом,— теперь, когда любовь горячо посылает, условно говоря, свой поцелуй стольким дорогим людям, мне предоставляется высочайшая честь прочитать некоторые из моих скромных стихов перед теми, кто, пребывая в нежном и счастливом состоянии духа, вероятно, воспримет их, и я не сомневаюсь в этом, с дружеской благосклонностью. Поправив манжет на немнущейся рубашке, он стал читать и читал, как мы скоро с удивлением заметили, не с листка, а просто по памяти.

XXVIII

— Чертовская жара.
— Видимо, пойдет дождь.
— Сколько на твоих?
— Без двадцати.
— Все на месте?
— Не хватает сорок первого.

— Черт побери, этот всегда опаздывает.
— Вот и он.
— А сегодня что у тебя случилось?
— Масло менял.
— Брось ерунду городить.
— Баки все заполнили?
— Идиот, отсюда торчит ствол «итаки».
— Ну и что?
— Ничего особенного, но лучше прикрыть его.
— Вы следуете за моей машиной. Я — за машиной начальника.
— Дай мне адрес.
— Минутку. Теодоро Вилардебо, 2562.
— Что с тобой?
— Спать хочу, дружище. Вчера вообще не спал.
— Допрашивал?
— Обалдел, что ли! Еще то дело — с прошлой недели.
— Скажи ему, чтобы подружку привел.
— А тебе-то что?
— Так я тебя спать уложу пораньше, идиот.
— Пошел ты...
— Кажется, уже Вилья-Девото.
— Туда.
— А потом, дружище?
— Откуда я знаю! Думаю, в сторону Эсейсы.
— Следите внимательно за машинами. Чтобы внутри кровью не запачкать.
— А начальник?
— В сортир пошел.
— Дружище, передай-ка мне...
— Посмотри на этого кретина. Приходит с опозданием да еще забывает.
— Не будь скотом. Передай мне. Я забыл в другой машине.
— Чего доброго, и инструменты забудешь!
— Принеси. Кончай ерундить.
— Ну а у тебя что?
— Коробка с клейкой лентой и моток веревки. Боюсь, не хватит.
— Брось к себе в машину.
— Уже достаточно поистерлась.
— Без десяти.
— Начальник идет.
— Садись. Следуй за мной и без всяких штучек.
— Выруливай, черт побери. Выруливай, кому говорю!
— Черт возьми, толстяк ударился.
— Чуть не разбился.
— Все в порядке?
— Все в порядке, начальник.
— Вперед.
— По списку, начальник?
— Да.
— Там все будут?
— Откуда я знаю?
— Их много, начальник?
— Двенадцать.
— Чертовщина!
— Двадцать пятый к Центральному. Все в порядке.
— Через авениду Хорхе Ньюбери?
— Нет, лучше направляйся по авениде Хуана Б. Хусто.
— Двадцать пятый к Центральному. Выезжаем на Вилья-дель-Парке.

— Новости есть?
— Ничего. Продолжай выполнять оперативный план.
— Не рановато ли, начальник?
— В десять — всем.
— Будем их вытаскивать по списку?
— Я же сказал, любые двенадцать.
— Надеюсь, те из сорок пятого нам не помешают, как в прошлый раз?
— Бевилакуа предупрежден. Они не появятся.
— На всякий случай я напомнил бы ему. Не будь дураком.
— Не беспокойся. Он вылечился после того.
— Свернем на Варнес?
— Нет, едем до авениды Сан-Мартина. После Хонте — на Теодоро Вилардебо. Перед поворотом посигналь сорок первому.

XXIX

«Ах вы никчемные, боязливые и смиренные богини Олимпа! Признайтесь в своей неспособности остановить непобедимого Гадеса и, погруженные в собственную бездеятельность, скрывайте свою трусость, даруя малые крохи счастья тем несчастным смертным, которых вы неоправданно называете своими подопечными!

Оберегайте, оберегайте с лицемерной ревностностью тот крошечный миг, который осталось жить беззащитным членам «Полимнии», ведь вы не сможете сделать абсолютно ничего, чтобы спасти их от жестоких посланников Гадеса!

Спешите устраивать для них пустые развлечения, как это делают случайные кормилицы, которым платят за услугу, за то, что они всовывают плачущему и испуганному ребенку самодельную, да еще и плохо сделанную игрушку, чтобы он на время заинтересовался ею и, забыв о своем страхе, перестал плакать!

Подарите им с благосклонной и легкой щедростью тайное сплетение рук, слезливые заверения в нежной дружбе, пустые предложения всеобщей любви, пылкие и лживые ласки, потому что вы не можете им даровать единственную ценность, которую им действительно нужно было бы потребовать от вас,— жизнь.

Продолжай же ты, Афродита-интриганка, совершать поступки, лишенные всякого смысла. Прячься в лопастях вентилятора и вызывай приятную любовную дрожь у жалких посетителей дома № 2562 на улице Теодоро Вилардебо, которым осталось жить считанные минуты.

Уверяю тебя, ты поступишь гуманнее, если направишь сейчас мощный поток воздуха на хромого Карлоса Архентино Мастандреа, которому именно тогда, когда сеньор Чавес читал наизусть свои стихи, ты напомнила, что он вдов, как и донья Зулема, в которую он отчаянно влюблен и ждет лишь паузы между декламациями, чтобы сделать ей неуместное и достаточно абсурдное предложение выйти за него замуж.

А теперь пододвинь, только осторожно, массивную подставку вентилятора и направь струю воздуха на сцену, где читает стихи, сопровождая декламацию скупыми жестами, сеньор Чавес, с тем чтобы последний перестал докучать слушателям своими высокопарными строфами о грубых крестьянах Кастильи и начал бы читать хоть и длинную, но богатую описаниями, правда несколько шероховатую, поэму, которая по крайней мере вызовет головокружительный прилив эротизма в душах мирных членов кружка «Полимния».

Продолжай свое дело и ты, тщеславная дочь Зевса, холодная, надменная и непримиримая Афина! Продолжай же: по-прежнему сидя рядом со слепым сеньором Паско, взмахни, как ты это делаешь в настоящий момент, крылами Безграничной Любви, охватившей сеньориту Кистернмахер в зале с голубыми обоями, и тайно направь ее ду-

новение на невесту юноши Ромилио Сосы, привлекательную звонкоголосую Дору из квартала Вилья-дель-Парке.

И тогда у Доры возникнет одно лишь желание — пусть скорее закончится эта глупая декламация, тогда она быстро поднимется со своего кресла и подарит каждому из этих симпатичных участников вечера по душистой веточке от большого букета, который сейчас держит на коленях как доказательство всеобщей необъятной любви.

Подгоняемая неутомимой Афродитой, она пожелает предаться любви с Ромилио, как решил бог, и чем скорее, тем лучше, и в то же время захочет, чтобы здесь побыстрее все кончилось и можно было бы толкать инвалидную коляску сеньориты Кистернмахер к ее дому неподалеку, после чего немедля взять такси и мчаться в отель «Лос Лириос», поскольку этим вечером Негр обещал быть особенно ласковым.

Что же касается тебя, о забывчивый Гермес, недостойный покровитель воров и сам вор, ты правильно поступил, что прекратил бесполезную и безрассудную миссию, ибо что выиграли бы беззащитные посетители дома на Теодоро Вилардебо, если бы обе богини на несколько минут раньше узнали о наводящем ужас появлении четырех автомобилей марки «форд-фолкен», несших им смерть?

Ты правильно поступил, что пропустил мимо ушей просьбу Афродиты и прекратил наблюдение за улицей и, напротив, стал вести завлекательную беседу с этим хрупким и хорошо ухоженным растеньицем, которое было не чем иным, как, вероятно, известной тебе нимфой Ментой[1], которую непокорная и злопамятная Персефона, законная супруга молчаливого Гадеса, превратила из ревности (неоправданно вселившейся в ее душу) на четыре месяца в году в ароматное растеньице мяту.

О боги, недостойные своих имен, хотя вас незаслуженно и называют Бессмертными, подарите же этой ничтожной группке беззащитных смертных мимолетное наслаждение и эфемерную радость, так как четыре черных автомобиля «форд-фолкен» с идущей впереди машиной № 25, в которой едет Козел, только что промчались по авениде Хуана Б. Хусто и авениде генерала Родригеса и направляются сейчас в сторону Вилья-дель-Парке, чтобы выполнить кровавый приказ Гадеса! О ленивые и пресыщенные амброзией! О закабаленные, глупые, трусливые и невыносимые боги Олимпа!..»

Но, по правде сказать, никто не отважился произнести перед богинями эти назидательные и оскорбительные слова, богини невозмутимо продолжали выполнять свою миссию, чтобы сделать приятными последние моменты жизни обреченных на гибель смертных, между тем как холодный и полный решимости Гадес, презирая пустое порхание богинь с Олимпа, с непреклонной яростью осуществлял последние приготовления к бойне.

Едва третья эриния покинула кабинет Козла в квартале Палермо и, пройдя через железные врата, прибыла в мрачное подземное царство и сообщила молчаливому Гадесу о точном выполнении своей миссии, Гадес ударил бичом превосходных, но уже взмыленных коней и позволил им наконец пуститься вскачь.

И именно в том месте, где авенида Хуана Б. Хусто пересекается с мощеной улицей Куча-Куча, стоя в карете, увидел Гадес четыре автомобиля «форд-фолкен», впереди которых, издавая разные звуки, мчался автомобиль № 25 — за рулем, уподобясь кровожадной эринии, восседал Козел, а на заднем сиденье лежало смертоносное оружие.

И чтобы получше следить за своими посланниками, превратился Гадес в тончайшую нить слюней дьявола, которая, подгоняемая невидимым ветром, полетела в нескольких метрах от сверкающих капотов машин. Так Гадес наблюдал за точным исполнением своих приказаний.

[1] Мята *(лат.)*.

Однако никто из многих смертных, которые в этот момент проходили, не проявляя беспокойства, по широкой авениде Хуано Б. Хусто, не заметил, что нить, долетев до начала авениды Сан-Мартина, не стала продолжать свой путь, а повернула направо и пустилась в бесшумный полет вдоль авениды Сан-Мартина.

Автомобили 25, 41, 70 и 72 на огромной скорости мчались по авениде Сан-Мартина, и временами раздавался оглушительный рев сирены; услышав ее, многие автобусы, грузовики, груженные ящиками с вином, и прочие автомобили различных марок, проезжавшие по авениде, прижимались в страхе к тротуару, уступая дорогу.

Доехав до авениды Сан-Мартина и не дожидаясь, пока загорится зеленый сигнал светофора, четыре машины одна за другой повернули возле дома № 2800 в сторону улицы Альвареса Хонте, издавая ужасающие звуки, чем доставили огромное удовольствие Гадесу, потому что скрип трущейся о камень резины особенно услаждал его слух.

Автомобиль № 25 беспрепятственно продвигался по улице Альвареса Хонте, где она пересекается с улицей Архерич, когда опытный подчиненный наклонился к Козлу и произнес многозначительно:

— Сколько кварталов?

И Козел, высунув руку за ветровое стекло и закурив сигарету, ответил, выпуская изо рта синеватое облако дыма:

— Пять, дружище, а на Теодоро Вилардебо три направо.

XXX

Вот уже довольно длительное время сеньор Чавес, поглощенный многосторонней деятельностью в кружке, не принимал личного участия в чтении стихов. Мы знали его как тонкого и чувствительного поэта романтического направления, излишне даже говорить о том, что мы всегда испытывали огромное желание послушать его стихи. А когда он произнес заключительные фразы своей чарующей вступительной речи, сеньора Джаннелло и сеньор Фругони тихо поднялись со своих мест в последнем ряду и поспешили продвинуться вперед на два ряда, чтобы не пропустить ни одного слова. Сеньорита Кистернмахер в экстазе смотрела на эстраду, а сеньора Циммерман, размахивая рукой, требовала тишины, хотя никто из присутствующих не разговаривал и не шумел.

Никто лучше красноречивого сеньора Чавеса — и я уверен, что многие согласятся со мной,— не мог так славно завершить этот вечер, атмосферу которого я осмелюсь назвать атмосферой пылкой восторженности влюбленных. Я хорошо помнил некоторые из его прекрасных стихов и особенно одно совсем короткое стихотворение о поцелуе — оно мне показалось удивительным по содержанию и чрезвычайно удачным по форме. Я нисколько не сомневался, что стихи, которые он прочтет нам в этот вечер, будут достойны его неистощимого романтического вдохновения поэта-любителя. Итак, мы все с истинным благоговением приготовились слушать сеньора Чавеса.

А теперь, не без боли, я вынужден рассказать, что же было дальше. Уже самим названием первого стихотворения сеньор Чавес весьма поразил нас и — мне это трудно сказать, но придется — не оправдал наших надежд.

Серьезный, сосредоточенный, стараясь воскресить что-то в памяти, будто происходящее в этот вечер его не касалось, сеньор Чавес стал читать наизусть поэму на деревенскую тему, проникнутую от начала до конца испанским духом. В эти шероховатые и звучные стихи, четкий ритм которых автор подчеркивал постукиванием каблуков, стараясь, по-видимому, воссоздать монотонные удары мотыги о высохшую землю, он вкладывал живые воспоминания о дет-

стве, проведенном в небольшом селении в испанской провинции Самора. И таким образом вместо предполагаемых изящных образов, которые мы ожидали, нашему уставшему вниманию было предложено то, что уже никого не могло заинтересовать: согбенные спины крестьян на высохших без дождя полях, суровые лица женщин, помогающих мужчинам в тяжелых полевых работах, скромная еда на грубо отесанных семейных столах, короткий отдых, земледельцы, поднимающиеся с первыми лучами солнца, свист кос, звон колоколов, призывающих к вечерне, и, наконец, молитвы стариков над свежевыкопанной могилой.

Вначале я подумал, что это стихотворение, написанное к тому же в замысловатой форме, должно было выделить по контрасту другие стихи, созданные в уже известном нам возвышенном, романтическом духе. Однако, к нашему разочарованию, последовало второе — «Мотыга», и третье — «Из спелого зерна», и четвертое — «Смерть сеятеля». И снова слышалось вжиканье кос, а перед нашими взорами вновь предстали сгорбленные спины, и суровые лица женщин и пахари, идущие в поле, и вечерний звон церковных колоколов, и молитвы, и молчаливая смерть.

Публика начинала проявлять явные признаки усталости, пальцы барабанили по коленкам, глаза следили за полетом какого-то насекомого, с задних рядов послышался звонкий и протяжный зевок, принадлежавший не иначе как Мастандреа. Я не смог удержаться, чтобы не послать про себя крепкое словечко в его адрес, так как был уверен, что зевок, вероятно, услышал даже сеньор Чавес на эстраде.

Именно в тот момент я заметил, что приятный легкий ветерок хоть и разносился от вентилятора по всему залу, но не долетал до того места, где находился наш председатель, который наверняка больше всех страдал от удушающей жары. Я вспомнил, как сеньора Циммерман, спускаясь с эстрады, задела ногой вентилятор и невольно изменила его положение. Заметив это, я стал выжидать, пока сеньор Чавес закончит стихотворение «Смерть сеятеля», а поскольку сидевшие в первом ряду не поняли, что произошло, я решил сам исправить это неловкое положение. Мне пришлось побеспокоить сеньора Паско, неизвестную сеньориту и маму сеньориты Кистернмахер. Но не успел я пройти и полуметра по проходу, как произошло нечто действительно очень приятное.

Вероятно, из-за едва заметного уклона пола, а может быть и от оглушительного удара мотыги, несколько более сильного, чем предыдущие, подставка вентилятора сдвинулась и повернула его на несколько сантиметров вправо. Легкий ветерок, который обдувал теперь его лицо, выхватил сеньора Чавеса своей приятной свежестью из знойных полей Саморы со сгорбленными крестьянами и свистящими косами, к тому же шумный зевок Мастандреа дал ему понять, что слушатели утомлены.

Он весело потер руки, как будто бы только что собирался начать декламацию, и, глядя на присутствующих с открытой и неотразимой улыбкой, извинился и попросил разрешения у организаторов вечера внести небольшое изменение в свою программу: вместо «Пшеничного поля хозяина», которое он уже объявил нам — «если кто пожелает, то сможет прочитать окончание стиха в актовой книге»,— ему было бы приятно, он опять извинился, «прочитать еще какую-нибудь вещицу».

XXXI

А пока непогрешимый сеньор Чавес неумолимо читал стихотворение «Крестьянину из Кастильи» и на старинный манер отбивал ногой ритм, болтливый, забывчивый и небрежный Гермес, не колеб-

лясь, прекратил выполнение своей важной миссии и весело предался легкомысленному занятию.

Пронзенный стрелой Амура в самое сердце, испытывающий страстное желание (несомненно, причиной этого была сильная струя воздуха, которую невольно направила на него златокудрая Афродита), он со свойственной ему хитростью показал свои прежние способности неутомимого покорителя сердец скромному растеньицу мяте, которая, дрожа всеми листочками от охватившей ее робости, слушала с тайной благосклонностью любовную речь красноречивого бога.

В самый разгар ухаживаний Гермес, превратившийся в привлекательную ночную бабочку с ласковыми крылышками, восхвалял темный и нежный стебелек мяты и ее изящные резные зеленые листочки, а от ее стройного стана с расправившимися веточками исходил аромат, подобный дыханию Афродиты, как только он дотрагивался до нее.

И, как обычно, прибегнул Гермес к наглому обману, ибо бесконечны были его уловки соблазнять наивных девиц, и по прежнему опыту он хорошо знал, каким образом быстрее разжалобить сердце женщины, в каком бы состоянии она ни находилась.

И пока он ласково касался мохнатым тельцем нежных листочков растения, а сеньор Чавес атаковал публику вторым стихотворением о крестьянах и скромных семейных столах, сказал Гермес огорченно, что, хоть он и молод, и Бессмертный, и сын могущественного бога, тем не менее ни одна богиня, ни одна нимфа, ни одна смертная женщина еще не выражала сострадания его одиночеству, не изливала приятную теплоту любви на его одинокое сердце.

И девственное растеньице, спрятавшееся среди прочих хорошо ухоженных растений, украшавших дворик дома № 2562 на Теодоро Вилардебо, попало в сети обмана, ловко расставленные Гермесом, которому всегда удавалось притворяться непонятым и одиноким юношей, всегда оставаться непогрешимым, и пожелала мята, чтобы судьба именно ей поручила облегчить его страдания.

Чтобы преодолеть свою робость и завоевать доверие одинокого и непонятого юноши, она, помахивая резными листочками, поведала ему свою несчастную историю и произнесла перед хитрым Гермесом эти искренние и благоуханные слова:

— Ах, прославленный юноша, жестоко преследуемый одиночеством и печалью, ты должен поверить мне, что я столь же одинока и одна среди нимф несправедливо наказана.

Зовут меня Мента, и я, прежде чем принять вид растения, перед которым расточаешь ты с такой щедростью похвалы, была нимфой подземного царства, беззаботно проводила время в играх со своими сестрами под душистой землей, на которой росли леса.

Однажды, когда я была одна, отдыхала у глубоких корней шелестящего листвой на ветру тополя, мерзкий Гадес внезапно набросился на меня и попытался надругаться надо мной. Разумеется, ему не удалось это сделать, так как страшный Гадес, как тебе должно быть известно, любезный юноша, в отличие от тебя, достаточно неловок в этом виде сражений и, как мне рассказывали мои сестры, к тому же страдает бессилием.

Несмотря на это, его законная супруга, раздосадованная божественная Персефона, единственная женщина, которую знал бог в течение всей своей бесплодной жизни, разгневалась на меня. И ослепленная нелепой и беспочвенной ревностью, она унизила меня своей страшной яростью и превратила в это пахучее растеньице — мяту, которое ныне украшает тенистый дворик дома № 2562 на улице Теодоро Вилардебо.

Сказало такие слова несчастное растеньице мята, Гермес вожделенно глядел на нее, а осужденные члены «Полимнии» расточали

последние драгоценные минуты своей жизни среди скучнейших послеобеденных колокольных звонов и гулко отдающихся по сухой земле шагов крестьян, идущих на тяжелую работу.

И пока Гермес, исполненный любовной страсти, внимательно слушал рассказ прекрасной Менты, до его тонкого слуха ночной бабочки донеслись сильные удары мотыги, которые с энтузиазмом сеньор Чавес воспроизводил на досках деревянной эстрады.

И случилось так, что эти непредвиденные и тревожные удары заставили забывчивого Гермеса вернуться к мрачной действительности и тотчас же напомнили ему о приговоренных членах «Полимнии», о том, что ждет их кровавая и страшная участь от рук чудовищных пассажиров четырех автомобилей «форд-фолкен», а также о его важной миссии следить за дорогой, о чем забыл он с такой халатностью.

И кроме того, услышав из уст прекрасного растеньица отвратительное имя Гадеса, Гермес стал мало-помалу возвращаться из любовного забытья и со свойственной ему быстротой, подумал, что, вероятно, можно было бы извлечь кое-какую пользу из столь печального и взволнованного рассказа Менты.

Оставаясь по-прежнему великодушным и не переставая изображать из себя меланхоличного и непонятого юношу, задал хитрый Гермес наивному растеньицу с виду наивный вопрос, ласково прижимаясь мохнатым тельцем к одному из его листочков:

— О нежная Мента, несомненно, самая чистая и прелестная из нимф, вдохнув аромат которой Бессмертные сходят с ума от любви, а смертные тоскуют о приятной свежести лесов! Твой рассказ тронул меня до такой степени, что не мог я сдержать горячие слезы, и, выслушав твою грустную историю, я подумал, что мы действительно созданы для того, чтобы утешать и услаждать друг друга. Однако из простого любопытства я хотел бы задать тебе один вопрос, прекрасная нимфа: скажи мне, желаешь ли ты ответить на него в столь чарующий, столь важный для нас момент?

И ответило растеньице мята:

— Говори, миловидный юноша, чье имя мне еще неизвестно, я с удовольствием отвечу на твой вопрос, ибо от тебя я никогда впредь не смогу ничего скрывать.

И тогда, проползая по темному стеблю растеньица и любовно взмахивая крылышками ночной бабочки, сказал так Гермес, бог безграничных уловок:

— О прекрасная и несчастная Мента, скажи мне, раз ты согласилась ответить на мой вопрос: в каких ты сейчас отношениях с могущественным Гадесом? Неужели и сейчас ненавидит тебя бесплодный бог и желает погубить только за то, что ты, такая гордая, не согласилась удовлетворить его страстные желания? Или же, напротив, погруженный в печаль из-за своего неловкого и безрезультатного поведения, он, возможно, чувствует себя твоим должником и тайно предлагает тебе все, что ни попросишь, и, вероятно, при одном условии, что не станешь ты рассказывать о его постыдном поражении?..

И в тот самый момент, когда сеньор Пуличиккио поднялся со своего места, чтобы поправить вентилятор, ухоженное растеньице, залившись краской, ответило Гермесу так:

— Велика твоя проницательность, стройный и неизвестный юноша, ибо ты чрезвычайно быстро разгадал тягостное поведение непобедимого Гадеса. И это правда, что после своей неудавшейся попытки изнасиловать меня он раболепствует предо мной, что недостойно могущественного бога, увидев меня, становится застенчивым и всегда стоит с низко опущенной головой и жалким видом. А поскольку я, не любя его, знаю его самую сокровенную тайну — непростительную тупость в любовных схватках и постыдное бессилие,—

он не теряет случая, чтобы тайно посетить меня, несмотря на дикую ревность жены, и назойливо спрашивает, не мог бы он порадовать меня хоть чем-нибудь.

Вероятно, как ты и предполагаешь, молчаливый Гадес ведет себя так глупо потому, что хочет купить мое молчание и не допустить того, чтобы я открыла смертным секрет, который мучает его по ночам там, в мрачном и сыром подземном царстве. Но послушай меня, о стройный юноша, разве тебе не понравился мой ответ? Почему ты сразу перестал ласкать мои листья своим шелковистым тельцем? Почему твой взгляд так неподвижен, будто тяжкие мысли волнуют твою душу? Скажи мне, прошу тебя, и не бойся поранить словами, скажи, какие мысли в этот момент с молниеносной быстротой проносятся в твоей голове?

XXXII

...Полную потрясений ситуацию переживает в эти дни страна... в ноябре стоимость жизни... денежная инфляция... министр экономики и губернаторы провинций подписали акт... вопреки решению исполнительской власти о расследовании случаев, проводимом парламентом... вчера еще четыре трупа были найдены в пригороде Буэнос-Айреса... одно сообщение об ужасающей находке подняло всех на ноги... как стало известно позднее... группа до зубов вооруженных субъектов... назвавших себя полицейскими... принадлежали к комиссии одной из фабрик... выигрывают футбольные команды «Ривер», «Сан-Лоренсо» и «Эстудиантес»... голы забили Пасарелла, Скотта и Верона... праздник ловли форели на курорте Сан-Карлос де Барилоче... а другая очаровательная участница соревнований призналась нам... сегодня празднуется день артиллерии... по этому случаю высшее командование Вооруженных сил... хорошая новость... подтверждено: состоятся скачки, вариант один... сообщение дано пресс-бюро... с пометкой «срочно... в последнюю минуту»... с глубоким прискорбием сообщает... сегодня приблизительно в 19 часов в окрестностях города Параны подрывными элементами убит... сообщило министерство печати... возбудители хаоса и авторы преступного насилия... жертвой этого вандализма... подло убитый выстрелами в спину... упал, залитый кровью... несомненно, вследствие извращенного мышления и болезненных... вероятно, они были наркоманами... эта волна преступности, охватившая всю страну... преступная деятельность подрывных сил... экстремисты-наемники и антигосударственные элементы... соответствующее наказание... и снова отвратительные антигосударственные силы... атеистический марксизм которых... излили свою ярость убийц... акты высшего варварства... ни к чему не пригодные, чьи низменные инстинкты... так как отвергли всякую гуманность... зловещий антинациональный заговор... наша солидарность с прославленными Вооруженными силами... чья благородная кровь... и против антигосударственной подрывной деятельности... во имя ложных интересов... твоя храбрость, твоя твердость, твоя мужественность... отважный солдат... жил в твоем сердце... потому что они не способны сражаться в открытом бою... показать свое лицо... прикрывшись трусливыми анонимными действиями... мы обещаем выполнить нашу патриотическую миссию... окончательно ликвидировать их... и потекут реки крови...

Прерываем передачу для коммерческой рекламы, а затем продолжим передачу новостей.

XXXIII

Принеся извинения, сеньор Чавес сказал несколько слов о стихотворении, которым собирается завершить декламационный вечер в эту памятную среду 3 декабря 1975 года.

Сдержанно, исполненный серьезности, сеньор Чавес рассказал, что его вдохновили страдания и безрассудство «одного моего друга, влюбленного, к своему несчастью, в особу весьма...— Он сделал паузу, будто с трудом подыскивал соответствующее прилагательное, и, изображая жестом мучения деревенского парня, наконец произнес: — ...легкомысленную». Мы улыбнулись, а некоторые даже рассмеялись. Полагаю, все, по крайней мере большинство из нас, догадывались, кто этот «один мой друг», и знали, что сеньору Чавесу не нужно было пользоваться чужим опытом, чтобы сочинять стихи о женщинах, особенно женщинах определенного сорта...

Кроме того, он просил уважаемую публику быть снисходительной к автору из-за некоторых вполне недвусмысленных вольностей, которые он вынужден был допустить в своем сочинении, так как оно есть всего лишь точное воспроизведение пылких мыслей и страстных увлечений его несчастного друга.

Затем сеньор Чавес объяснил нам, что его сочинению не хватает заголовка и поэтому он хотел бы предложить благоразумным членам «Полимнии» следующее: прослушав его, каждый из присутствующих должен будет записать на бумажке название, которое кажется ему наиболее подходящим, и вручить ему в конце вечера. Затем сеньор Чавес выберет, на его взгляд, наиболее удачное и объявит на собрании кружка в следующую среду. Победителю или победительнице этого вида соревнования он вручит в качестве премии книгу, на которой собственноручно напишет благодарность за оказанную ему неоценимую помощь.

Помолчав немного и дождавшись, пока публика прекратит перешептывание, сеньор Чавес очень мягко, спокойным тоном и вместе с тем с большим чувством начал читать стихотворение без названия. В этом сочинении говорилось об одной, так сказать, немного ветреной даме. С острой болью поэт рассказывал о ее частых изменах, которые он, несмотря на бушевавшую в нем ревность, постоянно прощал. Дама, чрезвычайно красивая и весьма чувственная, слушала горькие его упреки со светлой и волшебной улыбкой на лице, полностью обезоруживавшей обиженного влюбленного.

Сеньор Чавес, на которого теперь, к счастью, попадал легкий ветерок от вентилятора, вложил в уста несчастного подробное описание внешности любимой женщины. Он монотонно, но проникновенно перечислял на манер современной «Песни песней» (это было мое название для его стихотворения) каждую из приводящих в трепет частей прекрасного тела, которые он, подобно библейскому певцу, сравнивал в своей лихорадочной фантазии с такими прекрасными и восхитительными вещами, как, например, извивающаяся река, стройная мраморная колонна, перламутровые ракушки, утопающий в зелени сад среди ослепительных гор, два голубка с розовыми клювами, которых поэт хотел бы кормить с рук, мягкие холмы, разрезанные глубокими и темными пропастями, при виде которых кружилась голова, и так далее.

По правде говоря, в этом зале с голубыми обоями нам никогда не приходилось встречаться с поэтическими образами, написанными с такой смелостью и такой захватывающей силой. В последних стихах его, когда влюбленный, уже несколько часов лишенный сна, ждет возвращения своей возлюбленной (наверняка после одного из ее развратных похождений), эти образы становились в высшей степени смелыми и несли признаки откровенной эротики. Влюбленный, разбитый страстным желанием, не хочет на этот раз обвинять ее ни в чем, напротив, наградит страстными поцелуями и безудержной лаской, «как только она откроет ту дверь»,— скороговоркой прочитал сеньор Чавес, указывая на входную дверь, и все посмотрели туда, куда указывал сеньор Чавес, будто действительно надеялись с минуты на минуту увидеть прекрасную женщину, грациозно пере-

ступающую порог. И все мы, словно загипнотизированные, буквально застыли, с нетерпением глядя на дверь.

XXXIV

Напрасно пытался ты, восхитительный Хосе Мариа Пуличиккио, наблюдать за неизвестной сеньоритой, сидевшей в твоем же ряду; напрасно старался сладострастный сеньор Паско ощупью найти ее благотворную руку, когда безупречный сеньор Чавес, вдохновленный белокурой Афродитой, с пылом читал эротическое стихотворение без названия.

Афина, обеспокоенная отсутствием известий от Гермеса и встревоженная уже поздним временем, внезапно решила покинуть свое место в четвертом ряду в зале с голубыми обоями и, обернувшись совой и не теряя ни минуты, вылетела на поиски медлительного юного Бессмертного.

Но сколько́ бы ни кружила она над старым домиком на Теодоро Вилардебо и как бы прилежно ни исследовала предполагаемые стратегические места, где мог бы находиться легкомысленный бог, ее огромные во лбу глаза ночной совы не смогли отыскать старательного Гермеса, спрятавшегося среди ароматных листочков едва различимого растеньица мяты.

Убедившись, что ветреный Вестник перестал выполнять свою миссию, Афина сама решила понаблюдать за домом и под видом совы с лапками, покрытыми перьями, с закругленным клювом, с проницательнейшим немигающим взглядом неподвижно уселась над входной дверью, терпеливо поджидая прибытия четырех автомобилей «форд-фолкен».

Между тем Гермес, который только что услышал из уст благоуханной Менты неизвестную ему ранее историю ее отношений с могущественным Гадесом, нервно зашевелил своими изящными усиками, поспешно придумывая разные хитрости.

Правду сказала чувствительная Мента — мысли стройного юноши унеслись далеко-далеко от нее и от мирного тенистого дворика и витали теперь в каких-то неизвестных сферах, не имевших ничего общего с любовной беседой, которую они вели столь страстно.

С особой остротой почувствовал Гермес, что это скромное и ароматное растеньице мята могло бы принести куда большую пользу несчастным членам «Полимнии», приговоренным Гадесом к гибели, чем любой из могущественных и болтливых богов Олимпа, делающих вид, что они оказывают им покровительство.

И вновь, нежно проползая до чувствительной верхушки темного стебелька влюбленной Менты, произнес хитрый Гермес отчасти верные, отчасти лживые слова:

— Справедлив только что высказанный тобой упрек, о прелестная, благоухающая Мента, и в самом деле моя беспокойная мысль работала сейчас без устали, хотя совершенно искренне говорю тебе, что ни разу в моих головокружительных путешествиях я не забывал о тебе.

Послушай меня, и ты узнаешь причину моего беспокойства, мне не следует ничего скрывать от тебя. И прежде всего я расскажу, почему я, юный Бессмертный, потомок могущественных богов Олимпа, превращенный в беззащитную ночную бабочку, нахожусь сегодня в тенистом дворике дома в квартале Вилья-дель-Парке.

Ты должна знать, что именно они, двенадцать благородных смертных, которых я поклялся защитить, подсказали мне, что ты находишься в этом дворике, и дружественно вдохновили меня предстать перед тобой в этом крылатом виде, о самая нежная и самая проницательная из нимф. Они сейчас сидят там в маленьком зале и слушают сладкие слова красноречивого сеньора Чавеса, вызывающие прилив любви.

Итак, обожаемая Мента, из чувства ревности к объединившей их любви могущественный Гадес решил отомстить этим двенадцати благородным смертным, которым я оказываю покровительство, и решил нанести им непоправимый, смертельный удар.

Через несколько минут четыре зловещих автомобиля «форд-фолкен» во главе с координатором параполицейских групп по кличке Козел будут посланы сюда кровожадным богом и исполнят свою страшную миссию по ликвидации благородных смертных.

Никто, ни бог, ни смертный, не рискнет оказать сопротивление этим жестоким посланникам, поскольку им покровительствуют мрачный Гадес и высшие правительственные органы безопасности, и трупы двенадцати любимых мною друзей будут найдены на заросших пустырях Эсейсы. Об этом мне удалось узнать в самом подземном царстве Гадеса из уст одного старого и заслуженного полковника.

Понимаешь ли теперь, чудесная Мента, почему опечаленная страшной судьбой, которая ждет моих подзащитных, мысль моя на некоторое время унеслась в сторону от нашего приятного разговора?

И в тот самый момент, когда четыре автомобиля «форд-фолкен» появились на шумной авениде Сан-Мартин и стали продвигаться в сторону улицы Альвареса Хонте, дрожащая от негодования благоухающая Мента сказала:

— Ах ты мстительный, ревнивый идиот и импотент Гадес! Ты не только преследуешь меня, раболепно предлагая свои услуги, но и полный зависти к добродетели, которой нет у тебя, пытаешься ныне причинить вред романтичному и одинокому юноше, сея страх и леденящую душу смерть среди его благородных подзащитных.

Не зря тебя называют Жестоким, Ненавистным, Омерзительным и Кровожадным, тебе доставляет удовольствие лишь уносить в могилу прекрасные жизни, ты уже не способен любить, как желает того плодовитая женщина, и не можешь зачать в ней новую жизнь. И никого во всей безграничной Вселенной я так не презираю и ненавижу, как тебя, бессердечного, жестокого, бесплодного и вечно дрожащего от холода Гадеса.

Услыхав это, сказал, взмахивая своими пепельными крылышками ночной бабочки, Гермес, бог неисчерпаемых уловок:

— Успокойся, прошу тебя, прекрасная Мента, прекрати свои позорные оскорбления в адрес беспощадного Гадеса, они абсолютно бессмысленны. Всем известно, что даже мы, могущественные боги Олимпа, боимся разрушительной силы непобедимого Гадеса и нет такого бога или смертного, который бы храбро и безрассудно выступил против него и помешал бы ему осуществить свои замыслы.

И ловкий Гермес продолжал говорить сокрушенно:

— Ну что ж, покоримся судьбе, любимая Мента, поскольку из-за своей слабости и хрупкости ты тоже ничего не сможешь сделать. Будем готовы принять неминуемую смерть наших подопечных самоотверженно.

Автомобиль № 25, в котором ехал Козел, уже поворачивал на тенистую улицу Теодоро Вилардебо, когда, всем телом дрожа от страха и справедливой ярости, благоуханная мята произнесла следующие слова, исходившие из глубины ее сердца:

— Все верно из только что сказанного тобою, стройный юноша: все, боги и смертные, боятся непобедимого Гадеса, даже сам Зевс, гнев которого страшен, предпочитает не вмешиваться в планы своего могущественного брата. Однако — я говорю тебе правду и умоляю поверить мне, прекрасный неизвестный юноша,— если и есть в этой безграничной вселенной та, которая абсолютно не боится ненавистного обитателя Эреба, а, напротив, чувствует неукротимое презрение к нему, то это скромное растеньице, на котором ты сейчас сидишь. Гадес хорошо знает об этом, и я осмелюсь сказать тебе, любезный юноша, что после его постыдного поражения и несправедливо же-

стокого наказания, которое придумала в отместку ему мстительная супруга, он даже испытывает уважение ко мне, правда, смешанное с животным страхом.

Но пока храбрая Мента говорила о грозном Гадесе, намереваясь и далее осыпать его новыми и самыми унизительными оскорблениями, до слуха благоразумного Гермеса отчетливо донесся тревожный крик совы. И Гермес, сразу поняв, что это крик неукротимой Афины, без устали выполняющей важную миссию, о которой он позабыл, и ощутив в сердце своем мрачные предчувствия, обратился к Менте со следующими волнующими словами:

— Подожди-ка минутку, прекрасная Мента, этот только что услышанный мною взволнованный крик неукротимой Афины не ложный испуг — скорее, это сигнал того, что вот-вот должен нагрянуть ужасный Гадес, если не появился уже в горячо любимом нами доме № 2562 на улице Теодоро Вилардебо.— Вестник Гермес, взмахнув крыльями ночной бабочки, поднялся в воздух и быстро облетел вокруг дома в поисках бронзоволикой Афины.

И увидал ее как раз в тот момент, когда она, превратившаяся в ночную сову, сидя на притолоке входной двери, раскрыла свои крылья, страшно взъерошила перья и издавала, как бы предупреждая об опасности, скорбные и печальные крики: она наконец различила в темноте один из четырех автомобилей «форд-фолкен», приближавшийся к улице Теодоро Вилардебо.

И долетел Гермес до дверей и, едва успев обменяться молчаливым приветствием с испуганной Афиной, сразу же устремил взор на улицу и увидел то, что обоснованно встревожило богиню: четыре черных сверкающих автомобиля «форд-фолкен» на огромной скорости приближались по покрытой брусчаткой улице, а всего лишь в нескольких метрах над первой машиной, превратившись в белую нить слюней дьявола, нагло летал внушающий всем ужас Гадес.

И, парализованная леденящим душу страхом, неукротимая Афина не догадалась даже предупредить златокудрую Афродиту, которая продолжала изливать на безупречного сеньора Чавеса и остальных обворожительных членов «Полимнии» мягкий ветерок, рождающий любовь.

В тот самый момент, когда сверкающие автомобили «форд-фолкен» уже пересекали улицу Маркоса Састре и оставались считанные секунды до того, как открылись бы двери и вышли из них кровожадные пассажиры, Гермес стремительно подлетел к спрятавшемуся растеньицу мяте и обратился к ней со следующими тревожными словами:

— О храбрая Мента, единственная, в которой мое одинокое сердце нашло утешение, вот-вот должно совершиться кровавое убийство двенадцати прекрасных друзей, которые помогли мне найти тебя. В эту тревожную минуту ломятся в дверь уютного домика беспощадные посланники Гадеса. И, летая над ними в виде тонкой нити слюней дьявола, прибыл Гадес собственной персоной, чтобы следить за точным выполнением своих страшных приказаний.

Узнав о том, что неподалеку находится омерзительный Гадес, и обращаясь к сокрушенному и напуганному юноше, мужественное растеньице мята сказало:

— О стройный юноша, сын двух счастливых Бессмертных, если ты говоришь правду и прибыл сам Гадес в этот спокойный уголок где по воле двенадцати твоих чудесных друзей стала возможной наша приятная встреча, спрячься, не ведая страха, за той прекрасной геранью с бархатными листьями и позволь мне поговорить наедине с отвратительным и глупым богом мрака.

И чтобы страшный Гадес заметил ее соблазнительное присутствие, потерла мята один о другой свои листочки, свежий и манящий

запах шумных лесов распространился вокруг уютного домика, где собирался кружок «Полимния».

Гадес, находясь на командном пункте, в нескольких метрах над автомобилем № 25, которым управлял Козел, сразу же почувствовал ни с чем не сравнимый призывный клич очаровательной Менты. И по-прежнему скрываясь под видом невинной тонкой белой нити, поспешил он приблизиться к маленькому растеньицу, несправедливо пострадавшему из-за него, и одним концом приклеился к самому высокому тонкому стебельку ее. А легкий вечерний ветерок покачивал молчаливого бога, и его ватное тело было похоже на белый растрепанный парламентерский флаг, который примиряюще развевался на верхушке флагштока.

Обретя такой миролюбивый вид, непобедимый Гадес хрипло проговорил:

— Клянусь псом, охраняющим мое обиталище, я рад случаю встретить тебя в этом старом доме на улице Теодоро Вилардебо, о пренебрегающая, нелюдимая и хладнокровная Мента, и мне было бы по душе, как и в прошлый раз, провести с тобой тайную беседу. По правде говоря, я не настолько свободен, чтобы упустить эту ночь и одаривать тебя, как и прежде, дорогими подарками, ибо ты должна знать, о соблазнительная нимфа, что я прибыл сюда из своего огромного подземного царства лишь для приятной моему сердцу кровавой и безжалостной работы.

Посмотри туда и увидишь своими глазами моих беспощадных посланников. Они уже готовы остановить черные и сверкающие автомобили марки «форд-фолкен» перед этим приговоренным домом. Они уже сняли с предохранителей внушающее страх оружие и с удовольствием готовятся в точности исполнить мой приказ. Ответь мне быстро, маленькая Мента: по какой причине источаешь ты свой возбуждающий аромат и неожиданно приглашаешь меня приблизиться к тебе?

И, грациозно опуская листочки, ответила на эти грубые слова храбрая и умная Мента:

— Я с удовольствием хотела бы посмотреть туда, куда указывает твоя могущественная рука, о устрашающий Гадес, чтобы собственными глазами увидеть преданных тебе носителей смерти.

Но как ты видишь, по причине одной из твоих смехотворных попыток — ты не будешь возражать, если я напомню тебе об этом? — твоя законная супруга превратила меня в эту маленькую мяту, и глаза мои не могут рассмотреть то, что происходит за балюстрадой.

Если ты не против, о неутомимый насильник, преследующий девиц, я переговорю с неукротимой Афиной, бесспорно чей крик я только что слышала, и убедительно попрошу ее перенести меня в своем крючковатом клюве на притолоку входной двери.

И вот оттуда я смогу удобно и с восхищением наблюдать за твоей кровавой миссией по уничтожению людей, которую ты намерен осуществить с помощью своих жестоких посланников.

Ясно, что для того, чтобы девственная Афина удовлетворила мою просьбу, я должна буду рассказать ей все, вплоть до подробностей, о той несправедливости, из-за которой я, легкокрылая и проворная нимфа подземного царства, превращена теперь в этот неподвижный кустик пахучей мяты. Что скажешь, о могущественный Гадес?

XXXV

Когда сеньор Чавес закончил чтение, наступила непродолжительная и таинственная тишина. Нисколько не колеблясь, скажу, что мы действительно как будто бы ждали, что вот-вот войдет ослепительной красоты женщина; с огромным вниманием слушая волнующие слова, мы последовали взглядом за страстным жестом богом

одаренного сеньора Чавеса. Однако уже через несколько секунд, по непонятным причинам вернувшись к действительности, зал буквально разразился аплодисментами. И тогда — хотя это было совершенно несвойственно нам до сегодняшнего вечера — послышались крики «браво» и другие возгласы, подходящие, по правде говоря, больше для оперного зала, чем для этого скромного маленького зальца в квартале Вилья-дель-Парке.

Собрание подходило к концу. Нам оставалось лишь составить список поэтов, выступающих в следующую среду. Однако в отличие от предыдущих вечеров никто — даже мама сеньориты Кистернмахер — не решался покинуть зал. Вероятно, каждый из нас — и наверняка по различным причинам, но в глубине души все из-за того же плохо объяснимого желания быть вместе — хотел под любым предлогом продлить этот несравненный вечер, когда произошло столько действительно чудесных событий. Итак, мы продолжали подробно комментировать случившееся в эту среду, придумывали новые и бесконечные темы для разговоров или же по-детски извинялись за то, что благодаря вентилятору в этом маленьком зале было гораздо приятнее, чем на улице. Никто не решался разорвать чудесный и не так часто возникающий союз душ, который удалось нам создать без каких-либо приготовлений.

Сеньорита Кистернмахер беседовала с сеньорой Джаннелло, сеньором Фругони и юным Ромилио Сосой на свою излюбленную тему — о вечной любви. А Дора, которая стояла у нее за спиной с огромным букетом мимоз и уже приготовилась было везти инвалидную коляску, внезапно — как будто богословские толкования мудрой сеньориты задели ее за живое, а может быть, к этому ее побудил дружеский климат, царивший в зале,— порывистым и полным расположения жестом стала отрывать веточки с цветами и предлагать их каждому из присутствовавших, нежно улыбаясь при этом.

Все мы действительно чувствовали себя умиротворенными и счастливыми. Я заметил, что после долгих мучений моя неуверенность и робость перед Ирене чудесным образом наконец преодолены. Чего же еще мог я желать себе в жизни? Нас сближала приятная и безотчетная радость.

Оживленная и ликующая Дора была единственной среди присутствующих, которая, несмотря на свое решение по-дружески поделить между нами цветы, стремилась поскорее уйти из зала. Наверно, у нее было какое-то неотложное дело, она прошептала что-то на ухо своему жениху, посмотрела на часы — было уже без пятнадцати десять — и сделала сеньорите Кистернмахер знак, чтобы та поторопилась (этот знак, говоря по правде, не слишком подходил для компаньонки). Сообразительная сеньорита Кистернмахер, улыбнувшись, также ответила ей знаком, чтобы та подождала минутку, и стала прощаться с друзьями. Помню, что, когда она прощалась с сеньорой Циммерман, до нашего маленького зала донесся отчетливый крик совы. Признаюсь, мы все были немножко удивлены, а Мастандреа, как всегда некстати, решил воспользоваться случаем, чтобы напомнить нам о том, что крик совы — дурное предзнаменование. Сеньор Фругони, считающий себя знатоком в сельском хозяйстве, скорее для того, чтобы поддержать разговор, а вовсе не потому, что тема эта действительно нас интересовала, сказал тогда, что сова приносит пользу посевам и что он непременно прочитает на следующем вечере короткое стихотворение, в котором скажет несколько слов об этой белой совешке. Но всезнающая сеньорита Кистернмахер деликатно поправила сеньора Фругони, пояснив, что по характеру крика, по месту и прежде всего по времени можно заключить, что в данном случае речь идет не о маленькой сове, которую он собирается упомянуть в стихах, а безусловно, о большой и темной (название совы она произнесла по-латыни), которая, очевидно, поблизости свила се-

бе гнездо. Снова послышался крик совы, но на этот раз более сильный и продолжительный, и сеньорита Кистернмахер подтвердила, что это особый вид совы. Кроме того, она пояснила, что, возможно, какой-нибудь кот прогуливается рядом с ее гнездом, потому что такой звук она издает лишь тогда, когда ей угрожает опасность. Здесь она полностью раскрыла нам свои широкие познания в области зоологии.

Между тем сеньора Джаннелло, уютно сидя на эстраде, выполняла свои функции секретарши, занимаясь составлением протокола,— в присутствии сеньоры Циммерман и сеньора Чавеса она писала список выступающих в следующую среду. Дора толкала к выходу инвалидную коляску сеньориты Кистернмахер. Сеньора Циммерман взяла за руку сеньора Паско. Сеньор Чавес прощался, обнимаясь с сеньором Фругони и сеньорой Джаннелло. Юноша Ромилио, всегда следивший за порядком в нашем доме, вышел погасить свет и закрыть двери. Он вернулся в зал, и как раз в тот момент, когда он отключил вентилятор, мы услышали совсем близко резкий, неприятный скрип автомобильных шин по брусчатке.

XXXVI

И именно в тот момент, когда сеньорита Кистернмахер поясняла различие между двумя видами кумушек сов и с полным знанием дела говорила, что крик, который мы все только что слышали, принадлежал большой прекрасной сове, обычно обитающей на церковных колокольнях, бесплодный Гадес, впервые в жизни сильно потея и заикаясь от внезапно подступившего страха, отвечал так душистому и нежному растеньицу мяте:

— Именем многочисленных душ, которые бродят в моем огромном подземном царстве, именем неподкупного перевозчика, который за долгое время перевез каждую из них через болотистый Ахеронт, клянусь тебе, крошечная и не питающая ко мне уважения нимфа, что я не собираюсь раскрывать ни перед кем из праздных и болтливых олимпийских богов уже забытые факты, которые касаются только лично меня.

Оставайся же в этом хорошо защищенном и влажном уголке патио. Не проси — я приказываю тебе — Афину или какого-нибудь другого Бессмертного перенести тебя в иное место. Не шевели своим неутомимым языком. Лучше жди здесь и спокойно потерпи, пока я выполню свою миссию. Затем я вернусь, и мы продолжим наш разговор об этом неприятном деле. Ты поняла, Мента?

После таких невежливых слов, изображая на лице удивление, притворно, по-детски надув губки и смахивая несуществующие слезы, ответила Гадесу умная мята:

— Почему ты так грубо обращаешься со мной, о могущественный Гадес? Почему ты стараешься воспользоваться тем, что я маленькая и слабая? Разве ты не приглашал меня всего лишь несколько минут назад любоваться твоими жестокими посланниками? Может быть, ты стыдишься бедной нимфы и не желаешь, чтобы вместе с поверженными тобой богами Олимпа я с восторгом наблюдала за твоим необыкновенным подвигом? Я убедилась, что ты быстро забыл вспыхнувшую было любовь, в которой клялся мне в старые добрые времена! Хорошо, я уступлю, о могущественный бог, но говорю тебе правду: твоя постыдная забывчивость ни в коей мере не уменьшает моего страстного желания видеть тебя в действии. И знай: несмотря на твое жестокое безразличие, я должна созерцать с высоты этой отремонтированной притолоки твою грандиозную кровавую работу. Но поскольку я, растение, не могу туда подняться сама, то попрошу помощи у услужливой и неукротимой Афины. Напрасно ты, Гадес, стараешься спрятаться от меня.

И в то время как на конце самой длинной веточки пахучей мяты дрожали от ярости развевающиеся на ветру слюни дьявола, поспешил ей ответить разъяренный Гадес:

— Ах ты, упрямая, упорная, непослушная нимфа! Какими доступными словами объяснить тебе, что ты не должна говорить ни с кем из этих ничтожных олимпийских богов! Я достаточно ясно приказал тебе оставаться здесь и не открывать своего опасного рта. Проси у меня все что хочешь. Я обещаю тебе выполнить твою просьбу. Но заклинаю тебя мордами своего страшного пса, не проси меня, о болтливая Мента, чтобы я позволил тебе говорить с равнодушной сплетницей Афиной. Я прекрасно знаю, о чем вы будете судачить, а этого не сможет выдержать мое сердце.

Именно слов «проси у меня все что хочешь» и ждала хитрая Мента; весьма грациозно пошевеливая своими листочками, распространяя освежающий и пьянящий аромат, она быстро ответила лопочущему Гадесу, капризно надувая губки:

— Хорошо, в конце концов, как всегда, я подчинюсь твоей суверенной воле, о беспощадный Гадес. Покинутая и печальная, останусь я вдали от тебя в этом одиноком углу. Я удалюсь, чтобы не видеть тебя, не встречаться и не обмолвиться даже словом ни с кем, кто бы то ни был: бог ли, смертный ли, крылатое ли насекомое, ветвистое ли растение или порхающая птица. Но поскольку ты великодушно только что предложил мне попросить у тебя что-нибудь взамен этого жестокого самопожертвования, к которому ты вынудил меня так безжалостно, хотя и проливая обильно сомнительные слезы, я покорно принимаю твое предложение и обращаюсь к тебе с маленькой просьбой. Ведь ничто не может помешать тебе выполнить эту просьбу, о могущественный бог, не правда ли?

Наполовину успокоенный тем, что хоть на несколько минут болтливая Мента обещала ему хранить скромное молчание, и прислушиваясь к звукам моторов приближающихся «фордов-фолкенов», промолвил тогда содрогнувшийся от приступа гнева Гадес:

— Я согласен, малышка. Выскажи мне сейчас же свою просьбу, и я немедля выполню ее. Однако заклинаю тебя всеми эриниями и керами: поторопись и говори сразу — приближается час, когда я должен осуществить свою кровавую месть, и у меня почти не остается времени. Дорогой моему сердцу Козел уже снял с предохранителя грозную «итаку», четыре черных автомобиля — я слышу их отсюда — вот-вот остановятся перед этим ненавистным мне домом № 2562 на Теодоро Вилардебо, а необходимые орудия для безнаказанного и много раз осуществлявшегося похищения смертных уже в руках моих проворных посланников. Я должен поспешить туда и руководить похоронной церемонией.

Двенадцать поездок, одна за другой, ожидают моего неутомимого перевозчика душ умерших, двенадцать — это те смертные, которые находятся в эти минуты в маленьком зале с голубыми обоями и составляют нереальный список выступающих для неосуществимой следующей среды, сегодня же вечером они будут перевезены в мое ледяное подземное царство. Говори же быстрее, о маленькая Мента, я очень тороплюсь.

И пока Гермес, спрятавшись за кустом герани с бархатистыми листьями, внимательно слушал весь этот разговор, проницательное растеньице мята обратилось к кровожадному Гадесу с тщательно продуманной просьбой:

— Я скажу, коль скоро ты приказываешь мне сделать это, о нетерпеливый Гадес, с какой просьбой я согласна обратиться к тебе, хотя и проливаю еще слезы из-за твоей нелюбви ко мне и плохого отношения. Слушай меня, и слушай внимательно. И помни прежде всего, что ты должен будешь сразу же выполнить эту просьбу, как обещал.

Ты знаешь, о непобедимый Гадес, что вот уже много лет я живу в этом аккуратном дворике и привязалась к полюбившимся мне смертным, которые сидят сейчас в этом ярко освещенном зале с голубыми обоями, ибо в отличие от некоторых грубых Бессмертных, они так или иначе всегда заботились обо мне. Пышная и счастливая донья Зулема всякий раз щедро поливала мои благоуханные листочки и тонкие корешки. Умный и умелый на все руки Ромилио часто пропалывал докучавшие мне сорняки и другие дикие травы. Элегантный сеньор Чавес с жаром защищал эту маленькую полоску увлажненной земли в мощенном плитами дворике, когда кто-нибудь в спешке пытался поставить на ней несколько ужасных бетонных скамеек. Очаровательнейшая сеньора Джаннелло, подобно богине, часто украшала одной из моих ароматных веточек свои черные волосы. Благоразумный Хосе Мариа Пуличиккио не забыл упомянуть меня в сонете, посвященном прекрасной весне. И даже несказанная и девственная Ирене Бенгоэчеа обычно носит в своей папке белые сердечки «Дорин», пахнущие мятой, чтобы соблазнить ими любезных членов «Полимнии». Одним словом, каждый из членов этого умело руководимого кружка уделял мне многие годы трогательное и незабываемое внимание. Поэтому прошу тебя, останови кровавое злодеяние, которое ты собираешься осуществить, и сделай так, чтобы двенадцать смертных — вероятно, справедливо приговоренных тобой, я не отрицаю этого — продолжали вести свой рискованный образ жизни. Пусть они по-прежнему, несмотря на неприятности, которые причиняют тебе, продолжают заниматься своим абсурдным увлечением в этом старом доме № 2562 на Теодоро Вилардебо. Такова моя просьба, о могущественный Гадес. Ты выполнишь ее, не так ли?

И в тот самый момент, когда Дора торопливо толкала к выходу инвалидную коляску с сеньоритой Кистернмахер, Гадес с мрачным видом произнес эти страшные слова:

— Нет! Я не стану выполнять твою безрассудную просьбу, надоедливая и ловкая Мента. Знай же: в ответ на насильственную смерть одного из моих самых дорогих поставщиков душ, прославленного генерала Хорхе Эстебана Касереса Монье из благодатной провинции Энтре-Риос, изобилующей птицами, вот уже двадцать дней готовлю я кровавое возмездие.

Все подготовлено к этому в моем мрачном подземном царстве. Харон уже проконопатил умело свою так часто используемую лодку. Те, что при жизни были моими верными слугами, ждут с нетерпением, так как я сам объявил им, прибытия этих двенадцати — злосчастных и презренных подрывных элементов. Сегодня ночью они должны пересечь черные воды топкого Ахеронта. А поскольку сейчас они собрались все вместе, то достаточно легко будет выполнить задачу хорошо обученным параполицейским силам, которым поручено схватить их, пытать и продырявить пулями их тела. Проси, и поскорее, что-нибудь другое, о злополучная Мента.

XXXVII

— Это здесь, дружище?

— Вон тот домик с железной крышей.

— Слушай, а еще говорят, что органы безопасности бездействуют.

— Брось болтать!

— Поставь машину вон там.

— Я сразу буду стрелять, чего волынить.

— Нет, сначала надо арестовать.

— Что?

— Сопротивляться не будут. Будь спокоен.

— А ты откуда знаешь?

— Шеф абсолютно уверен. Он уже выяснял.

— Ну ладно, все же на всякий случай...

— Если не терпится пулю всадить, оставайся в машине. Сегодня все должно быть сделано чисто.

— Всегда одно и то же. Рискуют людьми понапрасну.

— Ты деньги уже получил?

— Получим в пятницу.

— Денег, черт возьми, маловато.

— Приказ ясен: схватить и бросить в машины. По трое в каждую. А после ты уже сможешь насладиться.

— Посмотрим. Куда везем, к Эсейсе?

— Ага.

— Шеф, мы готовы.

— Машины 41, 70 и 72, будьте предельно осторожны, чтоб без накладок.

— Шеф, а если окажут сопротивление?

— Разумеется, всех снять. Но они не будут сопротивляться. Это за Касереса Монье. Надо свести счеты. Сегодня же.

— Двенадцать?

— Двенадцать, черт возьми, я же говорил тебе. Ты что, оглох? Следуй за 41-й.

— Движение перекрыть?

— Не стоит. Ждите, когда я выйду из машины. Номера 41, 70 и 72, когда я выйду из машины, начинайте операцию. Приготовиться.

— Ты видишь 25-ю?

— Вижу отсюда. Выходим, когда выйдет шеф. Все готово?

— Готово.

XXXVIII

И чувствительная нимфа, в отчаянии сознавая, что теряет случай спасти двенадцать великолепных друзей своего стройного возлюбленного, с щемящей болью в сердце смело выбросила последнюю козырную карту:

— Двенадцать смертных — это цена твоего страшного возмездия, о могущественный Гадес? Очень хорошо, согласна, ибо так решил ты. Но почему же именно они, мои великодушные друзья, должны стать жертвами твоей ярости? Почему именно те, кто обо мне так заботится, должны войти сегодня ночью в твое холодное подземное царство? Разве в глухой провинции Кордова, к примеру, ты не мог бы, Гадес, найти двенадцать собравшихся в одном месте смертельных твоих врагов, а вооруженные параполицейские группы, не теряя времени, прочесали бы улицы в поисках этих людей?

А если по какой-то непредвиденной причине тебе не удастся подыскать двенадцать, которых ты с таким упорством приказал убить, нет ли в Росарио или в Ла-Плате достаточного количества смертных, которых бы ты дьявольски ненавидел, чтобы набрать, таким образом, необходимую квоту возмездия?

Сделай, пожалуйста, то, о чем я тебя прошу, и спаси моих друзей, не нарушая своих планов; заверяю тебя, моя благодарность будет достаточно приятной. Что скажешь на это, о беспощадный Гадес?

Но равнодушный к слезам чувствительной Менты, мрачный Гадес гневно сбросил свое летающее и прилипчивое тельце со стройной веточки и ответил глухим, устрашающим голосом:

— Я уже сказал тебе «нет», неуважительная и настойчивая Мента. Приказываю не упорствовать. Ни ты, ни кто другой не смогут заставить меня изменить предначертанные мною замыслы. И перестань мешать мне, ибо именно в этот момент я собираюсь исчезнуть, чтобы скорее их осуществить.

Гадес, принявший вид нити из слюней дьявола, стал было отдаляться от маленького растеньица, чтобы вернуться на свой стратегиче-

ский наблюдательный пункт, когда, с трудом сдерживая ярость, вновь заговорила храбрая Мента:

— О лживый клятвопреступник, тупой и бесплодный Гадес! Лишь несколько минут тому назад обещал ты выполнить любую мою просьбу! А сейчас, предатель, уже отказываешься от своего обещания! Поступай так, как подсказывает тебе твое обледеневшее сердце, и не трать ни секунды своего драгоценного времени, чтобы выслушать меня. Но я все-таки скажу тебе: ты недостойным образом нарушил недавно данную тобой клятву, и я не буду как дура считать себя связанной своею клятвой. Так знай же: это униженное и оскорбленное растеньице — Гадес, я заверяю тебя в этом — не будет молчать! Многие смертные и Бессмертные, сатиры и нимфы, наяды, кентавры и маленькие крылатые и болтливые духи из уст моих узнают, что произошло — а лучше сказать: то, чего не произошло,— у корней шелестящего листьями тополя. Иди же и, не теряя времени, выполняй свою миссию, и я тоже поспешу выполнить свою. До свидания, о могущественный Гадес!

Услыхав эти угрожающие слова, дрожа от страха всем своим развевающимся на ветру тельцем, тяжело вздыхая, одинокий обитатель Эреба сказал:

— Ай-ай-ай, жестокая вымогательница Мента! Какими же страшными средствами пользуешься ты для удовлетворения своих капризов! Откуда ты знаешь, о безжалостная, что там, в моем мрачном подземном царстве, я умер бы от стыда, если бы кто-нибудь из ленивых олимпийских богов узнал о моей сокровеннейшей тайне?

Не будь такой злой, о прекрасная Мента. Ты никогда не задумывалась над тем, что если смертные потеряют ко мне уважение и в своих легкомысленных разговорах станут подсмеиваться надо мной, то во всей вселенной перепутаются неизменные законы. Никто не будет бояться неминуемой смерти, и поступки людей потеряют, безумная, высшую значимость, которой наделяет их опасность смерти.

Хотел бы я теперь, маленькая Мента, выполнить последнюю твою просьбу и заменить этих двенадцать осужденных смертников таким же числом обитателей Кордовы, Росарио или Ла-Платы, как ты разумно предложила мне, чтобы оплатить твое драгоценное молчание! Но, к моему великому сожалению, это уже невозможно, уже запущена налаженная машина для осуществления тщательно спланированной мести.

Начиная со своевременного, хотя и глупого доноса, каждый шаг полицейских ловко направлялся мною и постепенно вылился сегодня в эту прекрасную акцию параполицейских групп. Никто, даже самый быстрый из олимпийских богов, не сможет теперь в считанные секунды достичь одного из тайных кабинетов, местонахождение которого мне уже незачем скрывать, как я уже объяснял тебе, чтобы приказать оттуда любимому моему Козлу не начинать бойню. Поэтому проси у меня что-нибудь другое, о милая Мента, и клянусь тебе прославленными предками моих черных коней, что я выполню эту просьбу.

И тогда громким голосом, чтобы стройный юноша, спрятавшийся за бархатистой геранью, отчетливо услышал ее слова, спросила Гадеса умная Мента:

— Ну, так если уже невозможно предотвратить задуманное тобой и нет никого, кто бы мог передать твое послание, скажи мне, коль теперь это не так уж важно, о могущественный Гадес, просто чтобы удовлетворить мое женское любопытство, каково содержание спасительного послания и в какое точно место оно должно быть направлено?

И в тот самый момент, когда усердный Ромилио Соса выключал свет и закрывал двери в доме № 2562 на улице Теодоро Вилардебо, опечаленным голосом мрачный Гадес сказал:

— Я могу ответить на твой бессмысленный вопрос, о прелестная Мента. Ты убедишься, что не по злой воле не хочу я заменить этих несчастных смертных двенадцатью другими жертвами, о чем ты просишь меня. Прошу тебя, имей это в виду. Не отвечай на мое искреннее отношение к тебе губительной злобой и не рассказывай никому того, что известно только нам с тобой. Так знай же, о приятная нимфа, что если бы существовал Бессмертный, такой же быстрый, как и сама мысль (что абсолютно невозможно), то он должен был бы сейчас вылететь из этого тенистого дворика и прибыть, пока я не закончу свою короткую речь, в кабинет Главного управления федеральной безопасности на улице Морено, 1425. Там он должен превратиться в Срочный Телефонный Звонок из одной лишь фразы: «Остановить операцию «Теодоро Вилардебо». Самый надежный из моих слуг, который по радио поддерживает постоянную связь с Козлом, услышав эту команду по телефону, немедленно отдаст приказ Козлу задержать выполнение этой тщательно подготовленной операции. Но так как все то, о чем я только что рассказал тебе, невыполнимо, ибо в данный момент некому столь быстро передать мое послание, снова прошу тебя, Мента, откажись наконец от этих двенадцати приговоренных к смерти и попроси меня о чем-нибудь другом.

Прилежный Гермес, по предложению хитроумной Менты спрятавшийся за кустом герани, подслушал ответ самоуверенного Гадеса. И пока Гадес говорил, не теряя ни секунды и не тратя времени на то, чтобы предупредить Афродиту и непокорную Афину, Гермес, вновь превратившись в Вестника богов Олимпа, стремительно полетел в Главное управление федеральной безопасности на улице Морено.

А душистая и приятная Мента, заметив, как он поднялся из-за герани, сверкая в воздухе крылатыми золотыми сандалиями, сразу же поняла, что ее стройный и одинокий возлюбленный был не кто иной, как божественный Гермес.

Крылатого Вестника заметил и мрачный Гадес, и лишь через некоторое время до его сознания постепенно стало доходить, что по собственной глупости он попал в ловушку, расставленную неисправимой Ментой.

Сердце его кипело ненавистью, но выражение лица было прежним, лишь рука со страшной силой сжала черный бич, он вынужден был сдержать свой страшный гнев — одним жестом, без слов Мента приказала ему не двигаться с места, она-то знала, как ей поступить дальше.

Быстро, как никогда в жизни, полетел крылатый Вестник Гермес, превратившись в светящийся неопознанный летательный аппарат, взбороздивший ночное небо Буэнос-Айреса. И спеша поскорее произнести нужные слова, он прилетел на указанное место и опустился на крышу Главного управления федеральной безопасности на улице Морено. Действуя согласно подслушанным словам мрачного Гадеса, Гермес сразу же превратился в Срочный Телефонный Звонок, и тут же зазвенел колокольчик телефонного аппарата на столе зловещего прислужника Гадеса, поддерживающего связь с автомобилем № 25, в котором сидел человекоубийца по прозвищу Козел.

Хитроумный Гермес зычным голосом высокопоставленного начальника, похожим на голос старшего инспектора Гусо, обратился к зловещему прислужнику Гадеса, державшему руку на аппарате, и прошептал ему эти единственные слова: «Остановить операцию «Теодоро Вилардебо».

Сотрудник Управления с явным нежеланием и нескрываемым удивлением связался по радио с кровожадным Козлом, любимцем Гадеса, и повторил фразу: «Остановить операцию «Теодоро Вилардебо», а от себя добавил: «Временно».

И уже издавая зловещий скрежет шин о мостовую, резко затормозили машины под номерами 25, 41, 70 и 72, а Козел опустил волосатую

руку на ручку дверцы, чтобы выйти и немедленно приступить к осуществлению своей кровавой и долгожданной миссии, как вдруг услышал чудовищные слова: «Остановить операцию «Теодоро Вилардебо».

Осознав значение этих слов и не стараясь даже прикрыть рукой микрофон, произнес Козел отборные проклятья в адрес правительства, бога, органов федеральной безопасности и любимых матерей их многочисленных сотрудников. Вслед за этим он с бешенством отдал приказ отъезжать, и четыре черных сверкающих «форда-фолкена» с человекоубийцами-профессионалами снялись с места и помчались через весь город, сотрясая воздух ужасающим завыванием сирен.

XXXIX

— Черт возьми!

— Идиотизм!

— Сволочи!

— Ну уж я покажу этим подонкам! Не имели права... Чтобы я еще раз связался с этим дерьмом... Поехали...

— А теперь куда?

— В гараж. Мерзавцы...

— А что вы думаете, шеф?

— Приказ свыше. Ты что, идиот, не слышал? Клянусь, поплатится у меня этот Гусо.

— Так это был Гусо?

— Кто же еще.

— Странно.

— Ничего странного.

— Сколько работы, и все насмарку.

— И правда, все насмарку. Машинам 41, 70 и 72 возвращаться в гараж.

— Ты слыхал?

— По-видимому, приказ свыше.

— Как будто эти идиоты не знают, с кем имеют дело.

— Вот такие-то вещи происходят у нас в стране, дружище!

— Никакого уважения.

— Да какое тут к черту уважение!

— Как же шеф рассвирепеет!

— Знаешь что, не надо спускать им.

— Безусловно, а там уж пусть доказывают.

— Отгони мне вон тот «фиат».

— Странно, что шеф...

— Помешал кто-то.

— Полицейские?

— Кто знает.

XL

— Ах, юнцы, юнцы! — сказал снисходительно сеньор Чавес, покачивая головой. А сеньорита Кистернмахер добавила, что они не виноваты, их поведение объясняется отсутствием настоящих духовных ценностей в мире. Я предпочел отмолчаться. Невольно вспомнил свою невеселую и одинокую молодость (полную грез, печали, неосуществленных любовных мечтаний, долгих хождений в поисках работы ради нескольких монет) и сравнил себя того с сегодняшней свободной и лишенной предрассудков молодежью, постоянно склонной к бурному выражению эмоций и не боящейся опасностей.

Я как раз собирался обсудить нечто подобное с Ирене, когда сеньора Циммерман, уже направляясь к выходу, вдруг повернулась ко мне, взяла за руку и сказала:

— А знаете, почему они так лихо гоняют на машинах? Знаете, почему они отбирают у отцов машины и совершают всякие проделки?

Мятежный дух, дорогой, не что иное, как мятежный дух! Всему виной иррациональное воспитание. Что я вам говорила?

Однако Мастандреа, по-видимому, не был согласен с педагогическими воззрениями сеньоры Циммерман, ибо, с трудом переводя дух от жары и недавнего потрясения, он сказал, что это всего лишь «горстка бездельников» и что всех их нужно было бы пересажать в тюрьмы, а психология — чепуха.

И именно этот, скорее случайный и не имеющий ничего общего с логикой вывод, к которому пришел наш неисправимый Мастандреа, вызвал общее оживление и в некоторой степени разрядил напряженность, которую — хотя мы и предполагали, что речь идет о таком незначительном факте, как проделки юнцов,— породил на некоторое мгновение неприятный и пронзительный скрежет автопокрышек, донесшийся с улицы.

Никто уже больше не вспоминал об этом случае. После заявления Мастандреа все как будто молча согласились, что уже не стоит возвращаться к этой теме. Для всех нас эти пронзительные звуки с улицы, долетевшие внезапно до нашего гостеприимного зала, как будто олицетворяли мир без красоты, мир насилия, грубый и агрессивный, который, вероятно, окружал нашу горячо любимую «Полимнию», но с которым у нас не было и не могло быть ничего общего. Очень скоро и даже без особых усилий мы забыли об этом случае.

XII

И ударив своим устрашающим бичом по лоснящимся спинам коней, умчался Гадес от дома № 2562 на Теодоро Вилардебо, покинув на время двенадцать жертв, за которыми он давно охотился.

А Афродита, Афина и хитроумный Вестник Гермес решили тогда, что завершилась их миссия, ради которой они вынуждены были поспешно покинуть Олимп и очутиться в уютном квартале Вилья-дель-Парке. И потому они, как и бесплодный Гадес, умчались от дома № 2562 на Теодоро Вилардебо, через несколько секунд возвратившись на вершину Олимпа.

И с высокой одинокой вершины Олимпа трое Бессмертных, будучи не в силах ничем помочь, следили за страшными деяниями разгневанного Гадеса, за его охотой на людей, которая велась по всей обширной территории Аргентинской Республики, чтобы набрать нужное количество жертв вместо спасенных богами двенадцати членов «Полимнии». И видели они, как Гадес, лязгая зубами, направился в Кордову, где посланники мрачного бога, во всем схожие с кровожадным Козлом и его подчиненными, сеяли смерть, которой, благодаря стараниям умной Менты, удалось избежать обитателям дома в квартале Вилья-дель-Парке.

И с болью в сердце видели боги Олимпа, как мрачные параполицейские силы из «Команды освободителей Америки. Отряд имени Касереса Монье» на быстрых «фордах-фолкенах» подъехали к большому зданию на углу авениды Иподромо и Такуари.

С шумом ворвались они в дом и, безжалостно нанося удары направо и налево, выкрикивая непристойные слова, скрутили своим жертвам руки, заткнули кляпом рты и увезли на своих черных автомобилях девять из двенадцати студентов, которые жили в этом доме.

Новые, но такие же жестокие параполицейские, подобные Козлу, похитили в Росарио служащего с фабрики «Асиндар», а другие — супружескую пару, которая жила в Ла-Плате, связали им руки и заткнули кляпами рты.

А с недосягаемой вершины Олимпа трое Бессмертных следили за тем, как двенадцать похищенных людей, после вмешательства Менты схваченные вместо приговоренных к смерти членов «Полимнии», были отправлены на быстрых автомобилях в заранее предусмотренные глу-

хие места. С завязанными глазами их доставили на безлюдные пустыри, жестоко избили, подвергли пыткам и надругались над ними, а затем всех безжалостно убили, изрешетив тела пулями крупного калибра.

И холодок страха пробежал по телу трех Бессмертных с Олимпа, как только представили они себе, что такая же участь ждала и двенадцать обитателей дома на улице Теодоро Вилардебо, если бы в это дело не вмешалась Мента.

XLII

4 декабря 1976 года

Дополнительная информация. Кордова. Аргентина.

Вчера приблизительно в 8.30 утра неизвестный сообщил по телефону органам федеральной безопасности, что на седьмом километре дороги, ведущей к плотине Лос-Молинос, им обнаружены четыре трупа. Полицейские власти, прибывшие в указанное место на проселочной дороге, идущей параллельно шоссе № 5, подтверждают данное сообщение: в указанном месте ими найдены четыре трупа, лежащие ничком, руки и ноги их крепко связаны, тела изрешечены пулями крупного калибра. Кроме того, установлено, что до момента убийства их подвергли жестоким пыткам.

В начале расследования этого ужасного преступления хозяин одной из кирпичных мастерских, расположенной в селении Пьедра, сообщил, что в пустынном месте, где поблизости нет ни одного жилого дома, а по обеим сторонам дороги растут низкорослые деревья, найдены еще пять трупов. Удалость установить, что трупы эти были в таком же состоянии, что и четыре найденных ранее, а именно: на трупах обнаружены многочисленные пулевые ранения, следы пыток, руки и ноги крепко связаны.

Вначале полицейские власти не скрывали своего замешательства в связи с этим новым актом насилия (прежде всего их ошеломило количество жертв). Полицейские эксперты подсчитали, что для осуществления подобной операции было, по-видимому, привлечено большое число лиц. На первых порах ведение следствия было затруднено и тем обстоятельством, что в последние часы не поступало каких-либо сообщений об исчезновении людей.

К утру, когда следователями уже были разработаны всевозможные версии, в местные органы печати поступило коммюнике так называемых «Освободителей Америки. Отряд имени Касереса Монье», подробно сообщавшее о многочисленных убийствах. Жертвы обвинялись в подрывной деятельности. Полученное коммюнике давало понять, что данные акты насилия были ответом на смерть генерала Касереса Монье.

Как сообщалось, жертвами стали девять юношей, студентов, почти все иностранцы. Они жили в комфортабельном доме на углу авениды Иподромо и Такуари в аристократическом предместье столицы данной провинции. В среду 3 декабря, ночью, в указанный дом ворвалась группа вооруженных лиц, прибывших на автомашинах.

Согласно одной версии, троим жителям этого дома удалось бежать, когда внезапно появившаяся группа неизвестных лиц похитила и убила их товарищей. Официальным органам имена жертв еще неизвестны. Слушайте дополнительную информацию к этому выпуску последних известий.

Дополнительная информация. Кордова. Срочно.

Неофициально были опознаны семь трупов из девяти новых жертв бойни в Кордове; ими оказались: Рикардо Рубен Аро, аргентинец, 20 лет; Луис Радней Салинас Бургос, боливиец, 21 года; Луис Вильяльба Альварес, боливиец, 26 лет; Альфредо Сааведра Альфаро, боливиец,

24 лет; Хорхе Рауль Родригес Сотомайер, перуанец, 29 лет; Америко Рикардо Апертиле, аргентинец, 21 года, и Хаиме Санчес, аргентинец, 21 года. Слушайте дополнительную информацию к этому выпуску последних известий.

Дополнительная информация. Росарио, провинция Санта-Фе. В этом городе на шоссе № 9 обнаружен труп Франсиско Родригеса, 28 лет. Он — служащий фабрики «Асиндар», тело его изрешечено пулями.

Ла-Плата, провинция Буэнос-Айрес. В безлюдном районе близ городка Бериссо найдены трупы мужчины и женщины приблизительно сорокалетнего возраста. На телах этих жертв, имена которых до сих пор установить не удается, многочисленные ранения от пуль крупного калибра, руки связаны за спиной, широкой клейкой лентой заклеены рты. Согласно неподтвержденным данным, женщина и мужчина были похищены за несколько часов до убийства группой хорошо вооруженных субъектов, ворвавшихся в дом под видом полицейских.

В течение последних двадцати четырех часов полицией в Аргентинской Республике в общем обнаружено двенадцать трупов. Последует дополнительная информация к этому выпуску последних известий.

XLIII

Увидев с вершины Олимпа столь ужасную картину, подавленная, с сжавшимся от боли и отвращения сердцем и с влажными от горячих слез покрасневшими щеками, сказала так божественная Афродита:

— Ах, будь трижды проклят мстительный, свирепый и кровожадный Гадес! Как и прежде, скорбящие смертные с полным правом будут называть тебя Могущественным, Жестоким, Непобедимым и Вечно Ненасытным. Лишь узнав, что ты сможешь удовлетворить свою мерзкую алчность другими двенадцатью жертвами, ты согласился, пусть временно, на то, чтобы сердца двенадцати благородных членов «Полимнии» продолжали биться. Только благоуханной и приятной Менте удалось с помощью аргументов, неизвестных нам, могущественным Бессмертным, отвести хотя бы на время твою кровавую руку.

До каких же пор, однако, мы будем покорно, о мрачный и бесплодный Гадес, следить за тем, как ты, пользуясь своей неограниченной властью, переправляешь одного за другим в свое мрачное царство столь прекрасных смертных, рожденных лишь для нежной любви. Почему из-за какой-то необъяснимой трусости мы, все Бессмертные, не восстанем, объединившись, и навсегда не потопим тебя в ледяных водах Стикса и не наградим чувственных мужчин и пышногрудых женщин божественным даром бессмертия?..

Но, качнув хвостом на сверкающем шлеме, резко прервала Афродиту неукротимая Афина, обратившись к ней с предостережением:

— Почему же ты сокрушаешься таким недостойным Бессмертной образом, о плаксивая и безответственная Афродита? Почему ты шлешь бессмысленные страшные проклятья непобедимому богу, которому из века в век было предоставлено право по собственной воле лишать жизни любого смертного?

Радуйся, что нам удалось хотя бы на время отвести руку могущественного Гадеса, и не стоит питать иллюзий, что ненавистный бог щедро дарует жизнь всем мужчинам и женщинам, которым мы с тобой по разным причинам оказываем покровительство.

Поразмысли также, о богиня, поспешная в своих выводах, и над тем, что хоть умной нимфе Менте и удалось с помощью ее таинственных средств вымолить неожиданное прощение у беспощадного Гадеса, однако именно Бессмертный, плутоватый Гермес, ловко убедил ее предпринять нужные меры.

Как раз ты, прекрасная соблазнительница Афродита, прибегнув к этому глупому дуновению любви, распространявшемуся от вращающихся лопастей вентилятора, побудила женопоклонника Гермеса любезно приблизиться к благоуханной Менте и завести с ней полезную беседу.

А разве не я, превратившись в болтливую сову, сообщила о прибытии страшного Гадеса и его свирепых посланников? И разве не благодаря моему крику, предупредившему об опасности, смогла вовремя подготовить свой хитроумный план Мента, тщательно и спокойно обдумать его и, пользуясь доводами, правда абсолютно нам неизвестными, заставить Гадеса удержать свою губящую всех руку и, кипящего от ярости, удалиться от дорогого нашему сердцу дома на Теодоро Вилардебо?

Именно таким образом была спасена жизнь наших, Афродита, подзащитных. Но не навсегда, как легкомысленно и необдуманно возжелала ты. И все же пусть на время, но удалось нам — каждому своими методами — быстро отвести руку могущественного Гадеса. Наступил наконец долгожданный момент, когда мы можем осуществить через этих великолепных смертных свои личные планы. Это означает, о моя извечная соперница, что каждая из нас снова будет использовать все свое могущество, чтобы безупречные члены «Полимнии» действовали в соответствии с нашими личными и божественными интересами.

Союз, который мы заключили между собой перед лицом угроз беспощадного Гадеса, с этого момента считай расторгнутым, жеманная интриганка и соблазнительница Афродита. Возвращайся к своим проделкам, к своим острым стрелам, отравленным сладострастием, к разжиганию сердец, к смущению, к томным взглядам, к ласкам, к разврату, к глупым словам, к нежным и пошлым стишкам. Ибо нам всем, Бессмертным, хорошо известно, что именно все это мелкое и второстепенное пробуждает в тебе, легкомысленной, интерес.

Я же, как и ранее, снова направлю свои усилия на развитие разума, ручного труда, на ведение войн и воспитание в духе мужества — благодеяния, достойные Бессмертной, рожденной из головы Зевса-громовержца.

И, сказав эти слова, неукротимая Афина с нескрываемым безразличием повернулась божественной спиной к белокурой Афродите, всем видом подтверждая, что заключенный между ними союз расторгнут окончательно.

И чтобы показать Афине, что также идет на разрыв связывавшего их союза, белокурая Афродита в свою очередь повернулась к ней красивой спиной и, свободная от всяких обязательств, снова устремила сияющий и внимательный взор в сторону дома на улице Теодоро Вилардебо, который уже опустел, так как часы показывали половину двенадцатого ночи и благородные посетители уже давно покинули его.

А в темном углу дворика, аккуратно вымощенного плитами, заметила божественная Афродита нежную, благоуханную и умную Менту, из глаз которой обильными ручьями текли слезы безответной любви к стройному и лживому Бессмертному. Хитростью добившись от нее выполнения своей просьбы, бесчестный Вестник забыл о своих уверениях в искренней любви и беззастенчиво оставил в одиночестве ароматное растеньице.

Донельзя возмутилась Афродита поведением бессердечного Гермеса и, полная сострадания к влюбленной Менте, приказала одному из своих слуг пустить в сердце ветреного Гермеса острую стрелу, пропитанную неудержимой страстью.

Как только стрела попала в сердце Гермеса, он тут же вспомнил нежное растеньице мяту и загорелся желанием вернуться в тенистый дворик дома № 2562 на улице Теодоро Вилардебо, чтобы снова уви-

деться с нею и возобновить тот любовный разговор, который был столь нелепо прерван.

И с вершины Олимпа Афродита, улыбаясь, следила за тем, как стремительно полетел Вестник Гермес к утопающему в зелени кварталу Вилья-дель-Парке, как остановился он на улице Теодоро Вилардебо и, как всегда, галантно вновь предстал перед огорченной Ментой.

И случилось так, что в это же время непокорная дочь Зевса, девственная и воинственная Афина, тоже направила свое всевидящее око в сторону улицы Теодоро Вилардебо и близлежащих кварталов, чтобы побудить своих благородных подзащитных заняться более серьезными и приятными ее очам делами.

И устремила свой взор Афина на тенистую улицу Маркоса Састре, и сжалось от боли ее мужественное сердце, ибо ее подзащитная, безупречная и непорочная Ирене Бенгоэчеа, столь умелая в строгих рамках интеллектуальных занятий, уже была готова увлечься рискованными любовными шалостями, поскольку страстный Хосе Мариа Пуличиккио уже предпринял несколько смелых шагов. С явной неприязнью следила Афина за тем, как доходила до опаснейших пределов решительность одного из ведущих членов «Полимнии». Он пригласил Ирене пройти в темный сад, где в прошлую среду они нашли чудесного и романтического светлячка; все теснее прижимался он к непорочной и неопытной Ирене Бенгоэчеа, собираясь, видимо, поцеловать ее.

И снова решила Афина прибегнуть к услугам своих верных посланников, к духам Робости и Нерешительности, и приказала им немедленно проникнуть в душу пылкого Хосе Мариа Пуличиккио и погасить разгоревшиеся в нем порывы.

В тот самый момент, когда красивая и непорочная Ирене Бенгоэчеа только приоткрыла очаровательные, без косметики губки и, дрожа от переполнявших ее эмоций, поджидала прикосновения горячих губ поклонника, духи Робости и Нерешительности легко овладели молчаливым Хосе Мариа Пуличиккио: горло его пересохло, ладони стали влажными, колени задрожали, будто напала на него лихорадка, и, скованный внезапной робостью и мучительной нерешительностью, он погасил разбушевавшийся в его душе порыв и уже не решился осуществить задуманное.

Но что это? Вскоре пришлось тебе признать, о дальновидная Афина, собственное поражение, ибо, несмотря на твой ясный ум, ты забыла, что не зря на протяжении более чем двух часов нацеливала Афродита приятное дуновение любви на восприимчивую кожу Ирене Бенгоэчеа.

И тут непорочная, влюбленная и внезапно осмелевшая Ирене Бенгоэчеа, почувствовав, что ее возлюбленный, несравненный Хосе Мариа Пуличиккио, автор безупречных сонетов, заколебался, побледнел и боязливо не решается коснуться своими губами ее губ, хотя от него следовало бы ожидать обратного, приблизила к потерявшему уверенность Хосе Мариа Пуличиккио свое прекрасное лицо, будто сошедшее со старинной камеи, прильнула всем стройным, трепетавшим от любви телом, и оба представителя руководства «Полимнии» сочетались в продолжительном, влажном и трепетном поцелуе в тени деревьев на улице Маркоса Састре.

Восседая на блистающем золотом Олимпе, смиренно вздохнула Афина, и пока окидывала взглядом утопающий в зелени квартал Вилья-дель-Парке в половине двенадцатого ночи, умная богиня сделала вывод, что уже не удастся ей предотвратить атак любви, от которой глупеют смертные, на сердца некоторых ее подзащитных.

Увидела с Олимпа неукротимая дочь Зевса, как постаревший и присмиревший было доносчик Карлос Архентино Мастандреа в укромном уголке бара на проспекте Сан-Мартина нашептывал соблазнительные непристойности на ухо пышнотелой донье Зулеме.

И еще увидела она, как очаровательнейшая сеньора Джаннелло и сеньор Фругони, лишь недавно так чем-то встревоженный, нежно ласкали друг друга и клялись в вечной любви, сидя в машине сеньора Фругони, стоявшей на едва освещенной улице возле монастыря.

Нахмурив брови, вынуждена была признать Афина, что ее вечная соперница, соблазнительница Афродита, одержала хотя и незначительные, но бесспорные победы. И стремясь утешить свое самолюбие, решила Афина воспользоваться своим беспредельным могуществом, чтобы по крайней мере хоть кто-то из благородных членов «Полимнии» совершил в эту ночь более важные дела, приятные ее божественным очам.

И Афина сделала так, что неутомимая сеньора Циммерман моментально забыла свой материнский и супружеский долг и в ту же самую ночь закрылась на ключ в набитой книгами библиотеке, пролистала множество томов по психологии, талмудскому праву, семейному бюджету, сексуальным отношениям мужчин и женщин после пятидесяти лет и разработала мудрейшую стратегию, согласно которой на следующий же день она должна была сразиться с разгневанной сеньорой Фругони и одержать над ней победу, чтобы та пересмотрела свои отвратительные и бессмысленные принципы и благоразумно дала бы развод замученному сеньору Фругони.

Выполнив это, Афина направила свой проницательный взгляд в сторону уединенной комнатки в пансионате, расположенном в предместье Вилья-Уркиса, где с котом и спрятанной в футляр гитарой обитал одинокий сеньор Паско, и властно распорядилась, чтобы им сразу же овладел дух Творческой Лихорадки. Внезапно охваченный порывом созидания, слепой, не отрывая карандаша от листа оберточной бумаги, написал слова к народной мелодии «Чакарера», безусловно навеянные образом обнаженной девушки на эстраде, сбросившей лифчик.

Завершив очередную миссию, непокорная Афина задумалась глубоко и произнесла про себя такие умные слова:

«Если я не могу помешать моей подзащитной девице Ирене Бенгоэчеа любить молчаливого Хосе Мариа Пуличиккио и убедилась, что непорочность красивой контролерши уже не залог моего успеха, я должна придумать для сборщика кредитов длительное, мирное, интеллектуальное и кропотливое занятие, особенно приятное моим божественным очам».

И приказала Афина безупречному Хосе Мариа Пуличиккио, который в этот момент уже собирался отправиться на покой в своем старом доме в Вилья-Девото, взять с письменного стола недавно начатую тяжелую бухгалтерскую книгу. Красивым убористым почерком он стал записывать в ней все интересные события, происшедшие в кружке «Полимния» в незабываемый вечер 3 декабря 1975 года, а также свои мудрые суждения и впечатления о благородных членах кружка, заслуживающих всяческой похвалы.

И хотя Хосе Мариа Пуличиккио послушно выполнил поручение Афины, необходимо, к сожалению, отметить, что собственноручно написанное им пространное повествование, тщательно, хотя и долго (примерно в течение четырех месяцев) редактировавшееся, позднее без зазрения совести было использовано одним никому не известным второразрядным романистом, поставившим себе бредовой целью создать на его основе абсурдную, смехотворную и маловероятную историю, где героями по прихоти своей выступали боги, злонамеренные полицейские и благодушные смертные, вокруг которых, как и вокруг всех смертных, постоянно кружила неумолимая смерть.

■

ЛИЛИАН ВУТЕРС

Перевод с французского и вступление М. КУДИНОВА

Первый сборник стихов Лилиан Вутёрс был опубликован в Бельгии в 1954 году и сразу же стал литературным событием: ему были присуждены четыре литературные премии, и стихи из него вскоре заняли место в бельгийских и французских поэтических антологиях.

Предисловие к этому сборнику написал известный поэт и критик Роже Бодар, который, по его словам, и помог Лилиан Вутерс издать ее первую книгу. Так совсем еще молодая, безвестная учительница средней школы вошла в литературу и с первых же шагов завоевала признание и славу.

Надо при этом помнить, что в небольшой стране Бельгии существуют давние поэтические традиции и на двух основных языках этой страны, фламандском и французском, издается большое количество стихотворных сборников. Поэтому завоевать симпатию бельгийского читателя не так уж просто. Тем более — попасть на страницы издающихся в Париже антологических изданий, которые, как правило, включают и стихи наиболее ярких франкоязычных поэтов из других стран.

В том же предисловии Роже Бодара (как и в других статьях, посвященных Лилиан Вутерс) отмечается еще одна подробность ее биографии: по происхождению она полуфламандка, полуфранцуженка. Пишет она только по-французски, но, судя по тому, что выпустила в свет книгу своих переводов из фламандских поэтов средних веков и Возрождения, близка и к фламандской культуре.

Второй сборник стихов, такой же небольшой, как и первый, Лилиан Вутерс опубликовала уже во Франции в 1960 году. Третий сборник также вышел во Франции и опять с промежутком в шесть лет. Как видно, Лилиан Вутерс остается верна себе: долго вынашивает свои стихи и не торопится с их публикацией.

Стихи, переводы которых представлены в нашей подборке, взяты из двух первых книг. Нетрудно заметить, что в них нашли свое отражение библейские мифы, переосмысленные отнюдь не в библейском духе. Эти стихи Лилиан Вутерс особенно привлекли к себе внимание у нее на родине и во Франции: недаром их так охотно перепечатывают антологические издания. Возможно, это связано и с тем, что в них более наглядно выражена ее непримиримость к насилию, милитаризму и духовному порабощению. И пусть читателя не удивляет снег, вдруг появляющийся в стихотворении «Избиение младенцев»: это не соответствует месту действия известной легенды, но должно придать, по замыслу автора, более широкий смысл всему стихотворению.

Избиение младенцев

«Встань!» — ангел мне сказал. Была не в силах встать.
Я мертвой притворилась.
Солдаты Ирода пришли, и Дева-мать
С младенцем в путь пустилась.

Был знак на небесах. Потушены огни.
Ночь надвигалась грозно.
Искать спасения от пьяной солдатни
Другим уж было поздно.

«Встань!» — ангел мне сказал. Но оставалась я
Недвижной, слыша дикий
Рев глоток, стук сапог и слыша, как дитя
Зашлось в предсмертном крике.

Чей вопль отчаянья летит солдату вслед?
Мать скорбная, не ты ли
Рыдаешь? Малышей, едва узревших свет,
Вдруг, как траву, скосили.

Убили. Вычеркнули из числа живых.
Бог не был им защитой...
На обагренный снег тела швырнули их
Близ хижины разбитой.

А завтра пеплу стыть здесь в мертвой тишине,
Быть мраку в час вечерний;
И скажет Ирод-царь: «Какое дело мне
До этой жалкой черни!»

На все закрыв глаза, поскольку в тьме ночной
Я мертвой притворилась,
Псов совести больной теперь я слышу вой:
Я от него не скрылась.

Как много пролито невинной крови здесь!
Тебе не стыдно, боже,
Свет солнца зажигать и видеть этот весь
Мир, на кошмар похожий?

Не возроптала я, и взор мой суше был
Египетской пустыни.
Младенцы мертвые из глубины могил
Ко мне взывают ныне.

Где ангел призрачный, чья слышалась мне речь?
Исчез подобно тени.
И я напрасно жду, чтоб обнажил он меч,
Карая преступленье.

Хранимый ангелами

Хранимый ангелами, прочь от них бежал
Ребенок: вынести он больше был не в силах
Ни глаз их ласковых, ни их забот постылых;
Ребенок от тоски и скуки умирал.

Пришла пора открыть все двери и границы,
А если нет ключей — пора замки свернуть,
И к скрытым зеркалам угадывая путь,
В них обнаженною душою отразиться.

Довольно псу дремать у запертых дверей!
Не колыбельные теперь нужны напевы,
А крики петухов прозрения и гнева,
Молчавших сорок дней и столько же ночей.

Кто из глупцов сказал, что, нас творя из глины,
Создатель передал ей дрожь своей руки?
Нет! Наша плоть крепка — дух вянет от тоски,
И пусть не говорят, что плоть и дух едины.

Гефсиманский сад

Что праведники есть, не радует меня:
Со мной Иуда рядом.
Он приведет солдат и, серебром звеня,
Укажет жертву взглядом.

Я, агнца ждавшая, волков увижу вдруг.
Один из них он тоже.
Но тот, кто принесет мне завтра столько мук,
Со мною делит ложе.

Рука, что кажется сегодня так легка,
Вдруг тяжестью нальется,
И по лицу удар мне нанесет рука,
И боль во мне взорвется.

Хлеб общий преломить и в чаше кровь смешать,
А после — плюнуть в душу...
И будет лучший друг бичом тебя хлестать,
Распнет тебя, задушит.

Взгляни я на него, он был бы обречен,
Бежал бы прочь в смятенье...
Но сомкнуты глаза, чтоб не увидел он
В них жалость и презренье.

Двойственность

Дьявол, бог — два очертанья
Одного лица! Двойной
Облик самоотрицанья,
То ли стужа, то ли зной.

Кто из них на смертной глине
Свой оставил след? Во мне
Грусть то явится, то сгинет,
Тает радость на огне.

Но жалеть меня не надо:
Я без ропота приму
И хожденье по канату,
И жестокую игру.

Лед и пламя... Груз тревожный,
Груз двойной... Его влачить
Тяжело, и невозможно
Жар от стужи отличить.

Ну а вам, ходящим прямо
С распрямленною спиной,
Вам чужды все эти драмы,
Вы из глины, но другой.

Мой удел — хранить молчанье,
Ибо двойственности след
Заставляет в час признанья
Молвить «да», а думать «нет».

Позаботился об этом
Бог иль дьявол? Не понять...
Чьим приказам и советам
Мне растерянно внимать?

Похороны бога

Свершилось: умер бог, покинул этот мир...
Передо мной прошли
В кортеже траурном жрецы, миряне, клир,
Шуты и короли.

Верхом на лошади путь кесарь открывал,
Шел папа вслед за ним,
Молитву скорбную какой-то кардинал
Пел голосом глухим.

Плясали гаеры в личинах, и авгур
Держал за ними путь,
Чтобы швырнуть в огонь своих священных кур
(Иль мне в лицо швырнуть).

Но кто лежит в гробу? Юпитер, Будда, Тор?
Навеки глух и нем,
Там Вотан северный? Иль с африканских гор
Неведомый тотем?

Бог за борт выброшен, бог выставлен за дверь!
На дно или во тьму
Он погружается. Бог загнан, словно зверь:
Пощады нет ему.

Бог, словно куль с зерном, в глубокий сброшен ров.
Над богом — пласт земли.
И трижды сделав круг, не тратя лишних слов,
Свидетели ушли.

Вот наконец он мертв! Одни мы наконец!
Его не вспыхнет взгляд.
Он в саван облачен, чтобы обрел мертвец
Свой истинный наряд.

Еще страшась его, снять мерку с мертвеца
Нам довелось в свой срок:
От головы до пят, с изнанки и с лица,
И вдоль и поперек.

Но как же вырос он! Пусть больше нет его,
Он место захватил;
Из жизни вычеркнут, не знача ничего,
Он все же полон сил.

Убитый, он в сто крат становится сильней,
И вот предела нет
Коварству мертвого: из вечной тьмы своей
Стремится он на свет.

Затем что труп растет, и почва, как нарыв,
Вздымается над ним.
Зарыли мы его, навек похоронив, —
Смеется он, незрим.

О смертные! Надев свой праздничный наряд,
Чего вы ждете там?
Откатит камень он, где вы уселись в ряд,
И явится он вам.

Откатит камень он, чтоб наважденьем стать,
Наш дух поработив...
А не придет, ну что ж! Придется нам опять
Придумать новый миф.

До седьмого пота

Ты свята, тяжкая работа...
Адам! Удел твоих детей
Работать до седьмого пота,
Склонясь над бороздой своей;

Работать, чтоб земля кормила,
Работать в стужу, в дождь и зной,
Чтоб скука жизни не томила
И стал возможен рай земной;

Работать споро иль с натугой,
Среди своих или чужих,
На солнце, на ветру, под вьюгой,
Во имя мертвых и живых.

На несколько часов забвенье,
Отдохновенье от трудов,
И вот приходит пробужденье
Еще до первых петухов.

Спадает с глаз моих дремота,
И вновь работа ждет меня,
Чтоб влагою седьмого пота
Я оросила всходы дня.

■

ДОНДОГИЙН ЦЭВЭГМИД

Крик улара

Местом очередной нашей стоянки мы выбрали дно глубокой теснины у подножия Сэгс Цаган-Богдо и, засветло успев разбить палатку, принялись готовить ужин. Мясо двухгодовалого аргали, добытого нами совсем недавно, уже варилось в котле и аппетитно пахло. А от аромата дикого лука, которым мы приправили бульон, даже слюнки текли.

Нестерпимо хотелось есть, и я не сводил глаз с костра, но все же успел заметить улара, который пулей пронесся над ущельем.

Перелетая с утеса на утес, улары обычно не машут крыльями, а, сложив их, как бы стремительно падают по наклонной, разрезая воздух и издавая при этом свист, похожий на звук лимбы.

«Как же они кричат?» — подумал я, и тут на меня нахлынули воспоминания.

...Когда я был маленьким, случалось, что бешеные волки нападали на наши кочевья, и тогда поднимался невообразимый шум, в котором сливались воедино крики людей, лай собак, мычание коров, ржание коней, блеяние овец.

И еще такое приходилось мне слышать... Словом, говорили, что, если собака, которую укусил бешеный волк, съест нарисованного на листке льва, она успокоится и выздоровеет. Для этого якобы надо посадить ее на цепь и вместе с куском мяса дать ей нарисованного льва. Я сам видел однажды, как пытались подобным образом вылечить пса.

Изредка мимо наших аилов, вопреки всем степным обычаям, не останавливаясь и ни с кем не вступая в разговор, проезжали на повозках какие-то странные люди.

Старики, провожая их печальным взглядом, перешептывались:

— К скалам везут человека, чтобы услышал крик улара.

— Бедняга! Наверное, волк его покусал.

Помню по сей день, как я, сгорая от любопытства, пытался выудить у наших стариков хотя бы самую малость о таинственном хойлоге [1], вернее об уларе.

Как-то весенней ночью тревожно залаяли соседские собаки и тотчас же заревели животные. Я крепко прижался к отцу и, нырнув под одеяло, притих.

— Что случилось? — послышался вскоре взволнованный голос матери.

[1] Улар, горная индейка. *(Здесь и далее прим. перев.)*

— Наверняка волк... Погоди, дай послушаю.— Отец приподнялся в постели, застыл.

Яростный лай собак переходил то в стон, то в визг, казалось, они за кем-то гонятся. Скотина неистово ревела. Слышно было, как волк носится вокруг загона. Помню, леденящий страх овладел мною... Мне казалось, будто юрта наша развалилась и я лежу, придавленный копытами животных.

— Что-то людей совсем не слышно...— зашептала мать.— К чему бы это? А может, наши овцы разбежались?

— Пойду посмотрю,— сказал отец и стал одеваться.

Лай и рев все усиливались. Пронзительно заблеяли ягнята. И тотчас же я услышал, как у дверей заскулил наш старый пес.

— Куда собрался? Темень такая, да и людей не слышно... Подождал бы немного.

Раньше отец хватал ружье и, выйдя во двор, стрелял, кричал, и, обойдя загон, возвращался, и говорил:

— Голодный волк пытался пробраться к нашим овцам, но собаки отогнали...

На сей раз он был осторожен. Возможно, вспомнил, что жители соседних аилов говорили, будто сами видели бешеного волка.

Наверное, по той же причине мне не разрешали днем пасти наших овец и отец пас их сам.

Недаром скотоводы говорят, что собака боится больного волка. Наш пес никого не подпускал к своему аилу, отпугивал волков грозным рыком, а тут вдруг жалобно заскулил. Творилось что-то неладное.

Животные носились вокруг загона. Раздался треск, замычали телята. Видимо, коровы сломали загон и пробрались к ним.

Все тише, все слабее становился лай собак — они убегали, за собаками с ревом устремились быки. Тогда отец вышел из юрты и вскоре вернулся с нашим соседом.

— Скот наш, кажется, уцелел, но как быть с собаками? Они, видать, крепко сцепились с этим чертом,— послышался голос соседа.

— Как только рассветет, надо предупредить другие аилы... Как они там? — спросил отец и с шумом бросил лопату.

В ту ночь никто не сомкнул глаз. Едва забрезжил рассвет, отец с соседом приготовили ружья и отправились в соседние аилы. Уезжая, отец предупредил:

— Из юрты не выходите... Если ветер изменит направление, волк может вернуться.

В полдень отец возвратился и сказал, что волка прикончили у пади Харзат. Его преследовало множество всадников.

Говорят, что бешеные волки и собаки обычно держатся поближе к рекам и бегут против ветра, раскрыв рот и роняя слюну. Если попадется навстречу такое животное, надо остановиться и дать ему пробежать. Больного волка легко отличить от здорового, но как быть, если волк нападает на овец? Тут не успеешь понять: здоровый он или больной. Ведь если здоровый — надо кричать, если больной — остановиться и замереть на месте.

Хорошо помню наставления отца перед тем, как мне отправиться пасти отару...

В ту ночь наш сосед все же успел посадить своих собак на цепь и пошел искать человека, который умел рисовать львов.

Волк покусал нескольких животных, в том числе не то двух, не то трех собак. Сначала говорили, что никто из аратов не пострадал, но радость оказалась преждевременной. Кого-то из соседнего кочевья он искусал.

И вскоре мимо нашего аила проехала повозка, но спасти больного не удалось: его даже не успели довезти до скал, где водились улары.

А если бы и успели, он все равно не выздоровел бы от крика улара.

— Да! Было же время, когда суеверие владело умами людей. Бедные старики! Как подумаешь об этом, жаль их становится... А ведь с тех пор прошло не так уж много времени,— сказал я своим молодым коллегам.— Возможно, что таким образом просто хотели вселить в больных надежду на выздоровление.

— В желудке улара, говорят, есть три белых камушка, редкая драгоценность... Постарайтесь убить хотя бы одного,— сказали они мне сквозь смех.

Кстати, мне и в самом деле надо было добыть улара. Легенд о нем ходило множество, а изучен он был мало, хотя с древнейших времен на него охотились, потому что у него было очень вкусное, белое мясо.

Улар относится к семейству фазанов и очень похож на рябчика, только гораздо крупнее: он почти такой, как петух, достигает шестидесяти сантиметров в длину. Сверху он пепельный, а грудка — светлая, в крапинку.

В Монголии он водится на алтайских и хангайских хребтах, а также в горах Заалтайской Гоби. Летом живет на горных плато, а в зимнюю стужу прячется от холода на склонах гор, в щелях и ямках.

Летает улар плохо, зато бегает по каменным осыпям так ловко и быстро, что его не догнать.

Различают несколько видов уларов. Тот, которого я добыл, оказался для нашей экспедиции настоящей драгоценностью. Это был алтайский улар. Дело в том, что гору Сэгс Цаган-Богдо всегда относили к Тяньшаньской системе гор, а она относится к Алтайской системе, потому что именно на ней водится алтайский улар.

Близились холода, и улары уже собрались в стайки. Стаек было много, и все они состояли исключительно из алтайских уларов. Значит, вывод правилен. Тайна Сэгс Цаган-Богдо раскрыта.

Солнце клонилось к горизонту, и я поспешил к палатке, но тут обнаружил, что заблудился. Мурашки побежали по спине при мысли, что придется ночевать среди этих зияющих ущелий.

Пройдя изрядное расстояние, я сел отдохнуть, но когда стал карабкаться на очередную вершину, невольно вздрогнул: мне почудился чей-то голос.

Вскинув карабин, я прижался к кусту караганы. И тут началось. В голову полезли истории одна страшнее другой, слышанные мною когда-то.

Я вспомнил, что на горе Сэгс Цаган-Богдо прячутся разбойники, что здесь живет беглый лама, что ночью из ущелий доносится звон колокола и бой барабана.

Мне мерещились бешеные волки, повозки со странными седоками. Чудился спасительный крик улара.

Не только подняться на ноги — шевельнуться и то было боязно. Я надеялся только на ружье, которое изо всех сил прижимал к себе, будто его хотели у меня отнять.

«Придется ждать до утра»,— с тоской подумал я и вдруг отчетливо услышал:

— Эх ты! Не можешь приемник настроить, а берешься... Ведь ни черта не смыслишь в этом ящике...

На душе у меня стало светло, будто в ней взошло солнце... Оказалось, что я нахожусь всего-то в двухстах метрах от нашей палатки.

Ночь выдалась ясная. Горный воздух был чистым, прозрачным, каждый звук раздавался с поразительной отчетливостью. Я был избавлен от ночевки в глухом ущелье и, приближаясь к палатке, все еще твердил:

— Крик улара... Крик улара... Уль-уль-уль-лю... Да! Были же времена...

Гнездо ягнятника

Могучая бурая птица с изогнутым клювом, распластав крылья, вонзает свои когти в манула...

У этого редкого экспоната, выставленного в центральном музее столицы, всегда толпится народ. Мне не раз приходилось слышать, как посетители, с нескрываемым восторгом рассматривая его, восклицали: «Вот это орел!».

На самом же деле это вовсе не орел, а ягнятник, обитающий на вершинах скал и утесов в Заалтайской Гоби.

С первыми воздушными потоками он обычно уходит в небесную синь и парит там весь день. Только ранним утром или в вечернюю прохладу он бывает у гнезда. Редкому счастливцу удавалось видеть его с близкого расстояния. Решившему добыть его, следует еще до восхода солнца выжидать его в скалах и очень осторожно приближаться к нему.

Ягнятник поражает своими размерами: его распростертые крылья достигают двух с половиной метров. Голова и брюхо у него палевого цвета, а спина с темноватым отливом. В любое время года он живет на вершинах скал и утесов и гнездится в недоступных пещерах.

В народе говорят, что ягнятник ест камни и его желудок якобы способен переварить что угодно. В ученых же трудах можно прочитать, что он является опасным хищником и охотится исключительно за копытными. На самом же деле он никогда не преследует живые существа, а питается падалью, вернее, костями павших животных. Выходит, что народные наблюдения ближе к истине, чем опусы ученых.

Что же касается музейного экспоната, то, очевидно, препаратчик хотел показать, как ягнятник подлетает к павшему манулу.

Таинственная жизнь могучей птицы нашла отражение во многих легендах. В одной из них говорится, что тот, кто съест желудок птицы, излечится от злокачественной опухоли.

Об этом-то и вспомнил я, находясь с научной экспедицией в Заалтайской Гоби. Очень уж мне хотелось помочь своему другу, заболевшему страшной болезнью. И потому я очень обрадовался, когда на отвесной стене глубокого ущелья заметил белую, похожую на разлитую известь, полоску: только от помета ягнятника мог остаться такой след.

Два дня убил я, чтобы подстеречь его, и теперь не жалею потраченного времени.

Поначалу казалось, что все складывается удачно: на высоте около ста метров, где отвесная стена кончалась, зиял вход в пещеру. Там, по моим догадкам, и находилось гнездо ягнятника.

Двое моих молодых коллег разулись и решили вскарабкаться туда, но с полпути вернулись, прихватив с собой куски войлока, материи и копыта кулана, валявшиеся на каменном пятачке: видимо, ягнятник уронил их из своего гнезда.

Еще раз внимательно приглядевшись, я обнаружил каменную площадку, которая находилась метров на двадцать выше пещеры. Там, очевидно, располагалась «трапезная» ягнятника, так как ее края были окрашены в белый цвет. От площадки в разные стороны отходили пять-шесть известковых полосок.

Нам очень хотелось осмотреть его гнездо, тем более что никто пока его не описывал, но добраться до него было невозможно.

Пока мы решали, как это сделать, наступил малый полдник, и стало изрядно припекать. Тут-то мы и увидели птицу. Она вынырнула из щели, расположенной чуть выше пещеры, и стала стремительно снижаться, но потом взмыла вверх и, обогнув вершину утеса, потерялась из виду.

Гнездо и сам его обитатель были обнаружены, поэтому стоило попытать счастья. Возможно, самого ягнятника и не удастся перехитрить, но зато его гнездо украсит любую коллекцию. Решив рано утром вернуться сюда, мы отправились на свою стоянку.

У саксаулового костра было светло и тепло. Изредка из ущелий доносился глухой звук, но с какой стороны — определить было невозможно. Казалось, он наплывал на нас со всех сторон.

— Кто кричит? — слышу чей-то голос.

— Мазалай[1] спешит на наш огонек,— отшучивается кто-то.

— Надо же! Чашка моя до краев наполнилась песком,— удивляется препаратчик.

— Вытри бумажкой, а то вода на исходе,— басит ему в ответ повар.

Все улеглись, но спать никто, кажется, не собирается. Слышу шепоток: «Ну рассказывай, что ты интересного видел сегодня».

«Значит, опять будут бубнить до полуночи... Дневные скитания по скалам им нипочем»,— успеваю подумать я и незаметно засыпаю.

В предрассветных сумерках я был уже в скалах и, схоронившись, ждал ягнятника. Едва первые утренние лучи коснулись вершины утеса, как я заметил его: он сидел у входа в пещеру. Попытался было подойти ближе, но он тут же взлетел. Удивительно чуткая птица. Сначала он полетел прямо на меня, но ружье мое заело, и я упустил счастливую возможность.

От нечего делать я стал осматривать вершину утеса и нашел еще одну пещеру. У ее входа что-то торчало. «Неужели гнездо?» — подумал я и, приблизившись, взялся за бинокль.

Это было не гнездо и не кустарник, а нечто странное, похожее на мешок. «Что же это такое?» — заинтересовался я и стал пристально всматриваться в этот предмет, но так и не определил толком, что это. От подошвы утеса предмет находился на высоте примерно двухсот метров. Человек туда никак не мог взобраться. «Может, обогнуть утес и попытаться подойти с другой стороны»,— подумал я, но тут же решил, что сделать это будет очень нелегко.

Для этого надо было сначала спуститься с холма, где я находился, потом прошагать километров пять-шесть в западном направлении, чтобы достичь ущелья, от которого начиналась горная гряда, подняться на нее и пробираться по ней к утесу; однако никакой уверенности, что она соединяется с утесом, у меня не было.

Все говорило о том, что нога человека тут еще не ступала, но как же тогда мог попасть туда этот таинственный мешок?.. Я решил изучить все возможности и отправился в путь. Поднявшись на хребет, я обнаружил, что он не соединяется с утесом: но зато с его высоты я увидел другой хребет, по которому можно было дойти до вершины утеса, на что, однако, ушло бы полдня.

Время еще было раннее, и поэтому я решил штурмовать утес. Изрядно попотев, я поднялся на вершину хребта и с него попытался разглядеть таинственный предмет... Сейчас он походил на скульптуру с довольно толстым основанием: к голове она сужалась, а на шее различались какие-то кисточки.

С вершины утеса шла узкая полоска. Мне показалось, что если дойти до нее, то она может привести меня к цели.

Идти было невыносимо тяжело. Я и не шел, а карабкался по камням и поднялся на самую высокую вершину, когда тени стали удлиняться, напоминая мне о том, что солнце не стоит на месте.

[1] Гобийский медведь.

Передо мной открылась величественная картина. Здесь было еще много солнца. Из Гоби дул ласковый, но уже прохладный ветерок. Хотелось как можно дольше стоять здесь и любоваться красотой родного края, но времени у меня не было. Нужно было идти вперед, так как до захода солнца я должен был не только достигнуть таинственной пещеры, но и вернуться назад. Едва успев перевести дух, я поспешил вперед.

Вскоре я обнаружил едва заметную тропку, которая, наверное, и вела в пещеру. Идти по ней долго мне не пришлось: она исчезла, но, по-видимому, я был уже где-то у цели, так как валун, на котором я сидел утром, виднелся далеко внизу. Тут я увидел часть таинственного предмета, торчавшего из-за выступа стены.

Стоило сделать полшага вперед, как я мог бы увидеть его целиком, но мне нельзя было и шевельнуться, не рискуя свалиться на дно ущелья, где, кроме ягнятника, меня никто бы не обнаружил.

Мною овладел страх. Я осторожно лег, левой рукой схватился за камень, в правую взял бинокль и, высунув из-за выступа только голову, осмотрел выглядывавшую часть предмета. Так и есть — мешок.

Значит, ягнятник стащил его откуда-то. Есть у хищников такая слабость. Мне приходилось слышать, что в гнезде луня было обнаружено столько всяких предметов, что трудно было поверить, что он сам их все перетаскал. Нашли, говорят, даже прочищалку для курительных трубок.

«Напрасно убил время... Лучше бы закончил работу по подсчету копытных, и тогда уже завтра можно было бы отправиться в Хатан-суудал,— с сожалением подумал я.— Неужели все-таки к нему нет пути?»

Возвращаясь назад, я заметил узкую, не более шестидесяти сантиметров полоску, которая вела к вершине утеса. Идти по ней было чрезвычайно опасно: с одной стороны шла гладкая стена, с другой — бездонная пропасть. Стоило оступиться или поскользнуться, как гибель была неминуема.

«Быть в нескольких метрах от цели и уйти ни с чем... Потом ведь всю жизнь буду казнить себя»,— подумал я и решил добираться босиком. Камни, накалившиеся за день и еще не успевшие остыть, нестерпимо жгли, но надо было терпеть. Не хотелось расставаться с ружьем, но и оно стало бы помехой — пришлось и его оставить. Перед тем как двинуться вперед, я бросил камень в сторону пещеры: непонятный страх все еще сидел во мне.

Пробираясь с осторожностью ирбиса, я благополучно избежал падения и оказался у таинственного мешка, сшитого, как мне показалось, из телячьей шкуры. Он был чем-то туго набит и напомнил мне бодок [1] из тарбагана, готовый вот-вот лопнуть. Видимо, оставлен он был здесь давно, так как полностью вылинял и был зеленовато-землистого цвета. Находился он на труднодоступной площадке, на которую еще нужно было взобраться, и рядом с ним был вход в пещеру. А что в ней? Не скрою, мне было страшно. Обернувшись, я посмотрел на свое ружье, и мне сразу стало легче, хотя оно уже ничем не могло мне помочь.

Держась за выступы камней, я вскарабкался туда и оказался на ровной каменной площадке. Прямо у порога пещеры и находился этот таинственный мешок. Тут из пещеры с шумом вылетела птичка, и я от неожиданности вздрогнул, но с места не сдвинулся: некуда было.

Вытащив нож, я наклонился и вгляделся в пещеру... И если бы мне было куда бежать, то я бросился бы со всех ног: прямо на меня

[1] Тушка животного, приготовленная с помощью раскаленной речной гальки.

указывала костяная рука. Я был зажат со всех сторон: за спиной — бездонная пропасть, а впереди...

Стиснув зубы и успокаивая себя — не живое же чудовище передо мной! — я сделал шаг вперед и снова стал всматриваться в пещеру... Прямо за ее порогом лежал скелет человека. Грудная клетка и руки виднелись отчетливо. Кости рук сохранились полностью и даже не разъединились в суставах. Вытянутая правая рука указывала на мешок и покоилась на камне. Видимо, человек испустил дух в тот момент, когда хотел дотянуться до мешка.

Я пытался успокоить себя — ведь это скелет, чего его бояться? — но страх не проходил. Даже мешок казался мне живым существом. Ко всему прочему, эта протянутая костяная рука... Да темный проем пещеры, словно раскрытая пасть чудовища, приготовившегося проглотить меня...

«Нет таких преград, которых бы не преодолел мужчина»,— подбодрил я себя и, сделав еще шаг вперед, чиркнул спичкой. Пещера показалась неглубокой, и я успел заметить кое-какие вещи, похожие на домашнюю утварь, но тут спичка догорела, и снова все погрузилось в темноту.

«Похоже, что живых существ в пещере нет... Смелей!» — скомандовал я себе и стал искать в своих карманах какую-нибудь бумажку, чтобы поджечь ее, но тут вспомнил о карманном фонарике, который всегда был при мне.

Теперь мне все было видно как на ладони... И я сразу заметил медный чайник, деревянную чашку, небольшой деревянный ящик и маленький чугунный котел.

Осторожно открыв деревянный ящик, я увидел толстую тетрадь, сшитую из китайской писчей бумаги. Выйдя из пещеры, я тут же раскрыл ее, но за давностью лет страницы прилипли друг к другу и готовы были рассыпаться в руках. Текст был написан графитным карандашом ойратским «ясным» письмом, и его тяжело было читать.

Торопясь до ночи вернуться на свою стоянку, я успел прочитать первую и последнюю страницы...

Мне с большим трудом удалось разобраться в тексте. И вот что там было написано:

«Второй день новолуния первого месяца осени. Год желтого тигра, то есть двадцать третий год правления благословенного небом императора.

...На родной земле снова льется кровь. Кровавое море готово залить всю землю. Родные и близкие разъединены. Дети осиротели. Зловещая тень смерти и опустошения нависла над родиной.

В эти печальные дни я решил во что бы то ни стало уйти от мира, чтобы принести моей родине хотя бы каплю пользы, когда на ее земле воцарятся мир и спокойствие.

О нет! Я не покинул родину, а пробрался в это безлюдное место и нашел здесь приют. Так слушайте же меня, таежника, и то, что я вам скажу».

Текст заканчивался словами:

«Жизнь понемногу покидает меня, но все, чему я посвятил свою жизнь, останется навечно в мечтах и чаяниях всех мучеников и обездоленных.

Чувствуя приближение смерти, я вытащил на открытое и видное место свою самую большую драгоценность, которую столь бережно хранил все эти годы. Хранил, ожидая светлых и радостных дней, дней мира и спокойствия.

Пусть же любой, кто найдет мой мешок, постарается понять все это и сделает его содержимое достоянием моего народа».

Я очень обрадовался находке. Еще бы! В мешке могло храниться такое, чего никто уже не знает. Я хотел было открыть его, но, ре-

шив, что лучше сделать это при свидетелях, отправился на свою стоянку.

— Вот и все мои новости дня,— заключил я. Легкий ночной ветерок теребил палатку. Наш саксауловый костер уже догорел, и только угольки, подернутые пеплом, еще тускло поблескивали в ночи.

— Должно быть, нас ожидает редчайшая находка... Как бы и мне пойти завтра с вами... Жаль только — не все тушки птиц успел обработать... Как же быть? — услышал я. И тут же последовал ответ:

— Пора тебе зарубить на носу, что все надо делать вовремя! Если тебе так интересно, то зажги свечу и обработай сейчас...

Из-за утеса выглянула ущербная луна и осветила горные вершины. В палатке на какое-то время стало тихо, но, кажется, никто не спал: все были возбуждены в ожидании утра, чтобы поскорее отправиться к таинственной пещере.

Дневные скитания взяли свое. Засыпая, я еще какое-то мгновение слышал, как мои молодые друзья, будто из далекой дали, шептали: «Завтра надо рано встать».

...Проснулся я, когда едва брезжил рассвет.

СЭНГИЙН ЭРДЭНЭ

Красная смородина

Долгие годы, прожитые в большом городе, до неузнаваемости меняют человека, выросшего в худоне. И печальнее всего то, что они делают его безразличным к природе, к ее красоте. В пути, глядя на проплывающие мимо перелески, горы и реки, он, словно бывалый турист, объездивший весь мир, равнодушно замечает: «Подумаешь! Видел я все это, и не раз!». Если же что-то и вызовет его восхищение, он воскликнет: «Ах, какая прелесть!» — но тотчас же про это забудет, и в душе не останется ничего, словно на засвеченной фотопленке.

Ребенок воспринимает природу неосознанно, безотчетно, ощущая себя ее неотъемлемой частью. Для него он сам и дерево как бы единое целое. Когда он становится взрослым, то часто с грустью вспоминает все, что было ему мило и дорого в детстве, и картины далекого прошлого предстают перед ним с такой поразительной отчетливостью, словно все это время они были у него в сердце.

...Вот зеленая терраса, где он пас овец, пахнет полынью и чебрецом, что-то шепчет тростник на берегу озера, где он всегда поил свою лошадку.

Во сне это или наяву?

Человек рано познает природу, но острее и глубже воспринимает ее уже потом, в своих воспоминаниях. Быть может потому, что ему жаль безвозвратно ушедшие годы.

Дорогая Ц.! Помнишь ли ты наш сосновый бор в Жаргалантуе? Если ты и сейчас такая же впечатлительная, как в детстве, такая же любознательная, конечно же, должна помнить.

Этим летом я после долгих лет разлуки посетил родные края.

Отчего, интересно, появляется тоска по родным местам?

Ведь обычно бывает так, что совьет себе человек теплое гнездышко, живет, не зная нужды, и рассуждает: «Что я там оставил? Ничего. И нечего мне туда ехать». Но так считают мещане, сидя в своих четырех стенах.

Сейчас и заикнуться нельзя о тоске по родному дому. Засмеют! Даже многие молодые люди омещанились, и становится больно, когда они оскорбляют наши воспоминания, в которых так живы степные ароматы.

Не побывай я на родине, не вспомнил бы о тебе. Да и что удивительного, если почти десять лет мы не виделись!

Попытайся теперь представить себе наш сосновый бор, а я, быть может, помогу тебе.

...Август... Удивительный и неповторимый. Щедрый на дары. Какой вкусной была красная смородина у нашего соснового бора!

Мы с тобой часто ходили ее собирать. Наверное, и сейчас там такое же бездонное синее небо, такой же легкий, теплый ветерок, который приносит запах полыни и чебреца, такая же мягкая, шелковистая трава. Мы ходили в наш бор в ясные дни.

Шли не спеша, то и дело останавливались. А то садились на теплую от солнца траву и болтали. Куда нам было спешить...

Ты была на редкость спокойной, как безоблачное небо, как тихий летний день.

Не представляю себе, какою ты стала сейчас. Ты любила лежать на траве, смотреть в небо и петь. А как ты расстраивалась, когда я рассказывал тебе грустные истории!

Да, ты была нежной, чувствительной. Ты тяжело вздыхала, закрывала глаза, с трудом сдерживая слезы, и все же они нет-нет да и катились по твоим щекам.

Тогда, чтобы тебя успокоить, я принимался рассказывать что-нибудь смешное, забавное. Ты помнишь это, дорогая?

Так мы ходили в наш сосновый бор... Впитывали в себя дурманящий запах прошлогодней высохшей хвои, цветов и листьев, меда лесного шмеля.

На опушке стройными рядами стояли сосны-сторожа, как две капли воды похожие друг на друга: одинаковой высоты, одинаковой толщины, даже число сучьев и иголок у них, казалось, было одинаковое.

За этими соснами начинался настоящий бор. Могучие деревья вверху касались друг друга то сизо-зелеными, то темно-зелеными кронами, внизу намертво сплетались могучими горбатыми корнями, чуть-чуть выглядывавшими из хвойного настила.

Утренние лучи солнца, пробившись сквозь густую хвою, словно золотые нити, лежали на земле, отбрасывая тень. От теплой земли шел пар.

Время от времени на нас падали крупные росинки. От них пахло не то хвоей, не то небом, а может, и тем и другим.

Мы думали: раз небо пахнет, там непременно есть жизнь.

Неподалеку лежала целая груда валунов. Они были похожи на затравленных раненых кабанов, в изнеможении свалившихся на землю.

Между валунами бил ключ, где брал начало крохотный ручеек. Вода в нем была до того прозрачная, что, казалось, она взяла у луны и солнца все их лучи и забыла возвратить.

Густые заросли красной смородины окаймляли берега ручейка. Издали казалось, что вода монотонно журчит, но стоило приблизить-

ся к берегу, как до слуха доносился печальный мелодичный звон — будто по камням катился крохотный серебряный колокольчик.

Нас встречали кусты смородины, склонившиеся под тяжестью ягод. Под яркими зелеными листьями, освещенными солнечными лучами, ягоды блестели, словно рубиновые.

Сейчас, пожалуй, смородина показалась бы нам кислой, но в то время, пропитанная солнечными лучами и лесной росой, она была на редкость вкусной.

Ягоды были в тоненьких желтоватых жилках, в которых словно пульсировала кровь. Мы смешивали ягоды со сливками, и тогда они окрашивались в какой-то удивительный цвет.

Сейчас тебе это может показаться смешным, но цвет лица у тебя был точно таким, как цвет ягод со сливками... Губы у тебя были пунцовые... Может, от смородины, а может, вообще были такие.

У тебя были коротко остриженные, черные как смоль шелковистые волосы (а я начал уже седеть). Я любил, когда ты смеялась, обнажая свои ровные, с голубоватым отблеском зубы.

Даже лучи раннего солнца, играющие на твоем лице, казались мне не просто лучами. В них было что-то от зеленой хвои, рубиновых бусинок, ключевой воды и синевы неба.

Раз уж я вспомнил о тебе, то и пишу обо всем, что до сих пор свежо в памяти. Не знаю почему, но особенно живо я представляю тебя у соснового бора, когда мы собирали красную смородину.

Ты, наверное, даже не знаешь, какие у тебя были глаза. Взгляд удивительно спокойный и в то же время пытливый! Какими счастливыми и беззаботными мы были тогда!

Ты сама походила на ягоду красной смородины с желтоватыми жилками, в которых пульсировала чистая кровь...

Охваченный этими воспоминаниями, я подъехал к Жаргалантую. Мне не терпелось поскорее увидеть наш бор... И вот я на перевале... Смотрю и глазам своим не верю. Бора как не бывало.

Куда же он делся? Сгорел при пожаре? Но не мог же огонь все уничтожить дотла. Должно же было хоть что-то остаться... Но ничего, кроме зарослей мелкого кустарника я не увидел...

Не было и красной смородины, хотя уже пришло время ей поспеть. В полном недоумении я зашагал к нашему аилу.

Центр объединения изменился до неузнаваемости. Его сплошь застроили бревенчатыми домами. Среди них выделялось несколько красивых зданий, крытых тесом. Светлые окна домов, в которых отражалось солнце, так и манили к себе.

Я подошел к старику, снимавшему кору с толстого соснового бревна, и попытался вспомнить: чей же это отец?! Но он заметил меня и, глубоко всадив свой звенящий топор в бревно, выпалил:

— Надо же! Каким солидным ты стал!

«Не забыл, значит, меня»,— подумал я и нетерпеливо обратился к нему:

— А куда делся наш сосновый бор?

— Из его сосен построили этот клуб. Видишь? — с нескрываемой гордостью произнес старик.

Я промолчал... Да и что я мог ответить ему? Ведь все это долгое время мне не было никакого дела до нашего соснового бора. Лишь изредка, и то из вежливости, я спрашивал у наших земляков: «Ну как там наше объединение? Процветает?»

Так что неудивительно, что наш маленький бор исчез... Сейчас и огромные лесные массивы вырубают. Мне стало очень грустно.

Как будто бы вместе с бором исчезла и ты... Был удивительный день... Именно в такие дни мы с тобой ходили в сосновый бор.

Как раз в это время поспевала красная смородина, наливаясь рубиновым соком, который пульсировал словно кровь в ее желтых жилках.

Перевал

Взберешься на перевал, облегченно вздохнешь — цель как будто достигнута, а между тем предстоит еще спуск, не такой уж и легкий.

Подъем можно взять и галопом, если не жалеть своего скакуна, но пуститься во весь опор под уклон... Это не удавалось еще никому.

Сорок лет — вершина жизненного пути. Потом начинается спуск, нелегкий и долгий. И тут надо быть осторожным, ибо, раз оступившись, трудно дальше идти. Но стоит его одолеть, как взору открывается величественная картина.

Достичь сорока лет — все равно что взобраться на перевал. В сорок лет, пожалуй, еще не виден конец пути, видны лишь препятствия. Взбираясь на перевал, не знаешь, что ждет впереди.

В сорок лет человек становится мудрым, вспоминает беды и горести, которые ему пришлось пережить, и уже не тешит себя мыслью о том, что оставшийся путь — всего лишь увеселительная прогулка.

Щенок то и дело останавливается, обнюхивая все, что бы ему ни попалось. Но он ни за что не станет этого делать, когда вырастет.

Слишком поздно осознаешь, что, подобно щенку, потратил драгоценное время на пустяки, но стоит ли из-за этого мучиться? Не лучше ли, достигнув своего перевала, оглядеться вокруг и оценить пройденный путь?

Теперь уже не будешь любоваться цветами и радугой. Но вовсе не потому, что утеряно чувство прекрасного. Просто человек в сорок лет уже способен докопаться до сути вещей и явлений, пусть даже они лишены внешнего блеска и красоты. Способен понять, как скоротечна жизнь, и не разменяться на мелочи.

Перевал взят, пути назад нет. Впереди нелегкий долгий спуск.

ДЭМБЭЭГИЙН МЯГМАР

Человек-облако

Мне снился странный сон...

В одной сутре, которую я читал на ночь, между прочим, говорилось, что снится обычно то, о чем думаешь. Возможно, что так случилось и со мной, но удивительно: во сне все было как наяву, я даже различал цвета. Никогда раньше я не видел такого сна, да и вряд ли увижу когда-нибудь...

Итак... Знойный день... Я куда-то иду, сам не зная зачем. Передо мной бескрайняя степь. Над ней дрожит марево. Я тороплюсь, но не могу продвинуться и на вершок, до того отяжелели ноги, что я едва отрываю их от земли. Вокруг степь. Безлюдная степь. Хоть бы какую-нибудь юрту увидеть, или овцу, или лошадь. Я обливаюсь потом и еле держусь на ногах. И все же стремлюсь вперед, но по-прежнему остаюсь на месте. Невыносимо тяжело!

Ничего нет страшнее безжизненной степи. Даже горизонта не видно. Неужели так будет вечно? Мне становится страшно.

И вдруг — о счастье! Степь свертывается, словно войлочная подстилка. И исчезает. И тотчас же передо мной вырастают скалы и утесы. От их голых вершин идет пар. Внизу, у подножия, катит прозрачные воды река, от нее веет прохладой.

Измученный зноем и жаждой, я пью холодную воду, чистую, как хрусталь.

На зеленой лужайке пестреют бутоны — драгоценные бусинки. Их здесь тысячи, даже в глазах рябит. Над ними кружатся мотыльки, и кажется, будто это сами цветы парят в воздухе...

Неподалеку белеют юрты, но хозяев не видно. Наверное, прячутся где-то в тени.

С горы спускается к реке табун лошадей, которые паслись на склоне, они фыркают и брыкаются, вздымая пыль. У реки им раздолье. Они с наслаждением пьют студеную воду, время от времени поднимая голову и роняя крупные капли на гладь реки. Задрав хвосты, носятся по берегу телята, спасаясь от оводов. Медленно, с важным видом (даже не верится) длинной цепочкой идут к реке ягнята и козлята. Только самые маленькие резвятся и, вдруг остановившись, принимаются щипать траву.

Эта картина вселяет в меня спокойствие. Мне кажется, будто я вижу ее впервые. Боясь упустить что-либо, я торопливо записываю в тетрадь все, что попадется на глаза, забыв даже о беспощадном солнце.

Вскоре в небе появились облака, и на землю легла тень. Люди, травы, деревья, насекомые, сама земля — все ей обрадовались.

Но вот солнце ушло за гору, подул северный ветер и принес долгожданную прохладу. Освещенные последними лучами, вершины гор заиграли цветами радуги, запылали, словно там зажегся костер.

Домой хотелось вернуться до сумерек, и я встал, но вдруг услышал громоподобный голос:

— Уходишь?!

Оцепенев, я стал озираться. Вокруг ни души. Поднял голову: по небу плыли облака, гонимые ветром, соединялись друг с другом и в конце концов слились в одно большое облако, формой напоминающее человека. Его белые волосы развевались по всему небу.

— Уходишь? — снова услышал я.

На сей раз голос звучал спокойнее, словно далекие раскаты грома. Охваченный страхом, я не знал, что ответить.

Мне и прежде случалось видеть, как облака принимают на солнце причудливые формы, например, диких зверей, но чтобы они разговаривали человеческим голосом... еще не бывало.

Мне хотелось громко крикнуть: «Кто вы?» — но я спросил это едва слышно, потому что голос у меня вдруг пропал. Однако человек услышал и ответил:

— Я человек-облако. Проплывая над тобой, я заметил, как ты что-то записывал, вспомнил одну давнюю историю из своей жизни и захотел с тобой поговорить... Скажи, чем ты занимаешься?

— Хочу стать ученым... Но пока это только мечта...

Тут человек-облако стал снижаться, и когда он достиг кручи за рекой, наступила кромешная мгла. Затем снова раздался громоподобный голос:

— Люди, конечно, больше всего верят кисти и бумаге... Такова их природа... В незапамятные времена я тоже был ученым... С той поры прошло много веков... Ученый, как мне известно, должен дорожить своими знаниями и распространять их. Иначе он не принесет никакой пользы. А ты что хочешь сказать людям, чему хочешь их научить?

— Пока мне еще нечего им сказать. А записывал я то, о чем мечтаю...

— Нечего сказать...— раздалось в ответ, и облако разразилось хохотом. Сверкнула молния, разделив небо надвое, и тут же все утонуло во мраке.— Надо передавать свои знания людям. Надо их постоянно чему-то учить. В свое время я их многому научил.

— Чему же?

— Многому... И многое проповедовал. Всего не помню. Слишком много времени прошло с тех пор... Но самое главное, я учил их свободе... Учил жизненной философии. Понятное дело, ты обрел свободу... А к свободе человечество стремилось на протяжении многих веков. Теперь тебе остается лишь проповедовать философию жизни... Это твой долг.

— Не растолкуете ли мне, что вы имеете в виду?

— Объяснить это трудно, у каждого своя философия жизни, она в нем самом... Все зависит от ума, от наблюдательности, от восприимчивости к окружающему... Ну-ка покажи мне хоть что-нибудь из того, что ты написал.

Я растерялся, стал рыться в карманах. За рекой вспыхнула молния и не угасла. Она рассеяла тьму, и стало светло как днем. Воцарилась напряженная тишина. Он читал мои записи... При ярком свете была хорошо видна поверхность реки, на которой то и дело, играя, появлялись рыбы.

Неожиданно все снова погрузилось во мрак. И тотчас же я услышал:

— До чего хороша жизнь! Жаль, что я не могу к ней вернуться! Ведь все теперь так изменилось. И лишь по-прежнему человек не пытается исчерпать все возможности своего ума... Ну почему?

Ведь человеческий ум не имеет границ. Со временем он становится острее, глубже и богаче. Но процесс этот незримый, и человек его не замечает.

Не могу понять, почему человек, зная, что он не вечен, не думает о том, что вместе с ним уйдет и его ум? Я всегда напоминал об этом людям, но тщетно. Есть мудрое изречение: «Жизнь — это ожидание смерти, ее порог». Поэтому-то и надо все успеть: любить, творить, осуществить все свои замыслы.

Сделать по возможности все, к чему стремился.— Сказав это, человек-облако прочел такое четверостишие:

Ум напрягай свой постоянно,
Тлеть бесплодно ему не давай,
Смерть коварна, придет внезапно.
Спеши, твори, дерзай.

Он умолк. Я был полон молодого задора, горяч, мне хотелось поспорить с ним, и я выпалил:

— Стоит ли забивать голову всякими премудростями и мучиться над решением неразрешимых проблем?

— Откуда у тебя эти глупые мысли? — рассердился человек-облако. В его голосе звучали злость и нетерпение.— От них один вред. Они мешают человеку использовать свой ум, успокаивают... Я это хорошо знаю.

У тех, кто так мыслит, ум прокисает быстро, как молоко на солнце, и они превращаются в обывателей, глупцов...

Тебе, должно быть, известно, что мудрецы и те, кто оттачивает свой ум, живут обычно дольше этих... Если не веришь, покопайся в истории, полистай шастры...

— Как же так получается?.. Вы умерли несколько столетий назад, а все еще можете говорить? — с удивлением спросил я.

— Тело мое давно превратилось в тлен, развеялось прахом, но не исчезло бесследно, а растворилось в чем-то... Мало ли в чем... Я

не помню, каким был при жизни... Но я понял, как медленно угасает ум... Хотя и он не вечен. Он разлагается на части и исчезает куда-то. Возможно, какие-то частицы моего ума уже растворились в чьем-нибудь мозгу. Чувствую, что мыслей у меня остается все меньше и меньше. Они почти все рассеялись, разлетелись по вселенной, как эти облака.

— Расскажите мне все же о философии жизни. Я хотел бы понять, в чем ее смысл,— вырвалось у меня.

— А ты оглядись вокруг!

Только он это сказал, как засверкала молния и снова стало светло как днем.

— Посмотри на тот цветок... И скажи мне: отчего он поник и дрожит?.. Даже в этом заключена философия жизни.

Я взглянул на цветок. Он сложил лепестки и стал похож на маленькое сердце. Будто от горькой обиды он дрожал и клонился к земле. А до захода солнца был таким ярким, красивым!

— Теперь понял? — спросил человек-облако.

— Ничего не понял,— торопливо ответил я.

— Тогда раскрой цветок, только осторожно, чтобы не повредить,— услышал я в ответ.

Дрожащими от волнения пальцами я раскрыл цветок и пришел в изумление: там, внутри, копошился шмель, который, почуяв свободу, тут же вылетел и, прожужжав, исчез из виду.

— Ну а сейчас понял?

— Нет,— признался я.

— В таком случае я раскрою тебе тайну жизни цветка и шмеля... Чтобы разгадать неразгаданное, узнать неведомое, надо напрячь ум до предела. Помни это всегда.

Так вот... Шмель, собирая нектар, забыл о том, что наступит вечер, а цветок после захода солнца свернул лепестки, и шмель не успел вылететь. Так он и остался бы там, если бы мы его не освободили. Но завтра шмель забудет об этом, все повторится сначала, и он погибнет. Я в этом уверен...

Шмель не постиг тайну жизни цветка, отсюда все его беды. Если бы он понимал человеческий язык, я непременно сказал бы ему: «У каждого цветка есть своя тайна: за сладкий нектар можно поплатиться жизнью». То же самое можно сказать и человеку. Когда-то я, позабыв обо всем на свете, упивался славой, как шмель — нектаром, и погиб,— с грустью сказал человек-облако и, помолчав, добавил: — Помните: тот, кто более всего печется о славе, не способен трезво воспринимать жизнь и тем более разумно о ней судить...

Нет человека на свете, которого не прельщала бы слава. Но среди всех живых существ стремление к славе свойственно только людям. Отнимите у них это свойство, и они потеряют интерес к жизни. Но как, добившись славы, не погибнуть от нее, не стать жертвой завистников? После смерти слава уже не нужна, но часто бывает, что живые завидуют мертвым,— сказал он и, тяжело вздохнув, пропел такие стихи:

За счет ума чужого процветая,
Бьет в грудь себя: я сам достиг всего.
О кость поранив нёбо, ликует старый пес:
И до чего же кровь вкусна моей добычи.
Остерегись, не становись таким же!

— По-вашему, слава вообще не нужна человеку? — спросил я.

Человек-облако как будто растерялся. Затем, после некоторого раздумья, неуверенно произнес:

— Возможно...— и окончательно умолк. Это было самое мудрое из всего, что мне довелось от него услышать. Вскоре тучи, окутавшие холм за рекой, зашевелились и, поднимаясь все выше и выше, исчезли.

Я пробормотал: «Возможно...» — и проснулся.

Уже давно рассвело... В комнату влетел ветер, шелестя страницами лежавшей на столике раскрытой сутры.

Перевод ВИСС. БИЛЬДУШКИНОВА

НАНЗАДЫН НАДМИД

Таежные гости

Перед сном Маам ежедневно обходила свое стойбище, как это и положено опытному и старательному чабану. Делала она это обычно вместе со своим шестилетним сыном Идэром. Вот и теперь они шагали вдвоем. Рядом бежала, показывая свое рвение сторожа, собака Халтар, черная, с желтыми пятнами на голове. Было пятнадцатое число среднего летнего месяца. Над громоздившимся на востоке горным кряжем, неровными, зубчатыми линиями тянущимся к югу, уже взошла полноликая луна и светлым, сияющим кругом блестела на темном небе. Возле плотно улегшихся спящих овец куполом возвышалась юрта. Издали она напоминала одинокого лебедя, который, спрятав голову под крыло, заснул на берегу озера. Вокруг все было спокойно и умиротворяюще тихо. Лишь изредка пофыркивала лошадь, пасущаяся поблизости на длинной привязи. Слышно было, как она непрерывно хрустит травой. Да еще то тут, то там натужно пыхтели насытившиеся за день и теперь жующие свою жвачку овцы.

Человеку, не привыкшему ходить за скотом и жить на дальних безлюдных пастбищах, стало бы, наверное, жутковато от такого глухого одиночества. Но Маам была человеком привычным.

— Пойдем-ка спать, сынок,— сказала она, еще раз оглядев стойбище, и зашагала к юрте.

Собака сопровождала их до самой двери юрты и лишь после этого побежала на свое место, находящееся на другом конце стойбища.

Укладываясь в приготовленную матерью постель, Идэр спросил:

— А когда папа приедет?

— Соскучился по папе, сынок? А может, боишься без него? — ласково спросила Маам, подсаживаясь к нему и заботливо прикрывая его одеялом.

— Ничего я не боюсь, даже когда папы рядом нет.

— Верно, сынок, верно, скотоводу возле своих овец бояться нечего.

— Ну, правда, когда папа приедет?

— Потерпи немного, еще не скоро. Всего две недели прошло, как он уехал. А приедет он вот через столько дней...— С этими словами Маам встала, достала красный лоскуток и привязала его к одной из верхних жердей — подпорок дымохода. Потом, пересчитав остальные жерди, с другой стороны привязала синюю полоску и сказала Идэру: — Гляди, сынок. Вот эту красную ленточку каждый день

перевязывай к следующей жердочке. Когда она дойдет до синей повязки, папа и приедет.

Идэр вздохнул и заснул, успокоенный.

Маам и Мандах были молодыми чабанами, вернувшимися в свое объединение после окончания сомонной школы. Последние годы они пасли отару яловых овец. Чтобы обеспечить хороший нагул, они выезжали в эту безлюдную падь. Но вскоре правление объединения послало Мандаха на трехмесячные курсы заведующих гуртами, которые открылись в аймачном центре. Так и осталась Маам одна с малолетним сыном.

Маам проснулась среди ночи от какого-то шума. Казалось, что скачет множество всадников. Неистово лаяла собака, овцы шарахались из стороны в сторону и испуганно блеяли. Быстро накинув на себя халат, Маам вышла из юрты. Всадников уже не было видно, лишь слышен был топот их копыт да лай собаки: видно, погналась за ними и увлеклась. Маам собрала овец, подождала, пока они успокоятся и улягутся, и вернулась в юрту.

Идэр спокойно спал, будто не было никакого ночного шума. Что это за народ проскакал? Как будто не было слышно людских голосов. Неужели они ускакали обратно, испугавшись собаки? Странно. Вскоре прибежала Халтар, несколько раз гавкнула возле юрты, будто о чем-то докладывая хозяйке, и пошла на свое место.

Наутро мать с сыном, выгоняя овец на выпас, поднялись на низкий пологий бугор, который шел слева от них, и вдруг заметили вдали, у подножия Священной косы, где берет начало небольшая речушка, двух незнакомых, темной масти животных, то ли коней, то ли коров, издалека не различишь. Они невозмутимо паслись, а над ними, каркая, кружились две вороны. «Здесь, на дальних отгонных пастбищах, на сотни километров вокруг нет ни души, откуда же тогда могли взяться эти лошади или коровы?» — недоумевала Маам. Между тем одно из животных повернулось боком, и тут только мать с сыном поняли, что это никакая не лошадь и не корова, а олень-изюбр. Халтар тоже не отрываясь смотрела на них. Ее одолевало неудержимое любопытство. Наконец она раза два тявкнула, словно говоря: «Давай я сбегаю, посмотрю», и побежала по направлению к животным.

— Мама, откуда изюбры могли прийти к нам? — спросил Идэр. Маам и сама над этим раздумывала.

Люди говорили, что прошлой зимой в тайге на севере выпал большой снег, поэтому олени и изюбры часто выходят на продуваемые ветром степные просторы, где можно легко раскопать корм. Священная коса, высящаяся посреди степи, хоть и была отрезана от большой тайги, однако ее скалистые отроги густо поросли на северной стороне лесом. Поговаривали, что в этом лесу и видели изюбров. Маам подумала, что эти двое отделились от стада, и ответила сыну:

— Наверное, спустились с таежных гор.

— Всего двое? — удивился Идэр.

Маам вспомнила слова мужа: «Тех изюбров, что пришли на гору, все меньше становится. Может, несколько голов всего и осталось. А остальных либо волки задрали, либо они подохли от весенней бескормицы». Она подумала, что эти двое как раз и есть те, оставшиеся.

Между тем собака довольно близко подбежала к изюбрам и, как бы давая возможность привыкнуть к себе, стала медленно приближаться к ним. Увидев собаку, изюбриха в испуге отпрянула в сторону, потом, остановившись, уставилась на собаку. А изюбр так и остался лежать. Халтар не стала подходить к нему вплотную, лишь несколько раз обошла его кругом и обнюхала. Потом спокойно и дружелюбно залаяла, словно докладывая хозяевам, что пришедшие к ним невиданные раньше животные овец не едят, а едят траву.

— Мама, давай пойдем к этим изюбрам, посмотрим на них,— попросил Идэр.

Маам родилась в степной полосе, замуж же была отдана в гористый и лесистый Хангайский край. Однако ей ни разу еще не доводилось видеть изюбра вблизи. Медленно погоняя овец, они стали приближаться к изюбрам. Рассыпавшись клином, овцы, вытягивая шеи и принюхиваясь, подошли к лежащему изюбру. Тот вдруг с шумом засопел и затряс головой с огромными ветвистыми рогами. Овцы испуганно шарахнулись и побежали обратно. Тогда Маам посадила Идэра на коня впереди себя и направилась было к изюбру. Но конь, похрапывая, стал пятиться назад. Маам слышала, что изюбры нередко нападают на человека, лягают его копытами и бодают. Вспомнив это, она перестала понукать коня и повернула назад.

Солнце уже стояло в зените, когда Маам с сыном, уложив овец на дневной отдых, поехали домой попить чая.

На следующую ночь Халтар то и дело выбегала на бугор и, полаяв, возвращалась обратно к стойбищу. Словом, она добросовестно охраняла хотон и изюбров. В эту же ночь изюбры подошли к подножию бугра и заночевали там. Изюбр-самец по-прежнему все так же лежал, и все так же с двух сторон, как бессменные часовые, сидели возле них все те же вороны. Так прошел день.

Когда на следующее утро Маам вышла из юрты, изюбр уже лежал на вершине бугра. Голову он повернул к стойбищу, и его большие рога, видневшиеся на фоне восходящего солнца, показались Маам двумя ветвистыми подпорками, поддерживающими золотой солнечный шар. Над ним с громким карканьем кружились невесть откуда налетевшие вороны. Перед ним почти нос к носу, дружелюбно виляя хвостом, лежала Халтар.

Маам удивилась.

— Почему изюбры подошли почти к самому нашему двору? Люди говорят: «За волком следуют вороны, за странником — его грехи». А за нами следуют эти изюбры. Может, они уже привыкли к нам, а может, что-нибудь замышляют? — задумчиво проговорила она, обращаясь к сыну как к взрослому.

— Может, хотят в наше стадо. Пойдем посмотрим,— опять попросил Идэр.

Маам была крепко сбитой, высокой женщиной с длинными сильными руками, словно созданными для того, чтобы управляться со своенравным скотом. Она, наверное, могла бы быть неплохой спортсменкой. Маам втайне немного гордилась своей силой, потому и решила сейчас подойти к изюбру поближе, несмотря на страшные легенды об их свирепом нраве. Взяв длинный кнут, она медленно направилась к нему. Идэр потихоньку двинулся за ней. «Не хищник же он, небось не съест»,— подумала она. Увидев приближающегося человека, изюбр вскочил на ноги и настороженно уставился на Маам. Вскочила и Халтар. Она кинулась под ноги хозяйке и стала ласкаться, виляя хвостом. Потом побежала обратно к изюбру и, дружелюбно повизгивая, стала прыгать вокруг него, как бы стараясь быть посредником между человеком и диким животным, к которому, по-видимому, питала приязнь. Когда Маам с сыном подошли еще ближе, изюбриха испуганно затрусила прочь. А изюбр так и остался стоять, не двигаясь и глядя на них большими немигающими глазами. При виде этого лесного исполина ростом с четырехлетнего вола с огромными ветвистыми рогами пораженные мать с сыном невольно остановились. Идэр ухватился за руку матери и смотрел на изюбра испуганным и восхищенным взглядом. Подбежавшая к ним Халтар, свесив длинный язык и неистово виляя хвостом, поочередно посматривала то на лица хозяев, то на стоявшего перед ними изюбра. Все трое были рады приветить и приютить этого таежного гостя, гор-

дость Хангая, трубача лесов, могучего рогатого красавца, но не знали, как к нему подступиться. Они были готовы при малейшей угрозе нападения отпугнуть его и убежать прочь. Изюбр сделал несколько робких шагов навстречу им и остановился. Затем вновь стал приближаться к ним, останавливаясь на каждом шагу. Не доходя до них нескольких шагов, он согнул свои тонкие длинные ноги, лег и вытянул могучую шею, как бы ища защиты и спасения у людей.

Его большие черные глаза, в которых застыл испуг, беспокойно метались, ноздри широко раздувались, бока тяжело вздымались от частого и неровного дыхания. На круглой груди изюбра, рассеченной вдоль ключицы, была видна сильно воспаленная, загноившаяся рана, в которой, видимо, уже завелись черви. Из раны сочилась кровь. Матери с сыном стало жаль его. Они стали осторожно гладить его ветвистые рога, красивую длинную шею, покрытую жесткой, лоснящейся шерстью, широкую спину с выступающим хребтом. Лесной великан не только не испугался, но, как бы вымаливая пощаду и ласку, следил глазами за человеческой рукой.

— Какой же зверь так поранил его? — спросил Идэр жалостливо.

— Видно, этой ночью волки разодрали его. Ты крепко спал, не слышал, а за ним гнались волки. Он, защищая подругу, бился с ними, вот они и поранили его. Давай вместе лечить его.

Они сходили в юрту и принесли лекарства и ведро теплой воды. Изюбр лежал на боку, а Халтар лизала его рану. Изюбр с явным удовольствием вытянул шею, совсем как овца, привыкшая к тому, чтобы ее чесали. Мать с сыном промыли рану раствором марганцовки и посыпали ее порошком. Изюбр дрожал как в лихорадке, поводя пересохшими губами и ноздрями: видимо, у него был жар. Маам поднесла к его голове ведро с водой. Почуяв воду, изюбр поднял голову, сунул морду в ведро и начал жадно пить ее. Маам бросила в ведро целую горсть жаропонижающих и болеутоляющих лекарств.

Несколько дней после этого изюбр не поднимался. Днем изюбриха паслась вокруг стойбища, а по ночам ложилась возле друга. Маам с сыном приносили изюбру самые вкусные, самые пахучие травы, но изюбр почти не касался их. Зато когда ему подсовывали куски соли, он охотно лизал ее. Все эти дни они промывали рану и прикладывали к ней лекарство, а Халтар, улучив момент, еще и ложилась рядом и лизала ее. Когда рана изюбра начала зарубцовываться, он вместе со своей подругой стал пастись недалеко от стойбища. К вечеру они возвращались и ночевали возле овец. Если день выдавался жаркий, они залегали в тени юрты. Вскоре изюбр настолько привык к людям, что иногда даже пытался зайти к ним в юрту. Сунув морду в дверь, он цеплялся рогами о притолоку и приподнимал всю дверь вместе с каркасом юрты. Перестала бояться людей и его подруга. Но когда до нее дотрагивались, она все еще боязливо отскакивала. Идэр очень привязался к животным. Он любил гладить и почесывать морду изюбра, глядя, как тот с удовольствием подставляет шею и грудь. В такие моменты Идэру очень хотелось сесть на него верхом и, схватившись за ветвистые рога, прокатиться. Вот было бы здорово! Но как же управлять им? Надевать узду, как на лошадь, или вдевать в ноздри кольцо, как быку? А может, надеть на рога налыгач, как волу, или всадить кляп с веревочкой, как верблюду? Об этом мог бы рассказать только отец Идэра. Скорее бы он приехал. Раньше в объединении был скот пяти видов. А теперь вот появился шестой. Хорошо, что изюбры есть только у них. Интересно, что можно сдавать в кооперацию от изюбра?

Однажды Идэр спросил у матери:

— Если на них ездить верхом, то за что же поводок цеплять?

— Не знаю, сынок. Когда я училась в сомонной школе, я видела

одну картину. Там люди ездили на оленях, но вот как они привязывали повод, я не помню.

— Мама, я боюсь, как бы наши изюбры не убежали обратно в лес. Хорошо бы задержать их до приезда папы. Может, привяжем их или стреножим.

— Зачем же! Они ведь привыкли к свободе. К тому же они к нам привыкли и не должны уйти далеко.

С каждым днем изюбры все дальше и дальше уходили пастись в лес. А однажды, когда мать с сыном собирали разбредшихся овец, изюбры поднялись со своего лежбища и, ни разу не нагнув морду к траве, направились прямо в лес на северный склон Священной косы. Увидев это, Идэр в отчаянии воскликнул:

— Мама, наши изюбры уходят в лес! Теперь они не вернутся. Я же говорил, что надо было привязать их!

— Если ты, сынок, много дней проведешь вдали от дома, тоже соскучишься. Они же, бедные, соскучились по лесу. Не волнуйся, они непременно вернутся.

Мать с сыном пригнали овец к стойбищу, но изюбры так и не показались. В тот вечер Идэр был очень грустный. Он то и дело выбегал на восточный бугор и смотрел в сторону леса. Не пришли они и к ночи. Идэру стало совсем тоскливо. Был бы отец, он бы что-нибудь придумал. Но его по-прежнему не было.

Идэр долго не спал, прислушиваясь к ночным звукам. Но ночь была тихая, даже собака ни разу не залаяла. Наконец, утомленный переживаниями, Идэр заснул.

Проснувшись утром, мальчик тут же выбежал наружу и радостно ахнул. Изюбры лежали возле овечьего загона, как давно привыкшие к стойбищу домашние животные. Идэр вбежал в юрту и радостно закричал:

— Мама, они и вправду пришли. Теперь они стали настоящими домашними животными, как и наш скот.

В этот день солнышко припекало с самого утра, и изюбры не пошли пастись, а легли в тени юрты. Идэр не мог насмотреться на изюбра-самца, которого называл Рогачом, и всячески ласкал его: трогал холодный нос, гладил шею. Он все время порывался сесть на него верхом и, наконец улучив момент, оказался на спине изюбра. Изюбр неожиданно вскочил на ноги и понесся. Он закинул назад голову с ветвистыми и тяжелыми рогами и прижал ими к спине колени Идэра. Испуганный Идэр только успел крикнуть: «Ма-ама!» и весь сжался в комок. За ним с веселым лаем побежала Халтар.

Услышав крик сына, Маам выбежала из юрты. Идэр сидел на спине изюбра, а тот, поднимая пыль, на полном скаку мчался к восточному косогору.

— Идэ-эр! — крикнула ему вслед Маам и беспомощно остановилась. А Идэр, прижавшись к спине могучего изюбра, как маленький суслик, уже исчез за бугром. Опомнившись, Маам вскочила верхом на гнедого и, стегая его изо всей силы кнутом, понеслась вдогонку. А изюбры уже поднимались к самому подножию горы. Не успела Маам доскакать до подножия, как изюбры уже проскочили между утесами на правом склоне горы и вскоре перемахнули через гребень. Не догнала их и Халтар: крутой склон Священной косы был и для нее слишком трудным препятствием. Утирая слезы, Маам смотрела в ту сторону, куда ускакал на диком изюбре ее Идэр. Что делать? Поехать искать его? Или, может, остаться с овцами и ждать? Потрясенная случившимся, она машинально поплелась в сторону своей юрты. Халтар неохотно трусила за ней, то и дело оглядываясь назад. Наконец остановилась, несколько раз гавкнула и, нюхая землю, побежала по следу изюбра.

Маам решила сообщить о случившемся ближайшим соседям. Когда она возвращалась от соседей, солнце уже клонилось к закату.

Соседи сообщили о случившемся дальше, в центральную усадьбу объединения, и оттуда вскоре должны были выехать люди на поиски Идэра. В этот вечер Маам пораньше пригнала овец к стойбищу и стала тревожно ждать. Не в силах усидеть на месте, она выходила из юрты и, надеясь в душе на чудо, то поглядывала в сторону Священной косы, то на юг в степные дали, откуда должны были явиться люди из бригады.

Перед вечерними сумерками прибежала, вывалив язык и тяжело дыша, Халтар. Став на задние лапы, она лизнула лицо хозяйки и стала кувыркаться, радостно визжа.

Налив собаке остатки супа и воду с молоком, Маам спросила:

— Халтар, где Идэр? Где Идэр? Где остался Идэр?

Собака, повизгивая, завиляла хвостом, потом залаяла, повернув морду на северо-восток. И вдруг там на бугре появились какие-то черные фигуры.

— Мама-а! — послышался веселый голос Идэра.

Маам встрепенулась и побежала на голос сына. Навстречу ей спокойно и важно вышагивал изюбр. Подойдя к Маам, он лег перед ней, словно говоря: «На, возьми своего шаловливого сынка, освободи меня от такой тяжести».

— Разве можно так поступать, сынок? — укоризненно говорила Маам, снимая сына со спины изюбра.

Только они зашли в юрту, как залаяла собака. Маам выглянула наружу. К ним скакали несколько всадников. Подъехав к юрте, не слезая с коней и не здороваясь, они спросили почти одновременно:

— Ну как? Куда надо ехать?

— Я уже приехал,— подал Идэр голос из юрты.

Люди зашумели и, оживленно переговариваясь, спешились. Зайдя в юрту, старший из них стал отчитывать Идэра:

— Ишь ты, шальная голова, баловник паршивый! Мать напугал до смерти, людей от дела оторвал!

Другие, наоборот, стали им восхищаться:

— Смелый мужчина не только изюбра оседлает, но и того железного коня, который над вселенной летает!

— Ну расскажи нам, где ты скакал на изюбре? — спрашивали они.

— Наш каурый Рогач посадил меня на спину и поскакал к Священной косе. Проскочил склон, перелетел через вершину, спустился к роще и залег там в тени. Я хотел было слезть, но он не давал. Может, боялся, что не найду дорогу домой, а может, не хотел, чтобы я пешком ушел, словом, никак не давал сойти на землю. Прижал меня рогами и лежит. Ну а я сижу на нем и жду, что дальше будет. Тут к нам подбежала наша собака Халтар, она нашла нас по следу. Она обошла нас несколько раз, обнюхала, а потом легла морда к морде с изюбром. А когда стемнело, Халтар отбежала в сторону дома, посмотрела на нас и несколько раз гавкнула, как бы говоря: «Пойдемте домой». А изюбр мой даже не шелохнулся. Тогда Халтар вернулась и стала лаять, бегая вокруг нас. Потом вновь отбежала в сторону дома и, оглянувшись, залаяла. Лишь тогда Рогач поднялся и зашагал к дому. Потом он побежал, да так быстро, будто летел, не касаясь земли. Вот какой он у меня быстрый, как железный конь, что по космосу летает...

Рассказ Идэра и удивил и восхитил людей. Оживленно переговариваясь, они сели на коней и ускакали.

Идэр каждый день перевязывал красный лоскуток к следующей жердочке. Однажды он привязал его на последнюю жердочку, которая была рядом с синим лоскутком.

— Мама, завтра папа приедет! — закричал он радостно.

Мать глянула на привязанный к жердочке красный лоскуток и улыбнулась.

— Еще месяц остался, а ты уже достиг синей ленточки. Небось перевязывал через жердочки, чтобы скорее дойти до синего лоскутка.

Она отсчитала жердочки по количеству оставшихся дней, а красный лоскуток перевязала обратно. Идэр вздохнул: долго еще придется ждать отца. Между тем изюбры освоились на стойбище и возвращались к нему каждый вечер. Иногда из правления объединения или из бригады приезжали чабаны, чтобы посмотреть здешние пастбища и проверить состояние и упитанность овец. Один из них, ветеринарный врач, как-то спросил у Идэра:

— Это ты скакал верхом на изюбре?

— Да, он очень быстро бегает. Прямо над облаками может летать, как самолет!

— Ну это ты, брат, хватил. Но все равно ты молодец. Паси их до приезда отца. Не упускай из виду.

— Ладно,— великодушно согласился Идэр.

Вскоре после отъезда ветеринара приехал чабан с наказом от бригадира готовиться к перекочевке на место осенней стоянки. Это известие не очень порадовало Идэра. Но он успокоился, решив, что до перекочевки отец еще успеет приехать. Ведь красный и синий лоскутки разделяли всего три жердочки. Скорее бы он приезжал!

Наступила осень. Интересно, какое сено едят изюбры? Уж он с отцом заготовил бы для своих любимцев самое лучшее сено. Сарай они поставят возле зимнего загона для овец. Весной изюбриха родит маленького теленка, и они будут доить ее и пить молоко. А пух с изюбров сдадут в кооперацию. По подсчетам Идэра, работы с ними было немало, но и польза тоже была большая.

Но вот однажды в одно прекрасное утро у их стойбища появился трактор «Беларусь» с двумя прицепами. Заведующий гуртом и водитель вместе с матерью Идэра стали разбирать юрту и укладывать ее на прицепы. Изюбры, испугавшись трактора, взбежали на восточный бугор и стали с недоумением смотреть оттуда на все эти сборы, словно желая спросить: «Что собираются делать с нашими хозяевами эти незнакомые люди на скрипучей телеге?» Вещи и юрту погрузили в прицеп, рядом примостилась мать, и трактор тронулся на новое место. А Идэр с Халтаром погнали за ним овец. Идэр хотел погнать вместе с овцами и изюбров, но непривыкшие к принуждению вольные животные не поняли его и остались стоять на месте. Подгоняя пасущихся на ходу овец, Идэр то и дело оглядывался на оставшихся изюбров, пока не убедился, что они скрылись за холмом, ведущим к Священной косе.

Идэр думал о том, что теперь они далеко откочуют, возможно, на расстояние пол-уртона, и теперь изюбры не найдут их. И еще было очень обидно и больно, что изюбров пришлось оставить как раз в тот момент, когда должен был приехать отец.

Когда Идэр вместе с овцами добрались до осеннего стойбища, мать уже поставила юрту. Идэру не хотелось ни пить, ни есть.

— Теперь изюбры не найдут нас. Что же будет с ними? — спросил он печально.

— А может, придут по нашему следу. Они ведь находят следы не хуже собаки,— пыталась успокоить его мать.

Идэр забрался на вершину низкого холма, прикрывавшего их юрту с севера, и осмотрел дорогу, протянувшуюся с запада. Потом опять оглянулся на глубокую долину, спускавшуюся с северо-востока, по которой могли прийти оставленные ими изюбры. Он простоял там до самой темноты. Уже лежа в постели и прислушиваясь ко всему, что происходит за стеной юрты, он думал о том, что изюбры все же могут подойти к стойбищу, и тогда собака, почуяв их, залает или побежит навстречу. Но собака ни разу так и не тявкнула.

Утром Идэр чуть свет проснулся и побежал на бугор. Таежные гости спокойно лежали на его северном склоне, как привычная домашняя скотина. Не помня себя от радости, Идэр побежал домой, крича на ходу:

— Мама, они нашли нас! Они нашли нас! — Зайдя в юрту, он серьезно спросил: — А почему папы до сих пор нет? Ведь он уже должен приехать!

Маам и сама недоумевала, почему муж так долго задерживается. Срок его пребывания на курсах закончился уже пять дней тому назад. И она подумала, что даже дикие животные, родившиеся в тайге и привыкшие к вольной жизни, привязываются к человеческому жилью, а человек, родившийся в юрте и оставивший любимую подругу и родное дитя, как видно, не скучает по ним, не спешит домой. Однако стараясь выглядеть спокойной, она ответила сыну:

— Не волнуйся, сынок, скоро приедет.

Много раз в этот день Идэр выбегал на бугор и смотрел на тянувшуюся по долине дорогу, похожую на стежку из желтой нити по зеленому шелку. Но там было пустынно и тихо.

Перевод Н. ОЧИРОВА

БХИШАМ САХНИ

Рассказы

Перевод с хинди Л. КУЗНЕЦОВА

Aham brahma asmi!..

В зимние каникулы мы иногда совершали довольно долгие прогулки. Поднявшись утром пораньше, пока не печет солнце, торопливо выбирались из наших узеньких переулков и спешили к реке, отделявшей индийские жилые кварталы от кантонмента — английского военного городка, а перейдя мост, либо шли прямо к памятнику королеве Виктории, либо сворачивали налево и, прошагав утомительные две-три мили, оказывались в обширном тенистом парке, где англичане предавались разного рода развлечениям: одни играли в гольф, другие наслаждались верховой ездой, третьи, обняв за талию своих возлюбленных, фланировали с ними по прохладным аллеям. После тесных и душных городских переулков эти места казались нам истинным раем. Нагулявшись вдосталь, мы наконец поворачивали к дому Бхатии, находившемуся тут же, в кантонменте. Этот визит был непременной частью нашей программы.

Когда тело нальется сладкой усталостью, а веки отяжелеют, когда уже еле переставляешь натруженные ноги в запыленных ботинках, что может быть отрадней завтрака в опрятной, всегда тщательно прибранной квартире Бхатии. При желании мы оставались там на весь день и домой попадали только к вечеру, побывав напоследок в кино; но, разумеется, когда хозяин был занят делами по горло, мы позволяли себе лишь недолго — часок-другой — поболтать с ним в прохладе и возвращались в город.

Меня Бхатия числил еще в мальчишках, а с Джитендрой у них завязалась тесная дружба. И хотя Джитендра, дальний мой родственник, был несколькими годами старше меня, в часы прогулок между нами тоже устанавливались приятельские отношения.

В тот день мы подошли к дому Бхатии около одиннадцати часов. Бхатия содержал книжную лавку и сам жил при ней — в нескольких комнатах, примыкавших к торговому помещению со двора. Дверь нам с почтительным поклоном открыл слуга в белом поварском халате, подпоясанном красным кушаком. Вернее, это был один из приказчиков Бхатии, но по утрам он исполнял обязанности повара.

— Входи, Джитендра, входи,— донесся до нас из глубины дома знакомый голос Бхатии.

Уютная гостиная как всегда блистала чистотой, а на софе, широко разведя руки в радушном приветствии, сидел и сам хозяин. Когда я вслед за Джитендрой переступил порог, Бхатия, не удержавшись, глянул на мои серые от пыли ботинки, что, само собой, повергло меня в смущение. Но он любезно улыбнулся, сверкнув всеми своими зубами, и подбодрил меня:

© Bhisham Sahni, 1982

— Пустяки, не красней. Надеюсь, ты не станешь класть ноги на стол?

Бхатия торговал английскими книгами, оттого-то и жил он в самом кантонменте, где по улицам без конца сновали чужеземные солдаты; по той же самой причине он счел себя обязанным завести в доме чисто европейские порядки. Торговец английской литературой в те времена выделялся среди других книготорговцев — ему поневоле приходилось выступать в роли человека интеллигентного и начитанного. Он знал хотя бы понаслышке новейших писателей и при случае мог потолковать с клиентом о том о сем. Бхатия, правда, был темнокож и вдобавок отнюдь не обладал приятной внешностью, но зато был ловок и обходителен. Он живо передвигался от полки к полке, беспрестанно кланяясь и улыбаясь во весь рот, в считанные минуты он успевал раскинуть веером перед покупателем десятки книг, попутно рекомендуя их с такой свободой и развязностью, будто сам перечитал все до единой. Впрочем, в нем и впрямь была какая-то изюминка. Помню, тогда он часто и подолгу рассуждал о теософии, интересовался ведантой [1] — скорей всего, потому, что как раз в те дни в лавку поступили сочинения Олдоса Хаксли [2], в которых автор весьма лестно отзывался о древнеиндийской философии.

Когда мы немного отдохнули с дороги в мягких, удобных креслах, Бхатия, как обычно, пригласил нас к столу. Нам всегда казалось, будто он все утро только и ждал нашего прихода.

У двери в столовую, следуя своему правилу, он приостановился и с широкой улыбкой предложил Джитендре войти первому:

— Сначала ты, Джитендра, beauty before the beast [3].

Это была любимая его поговорка, он употреблял ее чуть ли не каждую минуту, к месту и не к месту. В данном случае она пришлась очень кстати, ибо рядом с Бхатией наш Джитендра и в самом деле выглядел писаным красавцем.

Я всегда садился в доме Бхатии за стол с чувством ужасной неловкости — всякий раз забывая, в какой руке надо держать нож, а в какой вилку!

Бхатия занял свое место во главе стола и, взяв салфетку, заправил ее угол за воротник. В те времена у англичан было принято во время еды закрывать грудь салфеткой. Перед Бхатией матово поблескивала серебряная посуда, но нам с Джитендрой слуга ставил простые фаянсовые тарелки и такие же кружки. Такова уж была одна из прихотей хозяина. Он всегда ел на серебре, гостям же приказывал подавать фаянс.

С ненужной суетливостью слуга начал подавать завтрак. В свою тарелку Бхатия положил с серебряного блюда всего две вареные картофелины. Затем он полил их майонезом, разрезал на мелкие кусочки серебряным ножом и неторопливо принялся за еду, помогая себе, совсем по-европейски, ножом и вилкой. Бхатия ел очень мало, во всем ограничивая себя. Но для нас, гостей, зная наш аппетит, он велел приготовить омлет, и это было главное — иначе бы вовсе не имело смысла заходить к Бхатии: не могли же мы удовольствоваться двумя вареными картофелинами после такой утомительной прогулки!

Для нас с Джитендрой «англоманство» Бхатии оборачивалось несомненной пользой. В холода растапливался камин, и мы часами блаженствовали перед его жарким огнем, беззаботно болтая о всякой всячине, и оживляли приятную беседу глотками портвейна. По привычкам своим и манерам Бхатия был сущий британец. По воскресеньям он важно закуривал сигару и выходил с собакой на про-

[1] Одна из идеалистических систем индийской философии. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Олдос Хаксли (1894—1963)— английский писатель.

[3] Красота прежде уродства *(англ.)*.

гулку, на локтях его пальто, точь-в-точь как у англичан, были нашиты кожаные заплаты. В жаркую погоду он четырежды на дню менял рубашки и десять раз майки, трижды в день он приказывал слуге приготовить для себя ванну. Впрочем, как бы ни был Бхатия чист, вылощен и опрятен, когда он однажды заболел и какое-то время пролежал в беспамятстве, больничная сиделка то и дело в ужасе выбегала из комнаты, зажимая уши руками и приговаривая: «Боже, какой кошмар! Не понимаю, как может неженатый мужчина произносить даже в бреду такие непристойности...».

И все же, я думаю, столь скрупулезное следование всему английскому было нелегким бременем для души Бхатии — времена менялись, и люди, подобные ему, не умея достаточно быстро приспособиться к этим переменам, рано или поздно начинали выглядеть нелепо, и, уж конечно, сами англичане относились к ним немногим лучше, чем к прочим индийцам. Мне ведь случалось бывать и в самой лавке, и однажды в моем присутствии какая-то англичанка, совершенно выйдя из себя, принялась так распекать Бхатию, что он просто не знал, куда деваться. Как я понял, вина его заключалась в том, что он послал своей клиентке старый счет с приколотым к нему печатным ярлыком, на котором значилось: «Please, pay!» [1]. Это-то излишнее, по ее мнению, напоминание и привело ее в ярость. Она честила его почем зря, а он виновато стоял перед ней, моргая глазами и то и дело повторяя: «Yes, madam! Yes, madam!» [2]. Само собой, самолюбие его было особенно уязвлено тем, что все это происходило на моих глазах. Когда она наконец ушла, он долго не мог успокоиться и бормотал вполголоса, ни к кому, собственно, не обращаясь: «What a horrible woman!» [3], или, повернувшись ко мне, восклицал, расплываясь, как он приучил себя, в широченной, во весь рот улыбке: «Но она, конечно, права! Ведь для того же я и послал счет, чтобы по нему уплатили, зачем было прилагать к нему этот дурацкий ярлык!» Каково ему было сознавать, что именно он, тот, кому давно следовало бы усвоить единственно приемлемый порядок ведения торговых дел — сами понимаете, английский! — именно он совершил такую непростительную оплошность...

Прожевав свои две картофелины и подвинув к себе чашку, Бхатия завел речь о метафизике.

— Ты знаешь, Джитендра,— сказал он, потягивая мелкими глотками черный кофе,— как Хаксли переводит с санскрита на английский фразу «Aham brahma asmi!»? [4]

— Как же?

— Перевод таков: «I am the divine flame!»[5].— Как это прекрасно, не правда ли?

И Бхатия с глубоким чувством повторил:

— I am the divine flame! Поистине, какая волшебная сила в этом изречении. Всякий раз, произнося его, я ощущаю, что меня как бы пронизывает мощный поток энергии...

Не вставая с места, он крепко сжал в кулак правую руку и вновь громко, с воодушевлением произнес: «I am the divine flame! Aham brahma asmi!». И на этот раз в голосе его послышалась некая особая дрожь. Он твердил полюбившуюся фразу. И с каждым разом все торжественнее звучала она. Голос Бхатии гремел все раскатистее. Когда он произнес это изречение в пятый или шестой раз, мне даже показалось, будто он вдруг отдалился от нас, от всего мира. Глаза его за толстыми стеклами очков словно бы обратились внутрь, в самую глубь его существа.

[1] Пожалуйста, уплатите! *(англ.)*
[2] Да, мадам! *(англ.)*
[3] Какая ужасная женщина! *(англ.)*
[4] Аз есмь дух божий! *(санскр.)*
[5] Я огнь божественный! *(англ.)*

— I am the divine flame! For I am the divine flame![1]

Многократно повторив эти слова, он вдруг умолк в каком-то восторженном упоении. С минуту он неподвижно сидел перед нами в воцарившейся тишине, плотно сомкнув веки. Потом глаза его медленно раскрылись, а кулаки расслабились и разжались.

— Какая мощь в этих словах! — сказал он тихо.— Знаешь, Джитендра, когда дух мой терзают сомнения, а на сердце печаль и тревога, я все твержу и твержу без конца эту фразу, и в меня вновь вливаются волнами и энергия, и вера, и воля. Мне чудится, будто все мое существо расширяется до бесконечных пределов, будто я взлетаю куда-то ввысь и начинаю ощущать себя частицей вселенной, мирового космоса. Больше того, я — центр мироздания, и вокруг меня плывут созвездия и туманности...

И Бхатия снова тихо, вдохновенно произнес:

— I am the divine flame! I am the divine...

— А теперь,— предложил Джитендра,— скажите это же на санскрите.

— Нет, не то! На санскрите совсем не то! В самом слове «flame» отблеск какой-то неземной силы. Aham brahma asmi... Нет, решительно не то. Тут нечто слабое, хрупкое... А ведь в английской фразе невиданная мощь, изумительное всепроникновение! Когда произносишь ее, из души уходят все ее слабости, все сомнения и тревоги. Я начинаю ощущать свою причастность к мировому духу. Существо мое возносится в поднебесные сферы...

И Бхатия горделиво заключил:

— Это та нить, которой я связан с душой матери-Индии. Я нашел для себя эту нить... Кстати, надо будет обо всем подробно рассказать Дику. Его такие вещи тоже очень интересуют.

— А кто этот Дик? — не утерпел я.

— Дик? Как, ты не знаешь Дика?! Тебе должно быть очень стыдно.

Я смутился. И было отчего! Ведь это тот самый англичанин, которого тут знал каждый — Дикинсон, второе лицо в городе, заместитель начальника городской управы. В разговоре с нами Бхатия с привычной фамильярностью именовал его Диком или Дики, но при личных встречах ему, конечно, приходилось обращаться к англичанину не иначе как «мистер Дикинсон».

— Он тоже страстно увлекается индийской философией,— добавил Бхатия.

В те времена, пожалуй, каждому из нас импонировали европейские писатели, которые до небес возносили древнеиндийскую культуру и философию. В какой-то мере это помогало нам избавиться от комплекса собственной неполноценности. Новые веяния заставляли и нас потихоньку двигаться в потоке перемен — отставать никому не хотелось. Даже те самые лавочники, которые жили в кантонменте и по праздникам подобострастно подносили английским чиновникам и офицерам корзины, полные цветов и фруктов, теперь все чаще тайком жертвовали деньги на нужды Национального конгресса. А наш Джитендра из патриотизма начал носить рубаху и штаны, которые издали казались сшитыми из чистого кхади[2]. Все возрастающее чувство гордости собственной национальной культурой тоже было следствием этого бурного процесса. Видимо, по той же причине в душе Бхатии зародилось влечение к духовной жизни далеких предков. Вообще-то, честно сказать, он считал английское правление истинным благом для Индии, и не проходило дня, чтобы он не превозносил во всеуслышание прирожденную любовь англичан к справедливости и порядку. Но как знать, может быть, с другой стороны

[1] Ибо я огнь божественный! *(англ.)*

[2] Индийское домотканое полотно, которое противопоставлялось английским фабричным тканям.

именно изучение веданты в какой-то мере утоляло внутреннюю его жажду духовной свободы, его подспудную неудовлетворенность!..

В эту минуту откуда-то издалека до нас донеслись звуки индийского барабана. Бхатия вздрогнул и навострил уши. Индийский барабан! Ведь он гремел в английском кантонменте, и в этом заключалось нечто зловещее. Конгрессистские собрания и шествия тогда уже не были редкостью, о них открыто возвещали молодые добровольцы Национального конгресса, обходившие с барабанным боем каждый квартал, каждый переулок. Заслышав этот грохот, всюду — на крышах домов и на балконах, у окон и вентиляционных решеток — появлялись смуглолицые люди, с нетерпением ожидая новостей. Бой барабана заключал в себе будоражащий призыв, заставлявший живее биться сердца... Но здесь, в кантонменте, этот грохот раздался впервые, и тотчас у всех нас словно мороз пробежал по спине — кто же это дерзнул нагрянуть с объявлением партийных новостей прямо в английский кантонмент?!

— Значит, будет митинг,— сказал Джитендра.— Вчера в Бомбее многих наших арестовали.

— Но какой смысл объявлять об этом в кантонменте? — возразил Бхатия.— Вы что, намерены вести конгрессистскую пропаганду здесь, среди англичан?

Ему явно было не по себе.

Барабанный бой все приближался.

— Давайте выйдем на улицу! — предложил я.

— Ни в коем случае! — возразил Бхатия.— Поднимемся на второй этаж и поглядим в окно. Оттуда все прекрасно видно.

Я все же рвался на улицу, но Джитендра был более рассудителен и трезв — он убедил меня, что и в самом деле вполне достаточно подняться на второй этаж и посмотреть в окно. Мы поспешили к лестнице.

Едва мы подошли к окну, как из-за угла выехала тонга [1] и направилась прямо к лавке Бхатии. Над тонгой развевалась тиранга — трехцветный индийский флаг, и в чистом голубом небе, среди густой зелени кантонмента он казался нам светлым видением, блистающим и прекрасным. От этой тонги и исходил будоражащий наши души барабанный бой — тра-та-та-там! тра-та-та-там! Пешеходы на улице изумленно останавливались — большей частью то были слуги, мелкие торговцы, молоденькие англоиндианки в коротких европейских юбках, белокурые английские солдаты. Более всего, надо полагать, их поражала дерзость, даже наглость тех, кто посмел проникнуть в английский кантонмент с пропагандой конгрессистских затей.

Подъехав к лавке Бхатии, тонга остановилась. И тотчас хозяин лавки, словно бы чего-то испугавшись, отодвинулся подальше от окна.

С переднего сиденья повозки поднялся и выпрямился во весь свой рост худощавый, хрупкого вида молодой человек. У него было изжелта-бледное лицо, одет он был в чистый, но изрядно помятый индийский костюм из белого кхади. Лоб и щеки его лоснились от пота. Поставив ногу на оглоблю тонги и оказавшись прямо под трехцветным флагом, он заговорил. Сначала он продекламировал стихи, по всей видимости в честь арестованных в Бомбее героев Конгресса, потом, вдохновившись звучанием этих строф, обратился к толпе:

— Уважаемые господа! Братья! Вы, должно быть, слышали, вчера в Бомбее были арестованы и брошены за решетку наши руководители. Граждане Индии, все без исключения, должны заявить протест против позорных действий правительства. Базары и лавки надо закрыть. Призываю всех владельцев лавок на этой улице немедленно прекратить торговлю. Вечером в шесть часов в городском саду состоится митинг...

[1] Повозка.

Глашатай повернулся к лавке Бхатии, но, не увидев никого у ее дверей — ни один приказчик не осмелился выйти на улицу,— поднял глаза к окну на втором этаже, возле которого стояли мы трое. Завидев нас, он приветственно сложил вместе ладони и стал настаивать на том, чтобы торговля была сейчас же прекращена. Стоявший за нами Бхатия сделал ему сверху знак подойти поближе, с таким видом, будто подзывал к себе нищего, собираясь подать ему милостыню. Тот приблизился к дому и хотел что-то сказать, но Бхатия вдруг попятился еще дальше от окна, наконец вовсе скрывшись с глаз оратора.

Тут снова громко забил барабан, и тонга двинулась дальше. Толпа стала расходиться.

— Какая дикость! Что он творит, этот человек! — придя в себя, заговорил Бхатия.— Английские офицеры его же просто застрелят... Подумать только — громко говорить о делах Конгресса в военном городке! Мало того, он требует закрыть все лавки!..

Впоследствии мы узнали, что юноша по собственной воле предпринял столь отчаянный шаг. Он сам направил тонгу в английский военный городок, заведомо зная: это все равно что добровольно пойти навстречу своей гибели. Нам стало известно также, что утром, перед тем как отправиться в путь, он на прощание крепко обнялся с товарищами — бог знает, доведется ли увидеться вновь! И в самом деле, он больше не увидел их... Но все это мы узнали потом. А в те минуты мы только зачарованно смотрели, как тонга, сопровождаемая неумолчным грохотом барабана, под гордо развевающимся трехцветным знаменем направлялась к городским воротам.

— Какая смелость! — сказал Джитендра.— Какое бесстрашие!

— Не смелость это, а безумие,— с досадой возразил Бхатия.— Кто здесь услышит ваш голос? Зачем вы явились сюда? Агитировать этих белых английских солдат? А индийские торговцы, которые самим своим существованием обязаны англичанам,— неужели они поддадутся пропаганде и закроют лавки? Зачем же было приезжать сюда?

Между Бхатией и Джитендрой завязался горячий спор. А тем временем тонга, по всей видимости, уже миновала городские ворота, потому что грохот барабана и голос глашатая доносились до нас теперь приглушенно. Постепенно они и вовсе растворились в тишине. Позже нам рассказали, что почти сразу же за городскими воротами, где начинался самый оживленный торговый квартал кантонмента, кто-то остановил тонгу, кто-то ударил по лицу дерзкого глашатая, кто-то стащил его на землю. Вскоре подоспела полиция, его незамедлительно сволокли в участок, и с той поры никому уже в нашем городе не приходилось видеть его бледное, изможденное лицо.

Спор между Бхатией и Джитендрой продолжался еще долго после того, как замерли последние звуки барабана. Джитендра был убежденным сторонником ахимсы [1], в то время как Бхатия всячески высмеивал эту самую ахимсу вкупе с пресловутой прялкой [2] и кхади. Он утверждал, что ахимса лишила страну мужества. Джитендра видел в ахимсе новый опыт политической борьбы, в то время как Бхатия называл ее старческой прихотью и импотенцией. Глядя на разгорячившихся противников, можно было подумать, будто человек — по преимуществу существо спорящее, и полемический задор — его единственное природное свойство.

Мы уже пообедали у Бхатии, а после еды с комфортом расположились на мягких диванах. За разговорами не заметили даже, как

[1] Ахимса *(санскр.,* буквально — «непричинение зла») — один из основополагающих принципов учения Ганди.

[2] Возврат к прялке, с целью поощрения ручного прядения и ткачества и бойкота английских тканей, был одним из пунктов политической программы несотрудничества и вдохновлялся личным примером Ганди.

опустился вечер. Пришла пора закрывать лавку. Старший приказчик, заперев двери, принес ключи Бхатии. Тот из серебряного стакана лакомился в это время шербетом, а мы с Джитендрой прихлебывали из изящных фарфоровых чашечек чай.

Настало время и для кино. В одном из двух кинозалов военного городка показывали фильм с участием Греты Гарбо, и было бы, конечно, величайшей глупостью пропустить его.

Мы не учли, однако, что посещение кино в тот вечер могло обернуться какой-нибудь неприятностью для нас. Даже такой благоразумный человек, как Бхатия, упустил из виду, что утреннее происшествие должно было накалить обстановку в кантонменте.

В антракте между двумя частями фильма Бхатия почувствовал необходимость справить нужду. Обычно он не ходил в туалет при кинотеатре, потому что там всегда было полно английских солдат, отдельной же уборной для индийцев не было. Зрители из местного населения справляли нужду где-нибудь в укромных уголках большого парка, окружавшего кинотеатр,— за деревьями, за кустами, благо ко времени перерыва уже становилось совсем темно.

Но Бхатия, на свою беду, направился именно в туалет для белых. То, что произошло с Бхатией, трудно даже описать. Едва начался перерыв, в туалет целой оравой ринулись английские солдаты. Иные на бегу расстегивали брюки. У каждого писсуара вмиг образовалась очередь. Один солдат, увидев перед собой смуглокожего индийца в белой рубахе и брюках национального покроя, бесцеремонно оттеснил его в сторону и занял его место. «I beg your pardon!» [1] — учтиво произнес Бхатия, блеснув в широкой улыбке всеми своими белыми зубами, и отодвинулся влево, к освободившемуся соседнему писсуару. Но англичане входили в туалет один за другим, и ни один не желал ждать. Другой солдат тоже оттолкнул Бхатию локтем. Тот кинулся к третьему освободившемуся месту, но и там поступили с ним точно таким же образом. И тут Бхатия сделался как бы игрушкой. Англичане нарочно отталкивали его от всех писсуаров — кто слева, кто справа. Бхатия был совершенно сбит с толку, он впал в какую-то прострацию. У него даже недоставало решимости немедля ретироваться.

Опомнился он лишь в самой глубине парка; в руке у него был насквозь мокрый платок, которым он беспрерывно отирал пот с лица и шеи... Что творилось тогда в его душе, какие чувства терзали ее — подавленность ли, отвращение к себе, страх или гнев,— не берусь судить!

Все эти подробности стали известны нам с Джитендрой несколько позже. А тогда мы спокойно сидели в зале на своих местах. Видя, однако, что Бхатия подозрительно долго не возвращается, я пошел за ним в туалет, но к тому времени Бхатии там уже не было.

В поисках нашего исчезнувшего друга я дошел до его дома и обнаружил его на плоской крыше, под открытым небом. Стоя на самой середине площадки, он тихим, глухим голосом твердил:

— Aham brahma asmi! I am the divine flame! I am the divine flame!

Постепенно голос его становился все громче, кулаки сжимались все крепче, грудь расправлялась все шире и шире.

— I am the divine flame! For I am the divine flame!!..

Меня он не видел. Голос его звучал все громче и торжественней. Было ясно: каждую клеточку его существа пронизывал бесконечно усиливающийся поток духовной энергии. Еще до моего прихода недавнее происшествие уже утратило в сознании Бхатии свою остроту, теперь он уже воспарил над пропастью пережитого унижения, оскорбленного самолюбия и страха, он возносился все выше и выше к небесным сферам...

[1] Прошу меня извинить! *(англ.)*

Я думаю теперь, что, может быть, в тот самый час, всего через две или три улицы отсюда, в полицейском участке возле городских ворот полуживой глашатай конгрессистских новостей, изнемогая под градом ударов, наносимых дубинками, снова и снова упрямо твердил: «Да здравствует мать-Индия! Да здравствует Махатма Ганди!». И когда душа Бхатии взлетела наконец к горним высям вселенной, когда он унесся в недосягаемые дали от низменной и грубой действительности, в ту самую минуту у хрупкого, бледного юноши вдруг горлом хлынула кровь и, прошептав через силу: «Да здравствует мать-Индия!..» — он рухнул на затоптанный пол.

Это уже Амритсар!..

Поначалу пассажиров в нашем купе было не так уж много. Широко рассевшийся на противоположной от меня скамье толстый сикх с завидной обстоятельностью повествовал мне о своей армейской жизни. В начале второй мировой войны, когда японцы проворно прибирали к рукам Бирму, он тоже участвовал в оборонительных боях, и сейчас, то и дело заливаясь тоненьким смехом, не без ехидства прохаживался насчет славных английских воителей, которым в ту пору пришлось очень даже несладко. Среди пассажиров находились также трое торговцев-патанов[1], один из них, в зеленом халате и таких же зеленых штанах, лежал на верхней полке. Будучи по характеру весельчаком и насмешником, он не переставал задирать моего соседа, до удивления тощего и худосочного человека, по виду мелкого чиновника. Тот, надо думать, жил в Пешаваре, потому что иногда, отвечая на шутки патана, переходил на язык пушту. Справа от меня, в уголке, низко надвинув на глаза край темного покрывала и беспрестанно перебирая четки, сидела старуха-индуска. Вот, пожалуй, и все, кто ехал в нашем купе. Возможно, были там и другие пассажиры, но я их уже не помню.

Поезд тащился как черепаха. Мы вели неспешные разговоры о том о сем, за окнами волновались под ветром бесконечные поля пшеницы, и я радовался, что все плохое теперь позади, что скоро я буду в Дели и увижу празднества в честь провозглашения независимости Индии.

Когда я вспоминаю то лето, мне кажется, что все мы тогда жили словно в каком-то сумраке. Впрочем, может, это потому, что и вообще всякое прошлое со временем как бы затягивается туманной пеленой. И чем заманчивей раскрывается перед нами полное света будущее, тем гуще становится мрак за нашей спиной...

Как раз в те дни было объявлено о создании нового государства — Пакистана, и пассажиры строили по этому поводу бесчисленное множество предположений, пытаясь угадать, как сложится их новая жизнь. Впрочем, никому из нас, как я теперь понимаю, не удалось тогда заглянуть далеко вперед. Сидевший передо мной толстый сикх уже в сотый раз спрашивал меня, останется ли теперь Джинна[2], как и прежде, жить в Бомбее или же переберется в Пакистан, и всякий раз я отвечал, что зачем же ему уезжать из Бомбея, просто он будет время от времени наведываться в новое мусульманское государство. Горячо спорили также насчет Лахора и других оказавшихся в приграничной зоне городов — было еще неясно, куда отойдут они после окончательного раздела страны.

Вагонная жизнь текла привычной колеей, люди располагались всяк на своем месте, вели обычные дорожные разговоры, шутили и

© Bhisham Sahni, 1978.

[1] Патаны (пуштуны)— народность афганского происхождения, обитающая на северо-западе Пакистана (до **1947 г.** — территория Индии).

[2] Мухаммад Али Джинна (1876—1948)—тогдашний руководитель партии Мусульманская лига.

смеялись. Кто-то навсегда оставил родные места и теперь ехал навстречу неизвестному будущему, кто-то беззлобно посмеивался над ними. Поди разбери, кто в этой сумятице сделал правильный выбор и кто совершил ошибку! Одни открыто ликовали по поводу создания Пакистана, другие радовались тому, что наконец-то стала свободной многострадальная Индия. Кое-где уже вспыхивали кровавые стычки и побоища, но наряду с этим по обе стороны от линии раздела шли приготовления к официальным торжествам. Впрочем, всем тогда казалось, что стоит лишь довести начатое до конца, как всякие раздоры угаснут сами собой. В предрассветном мраке уже поблескивали золотые искры свободы, и это было как бы залогом будущих радостных перемен.

Помнится, поезд миновал Джехалам. Лежавший на верхней полке патан приподнялся, развязал свой узелок и принялся вытаскивать оттуда куски вареного мяса и толстые лепешки-нан, по очереди оделяя едой своих товарищей. Надломив одну из лепешек, он протянул ее вместе с куском мяса моему тощему соседу.

— На, покушай, уважаемый,— уговаривал он его,— вот увидишь, сразу в тебе силенок прибавится. Толстым будешь, крепким будешь — погляди на нас! И жена твоя будет довольна, понял меня? Да поешь же, во славу аллаха, хоть разок мяса, не все тебе чечевичную похлебку глотать. Оттого и тощий такой, что всю жизнь чечевицей кормишься...

Пассажиры засмеялись. Чиновник что-то ответил весельчаку на языке пушту, потом с принужденной улыбкой помотал головой в знак отказа.

Тогда другой патан сквозь смех проговорил:

— Во чудак!.. Ну не хочешь принять из наших рук, возьми собственной рукой. Это же баранье мясо, клянусь аллахом, а не то, что ты думаешь![1]

Шутник с верхней полки добавил:

— Чего ты боишься, ей-богу, дурень ты этакий? Кто тут на тебя смотрит? Жена не узнает, ей мы не скажем. Ты с нами мяса пожуй, а мы твоей чечевицы похлебаем...

В купе грянул взрыв смеха. Но костлявый мой сосед не сдавался. Он только криво посмеивался, качал головой и время от времени произносил какие-то слова на пушту.

— Как нехорошо получается! — донимал его весельчак.— Мы все будем есть, а ты только в рот нам будешь заглядывать...

Патаны дружно занялись едой.

— А он потому не принял от вас пищи, что руки у вас нечистые,— вступил в разговор толстый сикх и тоненько захихикал. От собственной тяжести ему невмоготу было сидеть прямо, чаще всего он полулежал, и грузный его живот свисал ниже края скамьи.

— Ты спал-спал на пыльной полке,— продолжал сикх,— а потом хвать за узел и сразу, рук не помыв, за еду. Само собой, господин чиновник и побрезговал твоим угощением, понимать надо.

Сикх глянул на меня, озорно подмигнул и снова залился своим жиденьким смехом.

— Что ты за мужчина, коли мяса не ешь,— не унимался патан, сидевший на верхней полке,— переходи уж сразу в женский вагон!

Снова грянул дружный хохот.

Время от времени, когда поезд останавливался на станциях, в купе появлялись новые пассажиры, но общий тон по-прежнему задавали те, кто занял его первым. Между ними, как между близкими родственниками, установились непринужденные, сердечные отношения.

— Иди сядь сюда, поговорим,— слышались голоса.— И ты тоже подвигайся к нам...

[1] Как известно, правоверные индусы считают убийство коровы страшным грехом и не употребляют в пищу говядину.

На одной из станций народу, желавшего попасть в поезд, почему-то оказалось особенно много. Наше купе атаковала целая толпа пассажиров.

— Где это мы стоим? — спросил кто-то из моих спутников.

— Кажется, Вазирабад[1],— ответил я, поглядев в окно.

Прежде чем поезд снова тронулся, произошло нечто такое, что всех нас насторожило и взволновало.

На перроне, вокруг водопроводной колонки, сгрудились несколько пассажиров из нашего поезда, решивших запастись в дорогу водой. Среди них был человек из соседнего купе. Он уже почти доверху наполнил свой котелок, как вдруг, испуганно покрутив головой, опрометью кинулся обратно к вагону. Вода из котелка крупными брызгами расплескивалась по платформе. За ним врассыпную, каждый к своему купе, побежали от колонки и другие пассажиры. И это неожиданное бегство говорило о многом. Я не раз видел таких встревоженных, в панике разбегающихся людей. Буквально на глазах платформа опустела.

Но в нашем купе все шло своим чередом, люди громко разговаривали, шутили и смеялись.

— Видно, и тут началось,— тихо сказал мой сосед.

Да, где-то рядом происходило что-то зловещее, недоброе, но никто не мог сказать ничего определенного. Мне уже пришлось повидать несколько стычек и побоищ между индусами и мусульманами, и теперь я безошибочно угадывал даже отдаленные их приметы. В испуге бегущие люди, со стуком захлопывающиеся двери, неподвижно замершие на плоских крышах домов фигуры, внезапное, как перед бурей, безмолвие... Все это с некоторых пор было очень знакомо мне.

За дверью нашего купе, выходившей на противоположную от перрона сторону,[2] послышался шум.

— Куда лезешь! — закричал кто-то в купе.— Места нет! Говорят тебе, места нет...

— Заприте дверь! — поддержали другие голоса.— Лезут напролом, чуть не на голову...

До сих пор посадка на поезд совершалась примерно так: пока чужак, напирая на дверь снаружи, пытался проникнуть в купе, уже занявшие там места пассажиры всячески препятствовали его усилиям. Но стоило ему протиснуться внутрь, сопротивление сразу же прекращалось, новый пассажир становился полноправным обитателем этого маленького мирка, и именно он на следующей же станции яростней других принимался кричать: «Нет тут места, идите в другой вагон... Вот нахалы!»

В дверь стучали все настойчивей, она наконец распахнулась, и в проходе показался плотный человек в выцветшей, засаленной одежде, с длинными, свисающими до подбородка усами. Скорей всего то был уличный кондитер. Не обращая никакого внимания на крики и брань, он, повернувшись спиной к пассажирам, деловито втаскивал через порог здоровенный черный сундук.

— Подымайтесь в вагон, подымайтесь! Что вы там стоите! — говорил он кому-то. В следующую минуту мы увидели худенькую, иссохшую женщину среднего возраста, а за ней смуглую девушку лет шестнадцати или семнадцати. Люди в купе все еще шумели, выражая бурное негодование по поводу такого решительного и бесцеремонного вторжения. Толстяку-сикху поневоле пришлось подняться и сесть прямо.

— Эй, закройте там дверь,— кричали пассажиры.— Ломятся, не

[1] Этот город расположен в местности, где большинство населения составляют мусульмане.

[2] В индийских вагонах старого образца каждое купе имело два отдельных выхода и не сообщалось с соседним купе.

спросясь, кому не лень, как к себе домой... Да не пускайте же их, что вы там смотрите! Вытолкните их, чтобы духу их тут не было!..

Человек в засаленной одежде, не оглядываясь, продолжал втаскивать в вагон свое добро, а его жена и дочь уже стояли возле туалета, робко прижавшись к стене.

— Другого вагона для тебя нет? Еще и женщин сюда притащил!..— негодовало купе.

Со лба и щек кондитера градом катился пот, но он с прежним усердием втаскивал в вагон свой багаж. Вслед за сундуком появились в дверях две перевязанные веревкой боковины деревянной кровати.

— У меня же билет есть,— проговорил он, задыхаясь от натуги,— я не безбилетник какой... Куда же теперь нам деваться? В городе такое творится... Едва до станции добрались...

Пассажиры сразу примолкли, но сидевший на верхней полке патан продолжал кричать:

— Убирайся отсюда! Не видишь, что ли,— места нет...

И вдруг он будто с цепи сорвался — привскочил на своей полке и прямо сверху попытался лягнуть ногой упрямого пассажира, но, на беду, попал не в него, а в живот его жене, и та, охнув от боли, так и присела на месте.

У кондитера не было времени спорить со своими противниками. Он с остервенением вбрасывал в купе свои вещи. За боковинами кровати последовали тяжеленные узлы. Тут уж терпению рассерженного патана пришел конец.

— Да гоните же его отсюда! — заорал он неистово.— Что он тут хозяйничает!

Тогда товарищ его, сидевший на нижней скамье, схватил ненавистный черный сундук нового пассажира и выпихнул его за дверь — туда, где суетился внизу носильщик в красной форменной одежде, подтаскивавший к вагону остальные вещи кондитера.

Другие пассажиры молчаливо наблюдали за происходящим. Только старуха-индуска жалобно причитала в своем углу:

— Опомнитесь, люди добрые!.. Ну пусть они тоже едут... Поди сюда, дочка, сядь рядом, я потеснюсь. Как-нибудь доедем... Пустите их, ради всего святого!..

Бо́льшая часть добра, принадлежавшего кондитеру, уже находилась в вагоне, как вдруг заскрипели колеса и поезд стал трогаться с места.

— Вещи! Вещи же остались! — всполошился кондитер.

— Отец, наши вещи! — с плачем закричала и его дочка, жавшаяся к двери туалета. Она вся с ног до головы дрожала от страха.

— Слезайте, слезайте живей,— сердито скомандовал кондитер. Он кинулся к своим узлам, наваленным в купе, торопливо пошвырял их наружу и, схватившись за поручни, спустился на землю. За ним выскочили из вагона его перепуганная дочка и жена, все еще с жалобными стонами державшаяся за живот.

— Ой, худо вы сделали, люди! Ой, худо! — во весь голос причитала старуха-индуска.— Нету жалости в ваших сердцах, жестокие вы люди! С ними ведь дочка, совсем еще ребенок! Ох, бессердечные вы люди, худо вы сделали!..

Миновав опустевший перрон, поезд тащился через пригороды. В купе воцарилось какое-то недоброе, тревожное молчание. Перестала бормотать и старуха. Ни у кого недостало смелости дать отпор решительным патанам.

— Пожар! Глядите — пожар! — сказал вдруг мой худосочный сосед, тронув меня за плечо.

Город уже отдалялся от нас, и теперь стали видны поднимавшиеся над крышами домов клубы черного дыма, а кое-где и высокие языки пламени.

— Видно, там идет резня! То-то на станции был переполох...

Пассажиры нашего купе бросились к окнам, чтобы собственными глазами увидеть пылающие дома.

Когда, оставив горящий город позади, поезд потянулся среди зрелых хлебов, в купе снова все смолкли. Отойдя от окна, я оглядел своих спутников, и первое, что привлекло мое внимание, было бледное как мел лицо моего соседа. На лбу его выступил холодный пот. Другие обитатели купе тоже менялись на глазах — теперь они испытующе, с подозрением приглядывались друг к другу. Видимо, то же происходило и в других вагонах.

Толстый сикх сидел теперь на моей скамье, располагавшийся прежде внизу патан устроился вместе с обоими своими товарищами на верхней полке. Сидя рядышком, патаны молча смотрели вниз. В глазах у пассажиров то и дело метались огоньки беспокойства.

— Что это была за станция? — спросил кто-то.

— Вазирабад,— ответили ему.

Услышав название станции, патаны заметно приободрились, а индусы и сикхи еще больше замкнулись. Один из патанов вытащил из кармана безрукавки кисет и принялся уснащать свои ноздри нюхательным табаком. Двое других, помедлив, последовали его примеру. Старуха-индуска все так же истово перебирала четки. Губы ее иногда подрагивали, будто она что-то шептала про себя.

Следующая станция тоже встретила нас тишиной и безлюдьем. Не было видно даже птиц. Спеша к вагонам, перрон пересек только какой-то заблудший водонос с кожаным бурдюком за спиной.

— А вот вода! Кому свежей воды! — привычно закричал он.

Из окон вагонов к нему стали протягиваться руки.

— Что тут было — ужас! — рассказывал водонос.— Видимо-невидимо народу погубили...

Казалось, то была единственная душа, явившаяся сюда к людям с намерением делать добро.

Едва поезд тронулся, окна во всех купе стали со стуком закрываться.

Охваченный каким-то неведомым страхом, мой сосед-чиновник вдруг вскочил со своего места и торопливо улегся на пол между двумя скамьями. Лицо его по-прежнему было мертвенно-бледным.

— Ай, бессовестный! — принялся стыдить его один из патанов.— Женщина ты или мужчина? На пол улегся, видали его? Только мужское звание позоришь...

Он язвительно засмеялся. Потом что-то стал говорить чиновнику на пушту. Но тот молча продолжал лежать. Молчали и все остальные пассажиры.

— Нет, мы не позволим такому человеку быть в нашем купе,— не унимался веселый патан.— Эй, дорогой, на следующей станции перейди, пожалуйста, в женский вагон!..

Но слова, видимо, застряли в горле у чиновника. Он будто окаменел. Впрочем, некоторое время спустя он все же поднялся с пола, сел и долго отряхивал от пыли свою одежду. Почему он лег на пол? Видимо, из боязни, что в окна начнут швырять камни или даже стрелять; ему, наверно, подумалось, что оттого-то и стали закрывать окна в вагонах.

Наше путешествие продолжалось все в той же томительной, напряженной атмосфере. Стало заметно темнеть. Пассажиры застыли на своих местах, неподвижно глядя перед собой. Иногда вдруг поезд сбавлял скорость, и люди взглядывали друг на друга вопрошающими глазами. Порой он и вовсе останавливался, тогда безмолвие в купе делалось еще более зловещим. Только патаны, как казалось, не тревожились ни о чем. Правда, и они перестали разговаривать, потому что никто больше не поддерживал их попыток завязать беседу.

Постепенно патанов одолела дремота, все же остальные продолжали смотреть широко раскрытыми глазами куда-то в пустоту перед собой. Только старуха-индуска, завернув голову в покрывало и вытянув ноги, спокойно спала. Через некоторое время один из патанов, очнувшись от дремоты, достал из кармана мусульманские четки, сделанные из крупных черных бусин, и стал медленно перебирать их.

Взошла луна, и в ее свете весь окружающий мир сделался еще более расплывчатым, призрачным и таинственным. Иногда на горизонте полыхало багровое зарево — это горело какое-нибудь селение. Порою поезд, затрубив, как слон, начинал бешено рваться вперед, а то вдруг резко тормозил и после того долго тащился.

Вдруг мой сосед-чиновник, глянув в окно, закричал:

— Харбанспура! Это Харбанспура!

Он был необыкновенно возбужден, он едва не вопил во все горло. Пассажиры, будто очнувшись от сна, зашевелились.

— Эй, уважаемый, ты что так кричишь? — встрепенувшись, спросил патан, перебиравший четки.— Разве тебе тут сходить? Может, стоп-краном поезд остановим?

И патан добродушно засмеялся. Было видно, что название города ничего не говорило ему.

Чиновник не ответил патану, только повернулся в его сторону, бросил на него короткий взгляд и опять припал к окну.

В купе снова воцарилось молчание. Тут паровоз загудел и резко затормозил. Под колесами что-то лязгнуло — видимо, наш поезд перешел на другой путь. Чиновник нетерпеливо глядел туда, куда поворачивал состав.

— Город! Сейчас будет станция! — опять закричал он.— Это уже Амритсар!

Он сорвался с места и, обращаясь к патану-насмешнику, лежавшему на верхней полке, заорал:

— Ага, патанское отродье! Теперь слезай оттуда! Слезай, говорю тебе, сволочь патанская, будь проклята утроба, породившая тебя!..

Он вопил, не смолкая ни на миг и пересыпая крики самыми отвратительными ругательствами. Перебиравший четки патан спросил, повернувшись к нему:

— В чем дело, почтеннейший? Ты это нам говоришь?

— Слезай, говорят тебе! Ты посмел ударить ногой индуску, мерзавец, сучье племя...

— Э, уважаемый,— рассердился патан,— лучше бы тебе помолчать! Ты слышишь, свинячий сын, что я говорю? Помолчи, не то я язык тебе вырву!..

— Он еще пасть открывает, дерьмо вонючее!.. — продолжал вопить чиновник. В исступлении, дрожа с ног до головы, он вскочил на скамью и приблизился к верхней полке.

— Ну-ну, хватит! — вмешался толстый сикх.— Довольно вам! Здесь не место сводить счеты. Ехать осталось совсем ничего, посидите спокойно...

— Я не я буду, если тебе, выродку проклятому, ноги не переломаю! — неистовствовал чиновник.— Думал, тут тебе дом родной?..

— А что мы особенного сделали? — с недоумевающим видом обратился к пассажирам патан.— Вы все выгоняли этого человека, мы тоже стали выгонять. А он ругает нас, свиной ублюдок! Вот я ему вырву язык!..

Тут снова взмолилась старуха:

— Опомнитесь, сыночки дорогие!.. Побойтесь бога... Успокойтесь хоть немножко, люди добрые...

Побелевшие ее губы дрожали, как у бесплотного духа, и большей частью из них вырывался лишь едва слышный шепот.

— Вы только у себя дома львы! — бушевал чиновник.— А теперь и пикнуть не посмеете, патанские рожи!..

В это время поезд остановился. Это в самом деле был Амритсар. Весь перрон кишмя кишел людьми. Многие из них кидались к окнам нашего поезда, с жадностью заглядывая внутрь.

— Что там? Как там, в дороге? — слышались нетерпеливые вопросы.— Где резня?

Пассажиры, высыпавшие из нашего поезда, уже осаждали торговцев-разносчиков, продававших на станции различную снедь. Все сразу ощутили жажду и голод.

В эту минуту у нашего купе остановились несколько патанов, они через окно стали заглядывать внутрь. Завидев своих соплеменников, они тотчас же оживленно заговорили с ними на пушту. Я повернулся к своему соседу, но его уже и след простыл. Когда он исчез, я даже не приметил. Я весь похолодел от недоброго предчувствия. Было ясно, что этот человек был вне себя от злобы и мог натворить что угодно. Минуту спустя трое наших патанов, забрав узлы, вышли из купе и вместе с новыми своими друзьями направились вдоль поезда, видимо намереваясь перейти в другой вагон. Размежевание, прежде начавшееся в отдельных купе, распространилось теперь на весь поезд.

Толпа вокруг лоточников начала редеть. Пассажиры возвращались к вагонам. И тут в конце перрона я увидел своего соседа-чиновника. Лицо его и сейчас было бледным, словно у мертвеца, его потные, растрепанные волосы свисали на горящие глаза. Когда он подошел ближе, я увидел в его руке железный прут. Бог знает где он его раздобыл! Входя в купе, чиновник прятал свое оружие за спиной, а прежде чем сесть на свое место, воровато сунул его под скамью. Едва усевшись, он вскинул глаза наверх, надеясь увидеть на полке своего врага-патана. Но, не обнаружив там вообще никого, он злобно заворчал, оглядываясь по сторонам:

— Сбежали, мерзавцы! Как ветром всех сдуло!

Оправившись от замешательства, он закричал на нас:

— А вы куда смотрели? Почему дали им уйти? Трусы вы, а не мужчины!

Купе было битком забито людьми, большей частью это были вновь вошедшие пассажиры. И потому никто не придал особого значения словам разъяренного чиновника.

Когда поезд тронулся, мой сосед долго еще не мог успокоиться, время от времени он что-то бормотал про себя.

Покачиваясь и подрагивая, поезд стал набирать скорость. Те, кто ехал с нами с самого начала, наелись досыта жареных лепешек и напились свежей воды, к тому же поезд увозил их теперь от тех мест, где жизни их и имуществу грозила опасность. Вновь вошедшие люди мирно беседовали между собой. Многие стали дремать. Только мой сосед все еще смотрел перед собой широко раскрытыми, темными от злобы глазами. Он уже несколько раз переспросил меня, в какую сторону ушли патаны, покинувшие наше купе. Казалось, в нем зрело какое-то недоброе намерение.

Под размеренную вагонную тряску задремал и я. Лечь было негде, я спал сидя, и моя голова клонилась набок — то в одну, то в другую сторону. Иногда от резких толчков вагона я просыпался, и до меня доносился заливистый храп толстяка-сикха, грузно развалившегося на противоположной скамье,— после Амритсара он снова разлегся широко, вытянув вдоль скамьи большие ноги. По всему купе в самых нелепых, изломанных позах сидели и лежали спящие пассажиры — порой казалось, что купе переполнено трупами. Когда глаза мои обращались на соседа, я видел, что он сидел в прежней напряженной позе, то прильнув лицом к окну, то прислонившись спиной к вагонной переборке.

Когда поезд останавливался на какой-нибудь станции и его колеса переставали громыхать, в вагоне воцарялась мертвая тишина. И тогда

начинало казаться, будто на платформе вдруг что-то упало или будто кто-то из пассажиров вышел из купе, и я, выпрямившись, чутко прислушивался к этим неясным звукам.

В одну из таких минут, когда поезд в очередной раз остановился, а потом тихонько тронулся снова, я выглянул в окно. Позади малиново светились сигналы какой-то станции. Очевидно, поезд только что миновал ее и еще не успел набрать скорость.

За стеной вагона мне послышался тихий невнятный звук. Рядом на полотне колыхалась какая-то неясная тень. Спросонья я никак не мог понять, что это такое. В купе было темно, фонари уже погасли, но снаружи, как мне показалось, начало уже светать.

За моей спиной, за вагонной стенкой, снова послышалось какое-то царапанье, потом я ясно различил, что кто-то палкой стучит по двери нашего купе. Я опять выглянул в окно. На подножку и вправду вскарабкался какой-то человек. На плече его болтался узел, в руке была палка, он был в темной одежде, и еще я разглядел его небольшую бородку. Потом мой взгляд скользнул вниз, на железнодорожное полотно. Рядом с вагоном тяжело бежала женщина, ноги ее были босы, в обеих руках она держала узлы. Взобравшийся на подножку человек то и дело оборачивался к ней и глухим прерывистым голосом кричал:

— Ну-ну, давай влезай... Влезай же!..

Снова по двери забарабанила палка.

— Откройте дверь!.. Ради аллаха, откройте дверь...— твердил задыхающийся голос.— Ради аллаха, откройте... Со мной женщина...

Вдруг мой сосед-чиновник вскочил, подбежал к двери и крикнул:

— Кто здесь? Нет места!

Стоявший на подножке человек вновь начал слезно молить:

— Ради аллаха!.. Впустите меня...

— Нет места, я же сказал, слезай! — крикнул чиновник и резко распахнул дверь.

— Йа, аллах! — донесся до меня возглас человека на подножке. Он был похож на вздох облегчения после долгих трудов.

Но в следующее мгновение в руке чиновника мелькнул железный прут. Жестокий удар пришелся прямо по голове. Я застыл от ужаса. Сперва мне показалось, что удар прутом никак не подействовал на того человека. Обе его руки все еще крепко держались за поручень. Только узел соскользнул с плеча и повис на локте.

И вдруг на лицо его хлынули из-под волос кровавые струи. В полумраке мне были видны его раскрытый рот и сверкавшие в нем белые зубы. Раза два он прошептал: «Йа, аллах...», потом его ноги сорвались с подножки. Глаза его — полузакрытые, но ясные — смотрели в упор на чиновника, словно бы этот человек пытался распознать, кто перед ним и за какое зло мстит ему. Губы мусульманина еще раз дрогнули, и еще раз блеснули его белые зубы. Мне показалось, что он улыбнулся, на самом же деле черты его лица были искажены предсмертной мукой...

Бежавшая внизу женщина то бормотала что-то, то бранилась. Она все еще не понимала, что произошло! Она, наверно, думала, что из-за узла мужу никак не удается твердо стать на подножку... Продолжая бежать рядом с вагоном, она, не выпуская из рук узлы, подхватывала висящие мужнины ноги и пыталась поставить их на подножку...

И вдруг обе руки мусульманина сорвались с поручня, и он, как срубленное дерево, рухнул вниз. И едва он упал, перестала бежать и женщина, словно в один и тот же миг оборвалось для них обоих последнее совместное путешествие...

Чиновник, не двигаясь, словно каменный идол, стоял у распахнутой двери, железный прут по-прежнему был в его руке. Мне по-

казалось, что он бы рад был отшвырнуть его, но рука не повиновалась ему... Сжавшись от ужаса в темном уголке купе, я продолжал смотреть на своего соседа.

Он пошевелился. Движимый каким-то непонятным чувством, сделал шаг вперед и, высунувшись из двери, стал глядеть назад, на полотно. Далеко позади, на краю полотна, все еще виднелось мутное, расплывчатое пятно.

Потом он наконец как будто пришел в себя. Решительно выкинул за дверь железный прут и, обернувшись, настороженно оглядел купе. Все пассажиры крепко спали. На меня он даже не взглянул.

Постоял в нерешительности. Затем захлопнул дверь, тщательно обследовал свою одежду, поглядел на руки и, поднеся их поочередно к носу, обнюхал, будто желая проверить, не пахнут ли они кровью. Проделав все это, он на цыпочках подошел к скамье и уселся на прежнее место рядом со мной.

Сумрак все больше и больше рассеивался, зачинался новый день. Все заметнее разливался вокруг чистый, яркий свет. Мерно стучали под полом колеса. Никто ничего не видел, никто не остановил поезд стоп-краном, и тело мусульманина, получившего смертельный удар железным прутом, так и осталось лежать где-то далеко позади. Снова гулял над полями свежий ветерок, легко волнуя спелую пшеницу.

Толстый сикх поскреб себе живот, открыл глаза и сел. Мой сосед, закинув руки за голову, молча смотрел прямо перед собой. За ночь на его подбородке отросла синяя щетина. Толстый сикх глянул на чиновника и весело заговорил:

— Ну, брат, ты у нас, оказывается, что ни на есть храбрец! Дальше некуда. С виду тощий да слабый, а смелости тебе не занимать. Чудеса, да и только!.. А эти-то, патаны, тебя, видно, испугались... И то сказать, попробуй они остаться, ведь ты им всем черепа небось попроламывал бы, верно?..

И толстяк-сикх залился своим тоненьким, жидким смехом.

Чиновник улыбнулся в ответ — в этой улыбке мне почудилось что-то омерзительное — и долгим взглядом посмотрел в глаза сикху.

Дядюшка Мангалсен

Пробраться через эти кривые, извилистые улочки и переулки он мог только пешком, да и то с большой осторожностью. Тут и там его подстерегали груды нечистот, распространявших вокруг нестерпимую вонь. Но если и удавалось кое-как проскользнуть между ними, то в следующий же миг путь преграждал больной или калека, расположившийся на деревянной кровати прямо посреди дороги; стоило обойти кровать, как тут же из дверей навстречу выскакивал с корзиной мусора на голове кто-нибудь из жителей переулка; едва успевал он увернуться от корзины, как под ногами оказывалась огромная грязная лужа, и миновать ее можно было, лишь прижавшись всем телом к липким, обшарпанным стенам лачуг и хибарок...

Но что поделаешь? Как иначе можно было разыскать этого чудака, врача-гомеопата, забравшегося для приема больных в такую жуткую трущобу? Пораженный неприглядным зрелищем, в первую минуту он не смел и шагу ступить вперед. Туда ли он попал? И не случится ли так, что, желая избавиться от одной болезни, он подхватит здесь другую, куда более опасную? В досаде он чуть было не повернул назад. Но, подумав немного, все же решил потихоньку продвигаться в глубь квартала. Приятель, который рекомендовал ему этого гомеопата, с такой убежденностью говорил: «Ты не поверишь, принял всего три порошка, и все как рукой сняло. Не сомневайся, сходи к нему, в два счета вылечит!»

© Bhisham Sahni, 1982

С опаской обходя одну особенно зловонную лужу, он со страхом глянул на свои ноги — ведь это их он намеревался здесь вылечить, а если ненароком придется ступить в такую жижу, не поможет ни один гомеопат на свете!

Да, где-то здесь, в этих кривых улочках, приютившихся на задах Зеленного рынка, стояла лачуга дядюшки Мангалсена. Отсюда и увезли его в большой, благоустроенный дом племянника. Славную, однако, шутку сыграл тогда с ним этот дядюшка!..

Он остановился в замешательстве. Внутренний голос шептал ему — ведь, честно признаться, ты идешь не к гомеопату, ты надеешься снова отыскать дядюшку Мангалсена или хотя бы узнать, жив он или нет... Да, по сути дела так оно и было. Сюда привело его застарелое, насильно подавляемое чувство вины. А может быть, и просто сознание неисполненного долга перед родным человеком, нарушенных приличий или вековых общинных традиций... Не все ли равно как это называется? В последнее время все чаще и чаще перед его глазами возникало худое, изможденное лицо дядюшки, и ему становилось очень не по себе.

Впрочем, он ведь и в самом деле шел на прием к гомеопату. Красные, болезненные пятна на ногах не давали ему покоя вот уже третий месяц. И когда один из его друзей вспомнил о докторе, который успешно лечит подобные болезни каким-то особенным способом, он с радостью ухватился за эту идею. Чего лучше — одним разом сделать сразу два дела!

Нельзя, однако, сказать, чтобы он очень уж горел желанием повидать дядюшку Мангалсена, который по-настоящему даже и не был его родным дядей, а всего лишь приходился покойному отцу двоюродным братом.

Началась эта история с того, что какой-то родственник сообщил ему, Балараму, о болезни старика. Укоризненно цокая языком, пространно рассказывал он о том, что дядюшка совсем слег, что кровать его стоит прямо под открытым небом возле сточной канавы, что у него нет денег на лечение, что он частенько поминает племянника, и все в том же духе. Несколько дней Баларам терзался угрызениями совести. Но так далеки они друг от друга — респектабельный квартал Дефенс-колони и затхлые задворки Зеленного рынка! Мало-помалу нравственные муки Баларама сами собой утихли и забылись.

Но однажды ночью ни с того ни с сего дядюшкино лицо с такой отчетливостью возникло перед ним во сне, что он едва не вскочил с постели. Нет, сказал он себе, еще не открывая глаз, дядюшку Мангалсена нужно взять в дом, нельзя же допустить, чтобы он скитался неведомо где и кормился милостыней... Стоило, однако, окончательно проснуться, как в голову полезли совсем другие мысли. Не простое это дело — взять к себе в семью больного старика. Конечно, можно было бы отвести ему комнатку в дальнем конце дома, можно было даже приставить к нему мальчика-слугу, который ходил бы за ним. Но разве согласится на это жена? Она ведь сразу скажет, что вот, дескать, о моих родителях ты и думать забыл, а вот чужого человека — тоже мне родственник, седьмая вода на киселе — привел в дом и навязал мне на шею. Тебе и горя мало, ты целый день на службе, а я отдувайся!..

Баларам встал с постели и, заложив руки за спину, принялся расхаживать по комнате. Разумом он уже почти отказался от этой хлопотной затеи, и только где-то в дальнем уголке сердца занозой свербила застарелая боль. В конце концов он решил, что нет нужды делиться с кем-нибудь своими ночными сомнениями, да и дядюшку вовсе не надо брать в дом, но раз уж образ его так тревожит совесть,

нужно найти случай повидать старика, дать ему денег и... вообще в дальнейшем по возможности помогать ему.

Эти соображения успокоили его. И теперь стоило Баларaму присесть на край кровати, как лицо дядюшки стало тускнеть в его сознании, опять волнами стала накатывать дремота, он приклонил голову к подушке и погрузился в сладкие зыби сна.

Поднявшись утром, он чувствовал, что в душе у него воцарился покой. Сомнения отодвинулись куда-то далеко, и если образ дядюшки еще маячил где-то в глубине памяти, то ночные мысли о нем при свете дня казались такими нелепыми и ребяческими. Через пять или шесть дней они и вовсе забылись.

И вдруг однажды, возвращаясь в вечерних сумерках со службы, он встретил на улице человека, который показался ему чрезвычайно похожим на дядюшку Мангалсена. Та же необыкновенная худоба, те же выступающие вперед ключицы, та же манера ходить, чуть наклонившись на левый бок, и та же согнутая в локте рука с болтающимся на ней зонтиком!

В детстве Баларам играл на коленях у дядюшки, и тот, помнится, с такой любовью угощал его сладкими кусочками сахарного тростника...

В ту ночь дядюшка опять явился ему во сне, и на этот раз совесть Баларама была потрясена до основания.

Обычно наши замыслы и планы, родившиеся в ночные часы, когда легче легкого поддаться чувству жалости и прочим сантиментам, так и остаются, пройдя сито дневной нашей рассудительности, всего лишь замыслами и планами, но Баларам в ту ночь дал себе слово, что с рассветом, едва поднявшись с постели, отложит все дела, сядет в машину, поедет к Зеленному рынку, отыщет там дядюшку Мангалсена и заберет его к себе домой.

Утром угрызения совести продолжали мучить его, еще живо помнилось ночное видение, ему все еще был дорог обет, данный самому себе в полудреме, пусть даже о нем никто в мире не подозревал.

Ну, конечно, он сразу решил, что незачем ехать самому в эти ужасные трущобы — глупо тащиться в такую даль, губить дорогое время, да и неизвестно к тому же, окажется ли там дядюшка вообще! Он послал на окраину города одного из своих служащих, снабдив его самыми подробными инструкциями: хорошенько порасспросить в переулках за Зеленным рынком, не живет ли где-нибудь в тех местах пожилой человек по имени Мангалсен Сетхи, а если таковой обнаружится, сказать, что его приглашает к себе племянник, а потом привезти в дом и поместить в одну из задних комнат. Все же остальное, решил Баларам, я возьму на себя.

И дядюшку Мангалсена в самом деле привезли в дом племянника. Он мало изменился — все так же при ходьбе слегка клонился на левый бок, по-прежнему один глаз у него был больше другого, все так же были желты, от употребления дешевого табака, седые его усы и так же шумно и тяжело, словно кузнечные меха, дышала его стариковская грудь. Баларам немедленно распорядился поставить для старика в самую дальнюю комнату кровать.

Теперь дядюшка Мангалсен в строго определенные часы получал пищу и лекарства. Для ухода к нему был приставлен мальчик, сын садовника.

Но повел себя дядюшка не так, как хотелось бы этого. Оно и неудивительно — где же человеку, прожившему весь свой век в городских трущобах, знать законы и правила, принятые в порядочных домах! Чуть он пошел на поправку, как сейчас же начал проявлять свой характер. В любой час без всякого приглашения он мог появиться в гостиной. Сначала издалека слышалось постукивание его палки, и вот уже, кашляя и отхаркиваясь, входил сам дядюшка.

— Что Баларам — на службу уехал или еще дома?

Из-за бельма на глазу он держал голову немного набок, и оттого всегда казалось, что говорит он куда-то в пространство. Не спросясь, он проходил в комнату и с ногами усаживался на софе. Потом громко, с присвистом прихлебывая, пил поданный ему чай. Вот уж действительно, сами того не ведая, накликали на себя беду! Не так просто было положить конец этим бесцеремонным дядюшкиным визитам.

— От тебя, конечно, толку мало,— сказала жена,— ну да я сама все улажу.

И она в самом деле все уладила. Он даже не поинтересовался, как ей это удалось.

Теперь дядюшка больше не вторгался в гостиную, зато стал часто выходить на улицу. Кто бы ни шел мимо ворот, он всякого останавливал и принимался рассказывать о порядках в доме племянника.

— Вы не подумайте,— говорил он, кашляя и отплевываясь,— племянник у меня что надо, только вот трусоват немного. Жены боится... Чего же удивляться, и родитель у него был точь-в-точь такой же. Что есть, то есть, уж этого не отнимешь. Племянник мой — вылитый отец, тоже у жены под каблуком...

И дядюшка пускался в пространные рассуждения о характере племянника и его покойного родителя.

Иногда дядюшка принимался рассказывать о своей армейской службе:

— В первую мировую, должен вам доложить, я бывал даже и в Италии. Мы ведь легкая артиллерия, пушки возили на мулах. Случалось и по пятнадцати миль в сутки отмахивать. Медалью вот меня наградили...

И дядюшка горделиво выпячивал тощую грудь.

А однажды сын садовника, ходивший за дядюшкой, слышал, как тот жаловался кому-то из соседей:

— Его дедушка, племянника-то, значит, нехорошо поступил с моим родителем, ничего не выделил ему из отцовского наследства, все на себя записал. Да только чужое, известно, впрок не идет! Скоро и самого скрутило, так с постели больше и не поднялся. Чахнул, чахнул, да и убрался на тот свет... Нет, не возьму греха на душу, племянник не в пример лучше, справедливость уважает. Плохо вот, что характером не вышел, жены боится...

С той поры чуть не каждый день кто-нибудь из соседей, остановив Баларама на улице, с укором пересказывал ему горестные откровения дядюшки, не преминув сделать акцент на былых грехах его деда и других предков.

От стыда и досады Баларам не знал, куда деваться. Дернула же его нелегкая добровольно взять на себя такую обузу!

— Тебе, конечно, все равно,— сердито сказала ему жена,— но я-то знаю, что делать.

Когда были прекращены и дядюшкины вылазки на улицу, он начал устраивать шумные сходки на заднем дворе. В полдень там собиралась теперь вся домашняя прислуга. Мало того, дядюшка даже взялся командовать ею. У него было давнее пристрастие к нюхательному табаку. Достав из жестяной коробки щепотку рыжего зелья, он ловко, с помощью большого пальца, заправлял ее себе в ноздрю, а потом потчевал табаком и всех собравшихся возле него слуг, в свою очередь милостиво принимая от них дешевые сигареты — бири, которые тут же в компании и выкуривал. В самые тихие часы, когда для жены Баларама наступало время полдневного отдыха, дядюшка начинал во всеуслышание повествовать о своей армейской жизни, и слушатели то и дело сопровождали эти рассказы взрывами одобри-

тельного хохота. Вскоре стала сюда захаживать и соседская прислуга.

Тут уж терпению жены пришел конец. Одному из слуг она в сердцах отказала от места, а возле дядюшкиной каморки был выставлен страж. Отныне вся дядюшкина жизнь проходила только в его комнате — там его и кормили, и лечили, и обслуживали.

Но как-то утром слуга, разведя руками, доложил, что дядюшка Мангалсен куда-то исчез. Когда это известие дошло до ушей Баларама, первой его реакцией был откровенный вздох облегчения — вот и конец всем мукам! Правда, он все же попытался узнать у жены, как было дело, но та бесцеремонно отрезала: «Тебе и твоему милому дядюшке лучше знать, куда он провалился! Меня это не касается!» И, в досаде дернув головой, вышла из комнаты.

Дядюшкина каморка и в самом деле была пуста. В нише на полке сиротливо лежала глиняная чашечка для кальяна, на гвозде висел выцветший мутно-зеленый мундир, а в воздухе стоял терпкий, ядреный солдатский дух. Все вещи, которыми пользовался дядюшка, оставались на своих местах, только его самого не было. Баларам напустился на слуг, пригрозив сурово наказать их, если с дядюшкой что-нибудь случилось. Как же это так, кричал он, куда мог он подеваться? Если нет его дома, значит, сидит где-нибудь на улице или, может быть, упал от слабости!

Слуги, привратник и садовник обошли все прилегающие улицы, заглядывали даже в сточные канавы, спускались под мосты, но дядюшки и след простыл. Спятил, видно, старик, вертелось в мозгу Баларама,— но эту мысль он держал в уме не для себя, а для полиции, которой придется, не приведи бог, давать отчет о случившемся.

Утром следующего дня он кинулся к принесенной почтальоном свежей газете, но, лихорадочно перелистав ее, успокоился. О том, чтобы где-то на улице нашли бездомного старика, чтобы кто-то утонул в канаве или попал под автобус, в газете не было ни строки. Дядюшка Мангалсен словно в воздухе растворился.

Из полиции с расспросами не приходили, на улицах старика никто из соседей не видел. Теперь, если на этой неделе газеты не сообщат о каком-нибудь несчастном случае, всему делу, считай, конец!

Бежали дни, беспокойство потихоньку улеглось, жизнь в доме вошла в прежнюю колею, ее не нарушали отныне ни шум, ни скандалы, и даже — что было отраднее всего! — дядюшка Мангалсен ни разу не привиделся Балараму во сне.

Так прошло, наверно, с полгода, а может, и больше.

И все-таки сегодня, блуждая по грязным переулкам в поисках гомеопата, Баларам невольно косил глазами по сторонам, заглядывал в окна домишек и лачуг — не мелькнет ли где знакомая фигура дядюшки Мангалсена?

Доктора еще не было. Хозяин чайной, расположенной через улицу, как раз напротив заведения гомеопата, охотно объяснил Балараму, что обычно доктор приходит сюда часов в десять или одиннадцать. Впрочем, если сегодня у него ночное дежурство, то может задержаться и до половины двенадцатого.

— Ночное дежурство? — удивился Баларам.— Какое еще дежурство?

На это хозяин чайной, весело засмеявшись, ответил:

— Так ведь он доктор, пока здесь сидит, а в своей редакции он просто репортер.

Баларам едва не плюнул с досады. Куда он попал! Значит, вовсе это и не врач, а так, самозванец какой-то...

Возле заведения гомеопата уже собрались пациенты. Ключ от

него оказался у хозяина чайной, вскоре он отпер дверь и небрежно смахнул пыль со скамеек.

— А диплом у этого доктора есть? — питая в душе остатки надежды, справился Баларам у одного из больных, тучного и грязного детины с ногами, обмотанными несвежими бинтами, и с недельной щетиной на щеках.

— Сюда, уважаемый, лечиться ходят, а не дипломы проверять,— недружелюбно пробурчал тот. Потом тем же тоном добавил: — За одно посещение этот доктор берет всего четыре аны, за неделю рупию. Так что же прикажете делать — в карман себе заглядывать или к нему в диплом?

И сердито протянул к Балараму ноги, обмотанные пыльными бинтами.

Другой пациент к этому присовокупил:

— А с дипломом гомеопат, если желаете, вон там, напротив.

В самом деле на фасаде одного из домов по другую сторону переулка было развешано множество вывесок с надписями и рисунками, на одной из них был даже портрет того дипломированного гомеопата, но на площадке перед домом стоял только один человек, и, как объяснили Балараму больные, это был как раз сам доктор.

У Баларама стало гадко на душе. Он все больше склонялся к мысли, что надо бы просто встать и уйти прочь. Хорош же этот доктор-самоучка, и хороши эти чучела, его пациенты!

В комнате, в которой принимал гомеопат, на широком столе рядами стояли разнообразные пузырьки и бутыли. И стол и лекарства покрывала густая пыль, за столом находился стул, матерчатое сиденье которого было засалено и протерто.

В глубине дома послышалось какое-то движение, и кто-то из больных весело сказал:

— Ну вот, наш доктор и пришел!

Переваливаясь на ходу с боку на бок, держа во рту сигарету, к пациентам вышел низенький человек, одетый во что-то неопределенное. Баларам глянул на часы — было без четверти одиннадцать.

Едва доктор уселся, с улицы донесся звонкий голос хозяина чайной:

— Господин доктор, чайку не прикажете?

Неторопливо сняв пиджак и повесив его на спинку стула, доктор отозвался:

— Давай-давай, завари свеженького, заодно и сам выпьешь!

Не вынимая изо рта сигарету, доктор принялся обследовать сидевшего рядом пациента. Выслушивая его ответы, он кивал головой, то и дело попыхивая дымком. Время от времени он щелчком прямо на пол сбивал с кончика сигареты пепел.

Через минуту перед доктором появилась чашка с дымящимся чаем. Дав больному необходимые наставления, он добавил:

— За полчаса до приема лекарства и еще полчаса после ни в коем случае не пить чая и не курить.

Тем же ловким щелчком он снова сбил пепел с сигареты, но на этот раз в пепельницу, и, зажав сигарету между указательным и средним пальцами, сделал долгую затяжку.

Больной положил монету в четыре аны на стол, забрал лекарство и встал.

В эту минуту в комнату вошел какой-то молодой человек и стал упрашивать доктора поехать с ним на дом к больному.

— Машина стоит на углу, господин доктор, я провожу вас к ней.

Но «доктор за четыре аны» — его здесь все так и называли — с видимой невозмутимостью ответил:

— Привезите больного сюда, осмотрю.

— Нет, пожалуйста, господин доктор, поедемте на дом.

— На дом мы не ездим. Привезите, посмотрю.

Заметив, что проситель огорчился, доктор сказал:

— Ну что приуныл? Я же ясно сказал, что не поеду. Смешно получается — приеду на машине, а возьму с тебя четыре аны. Сам посуди! Привези лучше сюда и больного, и четыре аны.

Когда молодой человек снова стал настаивать на своем, доктор повторил, смеясь, то же, что и прежде,— при этом, говорил ли он, смеялся ли, зубов у него во рту нельзя было разглядеть, и потому брало сомнение: а есть ли они у него вообще?

— Не ставь меня, приятель, в неловкое положение — я ведь не дипломированный доктор, а просто любитель и прихожу сюда только для того, чтобы помочь этим людям.

— Господин доктор,— с улыбкой спросил один из пациентов,— а что вы ответите, если кто-нибудь спросит вас про диплом?

Доктор снова засмеялся, сложив при этом губы наподобие кошелька, и пошутил:

— Скажу — вот они, мои дипломы, перед вами сидят...

Но тут мирная их беседа неожиданно оборвалась. Где-то невдалеке раздались отчаянные женские вопли. Доктор вскочил со стула и, совсем как любопытный, забывший вдруг обо всем на свете мальчишка, чуть не вприпрыжку выбежал из комнаты.

Узкий и кривой переулок, по которому пришел сюда Баларам, возле заведения гомеопата выходил на небольшую площадь. В нее вливались еще две или три таких же улочки. С одной стороны площади, вымощенной кирпичом, стояла колонка городского водопровода, возле которой толпились женщины с кувшинами и ведрами. То было, по-видимому, самое привлекательное, самое солнечное в квартале место, потому что сюда для игр собирались дети из всех соседних домов. По другую сторону площади, откуда поднимался в гору еще один переулок, на плоской крыше неоштукатуренного кирпичного дома стояла пожилая женщина — она-то и вопила теперь что было сил, простирая вперед руки:

— Сбежал, сбежал ведь, окаянный! На ваших глазах сбежал, люди добрые, а вам и заботы нет... Это что же такое на свете творится!..

Ткнув пальцем в соседний дом, она продолжала кричать:

— Я чувствовала, что-то там у них неладное, вхожу, а он шмыг под кровать... Если она тебе сестра, так зачем же ты под кровать прячешься? Если с сестрой пришел повидаться, кого же ты испугался? И зачем дверь изнутри запираешь на щеколду? Вот, милые, так-то он с сестрой пришел повидаться!..

Молодой торговец в полосатых штанах и засаленной майке, отпиравший в эту минуту свою лавку, спросил женщину:

— Куда он убежал?

— Да откуда мне знать, куда? Только и видела, как ширк по лестнице вниз, да бегом вверх по переулку! — с той же горячностью отвечала она.

В следующий же миг, с треском хлопнув себя ладонями по крепким ляжкам и вскричав: «Ну погоди у меня!» — лавочник в полосатых штанах сорвался с места и помчался вверх по переулку с такой стремительностью, будто намеревался вступить в сражение с заклятым врагом. Что же это такое, в самом деле? Чужак пробрался в его родной квартал, натворил бог знает каких дел и удрал — можно ли такое стерпеть?

— Ну все, конец ему! Конец нашему «Меджнуну»! — совсем по-мальчишески хихикнув, сказал доктор, с интересом наблюдавший за всем происходившим, и, сбив щелчком пепел с сигареты, повернулся к двери, намереваясь вернуться к своим пациентам.

Но в эту минуту к нему подошла молодая женщина с большим блюдом в руках — ноги ее были босы, да и весь ее вид говорил о том, что ее не очень-то заботила собственная внешность.

— Примите угощение, господин доктор!

Тот повернулся к ней.

— С какой же это радости?

И протянул к ней обе ладони.

— Ну как же, сын у меня экзамен сдал! — гордо сообщила она.

Конец покрывала сполз с ее головы и висел на шее, всклокоченные, сухие волосы были небрежно заплетены в жидкую косу. На ней были запачканные, помятые шальвары и длинная темно-красная рубаха, причем нижние края шальвар, волочившиеся по земле, совсем почернели и засалились.

Доктор все еще смотрел на плоскую крышу дома, где стояла поднявшая такой шум женщина.

— Ага, поймал! Поймал-таки! — закричала вдруг она.

Потом, так же горячо жестикулируя, заговорила с доктором:

— Если девка не позовет, так разве сам парень придет к ней? Верно ведь, господин доктор?..

Со стороны водоразборной колонки, где гурьбой толпились женщины и стоял несмолкающий гомон, появились двое подростков — они вынесли старую деревянную кровать, поставили ее в тот угол площадки, который лучше других освещался солнцем, и убежали. На кровати, поджав под себя ноги, сидел и кашлял старик.

У Баларама екнуло сердце. Старик сидел спиной к нему, но чутье подсказало Балараму, что то был, конечно же, дядюшка Мангалсен.

— Угощайтесь, дядюшка!

Женщина с блюдом подошла к старику и, захватив пальцами горстку халвы, стала совать угощение прямо ему в рот. Но тут доктор, который все еще стоял перед своим заведением, закричал:

— Пхулан! Зачем зря тревожишь старого человека? Я запретил ему есть халву. Ты же знаешь, дядюшке нельзя ничего жирного.

— Да я только по губам ему помазала, господин доктор. Сын экзамен сдал, как же рот соседу не подсластить? — засмеявшись, отвечала Пхулан. — Обычай есть обычай, верно же? — И, покачав перед носом старика указательным пальцем, сказала шутливо: — Больше ни-ни. И нечего на меня глаза пялить, дядюшка, больше не получишь!

Снова засмеявшись, она подняла блюдо и направилась было к водоразборной колонке.

Но тут на площадку выбежали двое мальчишек — один преследовал другого, но бежавший впереди метнулся за кровать старика и ухватился руками за ее спинку. Второй кинулся к нему, однако тот опять ускользнул и стал за другой спинкой. С минуту они продолжали бегать вокруг старика, хватаясь за края кровати.

Тогда старик поднял свою палку, лежавшую у изголовья кровати.

— А ну, брысь отсюда, поганцы! — закричал он, а когда мальчишки исчезли за углом, сердито пробормотал: — Нарожали их матери на мою голову...

Да, конечно, то был дядюшка Мангалсен. Он совсем исхудал. И, по всей видимости, уже не вставал с кровати. В душе Баларама вспыхнуло горячее сочувствие к дядюшке, но подойти к нему он никак не мог решиться. Что сказать ему, какие найти слова?

Старик повернулся к Пхулан, которая в эту минуту, все еще стоя возле кровати, одаривала своим угощением кого-то из соседей, и сурово сказал ей:

— Сто раз вам твердить — выдайте девку замуж, давно в полном соку, а все за матерью сидит.

— А что вы меня-то ругаете, дядюшка, скажите это самой Сукхдэи.

— Сегодня один пришел, завтра еще кто притащится,— все еще брюзжал старик.

А тем временем улыбающаяся Пхулан, задорно покачивая бедрами и мелькая свисающим с плеча краем покрывала, направилась к колонке угощать халвой собравшихся там женщин. Ее помятая, заношенная одежда вполне соответствовала всей ее лениво-непринужденной повадке. Нижние края ее шальвар волочились по земле, порой она слегка поддергивала кверху правую штанину, оголяя при этом лодыжку. В каждом ее жесте проглядывали беспечность и небрежение к себе. Но с кем бы она ни заговорила, лицо ее непременно озарялось улыбкой; каждого встретившегося ей ребенка она ласково трепала по щеке, а после совала в протянутые к ней, широко раскрытые ладошки горстку халвы. Жила она в жалкой, полуразвалившейся лачуге, но это вовсе не мешало ей сохранять горделивую, даже несколько заносчивую осанку. Она была здесь своя, весь квартал казался ей родным домом, а его обитатели — близкими родственниками, и это позволяло ей чувствовать себя здесь хозяйкой, едва ли не царицей.

С удовольствием обозрев все происшедшие в квартале события, гомеопат вернулся наконец к своим пациентам. В ладони его все еще лежали остатки халвы, которой одарила его Пхулан. Остановившись у стола, он высыпал последние крошки в рот и, обтерев руки о собственные волосы, сел на стул.

Раз уж я пришел сюда, подумал Баларам, так, пожалуй, и возьму у этого гомеопата лекарство — там видно будет, принимать его или нет. Не дожидаясь своей очереди, он поспешно подошел к столу и, подняв правую ногу, стал показывать ее доктору.

Тот улыбнулся и мягко заметил:

— Я вижу, вы у меня впервые, так и быть, приму вас раньше других. А вообще-то у нас тут социализм, все равны, очередь соблюдается строго.

Затем, переложив сигарету из правой руки в левую и сбив щелчком пепел, доктор сделал долгую затяжку, выпустил густой клуб дыма и, кивнув головой, сказал:

— Вылечим. Мокнущая экзема, только и всего.

Вынув сигарету изо рта, он положил ее на край пепельницы и принялся заворачивать лекарство в пакетики. Баларам все же не утерпел и сухо сказал:

— Насколько я знаю, господин доктор, гомеопатические лекарства боятся табачного дыма, а вы вот сами же здесь курите...

— Ничего, пустяки,— беспечно отозвался доктор.— Когда курит сам врач, это не страшно.

И засмеялся. Его рот, похожий на закрытый кошелек, наконец раскрылся, но и теперь в нем нельзя было разглядеть зубов.

В переулке снова поднялся какой-то гвалт, и доктор, бросив порошки, с прежним проворством выскочил из дому.

— Видно, сегодня они не дадут мне работать,— проговорил он недовольно.

Скандал произошел у водоразборной колонки. Настало время отключения воды, струя сделалась совсем тонкой, а еще целых пять посудин — кувшинов, котелков и ведер, стоявших рядком напротив колонки,— оставались пустыми. Какая-то женщина уже наполнила одно ведро и вознамерилась было подставить под кран другое, но тут вдруг ее соседка по очереди с силой оттолкнула его в сторону и решительно придвинула свой котелок. С этого и началась ссора. Не прошло и минуты, как дело дошло до взаимных поношений, а там уж, глядь, противницы вцепились друг другу в волосы.

Терпение Баларама иссякло.

— Господин доктор,— громко и негодующе заговорил он,— дайте мне, пожалуйста, мои лекарства.

Остальные пациенты в изумлении уставились на него, словно вопрошая — куда это ты, приятель, торопишься, что за спешка такая?

Не сходя с места, доктор повернулся к Балараму и ответил:

— Сейчас, сейчас. Один порошок, кстати, вы примете здесь, при мне, остальные дома.— И, засмеявшись, добавил: — Ваше время никуда от вас не уйдет.

Но шум в переулке опять вдруг усилился.

Сверху по переулку спускался тот молодой лавочник в полосатых штанах, плотный, с заметным уже брюшком. За ним, упираясь, тащился высокий длинноволосый парень — шея его была туго обхвачена ярко-зеленым платком, концы которого держал в руке обладатель полосатых штанов.

Не успел лавочник ступить на вымощенную кирпичом площадку, как на ней уже собралось все население квартала.

— Поймал! — торжествующе провозгласил лавочник.— Вот он, подлый этот Меджнун! От меня не удерешь! От Маданлала никто еще не уходил...

Полные щеки его подрагивали на ходу, он шумно отдувался, что не мешало ему весело приговаривать:

— От рук Маданлала ни одна еще душа не ушла! Хоть в преисподней, да настигну...

Обернувшись к «Меджнуну» и дернув платок, которым было захвачено горло несчастной жертвы, он злорадно спросил:

— Это ты, значит, при Маданлале посмел прийти в наш квартал, чтобы обделывать свои любовные делишки? Думаешь, зря прошел я выучку у Банси-пахалвана [1]. Нет, милый, теперь от меня не уйдешь!

Решительно протянув руку к стоявшему рядом мужчине, он стащил с его головы тюрбан, затем, держа одной рукой незадачливого любовника, другой рукой развернул тюрбан, сложил длинный кусок ткани вдвое и, завернув парню локти за спину, стал привязывать его к ближайшему столбу.

— В рожу ему наплюйте! — закричал кто-то из толпы.— Любовник какой выискался!

— Туфлей его по щекам! — подхватил другой.— Пусть каждый смажет его разок!

— У-у-у, Меджнун бессовестный! — проговорил третий, схватив парня за длинные вихры и оттянув их кверху.— Будешь еще к нам ходить за любовью?

Пхулан, стоявшая с пустым блюдом возле старика, поставив босую ногу на деревянную боковину кровати, молча наблюдала за происходящим на площадке — дескать, что же теперь будет с этим «Меджнуном»?

— Ну это тоже не дело! — не выдержала она наконец.— За своими дочерьми не присматриваете, а чужого парня станете бить?

И вдруг громко заговорил старик:

— А спросите-ка у этого свинячьего сына, кто он такой есть? Чей он сын? Откуда к нам пришел? Подзови ко мне Мадана, Пхулан! Я с ним....

Перебив старика, Пхулан воскликнула:

— А тебе бы, дядюшка, помолчать! Сиди себе спокойно.

И, взяв старика за плечи, попыталась уложить его на спину.

— Это почему же? Я что, помер, по-твоему? Сейчас же позови сюда Мадана, пусть подведет ко мне парня.

— Сам еле жив, дядюшка, а туда же!— возразила Пхулан.— Сиди отдыхай.

— Ты пойдешь или нет?

Старик протянул руку к своей палке.

— Иду, дядюшка, иду!

[1] Почетное звание борца, прошедшего специальную подготовку и одержавшего ряд побед над соперниками.

И Пхулан, смеясь, направилась к толпе, окружавшей пойманного любовника.

Через минуту вокруг кровати старика нестройно гомонящей толпой сошелся весь квартал. Здесь были и доктор, и все его пациенты.

Старик, задыхаясь и покашливая, стуча палкой по краю кровати, своим глухим, надтреснутым голосом заговорил:

— Ах ты, негодник, варвар ты этакий! Блудом сюда пришел заниматься? Башку тебе размозжить? Кто ты такой? Чей сын? Откуда пришел?

Затравленно обведя толпу взглядом, «Меджнун» опустил голову. Старик, не дождавшись ответа, поднял палку.

— Говори же!

Парень ответил наконец, что зовут его Милкхи, что живет он в соседнем квартале, чуть дальше за Зеленным рынком, и что отца его зовут Бишандас.

— Это какой же Бишандас? Чем занимается?

— Лавочка у него... Брошки, кольца делает...

— Бишандас Кохли?

Парень молчал, но старик упрямо продолжал допытываться:

— Бишандас Кохли — так, что ли?

— Так...— едва выдавил из себя парень.

— Ах, беспутный, ты, значит, сын Бишандаса Кохли?

Парень не отвечал.

Старик посмотрел на Пхулан.

— Это сын Бишана, что украшениями торгует.

И снова поднял палку.

— Живешь, выходит, там, а пакостями заниматься сюда пришел? Ступай приведи отца.

Парень побледнел.

— Она мне двоюродная сестра...— пробормотал он едва слышно.

Старик опять замахнулся палкой.

— Ты что сказал?

— Она мне не родная.

К этому времени в квартале появилась мать девушки, вдова Сукхдэи, и, бормоча что-то про себя, подошла к толпе, чтобы узнать, отчего собрался народ.

Увидев ее, старик сказал:

— Это сын Бишана. Я знаю его отца.

Потом, постучав палкой о землю, объявил:

— Теперь слушать, что я скажу. Со вниманием слушать!

И, не дождавшись, что ответит вдова, обратился к лавочнику в полосатых штанах:

— Ступай вместе с ним и приведи его отца.

Опять обратив на длинноволосого парня негодующий взгляд, он наказал ему:

— Придешь к нам в квартал как жених со свадебным поездом, и не иначе! Понял меня, собачий сын? Не то гляди, кости тебе переломаю.

Выслушав решение старика, жители квартала сперва изумленно глядели друг на друга, но потом, опомнившись, весело загалдели:

— Нашу девушку выдавать за такого лоботряса?! Нет, не допустим этого! Не бывать тому!..

Мать девушки стояла молча, не решаясь сказать ни «да», ни «нет».

— Когда бы не дядюшка, все кишки бы из него повытряс,— сказал Маданлал, снимая платок с горла длинноволосого.

— Полегче, полегче, Мадан, теперь ты должен быть вежливым с ним,— пошутил кто-то.— Небось с зятем дело имеешь.

В толпе грянул хохот.

— Ну вот, зятек, теперь тебе не надо больше под кровать прятаться! — подхватил шутку другой и слегка потрепал «Меджнуна» по щеке.

Мадан взял длинноволосого парня за локоть и повел за собой.

Толпа понемногу рассеялась. С шутками и смехом люди разошлись по своим лачугам и лавочкам. Над мощеной площадкой опустилась тишина. Совсем перестала течь вода из крана, женщины исчезли.

Стоя возле заведения гомеопата, Баларам напряженно раздумывал — подойти к дядюшке или нет? Вон как он здесь всеми командует! Как знать, если заговорю с ним, не разгневается ли он и на меня? Вдруг поднимет палку да и начнет при всем честном народе поносить меня на чем свет стоит?

Настало время закрывать и заведение гомеопата — доктор попросил у своего соседа, хозяина чайной, последнюю чашку горячего чая, уселся с ней прямо на ступеньках и закурил сигарету.

Тут у дядюшки Мангалсена случился очередной приступ кашля. Держась обеими руками за спинку кровати, он содрогался всем своим костлявым телом, разительно напоминающим скелет. Голова его, безвольно болтаясь на шее, то обессиленно опускалась до самых колен, то запрокидывалась далеко назад.

Откуда ни возьмись появились двое подростков, они подняли кровать вместе со стариком и перетащили ее из тени на солнце. Но теперь она и в самом деле оказалась на краю сточной канавы, как об этом с укором говорил тот родственник.

Гомеопат встал, подошел к кровати, вытащил из кармана пузырек, всыпал в рот дядюшке пять или шесть каких-то пилюль и опять вернулся к чайной.

Проходивший переулком человек с мешком за плечами остановился возле старика, достал из мешка два плода ююбы и положил в изголовье кровати.

— А вот съешь-ка, дядюшка, сорт что надо. Очень сладкие.

Снова появилась Пхулан. И на этот раз в руках у нее было блюдо. Но выглядела она намного опрятней прежнего — видимо, успела помыться и привести себя в порядок. Подойдя прямо к дядюшке, она присела на кровать и сбросила с блюда край своего покрывала — на нем оказались две большие румяные лепешки и чашка с горячей чечевичной кашей.

— На, дядюшка, поешь!

Старик оглядел блюдо и, тяжело отдуваясь после кашля, ворчливо сказал:

— Сегодня очередь Бхаго, а почему ты пришла?

— От нее и принесла. Кушай, дядюшка, кушай.

И, поставив блюдо перед стариком, она удалилась, лениво переступая по земле босыми ступнями и покачивая на ходу бедрами.

Племянник же дядюшки Мангалсена все еще стоял в нерешительности возле заведения гомеопата. Подойти или нет? Наконец ему пришла на ум успокоительная мысль — ведь ничего же худого он дядюшке не сделал, тот сам сбежал из его дома, не сказав никому ни слова. Я сделал все, что было в моих силах, думал племянник...

Он пересек площадку и остановился перед кроватью.

Било в глаза яркое солнце, и старику потребовалось некоторое время, чтобы признать в стоявшем перед ним человеке своего племянника. А тот все еще не мог найти слов, которыми сумел бы объяснить дядюшке цель своего прихода...

Но вид племянника произвел на дядюшку совершенно неожиданное впечатление. Он вдруг испугался. С лица его сбежали последние живые краски. Он весь затрясся.

— Не пойду! — заговорил он дрожащим голосом и умоляюще сложил руки ладонями вместе.— Не пойду в вашу камеру смертников!.. Ты молодец, ты очень хороший человек, пошли тебе господь всяческого благополучия, но я не пойду... Пощади меня!..

Не дожидаясь, пока племянник произнесет хоть одно слово, старик торопливо продолжал:

— Дай умереть на родной земле!.. Ты добрый, ты вспомнил обо мне... Столько дней прошло, а ты все же вспомнил и пришел за мной... Только ты уж прости меня, к вам я не пойду. Лучше мне умереть здесь, добрых людей на свете много, есть кому напоить меня перед смертью святой водицей из Ганга. Есть кому и последний костер разжечь для меня...

К ним тихонько подошел гомеопат и, сделав Балараму едва заметный знак рукой, отвел его в сторону.

Скоро они уже вместе, обходя лужи, выбирались из квартала. На углу Баларам обернулся и увидел, как трое или четверо мальчишек со смехом и гамом плясали вокруг дядюшкиной кровати, а тот, хватаясь за свою палку, грозил ею то одному, то другому озорнику.

СТИВЕН КИНГ

Мертвая зона

РОМАН

Перевод с английского О. ВАСИЛЬЕВА и С. ТАСКА

12 августа 1977 г.

Дорогой Джонни,

разыскать Вас оказалось проще простого — я иногда думаю, что в Америке за деньги можно найти кого угодно, а деньги у меня есть. Подобной прямотой я рискую вызвать Ваше неудовольствие, но мы с Чаком и Шелли слишком многим обязаны Вам, чтобы говорить недомолвками. Деньги могут купить почти все, но от молнии деньгами не откупишься. Пожарники нашли двенадцать мальчиков в туалете. Окно было забито гвоздями. Огонь туда не добрался, зато добрался дым, и все двенадцать задохнулись. Никак не выброшу это из головы, ведь среди них мог быть и Чак. Ну вот, я Вас опять «сцапал», как сказано в Вашем письме. По известной причине я не оставлю Вас в покое, и не просите. Во всяком случае до тех пор, пока прилагаемый к письму чек не вернется ко мне с пометкой, что деньги Вы получили.

Вы наверняка обратите внимание, что новая сумма значительно меньше той, которую Вы отклонили месяц назад. Я связался с банком, где имеет расчетный счет известная Вам больница, и погасил Вашу пресловутую задолженность. Теперь, Джонни у Вас развязаны руки. Мне нетрудно было сделать это, и я это сделал с большим, добавлю, удовольствием.

Вы заявляете, что не можете взять эти деньги. А я Вам говорю: можете и возьмете. Возьмете, Джонни. *Я выследил Вас в Форт-Лодердейле и в другом месте тоже выслежу, даже если Вы переберетесь в Непал. Можете называть меня прилипчивой вошью, дело Ваше, а по-моему, я больше похож на Гончего Пса. Поймите, Джонни, у меня и в мыслях нет травить Вас. Помню, как Вы просили меня в тот день не жертвовать сыном. Я едва не пожертвовал. А другие? Восемьдесят один человек погиб, еще тридцать получили тяжелые увечья. Вспоминаю слова Чака — дескать, сообразим что-нибудь, на месте придумаем,— и мое праведное возмущение, возмущение глупца: «На это я не согласен. Исключено». А ведь я мог кое-что сделать. Вот что не дает мне покоя. Я мог дать этому мяснику Каррику три тысячи долларов, он рассчитался бы с официантами и закрыл ресторан на вечер. Это обошлось бы мне в тридцать семь долларов за каждую жизнь. Словом, поверьте, у меня и в мыслях нет травить Вас. Я сам себя так растравил — надолго хватит. Не на один год. Приходится платить за неверие в то, что лежит за пределами наших пяти чувств. И, пожалуйста, не думайте, будто я оплачиваю Ваши больничные счета и посылаю этот чек, чтобы облегчить свою совесть.*

Окончание. Начало см. в № 1, 2.

Деньгами не откупишься от молнии, не откупишься и от ночных кошмаров. Эти деньги — во имя Чака, хотя он ничего о них не знает.

Получите деньги, и я оставлю Вас в покое. Вот мое условие. Можете переслать их в ЮНИСЕФ, или отдать сиротскому приюту, или просадить на ипподроме. Это меня не касается. Главное — получите их.

Жаль, что Вы так поспешно от нас уехали, но, в общем, я Вас понимаю. Надеюсь, скоро увидимся. Чак уезжает четвертого сентября на подготовительные курсы в Стовингтон.

Джонни, возьмите чек. Пожалуйста.

Будьте здоровы.
Роджер Чатсворт

1 сентября 1977 г.

Дорогой Джонни,

неужели Вы думаете, что я отступлюсь? Пожалуйста, возьмите чек.

Всего доброго.
Роджер

10 сентября 1977 г.

Дорогой Джонни,

мы с Чарли ужасно обрадовались, что ты наконец отыскался. Приятно получить письмо, написанное прежним Джонни. Одно меня, сынок, сильно встревожило. Я позвонил Сэму Вейзаку и прочитал ему то место из твоего письма, где ты пишешь про участившиеся головные боли. Он советует тебе обратиться к врачу, и немедленно. Он опасается, как бы в поврежденном участке мозга не образовался тромб. Это очень меня беспокоит, и Сэма тоже. С тех пор как ты вышел из комы, у тебя нездоровый вид, а в последнюю нашу встречу в начале июня ты выглядел особенно усталым. Сэм мне этого не сказал, но ему, я знаю, больше всего хотелось, чтобы ты прилетел домой из своего Финикса и чтобы он понаблюдал за тобой. Теперь-то уж тебе грех жаловаться на безденежье!

Роджер Чатсворт дважды звонил нам, и я сообщил ему что мог. По-моему, он искренно говорит, что эти деньги не для успокоения совести и не в награду за спасение жизни его сына. Твоя мать скорее всего сказала бы: этот человек замаливает грехи единственным известным ему способом. Так или иначе, ты взял эти деньги, и, надеюсь, не только потому, что «хотел от него отвязаться». Для тебя, при твоем твердом характере, это не причина.

А теперь самое трудное. Прошу тебя, Джонни, возвращайся. Шумиха постепенно улеглась — ну да, я уже слышу, как ты говоришь: «Чушь собачья! После того, что случилось, она никогда не уляжется»,— и в чем-то ты, вероятно, прав, но лишь отчасти. По телефону мистер Чатсворт сказал: «Объясните ему при случае, что после Нострадамуса ни один экстрасенс не потянет больше чем на короткую сенсацию». Я очень беспокоюсь за тебя, сынок. Меня беспокоит, что ты казнишься из-за погибших, вместо того чтобы воздать самому себе за живых — за тех, кого ты спас, тех, кто был в тот вечер у Чатсвортов. Я беспокоюсь, и вообще ты мне нужен, Джонни. «Как не знаю кто», сказала бы наша бабушка. Поэтому приезжай поскорее, прошу тебя.

Папа

P. S. Посылаю газетные вырезки о пожаре и о твоем участии в этой истории. Их собрала Чарли. Ты опасался, что «все, кто был тогда на лужайке, проболтаются газетчикам», и, видишь, не зря опасался. Возможно, эти вырезки только расстроят тебя. Тогда выброси их в корзину. Но Чарли подумала, а вдруг, прочтя их, ты скажешь:

«Все могло быть гораздо хуже, совесть моя чиста». Надеюсь, так и будет.

Папа

29 сентября 1977 г.

Дорогой Джонни,

я взял Ваш адрес у папы. Как там Великая американская пустыня? Видали хоть одного краснокожего (ха-ха)? Ну, вот я и в Стовингтоне, на подготовительных. Ничего, жить можно. Шестнадцать часов в сутки в твоем распоряжении. Я тут увлекся химией, хотя здешний курс повышенной трудности — это тьфу по сравнению с тем, чему нас учили в Дареме. Мне всегда казалось, что наш химик, старик Фарнем по прозвищу Храбрец, с большей радостью изготовлял бы какую-нибудь адскую смесь, от которой мир взлетит на воздух. По английскому в этот месяц мы читали три вещи Сэлинджера — «Над пропастью во ржи», «Фрэнни и Зуи» и «Выше стропила, плотники». Здорово он пишет. Преподаватель сказал, что он по-прежнему живет в Нью-Гэмпшире, только писать бросил. У меня это в голове не укладывается. Зачем бросать, когда все идет как по маслу? Ну да ладно. Меня тянут в футбольную команду, но я почувствовал вкус к соккеру [1]. Тренер считает, что соккер — это футбол для людей с головой, а футбол — футбол для дураков. Пока не пойму, прав он или это он от зависти.

Ничего, если я дам Ваш адрес кое-кому из тех, кто был на нашей вечеринке? Они хотят поблагодарить Вас. В том числе мать Патти Стрэн — помните, та, что начала выступать, когда ее драгоценная доченька хлопнулась в обморок на лужайке. Сейчас вы сильно выросли в ее глазах. Кстати, у меня с Патти все кончено. Я ведь «совсем еще ребенок» (ха-ха!), где уж мне ухаживать, тем более на расстоянии — Патти, как Вы могли догадаться, уезжает в Вассар [2]. А я тут успел познакомиться с одной куколкой.

Напишите, дружище, когда будет время. Отца послушать, так Вы совсем скисли, только с чего бы это, ведь Вы сделали что могли. Наверное, он не так понял, да, Джонни? Правда же, Вы не скисли? Пожалуйста, напишите, все ли в порядке, а то я беспокоюсь. Смех да и только — Альфред Ньюмен [3] беспокоится за Вас! Но я правда беспокоюсь.

Когда будете писать, объясните, с чего это Холдена Колфилда все время тоска заедает? Ладно был бы он черный, а так-то что?

Чак

P. S. Куколку зовут Стефания Уайтмен, я уже приобщил ее к роману «Кто-то страшный к нам идет». Ей тоже нравится панк-рок, группа «Рамонес», послушайте их — вот кто дает жару.

Ч.

17 октября 1977 г.

Дорогой Джонни,

ну вот, теперь вижу, что Вы в норме. Ну и оборжался же я, читая про Ваши подвиги на общественных работах в Финиксе. После четырех вылазок на природу в составе «Стовингтонских тигров» я обгорел не меньше Вашего, так что не плачьте. Тренер, пожалуй, прав: футбол — это футбол для дураков, по крайней мере здесь. Наш рекорд пока 3:1. В одной игре я сделал три тачдауна [4]. Кстати, наглотался как дурак холодного воздуха и даже потерял сознание.

---

[1] Американская разновидность футбола.

[2] Женский колледж в штате Нью-Йорк.

[3] Вымышленный карикатурный персонаж, ставший эмблемой популярного в 60-е годы издания «Мэд мэгэзин» («Журнал для психов»).

[4] В американском футболе тачдауном называется маневр, когда игрок пересекает с мячом линию ворот противника, что приносит его команде шесть очков.

Я не торопился с письмом, хотел узнать, как Вы просили, что думают предки о Греге Стилсоне теперь, когда он «вступил в должность». Я приезжал домой на выходные. Значит, так. Сначала я спросил папу, а он мне: «Джонни все еще интересуется этим типом?» Я говорю: «Совсем он, видно, не соображает, если спрашивает твое мнение». Тут он обращается к матери: «Ты видишь, какой он стал умник на этих подготовительных курсах? Ничего другого я и не ожидал».

Ладно, ближе к делу. Многих сильно удивило, как лихо Стилсон начал. Папа говорит: «Если бы жителей его округа попросили оценить первые десять месяцев его пребывания в конгрессе, он бы получил в основном оценки «хорошо». А за работу над законопроектом Картера об энергетике и за собственный законопроект об отоплении жилищ в его штате — «отлично». И еще одну оценку «отлично» — за усердие». Отец просил передать Вам, что он, возможно, ошибался, называя Стилсона деревенским шутом.

А вот другие мнения. Всем, кого я ни спрашивал, нравится, что он не вырядился в костюм. Миссис Джарвис, владелица закусочной «В два щёта» (извиняюсь за орфографию, но так она называется), считает, что Стилсон не боится «крупных воротил». Генри Бёрк, хозяин «Бочки» (развеселый кабачок в центре города), говорит, что Стилсон «прыгнул, черт возьми, выше головы». Другие высказываются в том же духе. Все сравнивают сделанное Стилсоном и не сделанное Картером, в котором большинство разочаровалось, и теперь кусают локти,— зачем голосовали за него. Я спрашивал, как они относятся к тому, что он по-прежнему окружен железными всадниками, а этот тип Санни Эллиман у него в помощниках. Все пожимают плечами. Владелец дискотеки сказал мне: «Если Том Хейден[1] становится пай-мальчиком, а Элдридж Кливер[2] юродствует во Христе, почему бы банде мотоциклистов не войти в истеблишмент. Плюнь и забудь».

Вот так. Я бы накатал еще, но у нас скоро тренировка. В воскресенье «Дикие кошки» из Барре отделают нас под орех. Дотянуть бы до конца сезона. Будьте здоровы.

Чак

«Нью-Йорк таймс», 4 марта 1978 года

В ОКЛАХОМЕ УБИТ АГЕНТ ФБР

Эдгар Ланкте, 37 лет, десять лет работы в ФБР, судя по всему, убит прошлой ночью на закрытой автомобильной стоянке в Оклахома-Сити. Полиция сообщает, что в машине Ланкте взорвалась бомба, когда он включил зажигание. Типично гангстерский способ расправы напоминает убийство аризонского репортера Дона Боллза, занимавшегося два года назад частным расследованием, однако шеф ФБР Уильям Уэбстер отрицает наличие связи между этими двумя преступлениями. На вопрос о причастности Ланкте к расследованию темных махинаций с земельными участками, в чем, возможно, замешаны местные политические деятели, Уэбстер не дал определенного ответа.

Последнее задание Ланкте окружено тайной. Согласно информации, исходящей из министерства юстиции, Ланкте занимался отнюдь не расследованием земельных махинаций, а вопросами национальной безопасности.

Ланкте поступил на работу в ФБР в 1968 году и...

Число блокнотов в письменном столе Джонни выросло с четырех до пяти, а к осени 1978 года — до семи. Осенью 1978 года скончался

[1] Председатель «Студенческого демократического общества», видный радикал в 60-е годы.

[2] Бывший лидер экстремистской организации «Черные пантеры».

глава римско-католической церкви, вскоре последовала смерть его преемника; в короткий промежуток между этими событиями Грег Стилсон оказался в центре внимания американцев.

Он на ура был переизбран в палату представителей и, когда страна после 13-го предложения [1] дала крен вправо, основал партию «Америка сегодня». Самое поразительное, что несколько конгрессменов изменили своим партиям и, по выражению Грега, к нему «прямкнули». Большинство из них придерживалось сходных политических взглядов, которые Джонни определял как фальшиво-либеральные в вопросах внутренней политики и умеренные, если не консервативные, во внешнеполитических вопросах. Ни один из этих людей не поддержал договора Картера о Панамском канале. Стоило, впрочем, снять налет либерализма с их внутриполитической программы, как она оказывалась ничуть не менее консервативной. Партия «Америка сегодня» требовала, чтобы города сами решали свои проблемы («Фермер, работающий в поте лица, платит налоги не для того, чтобы их использовали на метадоновые [2] программы Нью-Йорка»,— объявил Грег), чтобы государство перестало выбрасывать деньги на пособия проституткам, гомосексуалистам, тунеядцам и бывшим преступникам и чтобы радикальное снижение налогов было увязано с радикальным сокращением расходов на социальные нужды. Все это было старой песней, но партия Грега «Америка сегодня» завела ее на приятный новый лад.

Семь конгрессменов и два сенатора переметнулись к Стилсону перед промежуточными выборами. Обоих сенаторов и шестерых конгрессменов избрали на новый срок. Из девяти переметнувшихся восемь были республиканцы, от чьей первоначальной платформы остались рожки да ножки. Их переход в другую партию и последующее переизбрание один острослов назвал трюком более ловким, нежели тот, коему предшествовали слова: «Лазарь! иди вон».

Кое-кто уже видел в Греге Стилсоне силу, с которой придется считаться, и очень скоро. Ему, правда, не удалось запулить выхлопные газы на Юпитер и на кольца Сатурна, зато его усилиями слетели со своих мест две одиозные фигуры — конгрессмен, утеплявший родное гнездышко за счет незаконных прибылей с автостоянок, а также помощник президента, имевший пристрастие к барам для «голубых». Его законопроект об отоплении жилищ отличался смелостью и изобретательностью, а в том, как умело он провел его через все стадии обсуждения, чувствовалась хватка парня из глубинки. К 1980 году Грег еще не дозреет, 1984-й будет уже большим соблазном, но если у него хватит выдержки потерпеть до 1988-го, если он сумеет укрепить свои позиции и ветер не настолько переменит направление, чтобы сдуть со сцены его неоперившуюся партию,— как знать, всякое может случиться. Республиканцы между собой перегрызлись, и если предположить, что на смену Картеру придет Мондейл, или Джерри Браун, или даже Говард Бейкер, кто, спрашивается, будет следующим? Даже 1992 год — для него еще не поздно. Он ведь сравнительно молод. Да, 1992-й — дата вполне вероятная...

В блокнотах Джонни было несколько политических карикатур. Все художники изображали Стилсона в каске строителя, с заразительной ухмылочкой. Карикатурист Олифант изобразил, как Грег в сдвинутой назад каске катит по центральному проходу палаты представителей бочку с нефтью, на которой написано: БЕШЕНЫЕ ЦЕНЫ. В конце прохода стоит, почесывая затылок, озадаченный Джимми Картер; он не смотрит в сторону Грега — автор, по-видимому, наме-

[1] В июне 1978 года федеральные власти Калифорнии установили максимальный уровень поимущественного налога, что привело к оттоку средств из общественного сектора.

[2] Метадон — наркотик-заменитель, используемый как болеутоляющее, а также при лечении наркоманов.

кал, что Картер сейчас будет сметен. Подпись гласила: С ДОРОГИ, ДЖИММИ!

Каска. Почему-то каска, больше чем что-либо другое, беспокоила Джонни. У республиканцев слон, у демократов осел[1], у Грега Стилсона каска. Каска строителя-монтажника. В снах Джонни она иногда превращалась в мотоциклетный шлем на голове Стилсона. А иногда в шахтерскую каску.

В отдельный блокнот он вклеил присланные отцом газетные вырезки о пожаре в «Кэти». Он снова и снова перечитывал их, правда по причине, о которой ни Сэм, ни Роджер, ни даже его отец не догадывались. ЭКСТРАСЕНС ПРЕДСКАЗЫВАЕТ ПОЖАР. «МОЯ ДОЧЬ ТОЖЕ ПОГИБЛА БЫ»,— ГОВОРИТ МАТЬ СО СЛЕЗАМИ БЛАГОДАРНОСТИ (говорившая со слезами благодарности мать была не кто иная, как мать Патти Стрэн). *Экстрасенс, распутавший цепь убийств в Касл-Роке, предсказывает пожар.* ЧИСЛО ЖЕРТВ В РЕСТОРАНЕ СОСТАВИЛО ДЕВЯНОСТО ЧЕЛОВЕК. ДЖОННИ СМИТ, ПО СЛОВАМ ОТЦА, ПОКИНУЛ НОВУЮ АНГЛИЮ. О ЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИИ НЕ СООБЩАЕТСЯ. Его фотографии. Фотографии его отца. Снимки той давней аварии на автостраде № 6, ведущей в Кливс Милс, снимки из далекого прошлого, когда Сэйра Брэкнелл была его девушкой. Сейчас Сэйра замужняя женщина, мать двоих детей, и в последнем письме Герберт писал, что у нее появились седые волосы. Трудно поверить: ему самому уже тридцать один. Невероятно, но факт.

Рядом с вырезками пестрели записи — результат отчаянных попыток разобраться во всем раз и навсегда. Никто не понимает истинного значения пожара, который влечет за собой куда более серьезный вопрос: как быть с Грегом Стилсоном?

Он записал: «Я должен что-то делать со Стилсоном. *Должен.* Я оказался прав с «Кэти» и снова окажусь прав. Тут у меня нет сомнений. Он станет президентом и развяжет войну — или спровоцирует ее элементарным просчетом, что сути дела не меняет.

Вопрос: сколь круты должны быть принимаемые меры?

Возьмем «Кэти» как испытательную модель. Это, можно сказать, был мне знак свыше... ну вот, я начинаю рассуждать, как мама... и тем не менее. Я ведь знал, что случится пожар и погибнут люди. Но достаточно ли было этого знания, чтобы спасти их? Ответ: недостаточно, чтобы спасти *всех,* так как люди по-настоящему верят лишь в свершившийся факт. Те, кто променял «Кэти» на дом Чатсвортов, спаслись, однако Р. Ч. устроил вечеринку вовсе не потому, что поверил моему предсказанию. Он высказался недвусмысленно: вечеринка была устроена, дабы меня успокоить. В душе он посмеивался надо мной. Поверил он *потом.* Мать Патти Стрэн тоже поверила *потом.* Потом, потом, потом. Но мертвым и обожженным от этого не легче.

Отсюда второй вопрос: мог ли я предотвратить катастрофу?

Да. Я мог врезаться на машине в ресторан и все там разнести. Мог собственноручно поджечь его.

Третий вопрос: чем это мне грозило?

Вероятно, тюрьмой. Если бы я выбрал вариант с машиной, а затем вечером в здание ударила бы молния, пожалуй, я сумел бы доказать... нет, этот номер не проходит. Обыватель готов признать экстрасенсорные способности человека, но закон — нет. Пожалуй, если бы мне снова представился такой шанс, я бы действовал, не думая о последствиях. А может быть, я не до конца верил в свое собственное предсказание?

---

[1] Слон и осел — эмблемы соответственно республиканской и демократической партий.

То же самое сейчас со Стилсоном, все до жути похоже, только времени на этот раз, слава богу, куда больше.

Итак, круг замкнулся. Я не хочу, чтобы Грег Стилсон стал президентом. Как это предотвратить?

1. Вернуться в Нью-Гэмпшир и «прямкнуть», по выражению Грега, к партии «Америка сегодня». Вставлять им палки в колеса. Саботировать распоряжения их лидера. Грязи в доме хватает. Может, и удастся кое-что вымести.

2. Нанять человека, который обольет его грязью. Оставшихся денег Роджера вполне хватит, чтобы нанять человека с головой. Но ведь Ланкте был наверняка человек с головой. А Ланкте мертв.

3. Ранить или изувечить его. Как Артур Бреммер изувечил Уоллеса, как кто-то изувечил Ларри Флинта [1].

4. Убить его.

Теперь минусы. Первый вариант недостаточно надежен. Все может кончиться тем, что мне просто-напросто пересчитают ребра, как Хантеру Томпсону, когда он собирал материал для своей книги об «ангелах смерти». Или того хуже. Ведь этот Эллиман мог запомнить меня на встрече в Тримбулле. А разве не принято заводить досье на тех, кто под тебя подкапывается? Не удивлюсь, если Стилсон держит специального человека, в чьи обязанности входит вести досье на всех подозрительных и шизоидов. В число которых автоматически попадаю я.

Второй вариант. Предположим, удалось вытащить на свет какую-то грязь. Если Стилсон действительно метит высоко — а судя по всему это так,— он наверняка уже успел замести следы. И еще: грязь становится грязью лишь с подачи прессы, а пресса любит Стилсона. Он умеет ее обработать. Можно бы пофантазировать, как я сам делаюсь частным детективом и ловлю его с поличным, но, увы, я не знаю, с какого конца взяться. Казалось бы, моя способность «читать» людей и находить пропавшие вещи должна, как говорил Сэм, дать мне фору. Если удастся выяснить что-нибудь о Ланкте, тогда другой разговор. Хотя едва ли Стилсон станет марать руки, скорее всего подобные дела он передоверяет Санни Эллиману.

А ведь у меня даже нет полной уверенности, при всех подозрениях, что Эдгар Ланкте шел по следу Стилсона и поэтому его убрали. Я могу затянуть петлю на шее у Санни Эллимана, но так и не добраться до Стилсона.

Иными словами, второй вариант тоже *не вполне* надежен. Ставка чересчур велика — недаром я гоню от себя всякую мысль о «тримбуллском видении». Каждый раз это сопровождается дьявольской головной болью.

Я уже дошел до того, что подумываю, не поймать ли его на крючок с помощью наркотиков, как герой Джина Хэкмана во «Французском связном II», или сделать из него психа, подмешав ЛСД в «доктор Пеппер»[2] или что он там пьет. Но все это — из дешевого детектива. Мерзопакость в стиле Гордона Лидди[3]. Тут столько всяких сложностей, что об этом «варианте» и говорить-то не стоит. А если похитить его? В конце концов, он всего лишь член палаты представителей... Кстати, о наркотиках. Где взять героин или морфий, не знаю, но вот ЛСД можно достать сколько угодно прямо здесь, в управлении общественных работ Финикса, у Ларри Макнотона. У Ларри есть таблетки на все случаи жизни. Но предположим (если вообще стоит предполагать такое), что он всего-навсего «забалдеет»?

[1] Ультраправый сенатор Джордж Уоллес стал частично парализованным после полученных ранений и сошел с политической арены. Ларри Флинт, издатель порнографического журнала «Пентхаус», был тяжело ранен неким рьяным блюстителем нравственности.

[2] Тонизирующий напиток.

[3] Один из так называемых «водопроводчиков», незаконно проникших в штаб-квартиру демократической партии в Уотергейте.

Подстрелить и изувечить его? Может, удастся, а может, и нет. В подходящей обстановке вроде встречи в Тримбулле может удаться. Допустим, удалось. После покушения в Лореле Джордж Уоллес перестал быть реальной политической силой. С другой стороны, Рузвельт вел свою кампанию из инвалидного кресла, и это даже приносило ему определенную выгоду.

Таким образом, остается убийство, «мокрое дело». Тут уж гарантия стопроцентная. Труп не может баллотироваться в президенты.

Но хватит ли у меня духу спустить курок?

И если хватит, то чем это мне грозит?

Как у Боба Дилана— «задай вопрос полегче, крошка».

Много записей и рассуждений было в блокнотах. Самое важное Джонни записал отдельно и обвел рамкой:

> «Предположим, убийство окажется единственным выходом. И предположим, хватит духу спустить курок. Все равно убийство — это порочный путь. Убийство — это порочный путь. Порочный. Должен быть какой-то другой выход. Слава богу, у меня еще полно времени».

Но Джонни ошибался.

В начале декабря 1978 года, вскоре после того, как на затерянной в джунглях Гайяны посадочной полосе был убит конгрессмен Лео Райан из Калифорнии, выяснилось, что времени у него в обрез.

26 декабря 1978 года в 14.30 Бад Прескотт, продавец магазина спортивных товаров на Четвертой улице города Финикса, обслуживал высокого молодого, но уже седеющего человека, изможденного, с воспаленными глазами. Был первый день после рождества, и работа Бада и еще двух продавцов сводилась в основном к обмену товаров — но этот человек пришел покупать.

Он сказал, что ему нужна хорошая винтовка, легкая, со скользящим затвором. Бад показал ему несколько образцов.

Человек внимательно их осмотрел и наконец остановил свой выбор на «ремингтоне-700» — очень приличная винтовка калибра 6,17 мм, с дальним и точным боем и мягкой отдачей. Человек расписался в регистрационной книге: Джон Смит,— и Бад подумал: *Интересно, как его зовут на самом деле.* «Джон Смит» расплатился наличными — бумажник, из которого он вытаскивал двадцатидолларовые бумажки, был туго набит. Он взял винтовку с прилавка. Бад сказал с подковыркой, что магазин бесплатно выжигает инициалы владельца на прикладе. Но «Джон Смит» отрицательно покачал головой.

Когда «Смит» выходил, Бад увидел, что он заметно прихрамывает. В случае чего опознать этого парня будет проще простого, подумалось ему, вон как хромает да еще вся шея в шрамах.

27 декабря в 10.30 утра болезненно худой мужчина вошел, прихрамывая, в магазин канцелярских товаров города Финикса и направился к продавцу Дину Клею. Позднее, рассказывая об этом человеке, Клей употребит выражение покойной матери: глаз у него «горел». Покупатель сказал, что ему нужен большой «дипломат», и в конце концов выбрал самый лучший — воловьей кожи, за 149 долларов 95 центов. Рассчитался хромавший мужчина новенькими двадцатидолларовыми бумажками. Вся процедура заняла не больше десяти минут. Выйдя из магазина, покупатель направился в сторону центра, и больше Дин Клей этого человека не видел — до появления его фотографии в местной газете «Сан».

В тот же день высокий, с проседью, мужчина подошел к окошечку железнодорожной кассы и спросил, как быстрее добраться до Нью-Йорка. Кассирша Бонита Альварес показала ему, где сделать пересадки. Он внимательно изучил схему, водя по ней пальцем, и аккуратно все записал. Затем спросил Бонни Альварес, можно ли купить билет на третье января. Бонни пробежалась по клавишам компьютера и ответила утвердительно.

— Тогда, пожалуйста...— начал было высокий мужчина, но осекся и поднес руку к голове.

— Что с вами, сэр?

— Фейерверк,— сказал мужчина. Она уверяла впоследствии полицию, что слышала именно это слово. *Фейерверк.*

— Сэр? Вам плохо?

— Голова,— сказал он.— Извините.— Он попытался улыбнуться, но это почти не изменило его осунувшееся, раньше времени постаревшее лицо.

— Дать вам аспирин? У меня есть.

— Спасибо, не надо. Пройдет.

Она выписала билет и сказала, что поезд прибудет в Нью-Йорк на Центральный вокзал шестого января в полдень.

— Сколько с меня?

Она назвала сумму и спросила:

— У вас наличные, мистер Смит?

— Наличные,— сказал он и вытащил из бумажника целую пачку двадцати- и десятидолларовых купюр.

Она пересчитала деньги, дала ему сдачу, квитанцию и билет.

— Ваш поезд отходит в десять тридцать, мистер Смит,— сказала она.— Пожалуйста, придите минут за двадцать.

— Хорошо,— сказал он.— Спасибо.

Бонни одарила его ослепительной профессиональной улыбкой, но Смит уже отвернулся. Он был очень бледен и, как видно, с трудом превозмогал боль.

Бонни утверждала, что он именно так и сказал: *фейерверк.*

Элтон Карри работал проводником на перегоне Финикс — Солт-Лейк. 3 января ровно в 10 часов на платформе появился высокий мужчина; он сильно хромал, и Элтон помог ему подняться в вагон. В одной руке у пассажира был потертый клетчатый саквояж. В другой — новехонький кожаный «дипломат». Чувствовалось, что «дипломат» изрядно тяжелый.

— Вам помочь, сэр?— спросил Элтон, имея в виду «дипломат», но пассажир передал ему саквояж и билет.

— Нет-нет, благодарю. А это я заберу, когда поедем.

— Как вам угодно. Спасибо.

Очень вежливый пассажир, скажет Элтон Карри, когда его будут допрашивать агенты ФБР. И на чаевые не поскупился.

6 января 1979 года выдалось в Нью-Йорке серое, пасмурное — снегопада можно было ждать в любую минуту. Такси Джорджа Клементса стояло у входа в отель «Билтмор», против Центрального вокзала.

Дверца открылась, и в машину осторожно, словно каждое движение причиняло ему боль, сел молодой человек с проседью. Он поставил на сиденье дорожный саквояж и «дипломат», захлопнул дверцу, откинул голову на спинку и устало прикрыл глаза.

— Куда едем, дружище? — спросил Джордж.

Пассажир заглянул в листок бумаги.

— Вокзал Порт Осорити,— сказал он.

Машина тронулась.

— Что-то у вас, дружище, вид неважнецкий. У меня свояк такой

же становится во время приступов желчного пузыря. У вас тоже камни?

— Нет.

— Свояк говорит, что камни в желчном — это хуже некуда. Ну разве что камни в почках. А я ему, знаете, что на это? Ты чудила, говорю. Энди, говорю, ты отличный парень, и я тебя уважаю, но ты чудила. У тебя был, спрашиваю, рак, Энди? Рак, говорю, был? Всем известно, хуже рака ничего нет, верно? — Джордж пристально посмотрел в зеркало заднего обзора.— Послушайте, дружище, я вас без дураков спрашиваю... вы как, ничего? А то малость на покойничка смахиваете.

— Все в порядке,— ответил пассажир.— Просто вспомнил... как ехал однажды на такси. Несколько лет назад.

— Ясно,— глубокомысленно сказал Джордж, будто и впрямь знал, о чем речь. Да, шизов в Нью-Йорке хоть отбавляй. После короткой паузы, вызванной раздумьями на эту тему, он продолжил рассказ о свояке.

— Мама, дядя больной?

— Ш-ш-ш.

— Ну скажи!

— Денни, угомонись.

Она виновато улыбнулась пассажиру, сидевшему справа, через проход, словно желая сказать: ну что с ним поделаешь? Похоже, однако, что пассажир ничего не заметил. Бедняга и вправду выглядел больным — в данном случае четырехлетний Денни не ошибся. Мужчина безучастно смотрел в окно; снег, который пошел вскоре после того, как они пересекли границу штата Коннектикут, все падал и падал. Мужчина был ужасно бледный, ужасно худой, и сбоку его шею наискось прорезал жутковатый, как у Франкенштейна, шрам. Словно в недалеком прошлом кто-то пытался открутить ему голову и эта попытка едва не увенчалась успехом.

Автобус направлялся в Портсмут, штат Нью-Гэмпшир, куда он прибудет по расписанию в полдесятого вечера, если нигде не застрянет из-за снегопада. Джулия Браун с сыном ехала в гости к свекрови, этой старой курице, которая опять станет баловать Денни, а он уж и так испорчен дальше некуда.

— Я хочу подойти к нему.

— Нельзя, Денни.

— Я хочу посмотреть, какой он больной.

— Нельзя!

— Мама, а вдруг он *вымирает?* — Глаза у Денни возбужденно заблестели.— Он, наверно, вымирает сейчас!

— Денни, молчи.

— Мистер, мистер! — позвал Денни.— Вы вымираете, да?

— Денни! Ты замолчишь, наконец! — прошипела Джулия, пунцовая от смущения.

Денни заплакал, точнее, стал хныкать с подвываниями, как он это умел, когда ему что-то не разрешали, и у нее всякий раз было одно желание — сграбастать Денни и сделать ему больно, чтобы он заревел по-настоящему. В такие минуты, когда трясешься в автобусе, а за окнами темень и грязное снежное месиво и рядом завывает ребенок, начинаешь думать: господи, лучше бы мать стерилизовала меня еще девочкой.

Тут пассажир, сидевший через проход, повернулся к ней, и на лице его появилась усталая, болезненная и в то же время довольно приятная улыбка. Глаза у него были воспаленные, словно заплаканные. Она попробовала улыбнуться в ответ, но улыбка получилась вымученная. Этот красный левый глаз и шрам на шее — из-за них в его профиле было что-то зловещее и отталкивающее.

Джулия надеялась, что он едет не до самого Портсмута, но, как потом выяснилось, он ехал именно туда. Она увидела его в здании автовокзала, когда бабушка Денни, заливаясь счастливым смехом, тискала внука в объятиях. Человек, прихрамывая, шел к выходу, с потертым саквояжем в одной руке и новеньким «дипломатом» в другой. Внезапно холодная дрожь пробежала у нее по спине. Дело не в том, что он шел прихрамывая — его буквально несло вперед. Он был какой-то неудержимый, скажет она позднее представителям нью-гэмпширской полиции. Казалось, он точно знал, куда ему надо, и ничто не могло его остановить.

Потом он вышел в темноту, и она потеряла его из виду.

Тиммесдейл, небольшой городок в штате Нью-Гэмпшир, расположен западнее Дарема. Он входит в третий избирательный округ и живет за счет самой маленькой из чатсвортовских прядильно-ткацких фабрик, которая уродливо торчит, вся прокопченная, на берегу Тиммесдейлской Протоки. Единственное, чем, по данным местной торговой палаты, может похвастаться городок, это первым во всем Нью-Гэмпшире электрическим уличным освещением.

Однажды вечером в начале января седеющий молодой человек вошел, прихрамывая, в «Тиммесдейлский бар» — единственную пивную в городке. За стойкой стоял сам владелец — Дик О'Доннелл. Заведение пустовало, и неудивительно: будний день да еще сильный северный ветер. Снега навалило выше щиколотки, и это было только начало.

Молодой человек постучал ботинками о порожек, подошел к стойке и заказал кружку пива. О'Доннелл налил. Человек не спеша выпил кружку и еще две, поглядывая в телевизор над баром. Цвета были никудышные, телевизор барахлил второй месяц, и Фонз [1] смахивал на одряхлевшего трансильванского вампира [2]. О'Доннелл в первый раз видел этого парня.

О'Доннелл обслужил двух старых перечниц, сидевших в углу, и вернулся за стойку.

— Повторить? — спросил он.

— Пожалуй,— согласился молодой человек и указал на стену.— Вы с ним знакомы, я так понимаю?

Над телевизором висела увеличенная газетная карикатура в рамке. На ней Грег Стилсон в сдвинутой на затылок каске спускал с лестницы Капитолия конгрессмена Луиса Квинна, попавшегося около года назад на левых доходах с автостоянок. Карикатура была озаглавлена: ПОД ЗАД КОЛЕНКОЙ, а в углу виднелась размашистая надпись: *Дику О'Доннеллу, владельцу лучшего салуна в третьем округе! Не сбавляй оборотов, Дик! — Грег Стилсон.*

— Вот это были бабки,— сказал О'Доннелл.— Он выступал здесь, когда последний раз баллотировался в конгресс. По всему городу расклеили объявления: приходите в субботу в два часа дня в «Бар» и пропустите кружку за счет Грега. Такой выручки у меня еще никогда не было. Каждому вроде обещал по одной, а в результате оплатил всю выпивку. Ну кто еще, скажите, так раскошелится?

— Вы, я вижу, считаете его отличным парнем.

— Да,— сказал О'Доннелл.— И готов вздуть любого, кто считает иначе.

— Тогда молчу.— Молодой человек положил на стойку три четвертака.— Выпейте одну за мой счет.

— Ну что ж. Почему бы и нет? Спасибо, мистер...

— Меня зовут Джонни Смит.

---

[1] Главный персонаж телевизионной серии «Счастливые деньки».

[2] Трансильвания — область, где обитают, согласно легендам западных славян, вампиры, вурдалаки и проч.

— Очень приятно, Джонни. А я Дик О'Доннелл.— Он налил себе кружку.— Да, Грег здорово нам всем помог. Тут много таких, которые боятся сказать об этом вслух, а я не боюсь. Я скажу во весь голос. В один прекрасный день Грег Стилсон станет президентом.

— Вы так думаете?

— Уверен,— сказал О'Доннелл.— В Нью-Гэмпшире Грегу тесновато. Он политик будь здоров какой, уж я-то знаю, что говорю. Мне вся эта капитолийская публика всегда казалась шайкой проходимцев и бездельников. И сейчас кажется. Но Грег исключение. Это человек дела. Если бы лет пять назад вы мне сказали, что я буду говорить такое, я б рассмеялся вам в лицо. Скорей бы уж я нашел что-нибудь стоящее в стишках, чем в этих политиканах. Но он, черт меня дери, парень что надо.

— Большинство из них,— сказал Джонни,— набиваются к тебе в друзья-приятели, пока идет избирательная кампания, но не успеют сесть в заветное кресло, как уже слышишь: а иди-ка ты, дружище, куда подальше до следующих выборов. Сам я из Мэна и однажды написал Эду Маски, так знаете, что я получил в ответ? Письмо со стандартным текстом!

— Слушайте,— сказал О'Доннелл,— Грег приезжает в свой округ каждый уик-энд! Это тоже, по-вашему, «иди-ка ты, дружище, куда подальше»?

— Каждый уик-энд, говорите?— Джонни отхлебнул из кружки.— Куда же это? В Тримбулл? В Риджуэй? В большие города?

— У него своя система,— сказал О'Доннелл с оттенком уважения, как человек, который сам никогда не жил по системе.— Пятнадцать городов, от главного до самых маленьких вроде Тиммесдейла и Куртерской Засеки. Каждую неделю — один город, пока все не объедет, а потом по новой. Знаете, сколько народу в Куртерской Засеке? Восемьсот душ. Так что вы скажете о человеке, который променял Вашингтон на Куртерскую Засеку, где в зале такой собачий холод, что зад к скамейке примерзает? По-вашему, это «иди-ка ты, дружище, куда подальше»?

— Непохоже,— признал Джонни.— И что он делает? Пожимает всем руки?

— Нет, в каждом городе он заказывает зал. На всю субботу. В десять утра он обычно уже на месте, и можно прийти поговорить с ним. Поделиться соображениями. Если задают вопросы, он отвечает. А если не может ответить, он возвращается в Вашингтон и *там* находит ответ! — Он торжествующе посмотрел на Джонни.

— И когда же он последний раз был в Тиммесдейле?

— Пару месяцев назад,— сказал О'Доннелл. Он отошел к кассе и порылся в каких-то бумагах. Вернувшись, он положил перед Джонни газетную вырезку с загнутым уголком.— Вот. Судите сами.

Это была вырезка из риджуэйской газеты. Довольно старой. Заметка называлась ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: НАРОД, ГОВОРИТ СТИЛСОН, ПРИХОДИТ К СВОЕМУ КОНГРЕССМЕНУ. Первый абзац звучал так, словно его позаимствовали в стилсоновской пресс-группе. Ниже следовал перечень городов, где побывает Грег, и предполагаемые даты. В Тиммесдейле он уже не появится до середины марта.

— Да, впечатляет,— сказал Джонни.

— Еще бы. И не я один так считаю.

— Тут сказано, что он был в Куртерской Засеке на прошлой неделе.

— Точно,— сказал О'Доннелл и засмеялся.— Ох уж эта мне Куртерская Засека! Как насчет еще одной кружки, Джонни?

— Только с вами за компанию,— сказал Джонни и положил на стойку два доллара.

— А почему бы и нет?

Одна из старых пьянчужек кинула монетку в музыкальный автомат, и Тэмми Уайнетт надтреснутым и усталым голосом, будто ей смертельно не хотелось петь в таком месте, затянула «Любимому во всем будь верной».

— Эй, Дик! — прохрипела вторая.— Что-то твой сервис уж больно ненавязчивый.

— Заткнись! — рявкнул О'Доннелл.

— ...тебе!— отозвалась она и заржала.

— Кларисса, черт тебя дери, я, кажется, предупреждал, чтобы в моем баре не выражаться! Я ведь предупреждал...

— Да ладно тебе, неси лучше пиво.

— Видеть не могу этих потаскух,— сказал сквозь зубы О'Доннелл.— Шлюхи старые. Сто лет здесь ошиваются. Вот ведь мир устроен.

— Ваша правда.

— Вы уж извините, я мигом. Вообще-то у меня есть помощница, но зимой она приходит только по пятницам и субботам.

О'Доннелл налил пиво в две огромные кружки и отнес их пьянчужкам. Он что-то сказал им, а Кларисса спять выдала: «...тебе!» — и заржала. Призраки прошлого наводнили пивную. Крутилась заигранная пластинка, и сквозь треск пробивался голос Тэмми Уайнетт. Батареи отопления грели немилосердно, в баре сделалось жарко и душно, снежная крупа прокатывалась дробью по стеклам. Джонни потер виски. Этот бар, он давно знаком ему — по сотне других, в таких же городишках. Болела голова. Пожав О'Доннеллу руку, он узнал, что у бармена есть матерый пес — какая-то помесь,— обученный набрасываться по команде на человека. И больше всего Дик О'Доннелл мечтает о том, чтобы как-нибудь ночью к нему залез вор, и тогда можно будет спустить — вполне законно — матерого пса, после чего на свете станет одним прибалдевшим, грязным хиппарем-извращенцем меньше.

Отчаянно болела голова.

Вернулся О'Доннелл, вытирая руки о фартук. Тэмми Уайнетт допела свою песню, зазвучал голос Реда Совайна.

— Еще раз спасибо за угощение,—сказал О'Доннелл, наливая две кружки.

— О чем разговор,—сказал Джонни, продолжая изучать газетную вырезку.— На прошлой неделе Куртерская Засека, на этой будет Джэксон... что-то я о таком не слышал. Небось маленький городишко?

— Крохотный,— подтвердил О'Доннелл.— Когда-то был лыжный курорт, но прогорел. Многие остались без работы. А вообще они там перерабатывают древесину да на фермах понемногу ковыряются. Но ему, представьте, и туда заехать не лень. Беседует с ними. Выслушивает их бабье. Вы сами-то, Джонни, где живете в Мэне?

— В Льюистоне,—соврал Джонни. В заметке говорилось, что Грег Стилсон встретится со всеми желающими в общественном центре.

— Никак сюда на лыжах покататься приехали?

— Нет, я недавно ушиб ногу. Теперь не до лыж. Так, проездом. Спасибо, что дали посмотреть.— Он возвратил газетную вырезку.— Занятная штука.

О'Доннелл аккуратно подложил ее к остальным бумагам. Все его достояние: пустой бар, дома пес, готовый по команде наброситься на человека, да вот Грег Стилсон. Грег, побывавший в его баре.

Джонни вдруг захотелось сию же секунду умереть. Если этот дар ниспослан ему богом, то бог, без сомнения, опасный безумец, которого пора остановить. Если бог хочет смерти Грега Стилсона, почему он не задушил его пуповиной при появлении на свет? Не толкнул под колеса машины? Не убил током, когда тот настраивал радиопри-

емник? Не утопил в бассейне? Почему он свалил грязную работу на Джонни Смита? Ну, конечно, спасение мира не входит в его обязанности. Это дело экстрасенсов, пусть они и попотеют. Внезапно Джонни решил, что оставит Грега Стилсона в живых и плевать он хотел на господа бога.

— Джонни, вы как, ничего? — встревожился О'Доннелл.

— Что? Да-да, разумеется.

— У вас сейчас был какой-то странноватый вид.

Он вспомнил слова Чака Чатсворта: *Я бы это сделал. Иначе я бы с ума сходил, что они все, эти миллионы погибших по его милости, будут преследовать меня до самой смерти.*

— Замечтался, видно,— сказал Джонни.— Рад был с вами выпить. Спасибо за компанию.

— И вам тоже,— сказал О'Доннелл, явно польщенный.— Побольше бы таких людей к нам заглядывало. А то все норовят мимо, на лыжные курорты — сами понимаете, цивилизация. Вон куда уплывают денежки. Знать бы, что ко мне завернут, я бы тут такое устроил... Плакаты с видами Швейцарии и Колорадо. Камин. Зарядил бы автомат рок-н-роллом вместо этого дерьма. Я бы... я бы знаете, как развернулся.— И, пожав плечами, добавил: — Что я, хуже других?

— Конечно нет,— сказал Джонни, поднимаясь со стула и думая о собаке, обученной бросаться на человека, и о тоске ее хозяина по грязному хиппи, который когда-нибудь залезет в дом.

— Теперь шлите сюда своих приятелей,— сказал О'Доннелл.

— Обязательно,— сказал Джонни.

— Эй, Дик! — заорала одна из пьянчужек.— Здесь что, не умеют вежливо обслуживать посетителей?

— Когда ты уже лопнешь! — вскипел О'Доннелл, багровея.

— А... тебе!— откликнулась Кларисса и заржала.

Джонни тихо выскользнул за дверь, навстречу надвигавшемуся бурану.

В Портсмуте он остановился в «Холидей Инн». Вернувшись вечером в гостиницу, он сказал портье, чтобы к утру был готов счет.

В номере он сел за безликий гостиничный письменный стол, достал пачку бумаги и взял казенную гостиничную ручку. В висках у него стучало, но он должен был написать несколько писем. Его внезапный внутренний протест — если это можно так назвать — сошел на нет. Его счет к Грегу Стилсону остался.

Я сошел с ума, думал он, *не иначе. Совсем спятил.* Мысленно он уже видел броские заголовки: ЭКСТРАСЕНС СТРЕЛЯЕТ В КОНГРЕССМЕНА ОТ НЬЮ-ГЭМПШИРА. МАНЬЯК УБИВАЕТ СТИЛСОНА. ПУЛЯ ОБРЫВАЕТ ЖИЗНЬ ЧЛЕНА ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ. Что касается журнала «Инсайд вью», то на его улице будет праздник: ЭКСТРАСЕНС-САМОЗВАНЕЦ УБИВАЕТ СТИЛСОНА, 12 ИЗВЕСТНЫХ ПСИХИАТРОВ ОБЪЯСНЯЮТ, ПОЧЕМУ СМИТ ЭТО СДЕЛАЛ. И сбоку, возможно, колонка Диса о том, как Джонни пригрозил ему, что возьмет мелкокалиберную винтовку и пристрелит непрошеного посетителя.

Сумасшедший.

Больничный долг выплачен, но после этой истории будет предъявлен особый счет, по которому отцу придется долго платить. Ему и его жене предстоит не один день прожить в отраженных лучах печальной славы Джонни. Пойдут письма, полные ненависти. Все, кого он знал, подвергнутся допросу — Чатсворты, Сэм, шериф Баннерман. Сэйра? Кто знает, может, до Сэйры они не доберутся. В конце концов, не на президента же покушение. По крайней мере сейчас. *Тут много таких, которые боятся сказать об этом вслух, а я не боюсь. Я скажу во весь голос. В один прекрасный день Грег Стилсон станет президентом.*

Джонни потер виски. Боль накатывала медленными волнами. Нет, так дело не пойдет. Он пододвинул к себе верхний лист бумаги, взял ручку и вывел: *Дорогой папа.* Ветер швырнул в стекло горсть сухого снега — сейчас разыграется... Наконец ручка заскользила по бумаге, сначала нехотя, затем все быстрее и быстрее.

Джонни поднялся по деревянным ступенькам, очищенным от снега и посыпанным солью. Миновав двойные двери, он оказался в вестибюле, стены которого были заклеены образцами избирательных бюллетеней и объявлениями, извещавшими о предстоящем третьего февраля сего года в Джэксоне, в этих стенах, собрании избирателей. Висело там и сообщение о скором визите Грега Стилсона и тут же портрет Самого в сдвинутой на затылок каске, с жесткой кривой ухмылкой, как бы говорящей: «Здорово мы их, приятель, а?» Чуть правее зеленой двери, которая вела в зал, обнаружилась довольно неожиданная табличка, и Джонни несколько секунд молча изучал ее: СЕГОДНЯ СДАЕМ НА ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА. НЕ ЗАБУДЬТЕ ДОКУМЕНТЫ. Табличка стояла на деревянной подставке.

Он открыл дверь, почувствовал одуряющий жар, исходивший от большой печки, и увидел полицейского за столом. На полицейском была расстегнутая лыжная куртка с капюшоном. Перед ним на столе валялись бумаги, тут же стоял прибор для проверки зрения.

Полицейский поднял глаза на Джонни, и у того потянуло низ живота.

— Чем могу быть полезен, сэр?

Джонни показал на фотоаппарат, висевший у него через плечо.

— Да вот, думал осмотреться,— сказал он.— Я от журнала «Янки». Мы делаем разворот об общественных зданиях в Мэне, Нью-Гэмпшире и Вермонте. С фотографиями, сами понимаете.

— Валяйте,— сказал полицейский.— Моя жена читает «Янки». А меня от него в сон клонит.

Джонни улыбнулся.

— Архитектура Новой Англии отличается известной... мрачностью.

— Мрачностью,— повторил полицейский, глядя на Джонни с некоторым сомнением, но тут же уткнулся в свои бумаги.— Следующий, пожалуйста.

Какой-то молодой человек подошел к столу и протянул полицейскому экзаменационный лист. Тот взял его и сказал:

— Смотрите, пожалуйста, в этот глазок и называйте дорожные знаки и сигналы, которые я вам буду показывать.

Молодой человек прилип к глазку. Полицейский положил перед собой таблицу условных знаков. Джонни отошел на несколько шагов и нацелил объектив на трибуну, находившуюся в конце центрального прохода.

— Знак «стоп»,— говорил за его спиной молодой человек.— А это разрешающий... это предупреждающий... нет правого поворота... левого...

Он не ожидал увидеть здесь полицейского. Он даже не удосужился купить пленку для фотоаппарата, который взял для отвода глаз. Но отступать поздно. Сегодня пятница, завтра, если не произойдет ничего неожиданного, Стилсон будет здесь. Будет отвечать на вопросы и выслушивать предложения добропорядочных граждан города Джэксона. С ним будет целая свита. Два-три помощника, два-три консультанта... и еще несколько молодых людей в приличных костюмах или спортивных пиджаках — те, кто еще недавно носил джинсы и гонял на мотоциклах. Грег Стилсон по-прежнему свято верил в телохранителей. В Тримбулле они разгуливали с обрубками бильярдных киев. Теперь у них, наверное, пистолеты. Трудно ли члену конгресса добиться разрешения вооружить свою охрану?

Джонни полагал, что нетрудно. Оставалось рассчитывать на удачу — что ж, он постарается использовать любой шанс. Надо осмотреть помещение и решить, убирать ли Стилсона здесь или ждать в машине на автостоянке, с опущенным стеклом и винтовкой между колен.

Итак, ты здесь. Изучаешь место будущего преступления, а в десяти шагах полицейский принимает экзамен на водительские права.

Слева висела доска объявлений, и Джонни навел на нее незаряженный аппарат... господи, почему он не потратил еще две минуты, чтобы купить пленку? Доска пестрела всякими объявлениями: продажа консервированных бобов, предстоящая школьная премьера, регистрация собак и, само собой, еще кое-что о Греге. На стандартной карточке было написано, что председателю городского управления Джэксона требуется стенографистка; Джонни сделал вид, будто содержание карточки чрезвычайно его заинтересовало, а в это время мысли завертелись с удвоенной скоростью.

Конечно, если Джэксон отпадет или хотя бы окажется под вопросом, можно предпринять новую попытку через неделю, когда то же самое будет происходить в Апсоне. Или через две недели, в Тримбулле. Или через три. Или никогда.

Нет, все должно решиться в эту неделю. Точнее — завтра.

Он «сфотографировал» большую печь в углу и взглянул наверх. Там был балкон. Даже не балкон, а галерея с перилами по пояс, сработанными из широких, выкрашенных белой краской планок с прорезями в виде ромбов и завитушек. Что ж, за такими перилами вполне можно укрыться и наблюдать в прорезь. А в нужный момент встать и...

— Какая у вас камера?

Джонни обернулся в полной уверенности, что это полицейский. Сейчас он попросит показать ему фотоаппарат... незаряженный... потом захочет посмотреть его удостоверение личности... а потом с ним будут говорить в другом месте.

Но это был не полицейский. Это был молодой человек, который только что проходил тест на водительские права. Лет двадцати двух, длинноволосый, с приятным открытым взглядом, в замшевом пиджаке и вытертых джинсах.

— «Никон»,— сказал Джонни.

— Отличная штука. Фотокамеры — моя страсть. Давно работаете для «Янки»?

— Я... э-э... свободный художник,— сказал Джонни.— Иногда делаю кое-что для них, иногда для «Кантри джорнэл», иногда для «Даун-ист».

— А выше рангом? «Пипл» или «Лайф»?

— Нет. Пока, во всяком случае.

— Какую вы поставили диафрагму?

Диафрагма! Это что еще за штуковина такая?

Джонни пожал плечами.

— Я, знаете, все больше на слух...

— На глаз, что ли?— улыбнулся молодой человек.

— Ну да, на глаз.— *Сгинь, бога ради, сгинь!*

— Я тоже мечтаю быть свободным художником,— сказал молодой человек и ухмыльнулся.— Моя голубая мечта — снять что-нибудь этакое, вроде водружения флага на Иво Джима [1].

— Я слышал, там все было срепетировано,— заметил Джонни.

— Возможно, возможно. Но это — классика. Или, скажем, первый снимок посадки НЛО, а? Здорово было бы. Кстати, у меня тут с собой целый портфель фотографий. Вам кто заказывает работу в «Янки»?

Джонни взмок.

---

[1] Японский остров, захваченный американцами в 1945 году.

— Вообще-то они только сейчас ко мне обратились,— сказал он.— Просто я...

— Мистер Клоусон, подойдите,— послышался раздраженный голос полицейского.— Просмотрим вместе ваши ответы.

— О, начальник зовет,— сказал Клоусон.— Я сейчас.— Он поспешил к столу экзаменатора, и Джонни перевел дух. Надо было убираться, и немедленно.

Он еще два-три раза «щелкнул», чтобы его уход не выглядел совсем уж бегством, но едва ли видел что-либо в объектив. Затем он ушел.

Клоусону, молодому человеку в замшевом пиджаке, было не до Джонни. Судя по всему, он не справился с письменным заданием и сейчас яростно доказывал что-то полицейскому, но тот лишь качал головой.

Джонни ненадолго задержался в вестибюле. Налево был гардероб. Направо закрытая дверь. Он повернул ручку — дверь была не заперта. Узкая лестница уходила наверх в темноту. Там, должно быть, служебные помещения. И галерея.

Он снял номер в ночь на субботу в маленькой уютной гостинице «Джэксон Хаус» на главной улице. Гостиницу основательно переоборудовали, и это стоило, надо думать, немалых денег, но владельцы, по-видимому, считали, что она себя окупит благодаря новому лыжному курорту. Увы, курорт прогорел, и теперь маленькая уютная гостиница едва сводила концы с концами. В четыре часа утра Джонни вышел из номера с «дипломатом» в левой руке; ночной портье клевал носом над чашкой кофе.

Джонни почти не спал, только после полуночи задремал ненадолго. Ему приснился сон. 1970 год. Ярмарка. Они с Сэйрой стоят перед рулеткой, и вновь это ощущение сумасшедшего, безграничного могущества. И запах плавящейся резины.

«А ну-ка,— раздался у него за спиной тихий голос.— Хотел бы я посмотреть, как вздрючат этого типа». Он обернулся и увидел Фрэнка Додда в черном прорезиненном плаще, с широченным — во всю шею, от уха до уха — разрезом вроде кровавого оскала, с жутковатым блеском в остекленевших глазах. Он испуганно отвернулся к рулетке — но теперь за крупье был Грег Стилсон в своей желтой каске, лихо сдвинутой на затылок, с многозначительной улыбочкой, адресованной Джонни. «Эй-эй-эй,— пропел Стилсон, и голос его звучал утробно, гулко, зловеще.— Ставьте куда хотите. Что скажешь, дружище? Играем по-крупному?»

Джонни был не прочь сыграть по-крупному. Стилсон запустил рулетку, и вдруг внешнее поле стало на глазах зеленым. Каждая цифра превратилась в двойное зеро. Куда ни поставь — выигрывал хозяин.

Он вздрогнул и проснулся. И до четырех сидел, тупо глядя в темноту сквозь заиндевелые стекла. Головная боль, терзавшая его с момента приезда в Джэксон, отпустила, он чувствовал слабость, но зато пришло спокойствие. Он сидел, сложив руки на коленях. Он не думал о Греге Стилсоне, он думал о прошлом. Вспоминал, как мать заклеивала ему пластырем ссадину на колене; как собака порвала сзади смешное летнее платье бабушки Нелли и как он хохотал, пока Вера не дала ему затрещину, оцарапав лоб обручальным кольцом с камешком; как отец учил его наживлять крючок, приговаривая: *Червям не больно, Джонни... по крайней мере мне так кажется.* Он вспоминал, как отец подарил ему, семилетнему, перочинный нож на рождество и очень серьезно сказал: *Я тебе доверяю, Джонни.* Все эти воспоминания нахлынули разом.

...Он шагнул в пробирающий до костей утренний холод, и его ботинки заскрипели по дорожке, проложенной в глубоком снегу. Изо

рта вырывался пар. Луна зашла, зато звезд на черном небе было пропасть сколько. Господни сокровища, называла их Вера. Перед тобой, Джонни, господни сокровища.

Он прошел несколько кварталов по главной улице и, остановившись перед крошечной почтой, выудил письма из кармана пальто. Письма отцу, Сэйре, Сэму Вейзаку, Баннерману. Зажав «дипломат» между ног, он открыл почтовый ящик, стоявший перед аккуратным кирпичным строеньицем, и после недолгого колебания бросил в щель письма. Он слышал, как они ударились о дно — без сомнения, первое почтовое отправление города Джэксона,— и с этим звуком возникло смутное чувство наступившей развязки. Письма отправлены, обратной дороги нет.

Он подхватил «дипломат» и двинулся дальше. Снег скрипел под ногами. Большой термометр над входом в банк Гранитного штата[1] показывал минус три, в воздухе были разлиты тишина и покой, какие бывают только в такие вот морозные утра в Нью-Гэмпшире. Ничто не шелохнется. Дорога пустынна. Ветровые стекла припаркованных автомашин незрячи из-за снежной катаракты. Темные окна, закрытые ставни. Все казалось Джонни каким-то зловещим и в то же время святым. Он отогнал эту мысль. Не на святое дело шел он.

Он пересек Джаспер-стрит, и перед ним выросло здание общественного центра, белое и изящное в своей строгости среди сугробов посверкивающего снега.

Что ты будешь делать, умник, если дверь заперта?

Ничего, найдет способ преодолеть этот барьер. Джонни огляделся по сторонам — вокруг ни души. Да, если бы сегодня перед жителями города держал речь президент, все было бы, разумеется, иначе. Здание было бы оцеплено еще с вечера и охранялось изнутри. Но ждали всего лишь конгрессмена, одного из четырех сотен, невелика шишка.

Джонни поднялся по ступенькам и нажал на ручку. Она легко повернулась. Джонни шагнул в холодный вестибюль и плотно прикрыл за собой дверь. Головная боль возвращалась, пульсируя в такт ровным гулким ударам сердца. Он поставил «дипломат» на пол и стал массировать виски пальцами в перчатках.

Вдруг раздался басовитый скрип. Дверь гардероба медленно отворилась, и что-то белое начало выпадать из тьмы прямо на него.

Джонни едва не вскрикнул. На мгновение ему показалось, что из чулана вываливается труп, как в фильме ужасов. Но это была всего лишь табличка с надписью: НЕ ЗАБУДЬТЕ ДОКУМЕНТЫ.

Он положил табличку на место и направился к двери, ведущей на лестницу.

Сейчас она была заперта.

Он нагнулся, чтобы получше рассмотреть замок в тусклом молочном свете уличного фонаря, просачивавшемся в окно. Это был обыкновенный пружинный замок, и Джонни подумал, что его, наверное, можно открыть крючком от вешалки. Он принес вешалку из гардероба и просунул крюк в зазор между дверью и косяком. Он подвел к замку крюк и поводил им. Отчаянно стучало в висках. Наконец ему удалось прижать язычок, замок щелкнул, и дверь открылась. Он взял «дипломат» и вошел, держа вешалку в руке. Закрыл за собой дверь и услышал, как замок защелкнулся. Он стал подниматься по узкой лестнице, которая под ним скрипела и стонала.

Наверху обнаружился короткий коридор с дверями по обе стороны. Он миновал ПРЕДСЕДАТЕЛЯ и ЧЛЕНОВ ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ, НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА и МУЖСКОЙ ТУАЛЕТ, ПОПЕЧИТЕЛЯ БЕДНЫХ и ДАМСКИЙ ТУАЛЕТ.

В конце коридора была дверь без таблички. Дверь была не за-

[1] Общепринятое название Нью-Гэмпшира.

перта, и он вышел на галерею; под ним лежал зал в диковинной сетке теней. Он затворил за собой дверь и вздрогнул, услышав, как прокатилось эхо в пустом зале. Он взял вправо, затем влево; каждый его шаг отзывался таким же гулким эхом. Он прошел вдоль правой стены галереи, на высоте примерно двадцати пяти футов, и остановился над печкой, как раз против сцены, на которую часов через пять взойдет Стилсон.

Он сел на пол по-турецки и перевел дух. Несколько раз глубоко вдохнул, чтобы успокоить головную боль. Печка не топилась, и он чувствовал, как холод обволакивает его, пробирает насквозь. Предвестие гробовых пелен.

Когда немного отпустило, он нажал на замочки «дипломата». Двойной щелчок отозвался эхом, как ранее отозвались шаги; сейчас это напоминало звук взводимых курков.

Правосудие по-американски, подумал он ни с того ни с сего. Так говорил прокурор, когда присяжные признали виновной Клодину Лонге, застрелившую своего любовника. *Теперь она поняла, что значит правосудие по-американски.*

Джонни заглянул в «дипломат» и в растерянности заморгал — у него стало двоиться в глазах. Затем это прошло. И вдруг перед его мысленным взором возникла картина. Картина очень далекого прошлого; похоже на старую фотографию, сделанную сепией. На галерее толпятся мужчины, курят сигары, рассказывают анекдоты в ожидании начала собрания. Какой это год? 1920-й? 1902-й? Во всем этом было что-то жутковатое, и ему стало не по себе. Один из мужчин говорит о ценах на виски и ковыряет в носу серебряной зубочисткой, а

(а два года назад он отравил свою жену)

Джонни поежился. Картина, впрочем, не стоит особого внимания. Мужчина давно уже мертв.

Из «дипломата» поблескивал ствол винтовки.

На войне за это представляют к награде, пронеслось в голове.

Он начал собирать винтовку. Каждому щелчку вторило эхо, коротко и внушительно, напоминая все тот же звук взводимого курка.

Он зарядил «ремингтон» пятью патронами.

Положил винтовку на колени.

И стал ждать.

Медленно рассветало. Джонни ненадолго забылся, но было слишком холодно, чтобы заснуть по-настоящему. Он видел какие-то короткие, обрывистые сны.

Окончательно он очнулся, когда часы показывали начало восьмого. Дверь внизу с шумом отворилась, и он чуть было не вскрикнул: *Кто там?*

Это был сторож. Джонни приник глазом к ромбовидной прорези в балюстраде и увидел крупного мужчину в бушлате. Он шел по центральному проходу с вязанкой дров, мурлыча «Долину Красной реки». С грохотом вывалив дрова в деревянный ящик, он исчез из поля зрения. Секундой позже Джонни услышал высокий дребезжащий звук открываемой печной заслонки.

Вдруг Джонни подумал о том, что при каждом выдохе изо рта у него вырываются облачка пара. А если сторож подымет голову? Заметит он что-нибудь?

Он попробовал задержать дыхание, но от этого усилилась головная боль, и опять все стало раздваиваться перед глазами.

Донесся хруст сминаемой бумаги, чиркнула спичка. В стылом воздухе слабо запахло серой. Сторож продолжал мурлыкать «Долину Красной реки» и вдруг запел, громко и фальшиво: «Ты долину навек покидаешь... не забудем улыбку твою-ууу-уу...»

Послышался другой звук — потрескивание. Занялся огонь.

— Сейчас мы тебя, гад ползучий,— сказал сторож под самой галереей, и печная дверца захлопнулась. Джонни, точно кляпом, зажал рот обеими руками, чтобы не сыграть шутку, которая окажется для него последней. Он явственно представил: вот он встает во весь рост на галерее, тощий и белый, как всякое уважающее себя привидение, раскидывает руки, словно крылья, выставив пальцы-когти, и говорит замогильным голосом: «Это мы сейчас тебя, гад ползучий!»

Джонни подавил смешок. Голову распирало, она была точно гигантский помидор, заполненный горячей, пульсирующей кровью. Перед глазами все плясало и расплывалось. Неудержимо потянуло бежать от человека, ковыряющего в носу серебряной зубочисткой, но он боялся пошевелиться. Господи, а если захочется чихнуть?

Внезапно чудовищный пронзительный вой прочесся по залу, впился ему в уши тонкими иглами, потом полез вверх, вибрируя и отдаваясь в голове. Сейчас он закричит...

Вой оборвался.

— Вот гад,— укоризненно сказал сторож.

Джонни глянул в прорезь и увидел, что сторож стоит на сцене и вертит микрофон. Шнур от микрофона змеей тянулся к небольшому портативному усилителю. Сторож сошел по ступенькам со сцены, перенес усилитель подальше от микрофона и покрутил ручки на верхней панели. Вернувшись на сцену, он еще раз включил микрофон. Тот снова зафонил, но уже слабее, и понемногу затих. Джонни прижал ладони ко лбу и начал его массировать.

Сторож постучал пальцем по микрофону, и пустое помещение наполнилось звуками. Словно кто-то забарабанил по крышке гроба. И тот же фальшивый голос, усиленный до чудовищного рева, обрушился на голову Джонни: «ТЫ ДОЛИ-И-И-НУУУ НАВЕК ПОКИДАЕШЬ...»

Прекрати, хотелось закричать Джонни. *Умоляю, прекрати, я схожу с ума, прекрати же, слышишь?*

Пение завершил громоподобный щелчок, и сторож сказал своим обычным голосом: «Вот так мы тебя, гад».

Он опять исчез из поля зрения Джонни. Послышался треск — разорвалась бумага, сухой щелчок — лопнул шпагат. И вот сторож снова появился в поле зрения, насвистывая, с целой кипой буклетов в руках. Он начал раскладывать их через небольшие промежутки на скамьях.

Покончив с этим, сторож застегнул бушлат и покинул зал. Дверь гулко хлопнула за ним. Джонни посмотрел на часы. Семь сорок пять. Зал понемногу прогревался. Он сидел и ждал. Голова по-прежнему разламывалась, но, как ни странно, переносить боль было теперь куда легче. Ничего, подумал Джонни, недолго ей мучить меня.

Ровно в девять дверь распахнулась, и он мгновенно вышел из полудремы. Пальцы непроизвольно стиснули винтовку, потом разжались. Он приник к ромбовидному глазку. Появились четверо. Среди них сторож в своем бушлате, с поднятым воротником. Остальные трое в расстегнутых пальто. Сердце у Джонни учащенно забилось. Один из прибывших был Санни Эллиман — волосы коротко подстрижены, и прическа модная, но в зеленых глазах все тот же блеск.

— Готово? — спросил он.

— Можете проверить,— ответил сторож.

— Не обижайся, папаша,— сказал второй. Они направились к передним рядам. Один из них, судя по щелчкам, включил и выключил усилитель, проверяя его.

— Можно подумать, что прямо императора встречаем,— проворчал сторож.

— Вот именно,— ввернул третий, чей голос показался Джонни знакомым,— наверное, слышал его на митинге в том же Тримбулле.— В твои годы, папаша, пора бы понимать такие простые вещи.

— Наверху проверил? — спросил Эллиман сторожа. Джонни похолодел.

— Дверь на лестницу заперта,— ответил сторож.— Как обычно. Я ее подергал.

Джонни мысленно поблагодарил дверной замок.

— Должен был посмотреть,— сказал Эллиман.

Сторож даже крякнул в сердцах.

— Да что вы, в самом деле,— сказал он.— Кого боитесь-то? Привидения?

— Ладно тебе, Санни,— опять вступил тот, чей голос показался Джонни знакомым.— Нет там никого. Если рванем в кафе на углу, еще успеем глотнуть кофе.

— Разве это кофе,— сказал Санни.— Бурда, а не кофе. Ну-ка, Мучи, сбегай наверх и глянь, все ли там тихо. Порядок есть порядок.

Джонни облизал губы и крепче сжал винтовку. Он окинул взглядом, из конца в конец, узкую галерею. Справа она упиралась в глухую стену, слева уходила к служебным помещениям. Туда кинуться или сюда — невелика разница. Стоит ему пошевелиться, и они услышат. Пустой зал — тот же усилитель. Он в ловушке.

Внизу послышались шаги. Открылась и закрылась дверь на лестницу. Джонни ждал, оцепеневший и беспомощный. Прямо под ним разговаривали те двое и сторож, но он не понимал ни слова. Джонни поворачивал голову медленно, как робот; он уставился в дальний конец галереи, ожидая, когда там появится тот, кого Санни Эллиман назвал Мучи. Скучающее лицо Мучи мгновенно перекосит от неожиданности, и он заорет: *Эй, Санни, тут какой-то тип!*

Он слышал приглушенные шаги Мучи, поднимавшегося по лестнице. Надо что-то придумать, что угодно. Заклинило. Сейчас его обнаружат, вот-вот, и как быть — неизвестно. Что бы он ни сделал, все полетит к чертям.

Открывались и закрывались двери, с каждым разом все явственнее. Капля пота упала со лба Джонни и оставила темное пятнышко на джинсах. Он вспоминал каждую из дверей, мимо которых проходил. Мучи уже заглянул к ПРЕДСЕДАТЕЛЮ, и к ЧЛЕНАМ ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ, и к НАЛОГОВОМУ ИНСПЕКТОРУ. Вот он открывает дверь МУЖСКОГО ТУАЛЕТА, вот заглядывает в кабинет ПОПЕЧИТЕЛЯ БЕДНЫХ, а сейчас в ДАМСКИЙ ТУАЛЕТ. Следующая дверь ведет на галерею.

Дверь открылась.

Мучи сделал два шага к балюстраде.

— Ну что, Санни? Доволен?

— Как там? Все тихо?

— Ага, как в гробу у тещи,— откликнулся Мучи, и внизу загоготали.

— Тогда спускайся и пошли кофейку попьем,— сказал третий.

Невероятно, но пронесло. Захлопнулась дверь. Послышались удаляющиеся шаги — сначала в коридоре, затем на лестнице.

Джонни обмяк, у него поплыло перед глазами, на мгновение предметы слились в сплошное серое пятно. Стук входной двери, означавший, что они ушли, вернул его к действительности.

— Вот стервецы,— сказал внизу привратник свое веское слово. После чего тоже ушел, и следующие минут двадцать Джонни провел в одиночестве.

Около половины десятого зал постепенно начал заполняться. Сначала вошли три дамы — пожилые, в черных вечерних платьях;

они трещали как сороки. Дамы выбрали места поближе к печке, где он их почти не видел, и взяли с сидений глянцевитые буклеты, состоявшие, похоже, из одних фотографий Грега Стилсона.

— Я его просто обожаю,— сказала одна.— Я уже три раза брала у него автограф и сегодня возьму.

Больше о Греге Стилсоне речи не было. Дамы переключились на предстоящую воскресную службу в методистской церкви.

Джонни, сидевший над печкой, из сосульки превратился в размягченный воск. Во время затишья между уходом стилсоновской охраны и появлением первых жителей города Джэксона он сбросил не только куртку, но и рубашку. Он то и дело вытирал платком пот. Опять начал дергаться больной глаз, все виделось сквозь красноватую пелену.

Входная дверь отворилась, послышался дробный стук оббиваемой обуви, а затем четверо мужчин в клетчатых пиджаках прошли через весь зал и уселись в первом ряду. Один из них тут же начал рассказывать французский анекдот.

Появилась молодая женщина лет двадцати трех с сынишкой в голубом спортивном комбинезоне с ярко-желтой отделкой. Мальчику на вид было года четыре. Он сразу спросил, можно ли ему поговорить в микрофон.

— Нельзя, малыш,— сказала женщина, и они сели позади мужчин. Мальчик заколотил ногами по передней скамье, и один из мужчин полуобернулся.

— Перестань,— сказала женщина.

Без четверти десять. Дверь беспрерывно открывалась и закрывалась, впуская самых разных людей — мужчин и женщин, старых и молодых. Зал гудел, воздух был пронизан ожиданием. Они пришли сюда не за тем, чтобы забрасывать вопросами законного представителя в конгрессе; они жаждали увидеть, наконец, в своем городишке настоящую звезду. Джонни знал, что на такие встречи с «нашими кандидатами» и «нашими конгрессменами», как правило, никто не приходит, за исключением горстки фанатиков. Во время избирательной кампании 1976 года дебаты в штате Мэн между Биллом Коэном и его противником Лейтоном Куни собрали, не считая репортеров, всего двадцать шесть человек. Все эти тоскливые мероприятия неизменно проводились с большой помпой, чтоб было чем козырнуть на очередных выборах, а ведь для любой такой встречи хватило бы места в обычной кладовке.

Но здесь к десяти часам зал был набит, и еще человек тридцать стояли сзади. Всякий раз, когда дверь открывалась, Джонни крепче сжимал винтовку. Он до сих пор не был уверен, что сумеет осуществить задуманное, хотя на карту поставлено все.

Десять ноль пять. Десять десять. Джонни с невольным облегчением подумал, что Стилсон где-то задержался, а может, и вовсе не придет.

Но вот дверь распахнулась, и раздался зычный голос:

— Эй! Ну как поживает город Джэксон, штат Нью-Гэмпшир?

По рядам пробежала волна оживления. Кто-то завопил:

— Грег! Как жизнь?

— Лучше некуда,— отозвался Стилсон.— Ты-то как, шельма?

Всплеск аплодисментов сменился одобрительным гулом.

— Эй, будет вам,— крикнул Грег, перекрывая гул. Он быстро шел к сцене, пожимая на ходу руки.

Джонни наблюдал за ним в прорезь балюстрады. На Стилсоне было тяжелое пальто из невыделанной кожи с овчинным воротником, а вместо привычной каски — вязаная лыжная шапочка с ярко-красной кисточкой. В конце прохода он остановился и помахал репортерам. Засверкали блицы, и снова грохнули аплодисменты, да такие, что задрожали перекрытия...

И Джонни Смит понял: сейчас или никогда.

Ему вдруг вспомнилось с ужасающей ясностью все, что он узнал о Греге Стилсоне тогда, в Тримбулле. В его истерзанном мозгу раздался тупой деревянный звук — словно произошло какое-то чудовищное столкновение. Быть может, так возвещает о себе сама судьба. Проще всего отложить до следующего раза, и пусть себе Стилсон говорит и говорит. Проще всего позволить ему уйти, а самому сидеть, обхватив голову руками, и ждать, когда рассосется толпа, когда вернется сторож, чтобы снять динамики и вымести мусор, и, пока все это происходит, уговаривать себя, что через неделю будет другой город.

Час пробил — судьба каждого человека на земле зависела от того, что произойдет в этом захолустье.

Глухой стук в голове... как будто столкнулись полюса судьбы.

Стилсон поднимался по ступенькам к трибуне. Он был весь на виду. Трое в расстегнутых пальто стояли у сцены, прислонившись к стене.

Джонни встал.

Все происходило словно в замедленной съемке.

Ноги свело судорогой от долгого сидения. Суставы затрещали, как отсыревшая петарда. Время, казалось, застыло, аплодисменты гремели, хотя уже поворачивались головы и вытягивались шеи, и кто-то вскрикнул, а аплодисменты все гремели и гремели, кто-то вскрикнул, потому что на галерее стоял человек, и в руках у него была винтовка, и все много раз видели это на экране телевизора и сейчас узнавали классическую ситуацию. Она, по-своему, была такой же неотъемлемой частью американской жизни, как удивительный мир Диснея. Здесь политический деятель, а там, наверху, человек, вооруженный винтовкой.

Грег Стилсон задрал голову, на толстой шее обозначились складки. Подпрыгнула красная кисточка.

Джонни вскинул винтовку. Приклад начал было гулять, но потом уткнулся в выемку плечевого сустава. Вдруг вспомнилось, как он мальчишкой пошел с отцом на охоту. Они бродили в поисках дичи; наконец Джонни увидел куропатку, увидел и — не смог нажать на спуск: рука задрожала. То была его постыдная тайна, и он никогда и никому об этом не рассказывал.

Еще вскрик. Пожилая дама зажала рот рукой; Джонни разглядел искусственные ягодки на широких полях ее черной шляпы. К нему поворачивались лица — большие белые зеро. Разинутые рты — маленькие черные зеро. Малыш в спортивном комбинезончике показывал на него пальцем. Мать пыталась заслонить сына. Внезапно Стилсон оказался точно на линии прицела, и Джонни сообразил сбросить предохранитель. У противоположной стены мужчины в расстегнутых пальто что-то вытаскивали из внутренних карманов, и Санни Эллиман, сверкая зелеными глазами, кричал: *Ложись! Грег, ЛОЖИСЬ!*

Но Стилсон все смотрел на галерею, второй раз их взгляды сошлись — они понимали друг друга без слов, и когда Джонни спустил курок, Стилсон успел лишь пригнуться. Грохот выстрела прокатился по залу, пулей срезало краешек сцены, обнажилось светлое дерево. Полетели щепки. Одна угодила в микрофон — опять раздался чудовищный вой и неожиданно перешел в низкое гортанное гудение.

Джонни дослал патрон и опять нажал на спуск. Вторая пуля продырявила пыльный ковер, покрывавший помост.

Толпа заметалась, как обезумевшее стадо. Люди бросились в центральный проход. Стоявшие у дверей сразу выскочили из зала, остальные с криками и проклятиями пытались пробиться наружу.

С другого конца зала тоже раздались сухие щелчки выстрелов, перила перед носом у Джонни разнесло в щепы. Секундой позже что-то взвизгнуло у самого уха. Затем невидимый палец чиркнул по воротнику рубашки. Трое у дальней стены стреляли из пистолетов. Джонни, возвышающийся на галерее, представлял собой отличную мишень — впрочем, подумалось Джонни, вряд ли они колебались бы, будь он в окружении ни в чем не повинных людей.

Пожилая дама, из тех трех, вцепилась в Мучи. Она всхлипывала, давясь каким-то вопросом. Он отшвырнул ее и зажал пистолет обеими руками. В зале запахло пороховым дымом. Прошло около двадцати секунд с момента, как Джонни встал.

— *Ложись! Ложись, Грег!*

Стилсон стоял, пригнувшись, на краю помоста и исподлобья смотрел наверх. Джонни прицелился, на мгновение Стилсон оказался у него на мушке. Но тут его шею зацепило, он отшатнулся, и его собственная пуля, уйдя резко вверх, попала в окно напротив. Звонким дождем посыпались осколки стекла. Снизу донесся визг. Плечо и грудь Джонни заливала кровь.

Да, классно ты его убиваешь, пронзила отчаянная мысль. Он снова метнулся к перилам, дослал патрон, вскинул винтовку к плечу. Наконец Стилсон стряхнул оцепенение и рванулся по ступенькам в зал, бросив взгляд на Джонни.

Еще одна пуля просвистела у виска. *Весь в крови, как заколотая свинья,* мелькнуло в голове. *Давай же кончай это дело.*

Пробку в дверях выбило — люди повалили наружу. Из дула пистолета вырвался дымок, и тот же невидимый палец, что оцарапал шею, полоснул теперь по щеке. Наплевать. На все наплевать, кроме Стилсона. Он снова прицелился.

Ну, хоть на этот раз...

Стилсон двигался с удивительной для его комплекции быстротой. Темноволосая молодая женщина, которую заприметил Джонни, была в этот момент на полпути к выходу; загораживая плачущего малыша, она крепко прижимала его к груди. То, что в следующую секунду сделал Стилсон, ошеломило Джонни — он едва не уронил винтовку. Стилсон вырвал мальчика из рук матери и, держа его перед собой, повернулся к галерее. Теперь уже на мушке был не Грег Стилсон, а маленькая извивающаяся фигурка в

(*дымка голубая дымка желтые полосы тигриные полосы*)

голубом спортивном комбинезоне с ярко-желтыми трубчатыми полосами.

У Джонни от изумления открылся рот. Да, перед ним Стилсон. Тигр. *Только сейчас его заволокла дымка.*

Что это значит?— крикнул Джонни, но с губ его не слетело ни звука.

Пронзительно закричала мать — где-то Джонни уже слышал все это. *Томми! Отдай мне его! ТОММИ! ОТДАЙ МНЕ ЕГО, НЕГОДЯЙ!*

Голова у Джонни угрожающе раздулась, вот-вот лопнет. Краски начали меркнуть. Единственное цветовое пятно осталось в прорези прицела, а прицел упирался в грудь голубому комбинезону.

Давай же, ради всего святого, не то он уйдет...

И тут — возможно, у него просто помутилось в глазах — голубой комбинезон начал растекаться, уходить за красноватую пелену, застилавшую ему глаза, а желтые полосы вытянулись, расползлись, поглотили все вокруг.

(за дымкой, да, он за дымкой, но что это значит? значит ли это, что у меня руки развязаны или что он вне досягаемости? что все это)

Где-то внизу вспыхнул огонь и тут же погас. *Блиц,* мелькнуло в затуманенном мозгу Джонни.

Стилсон, оттолкнув женщину, пятился к дверям, в его сузившихся глазах был только холодный расчет. Он крепко держал извивающегося мальчугана за шею и ногу.

Не могу. О боже правый, прости меня, но я не могу.

Еще две пули достали его — одна, попав в грудь, отбросила к стене, откуда его, как пружиной, отшвырнуло обратно, другая вошла слева под ребра и развернула боком к балюстраде. Он смутно осознал, что выронил винтовку — та ударилась об пол галереи и разрядилась в стену. Ломая перила, Джонни полетел вниз. Зал дважды перевернулся перед его глазами, потом раздался оглушительный треск: он рухнул на скамейки, сломав при этом ноги и позвоночник.

Джонни хотелось закричать, но изо рта ударил фонтан крови. Он лежал среди обломков, а в голове проносилось: *Кончено. Я все запорол. Все насмарку.*

Его грубо схватили чьи-то руки и перевернули. Над ним стояли Эллиман, Мучи и тот, третий. Перевернул его Эллиман.

Подошедший Стилсон оттолкнул Мучи в сторону.

— Брось его,— сказал он резко.— Где сукин сын, который меня щелкнул? Разбейте аппарат.

Мучи и тот, третий, исчезли. Где-то рядом темноволосая женщина причитала: *...за малышом прятался, за малышом, я всем расскажу...*

— Заткни ей рот, Санни,— сказал Стилсон.

— Сделаем,— сказал Санни и отошел.

Стилсон стал на колени и навис над Джонни.

— Мы знакомы, приятель? Только не врать. Ты все равно не жилец.

— Знакомы,— прошептал Джонни.

— Тримбулл?

Джонни едва заметно кивнул.

Стилсон рывком встал, и тогда Джонни из последних сил потянулся и схватил его за щиколотку. Это длилось секунду, Стилсон легко высвободился. Но и секунды оказалось достаточно.

Все изменилось.

К нему приближались люди — он не видел лиц, только ноги. Но это уже не имело никакого значения. *Все изменилось.*

Из глаз потекли слезы. Прикоснувшись к Стилсону, он ощутил на этот раз пустоту. Как если бы коснулся отработанного аккумулятора. Упавшего дерева. Обезлюдевшего дома. Голых книжных полок. Бутылки из-под вина, в которую только свечи вставлять.

Все меркнет, отдаляется. Обступившие его ноги теряют контуры, расплываются. Он слышал возбужденные голоса, но уже не различал слов — лишь звуки. Угасая, они сливались в одну нежную высокую ноту.

Он скосил глаза и увидел коридор, из которого вышел когда-то давным-давно. Вышел из плаценты на яркий свет. Тогда еще жива была мать, и отец стоял рядом и звал его, пока Джонни к ним не прорвался. Сейчас пришло время вернуться — только и всего. Значит, надо вернуться.

Я своего добился. Каким-то образом добился. Не понимаю как, но добился.

Течение уносило его в сторону этого коридора с хромированными стенами, и он не знал, есть что-нибудь в конце коридора или нет,— неважно, время даст ответ. Угасла нежная нота. Померк свет, сделался туманным. Но он еще был он — мыслящее существо, Джонни Смит.

Войди в коридор, думал он. *Ну же.*

Он думал о том, что, оказавшись в коридоре, он сможет идти.

Вести из мертвой зоны

Портсмут, Нью-Гэмпшир
23 января 1979 г.

Дорогой папа,

это письмо потребует всех моих сил, так что постараюсь быть кратким. Когда ты его получишь, меня скорее всего не будет в живых. Произошло ужасное, и я думаю, все началось задолго до автокатастрофы и комы. Ты в курсе моей экстрасенсорной эпопеи и, возможно, помнишь, как мама клялась перед смертью, что это дело рук господних, что господь возложил на меня некую миссию. Она просила меня не бежать от этой миссии, и я пообещал — не столько всерьез, сколько желая ее успокоить. Смешно сказать, но она, похоже, была по-своему права. Я по-прежнему не очень-то верю в Бога как в реальное Существо, которое все решает за нас и дает нам задания, словно бойскаутам, зарабатывающим почетные значки в Великом Походе под названием Жизнь. Однако я не верю и в то, что произошедшее со мной — всего лишь слепой случай.

Летом 1976 года, папа, я отправился на предвыборное выступление Грега Стилсона в Тримбулле, входящем в третий избирательный округ Нью-Гэмпшира. Если помнишь, он тогда впервые выставил свою кандидатуру. По пути к трибуне он пожал множество рук, в том числе мою. В дальнейшее тебе будет трудновато поверить, хотя ты имел возможность убедиться в моем даре. То было одно из моих «озарений», но уже не просто озарение, папа, то было видение, в библейском смысле слова, или что-то вроде. Удивительное дело, оно было не столь отчетливым, как некоторые предыдущие «прозрения»,— впервые все затягивал странный голубоватый флер,— но необыкновенно сильным. Я увидел Грега Стилсона президентом Соединенных Штатов. В каком году, сказать затрудняюсь, во всяком случае он изрядно облысел. Пожалуй, лет через четырнадцать, от силы восемнадцать. Мой дар, как ты знаешь, состоит в том, чтобы видеть, а не истолковывать, а тогда картину застилала эта странная голубая дымка, однако я разглядел достаточно. Если Стилсон станет президентом, международная ситуация еще более ухудшится, а она и без того скверная. Если Стилсон станет президентом, он в конце концов развяжет ядерную войну. Думаю, первой вспыхнет Южная Африка. И еще я думаю, что в этой короткой кровопролитной войне дело не ограничится ракетной пикировкой между двумя-тремя державами — вовлечено будет стран двадцать, не считая террористических групп.

Папа, я понимаю, это похоже на бред. Мне самому это кажется бредом. Однако у меня нет ни малейших сомнений — как ни крути, угроза страшна и неотвратима.

Ни ты, ни кто другой не знает, что я сбежал от Чатсвортов вовсе не из-за пожара в ресторане. Наверно, я бежал от Грега Стилсона и от своей миссии. Как Илия, укрывшийся в пещере, или Иона, оказавшийся во чреве кита. Понимаешь, я думал: поживем — увидим. Поживем и увидим, появятся ли реальные приметы этой чудовищной перспективы. Вероятно, я бы и по сей день ждал, если бы прошлой осенью головные боли не усилились, а тут еще эта история в дорожной бригаде, где я работал. Надо полагать, Кит Стрэнг, наш бригадир, припомнит обстоятельства...

Выдержка из свидетельских показаний, заслушанных так называемым «Стилсоновским комитетом» под председательством сенатора от штата Мэн Уильяма Коэна. Опрос ведет главный юрисконсульт

комитета Норман Д. Верайзер. Свидетель — Кит Стрэнг, проживающий по адресу: 1421, бульвар Дезерт, Финикс, штат Аризона.
Дата — 17 августа 1979 г.

Верайзер. В то время, если я не ошибаюсь, Джон Смит служил в управлении общественных работ города Финикса?
Стрэнг. Да, сэр.
В. Это было в начале декабря 1978 года.
С. Да, сэр.
В. Случилось ли что-нибудь примечательное 7 декабря? Что-нибудь относящееся к Джону Смиту?
С. Да, сэр. Еще как случилось.
В. Расскажите, пожалуйста, об этом комитету.
С. Мне надо было сходить в главный гараж, набрать оранжевой краски — две канистры по сорок галлонов. Мы ведь размечаем дороги. В тот день Джонни, то есть Джонни Смит, размечал Роузмонт авеню. Так вот, вернулся я примерно в четверть пятого, минут за сорок пять до конца рабочего дня, и тут ко мне подходит Герман Джоэллин, вы с ним уже беседовали, и говорит: «Ты бы, Кит, глянул, как там Джонни. Что-то с ним неладно. Я к нему обращаюсь, а он вроде не слышит. Чуть меня не задавил. Ты бы привел его в чувство». Так и сказал. Я спрашиваю: «А что с ним, Герми?» А он мне: «Глянь своими глазами, по-моему, этот тип немножечко того». Приезжаю я туда, и поначалу вижу — все в норме. А потом — бац!
В. Что же вы увидели?
С. На дороге?
В. Да.
С. Линия, гляжу, пошла вкось. Сначала чуть-чуть — там зигзаг, тут клякса... Короче, перестала быть прямой. А Джонни в нашей бригаде всегда считался лучшим разметчиком. Ну а дальше началось вообще не поймешь что. Всю дорогу разрисовал петлями и загогулинами. Кое-где даже несколько кругов на одном месте сделал. А ярдов сто и вовсе по обочине линию протянул.
В. И как вы поступили?
С. Я остановил его. То есть не сразу. Поравнялся с ним и давай кричать. Раз пять, наверное, крикнул, а он вроде и не слышит. Потом как развернется — и у меня на боку вот такая вмятина. А машина, между прочим, казенная. Тогда я начал сигналить и опять закричал, и на этот раз он, видно, услышал. Тормознул и смотрит на меня. Ты что же, спрашиваю, делаешь?
В. И что он ответил?
С. Он сказал «привет». И все. «Привет, Кит». Как будто все в ажуре.
В. И как вы отреагировали?
С. Я, признаться, сорвался. Прямо озверел. А Джонни озирается по сторонам и держится за борт, будто выпасть боится. Тут я вижу, что он совсем плох. Он всегда был худющий, а тут еще весь побелел, и рот у него... как бы сказать... вниз опустился. Сначала он даже не понимал, о чем ему толкую. Но потом обернулся и увидел, что творится с линией.
В. И что же он сказал?
С. Извинился. Потом... закачался, что ли, и прикрыл лицо рукой. Я спросил, что с ним, а он... понес какую-то чушь. Полную ахинею.
В. Мистер Стрэнг, комитет особенно интересует все, что говорил Смит — его слова могут многое прояснить. Постарайтесь поточнее вспомнить, что он сказал.
С. Сначала он сказал, что все в порядке, вот только пахнет паленой резиной. Мол, покрышки горят. На костре. Потом он говорит: «Аккумулятор взорвется, если вы его подключите». И еще что-то вроде: «Оба динамика на солнце. Так что деревья будут в сохранности». Точнее не вспомню. Я же говорю, чушь какая-то.

В. Что произошло дальше?
С. Он начал вываливаться. Я схватил его за плечо, и рука его — та, которой он прикрывал лицо,— упала. Я увидел, что правый глаз у него как будто кровью залит. И тут он потерял сознание.
В. Больше он ничего не сказал перед тем, как потерять сознание?
С. Сказал, сэр.
В. Что же?
С. Он сказал: «О Стилсоне, папа, подумаем после, сейчас он в мертвой зоне».
В. Вы точно помните? Он произнес именно эти слова?
С. Да, сэр. Я их никогда не забуду.

...очнулся я в ремонтной мастерской, в самом начале Роузмонту авеню. Кит сказал, чтобы я немедленно шел к врачу, иначе он не допустит меня к работе. Мне стало страшно, папа, но не из-за того, о чем подумал Кит. В общем, я сходил к невропатологу, которого рекомендовал мне Сэм Вейзак в своем письме в начале ноября. Видишь ли, я написал Сэму, что побаиваюсь водить машину, так как иногда у меня двоится в глазах. Сэм сразу же подтвердил, что симптомы очень тревожные, но не рискнул ставить диагноз на расстоянии и посоветовал обратиться к доктору Вэнну.

К Вэнну я пошел не сразу. Мозг может сыграть злую шутку с каждым, и я полагал, пока не произошел случай с дорожной разметкой, что эти симптомы — явление временное и все наладится. Видимо, я просто не хотел думать о неблагоприятном исходе. Но дорожная история оказалась последней каплей. Я пошел к врачу потому, что мне стало страшно. Не за себя — за всех.

Словом, я обратился к доктору Вэнну, он меня обследовал и выложил все начистоту. И выяснилось, что времени у меня меньше, чем я думал, поскольку...

Выдержка из свидетельских показаний, заслушанных так называемым «Стилсоновским комитетом» под председательством сенатора от штата Мэн Уильяма Коэна. Опрос ведет Норман Д. Верайзер, главный юрисконсульт комитета. Свидетель — доктор Квентин М. Вэнн, проживающий по адресу: 17, Паркленд-драйв, Финикс, штат Аризона.

Дата — 22 августа 1979 г.

Верайзер. Когда вы закончили обследования и поставили диагноз, вы пригласили Джона Смита?
Вэнн Да. Это был трудный разговор. Такие разговоры легкими не бывают.
В. Вы не могли бы вкратце рассказать, о чем у вас шла речь?
Вэнн. Пожалуй. Я полагаю, что в этих необычных обстоятельствах имею право нарушить врачебную тайну. Прежде всего я сказал Смиту, что случившееся вызвало у него сильное эмоциональное потрясение. Он подтвердил это. Правый глаз у него был очень красный из-за лопнувшего капилляра, хотя и наблюдалось некоторое улучшение. Позвольте мне объяснить на схеме... (Часть стенограммы опущена.)
В. Как на это реагировал Смит?
Вэнн. Он спросил меня о последней стадии. Это его слова — «последняя стадия». Должен сознаться, что его спокойствие и мужество произвели на меня впечатление.
В. И какой же представлялась вам последняя стадия?
Вэнн. Простите? Мне казалось, я внес достаточную ясность. У Джона Смита была прогрессирующая опухоль в теменной области головного мозга.

(Волнение в зале; короткий перерыв.)

В. Извините, доктор, за эту вынужденную паузу. Я бы хотел напомнить присутствующим, что у нас рабочее заседание комитета и

что идет расследование, а не программа ужасов. Прошу соблюдать порядок, в противном случае я прикажу очистить зал.
Вэнн. Я к вашим услугам, мистер Верайзер.
В. Благодарю вас, доктор. Не сообщите ли вы комитету, как Смит воспринял это известие?
Вэнн. Спокойно. Поразительно спокойно. Хотя и признался, что ему страшно. Думаю, он уже сам поставил себе диагноз, и этот диагноз совпал с моим. А потом спросил, сколько ему осталось жить.
В. И каков был ваш ответ?
Вэнн. Я сказал, что вопрос этот беспредметен, пока не определены дальнейшие шаги. Я сказал, что необходима операция. Хочу отметить, что тогда мне не было ничего известно о его коме и необыкновенном — почти сверхъестественном — выздоровлении.
В. Что же он ответил?
Вэнн. Что операции не будет. Спокойно, но твердо: никакой операции. Надеюсь, сказал я, вы передумаете — ведь, отказываясь от операции, вы подписываете себе смертный приговор.
В. Смит как-нибудь реагировал на это?
Вэнн. Он попросил меня уточнить, сколько он проживет без операции.
В. Вы сообщили ему свое мнение?
Вэнн. Да, в общих чертах. Я сказал, что процесс развития опухоли трудно прогнозировать и что у некоторых моих пациентов опухоль дремала и по два года,— правда, такие случаи нетипичны. Я сказал, что без операции он может реально рассчитывать на восемь месяцев, максимум на год и восемь месяцев.
В. И тем не менее он отказался от операции?
Вэнн. Да.
В. Не произошло ли что-нибудь необычное, когда Смит выходил из вашего кабинета?
Вэнн. Я бы сказал — более чем необычное.
В. Пожалуйста, расскажите обо всем комитету.
Вэнн. Я тронул Смита за плечо — думал задержать его на несколько минут. Не хотелось, как вы понимаете, сразу отпускать человека после таких слов. И когда я к нему прикоснулся, мне что-то передалось... словно током ударило, и в то же время было странное ощущение, будто он из меня высасывает, выкачивает... *вытягивает* что-то. Готов согласиться, это весьма субъективное описание, но, учтите, его дает человек, чье ремесло состоит как раз в том, чтобы делать профессиональные наблюдения. Ощущение, можете мне поверить, не из приятных. Я... отшатнулся... а он вдруг говорит: позвоните жене, Стробери сильно расшибся.
В. Стробери?
Вэнн. Да, именно так. Это брат жены... его зовут Стэнбери Ричардс. Мой младший сын, когда был маленький, звал его дядя Стробери[1]. Я не сразу сообразил, о ком речь. Вечером говорю жене, что надо бы позвонить брату — он живет в городе Кус-Лейк, штат Нью-Йорк.
В. Она позвонила?
Вэнн. Да. Они мило поболтали.
В. То есть ваш шурин, мистер Ричардс, был вполне здоров?
Вэнн. Да, вполне. Но на следующей неделе он красил дом, упал с лестницы и сломал позвоночник.
В. Доктор Вэнн, верите ли вы, что Джон Смит предвидел это? Верите ли вы, что у него было прозрение?
Вэнн. Не знаю. Но думаю... это не исключено.
В. Благодарю вас, доктор.
Вэнн. Могу я кое-что добавить?
В. Разумеется.
Вэнн. Если он действительно был отмечен проклятьем,— да, я назы-

[1] Клубника *(англ.)*.

ваю это проклятьем,— я надеюсь, господь будет милосерден к измученной душе этого человека.

...и все, я знаю, станут говорить, будто я задумал и осуществил это из-за опухоли, но ты не верь им, папа. Это неправда. Опухоль — просто несчастье, которое, как я сейчас думаю, давно уже гналось за мной и наконец меня настигло. Опухоль находится в том месте, что я ушиб во время автокатастрофы, и, по-видимому, в том самом месте, которое я ушиб в детстве, гоняя на коньках по Круглому пруду. Именно тогда у меня было первое «озарение», вот только подробности забылись. Потом было другое, перед самой автомобильной катастрофой, на ярмарке в Эсти. Спроси Сэйру, она наверняка помнит. Опухоль расположена в той области мозга, которую я всегда называл «мертвой зоной». Видишь, так все и оказалось. Вот она, горькая правда. Бог... судьба... промысел... рок... как ни назови, это нечто словно протягивает твердую и властную руку, чтобы опять привести весы в равновесие. Я мог, наверное, погибнуть в автокатастрофе, а то и раньше, на Круглом пруду. И я верю: когда я исполню то, что должен исполнить, весы вновь придут в абсолютное равновесие.

Я люблю тебя, папа. Самое ужасное — ужаснее может быть лишь убеждение, что единственным выходом из безвыходного положения, в котором я оказался, является снайперский выстрел,— это, все понимая, оставлять тебе в удел не только скорбь, но еще и ненависть тех, для кого Стилсон — сама доброта и справедливость...

Выдержка из свидетельских показаний, заслушанных так называемым «Стилсоновским комитетом» под председательством сенатора от штата Мэн Уильяма Коэна. Ведет опрос помощник главного юрисконсульта комитета Альберт Ренфрю. Свидетель — доктор Сэмюэл Вейзак, проживающий по адресу: 26, Харлоу Корт, Бангор, штат Мэн.

Дата — 23 августа 1979 г.

Ренфрю. Дело идет к перерыву, доктор Вейзак, и мне бы хотелось от лица комитета поблагодарить вас за участие в этом долгом, четырехчасовом разговоре. Вы существенно прояснили события.

Вейзак. Рад был помочь.

Р. Доктор Вейзак, у меня к вам последний вопрос — может быть, самый важный. Интересующий нас момент затронут в письме Джона Смита к отцу, которое здесь зачитывалось. Вопрос следующий...

В. Нет.

Р. Простите, не понял.

В. Вы собирались спросить меня, не опухоль ли заставила Джонни в тот день в Нью-Гэмпшире нажать на спусковой крючок, так?

Р. Собственно, я действительно...

В. Отвечаю: нет. Джонни Смит до конца своих дней был человеком разумным, мыслящим. Об этом говорит его письмо отцу, а также письмо Сэйре Хэзлит. Да, он жил под невыносимым, почти божественным бременем власти или, если угодно, проклятия, как выразился мой коллега доктор Вэнн. Но он не был ни сумасшедшим, ни человеком, чьи действия определяются навязчивыми идеями, вызванными нарушением внутричерепного давления, если такая зависимость вообще возможна.

Р. Но, согласитесь, у Чарльза Уитмена, прозванного «техасским снайпером»[1], тоже была...

В. Опухоль мозга? Да. И у пилота восточных авиалиний, чей самолет разбился во Флориде несколько лет назад,— тоже. Но ни в том, ни в другом случае никто не утверждал, что всему виной была опухоль. Позволю себе напомнить вам имена других печально известных лич-

[1] Маньяк, стрелявший в прохожих из здания библиотеки Техасского университета.

ностей — например, Ричард Спек[1], или пресловутый «сын Сэма»[2], или Адольф Гитлер,— у них не было опухоли мозга, однако они стали убийцами. Или тот же Фрэнк Додд, преступник из Касл-Рока, которого разоблачил Джонни. Комитет может счесть поступок Джонни противоестественным, но это был поступок человека в здравом уме. Вероятно, истерзанного мучительными сомнениями... но в здравом уме.

...а главное, я хочу, чтобы ты понял: за этим шагом стоят долгие и мучительные раздумья. Даже если человечество выгадает лишние четыре года, два года, хотя бы восемь месяцев, чтобы во всем разобраться,— дело того стоит. Это порочный путь, но он может оказаться единственно правильным. Не знаю. Во всяком случае играть Гамлета я больше не намерен. Я слишком хорошо знаю, как опасен Стилсон.

Папа, я тебя очень люблю. Поверь мне.

Твой сын
Джонни

Выдержка из свидетельских показаний, заслушанных так называемым «Стилсоновским комитетом» под председательством сенатора от штата Мэн Уильяма Коэна. Опрос ведет помощник главного юрисконсульта комитета Альберт Ренфрю. Свидетель — Стюарт Клоусон, проживающий на Блэкстрэп-роуд, Джэксон, штат Нью-Гэмпшир.

Ренфрю. Итак, вы захватили с собой фотоаппарат, мистер Клоусон?
Клоусон. Точно! Перед самым уходом. Я вообще чуть было не остался дома в тот день, хотя мне и нравится Грег Стилсон... то есть нравился до того, как все случилось. Понимаете, мне этот общественный центр был как кость в горле.
Р. Из-за экзамена на водительские права?
К. Ну да. Надо же было такого дурака свалять. Но потом я сказал себе: какого черта! И пошел. А в результате этот снимок. И какой! Еще разбогатею, вот увидите. Это, пожалуй, не хуже чем водружение флага на Иво Джима.
Р. Молодой человек, я надеюсь, вы не считаете, что все было отрепетировано специально для вас?
К. Конечно нет! Что вы! Просто я хотел сказать... э-э... сам не знаю, что я хотел сказать. Понимаете, это произошло прямо перед моим носом, ну и... как бы вам сказать... В общем, здорово, что мой «Никон» оказался при мне.
Р. Вы сфотографировали Стилсона в тот момент, когда он поднял ребенка?
К. Да, сэр. Томми Робсона.
Р. Это и есть тот снимок в увеличенном виде?
К. Точно, моя фотография.
Р. Что же произошло после того, как вы сделали снимок?
К. За мной бросились два этих бандита. Они орали: «Отдай камеру, парень! Брось ее, су...» Ну, в общем, в таком духе.
Р. А вы бежали от них.
К. Бежал? Еще как бежал! Они гнались за мной почти до самых гаражей. Один чуть не схватил меня, но поскользнулся на льду и упал.
Коэн. Молодой человек, позволю вам заметить, что, убежав от этих двух бандитов, вы выиграли главный забег в своей жизни.
К. Благодарю вас, сэр. То, что Стилсон сделал тогда... это, конечно, надо было видеть, но вообще... закрываться маленьким ребенком — дальше уже ехать некуда. Да уж, теперь Нью-Гэмпшир не выберет его даже в бригаду по отлову собак. Даже если...
Р. Благодарю вас, мистер Клоусон. Вы свободны.

[1] Убийца из Чикаго, чьими жертвами были медицинские сестры.
[2] Так называл себя Дэвид Берковиц, убийца-маньяк, терроризировавший Нью-Йорк в 1976 году.

Снова октябрь.

Долго не могла Сэйра решиться на эту поездку, но пришел час, когда она почувствовала, что откладывать дальше невозможно. Она оставила детей на миссис Эйблнеп — у них теперь была прислуга, и две машины вместо маленького красного «пинто», и годовой доход Уолта подбирался к тридцати тысячам — и отправилась одна в Паунал сквозь пылающее зарево поздней осени.

Приехав на место, она поставила машину на обочине живописной проселочной дороги и перешла на другую сторону, где было кладбище. Маленькая потускневшая дощечка на каменном столбе возвещала, что это БЕРЕЗОВАЯ СЕНЬ. Каменная ограда, ухоженные могилы. Несколько выцветших флагов еще сохранилось со Дня памяти павших, тому пять месяцев. Скоро они будут погребены под снегом.

Она шла медленно, никуда не торопясь, и ветер трепал подол ее темно-зеленой юбки. Здесь лежали поколения БОУДЕНОВ и целый клан МАРСТЕНОВ; здесь, объединенный высоким мраморным обелиском, покоился род ПИЛЛСБЕРИ, восходящий к 1750 году.

А в глубине, возле самой ограды, она увидела сравнительно новую могильную плиту с простой надписью: ДЖОН СМИТ. Сэйра опустилась на колени, нерешительно тронула камень. В задумчивости провела кончиками пальцев по гладкой поверхности.

23 января 1979 г.

Дорогая Сэйра,

только что я закончил очень важное письмо отцу, я писал его почти полтора часа. На второе такое же просто не хватит сил,, поэтому сразу, как только получишь это письмо, позвони отцу. Позвони ему прямо сейчас, прежде чем читать дальше.

Ну вот, теперь, скорее всего, ты все знаешь. Я хочу сказать тебе, что в последнее время много думал о нашей поездке в Эсти на ярмарку. Если бы меня спросили, какие две вещи тебе больше всего тогда запомнились, я бы ответил: невероятное мое везение в рулетке (помнишь, там парнишка повторял: «Хотел бы я посмотреть, как вздрючат этого типа»?) и маска, которую я надел для смеха. Я думал тебя повеселить, но ты рассердилась, и все чуть не пошло насмарку. Хотя, пойди все насмарку, я, наверное, не сидел бы сейчас здесь, а таксист по сей день был бы жив-здоров. Впрочем, кто знает. Вероятно, чему быть, того не миновать, и дело все равно кончилось бы пулей, только через неделю, или через месяц, или через год.

Что ж, мы использовали свой шанс, и выпало «на хозяина» — я бы сказал, на двойное зеро. Но я думаю о тебе, Сэйра, и хочу, чтобы ты это знала. У меня ведь никого не было, кроме тебя, и ничего у нас не было лучше того вечера...

— Здравствуй, Джонни,— прошептала она, и ветер отозвался в пылающих кронах; красный лист покружился в чистом голубом небе и, незамеченный, опустился ей на волосы.— Я здесь. Вот я и пришла.

Казалось неуместным говорить здесь вслух — только сумасшедший, сказала бы она раньше, может разговаривать на кладбище с мертвыми. Но вдруг с ней произошло что-то удивительное — чувства нахлынули с такой силой, что у нее перехватило горло и пальцы сцепились намертво. А почему бы и не поговорить с ним; как-никак позади девять лет, и сейчас подводится черта. Завтра будет Уолт, и дети, и улыбки тех, кто слушает выступления ее мужа на трибуне, бесконечные улыбки сидящих рядом, на сцене, и, время от времени, заметка с фотографией мужа в воскресном приложении, если политическая карьера Уолта совершит стремительный взлет согласно его трезвым расчетам. Будущее означало, что каждый год прибавит ей несколько седых волос, и она уже не сможет выходить из дому без

лифчика, потому что грудь начнет терять форму, и косметику придется продумывать более тщательно; будущее означало занятия гимнастикой в Христианской ассоциации молодых женщин в Бангоре, нескончаемые покупки, новогодние вечеринки и замысловатые шляпки; а тем временем Денни отправится в первый класс, а Джэнис в ясли, и жизнь ее перевалит рубеж научно-фантастических восьмидесятых и вступит в странную и неожиданную фазу — средний возраст.

Провинциальных ярмарок в будущем не ожидалось.

Медленно поползли первые жгучие слезы.

— Ах, Джонни,— сказала она.— Разве мы думали, что все так сложится? Разве думали, что этим кончится?

Она поникла головой, горло сжимали спазмы. Наконец она разрыдалась, и яркий солнечный свет разломился на множество лучей. Ветер, казавшийся таким теплым, словно стояло бабье лето, вдруг обдал февральским холодом ее мокрые щеки.

— *За что!*— Ее крик взорвал безмолвие БОУДЕНОВ, МАРСТЕНОВ и ПИЛЛСБЕРИ, всей этой усопшей конгрегации, которая могла засвидетельствовать лишь то, что жизнь скоротечна и смерть есть смерть.— О господи, *за что!*

И тут кто-то коснулся ее шеи.

...и ничего у нас не было лучше того вечера, хотя иногда мне с трудом верится, что был 1970 год с волнениями в университетах, и Никсон еще президент, и нет карманных калькуляторов и домашних видеомагнитофонов, нет ни Брюса Спрингстина, ни ансамблей панкрока. А в иные минуты кажется, что до той поры рукой подать, что она почти осязаема и стоит мне обнять тебя, дотронуться до твоей щеки или шеи, и я смогу увлечь тебя в другое будущее, где нет ни боли, ни мрака, ни горечи выбора.

Что ж, каждый делает, что в его силах, и делать это надо как можно лучше... не всегда получается, но надо стараться. Надеюсь, дорогая, ты будешь поминать меня добрым словом.

Всего тебе самого хорошего.

С любовью,
Джонни

У нее перехватило дыхание, спина напряглась, зрачки расширились и округлились.

— Джонни?..

Исчезло.

Что бы это ни было — исчезло. Она поднялась с колен и осмотрелась — никого, как и следовало ожидать. Хотя вон же он стоит, глубоко засунув руки в карманы, с этой своей ухмылочкой на обаятельном, пусть и не очень красивом лице, стоит, долговязый, прислонившись то ли к памятнику, то ли к столбу кладбищенских ворот, а может, просто к дереву, опаленному догорающим огнем осени.

Кто это, как не Джонни; там, совсем близко, может быть, везде.

Каждый делает, что в его силах, и делать это надо как можно лучше... не всегда получается, но надо стараться. Сэйра, нет на свете такого, что утрачиваешь навсегда. Нет на свете такого, чего нельзя обрести вновь.

— Ты все тот же, Джонни,— прошептала она и пошла с кладбища. Она пересекла дорогу и, остановившись, бросила взгляд назад. Дул теплый порывистый ветер, и мир прочерчивали широкие полосы света и тени. Таинственно шелестели кроны.

Сэйра села за руль, и вскоре машина скрылась из виду.

■

Литературные иллюстрации

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС

Стихи разных лет

Перевод с испанского БОРИСА ДУБИНА

Зеленеющий остров вечности

Хорхе Луису Борхесу, аргентинскому поэту, прозаику, эссеисту, в августе 1984 года исполнится 85 лет. Борхес удостоен множества премий, почетных титулов разных университетов и академий, французских, английских, итальянских орденов. Если творчество Борхеса уже много десятилетий окружено восхищением читателей и собратьев по литературе (о Борхесе как о мастере и одном из зачинателей новой латиноамериканской прозы говорили Пабло Неруда, Габриэль Гарсиа Маркес, Хулио Кортасар и многие другие), то его публичные высказывания, общественные взгляды вызывали споры, недоумение, нередко резкое несогласие[1].

В молодости Борхес разделял революционные устремления левой молодежи 20-х годов, а позже, в 40-е годы, был уволен со службы за открытое осуждение диктаторского режима. Но затем в течение многих лет Борхес неоднократно возмущал передовое общественное мнение декларациями реакционного толка, иногда какими-то ископаемо-консервативными, по разным злободневным вопросам. Чувствовался в этих интервью и эпатаж, как бы даже бравирование интеллектуальным снобизмом. Поэтому неожиданными показались некоторые заявления Борхеса конца 70-х годов в поддержку левых сил в Аргентине.

Впрочем, в последнее время Борхес, по-видимому, отказался от назойливой эксцентричности, стал строже и серьезнее в своих публичных выступлениях. В августе 1981 года в мексиканском городе Морелии при вручении ему поэтической премии Ольин Йоличтли Борхес со сдержанным волнением сказал, что цель поэзии — «объединять людей», а не «служить упражнением в тщеславии или в искусстве словесных комбинаций». Совсем недавно, в июне 1983 года, в интервью итальянскому журналу «Панорама» Борхес назвал себя «человеком этики, не записавшимся ни в одну партию».

Последние интервью и лекции Борхеса (сборник «Семь вечеров», 1980) подтверждают и дополняют то представление об его истинном духовном облике, которое складывается при чтении его рассказов и стихов. Это человек, воспитанный в традиционно консервативных убеждениях, скептик и пессимист и по складу характера, и по философским взглядам, и предпочтениям (он любит читать и комментировать Беркли, Шопенгауэра, восточных мистиков). Борхесу свойственны философский агностицизм, недоверие к поступательному общественному развитию. Вместе с тем он наделен жаждой духовной независимости, отвращением к буржуазной пошлости, ненавистью к тирании и террору и действительно огромным художественным талантом.

Рассказы Борхеса переведены на многие языки, их цитируют философы, социологи, писатели. Известность Борхеса-поэта, пожалуй, не столь широка и позже перешагнула границы испаноязычного мира. Наш читатель также недавно познакомился с поэтическим творчеством Борхеса: большая подборка его стихов включена в сборник «Из современной аргентинской поэзии» (М., «Прогресс», 1982).

[1] См. соответствующие разделы в книге «Писатели Латинской Америки о литературе» (М., «Радуга», 1982).

Пожалуй, Борхес может показаться «головным» поэтом, но никак не холодным, тем менее — равнодушным. Он, правда, не любит интимных излияний, и лишь очень редко господствующая в его стихах медитативная интонация нарушается, как дрожью в голосе, нотами пронзительного лиризма. Борхес обдумывает свои чувства, но от этого, теряя в непосредственности, чувство не теряет в подлинности. Есть у Борхеса поэтические отражения мимолетных душевных порывов, но значительно чаще в стихах запечатлеваются настроения стойкие, давние, сопровождающие поэта годами, а то и десятилетиями жизни, чувства осознанные, осмысленные.

Когда-то, в начале 20-х годов, Борхес (аргентинец по рождению, он жил тогда с родными в Европе) возглавлял одно из авангардистских поэтических течений — испанских ультраистов. Свою первую, так и не вышедшую тогда в свет книгу, пылавшую революционным пафосом, он предполагал назвать «Красные псалмы». Сейчас Борхес не включает в собрание сочинений свои юношеские стихи, но не препятствует их публикации литературоведами. Ультраисты превыше всего в поэзии ценили метафору — новую, неожиданную, сплавляющую в единый образ два или три понятия. О поэтике ранних книг Борхеса («Лихорадка Буэнос-Айреса», 1923; «Луна напротив», 1925, «Сан-мартинская тетрадь», 1929) дает представление написанное, по-видимому, несколько позже, но в духе первых книг стихотворение «Роза» с его тугим бутоном метафорических эпитетов.

Потом Борхес в течение тридцати лет стихов не публиковал. В эти десятилетия была создана вся его лучшая проза. Когда он вернулся к поэзии, чтобы уже не оставлять ее («Творец», 1960; «Другой, все тот же», 1967; «Хвала тьме», 1969; «Золото тигров», 1972; «Бездонная роза», 1975; «Железная монета», 1976; «История ночи», 1977), он оказался и по тематике, и по стилю во многом совсем другим поэтом. Метафора почти исчезла или, во всяком случае, потеряла обаяние дерзкой неожиданности, зато появилась медлительная, раздумчивая интонация, чеканные, афористичные концовки. Верлибры, преобладавшие в ранних стихах, теперь чередуются с традиционным стихом, разнообразным по размеру, строфике, рифме.

Если попытаться определить поэтический стиль зрелого Борхеса посредством историко-литературных сближений, то быстрее всего аналогия отыщется в истории русской поэзии — это акмеизм с его чеканностью поэтической речи, с его культурным кругозором, с его трагедийным мироощущением и пафосом духовного стоицизма.

И стихи и проза Борхеса объединены несколькими магистральными для него философскими темами. Центральная из них — единство всего сущего, единство природы и духа, человечества и отдельного человека, реки времени и любой ее капли, прошлого и настоящего. Недаром так часто появляется в стихах Борхеса тень его любимого философа Гераклита Эфесского, увидевшего в реке символ вечного движения и обновления. Эта тема звучит во всех стихах Борхеса, а в нашей публикации особенно отчетливо — в послании к воображаемому сыну и в «Искусстве поэзии»: здесь, опровергая юношеский авангардизм — ожидание от поэзии диковинной новизны,— Борхес провозглашает смыслом поэзии приобщение к непрерывно возрождающейся вечности.

Родным домом, по-весеннему зеленым островом вечности, является для Борхеса культура. В одном из программных стихотворений он признается, что всегда воображал рай «библиотекой без конца и края». А маленький исповедальный «Эпилог» к недавнему сборнику стихов «История ночи» поэт заканчивает следующими словами: «Позволите ли вы мне повторить, что библиотека моего отца была главным фактором моей жизни? Истина же в том, что я так и не вышел из нее, как никогда не выходил из своей библиотеки Алонсо Кихано». Речь идет о бескорыстной, под стать Дон Кихоту, преданности книге, словесному искусству, фантазии, определившей всю жизнь Борхеса. Несколько десятилетий он был директором Национальной библиотеки в Буэнос-Айресе, преподавал английскую литературу в университете, уже в глубокой старости взялся за изучение древнеисландского языка. Борхес — поэт-культуролог: в стихах он создает образы культурных миров, национальных или индивидуальных. Наряду с портретами (Сервантес, Камоэнс, Кеведо, Мильтон, По, Мелвилл, Китс, Сноррн Стурлусон и другие) есть у него и попытки обрисовать определенный культурный тип: античного поэта, средневекового поэта, восточного поэта. И чем отдаленнее культура в пространстве и времени, тем более привлекает она Борхеса: его волнует чужое и древнее слово, он хочет расслышать в нем отголоски будущих слов. Так Рим звучит в его стихе на англосаксонский манер — Ромбург (подобно Эдинбургу), языки перетекают друг в друга, как капли воды в гераклитовой реке. Среди художников Борхес выбирает преимущественно тех, кто по-своему утверждал непобедимую непрерывность культуры, кто видел в любом человеке нового Адама, а в любом, наугад взятом дне нашей жизни — одиссею. Таковы для него Уитмен и Джойс.

Борхес происходит из старинной родовитой семьи, его предки участвовали чуть ли не во всех главных событиях истории Аргентины и Уругвая. «Я никогда не переставал чувствовать ностальгию по их эпической участи, в которой боги мне отказали»,— сказал однажды Борхес о дедах. Пик семейной славы — сражение при Хунине в 1824 году, когда полковник Суарес, прадед Борхеса по материнской линии, смелым маневром решил исход боя в пользу повстанцев, которыми командовал Боливар. В честь этой битвы Хунином был назван еще один город в провинции Буэнос-Айрес. В середине XIX века там жил дед поэта, полковник Борхес, участник многих гражданских войн. Жизнь этого воина окончилась трагически: несправедливо запо-

дозренный в предательстве, он искал и нашел смерть на поле боя. В поэзии Борхеса оба Хунина отождествлены в едином образе эпической мощи прошлого, «эпического универсума», по выражению поэта. Конечно, на наш взгляд, историческое значение двух Хунинов несопоставимо: первый — пролог победы латиноамериканских патриотов над испанскими колонизаторами, второй — всего лишь одна из множества междуусобных схваток в молодых, формирующихся государствах. Но тут кроме семейного предания, окружившего фигуры обоих дедов ореолом легенды, сказывается дорогая Борхесу этическая идея.

В стихах Борхеса кристаллизуется некий нравственный кодекс, свойственный, по его мнению, «эпическому миру». Носителей этого кодекса он ищет в древности и в современности, но прежде всего — в национальном, аргентинском прошлом. Так вырастает в его стихах и рассказах монументальная фигура гаучо — вольного скотовода и солдата, креола и метиса, «американского кентавра», сутками не вылезавшего из седла, ночевавшего, завернувшись в пончо, на холодной земле, под Южным Крестом. Гаучо сражались в войсках Боливара и Сан-Мартина, их самоотверженностью была завоевана независимость Аргентины и Уругвая. Но впоследствии диктаторы и местные каудильо не раз использовали отряды гаучо в своей борьбе за власть: невежественные гаучо слепо подчинялись вождю, поэтому участвовали в борьбе то против узурпаторсв власти, то против политиков, стремившихся к парламентаризму и законности, каким был, например, упомянутый Борхесом Лаприда.

На рубеже XIX—XX вв. крупные землевладельцы предали гаучо, отняв у них землю и лишив права кочевать в пампе. Гаучо перестали существовать как социальный слой, либо превратившись в батраков, либо переселившись на городскую окраину. Многие из них не смогли приспособиться к условиям буржуазного города. На каждом шагу вспыхивали конфликты с обществом и законом, бывший гаучо становился изгоем, «поножовщиком», «куманьком», как их звали на окраинах Буэнос-Айреса. Именно в этой среде бытовали танго и милонга — прославленные формы аргентинского музыкального фольклора. В 1960-х годах Борхес сочинил сборник баллад в жанре милонги о похождениях реальных или вымышленных городских удальцов — «Для шестиструнной гитары».

Борхеса всегда привлекал этот «маргинальный» мир — еще в детстве он, замирая от страха, слушал рассказы соседей об отчаянной отваге и справедливости Хуана Мураньи, грозы буэнос-айресского предместья Палермо (см. стих. «Напоминание о тени 1890-х годов»). Конечно, Борхес понимает, что опоэтизированные фольклором персонажи вроде Хуана Мураньи, в сущности, занимаются разбоем, хотя по-своему и анархически воюют с властью. Но у них было свое исповедание веры: верность дружбе, ненависть к предателям, готовность, не дрогнув, встретить смертный час. А именно так, не дрогнув, бросился навстречу неприятелю защищавший свою честь полковник Борхес. Безымянный гаучо, погибший в бою дед, удалой Хуан Мураньа — по-видимому, «эпическая участь», которая была им дана и по которой тоскует Борхес,— это прежде всего возможность проверить и доказать личное мужество, отстоять свою честь, проявить презрение к смерти.

Но есть у Борхеса и другие стихи о мужестве — о первом, боливаровском Хунине, «сияющем как мечта», изменившем судьбу народов. В «Страничке, чтобы вспомнить полковника Суареса, победителя при Хунине», говорится: «Битва вечна и может обойтись без выстроенных армий и без фанфар... Хунин — это двое штатских на улице, проклинающих тирана, или одинокий человек, незаметно умирающий в тюрьме...». Значит, не только стоическую отвагу, но и свободолюбие и тираноборство считает старый поэт непреходящими человеческими ценностями, островком зеленой вечности.

И. ТЕРТЕРЯН

Строки, которые могли быть написаны и потеряны в 1922 году [1]

Безмолвные сраженья вечеров
у городских окраин,
извечно древние следы разгрома
на горизонте,
руины зорь, дошедшие до нас
из глубины пустынного пространства,
как будто бы из глубины времен,
сад, черный в дождь, и фолиант со сфинксом,
который не решаешься, боишься раскрывать
и видишь в еженощных сновиденьях,
распад и отзвук — наш земной удел,
свет месяца и мрамор постамента,

[1] Первая книга Х. Л. Борхеса вышла в 1923 г., а это стихотворение написано в 60-е годы.

деревья — высота и надменность,
невозмутимые как божества,
подруга-ночь и долгожданный вечер,
Уитмен — звук, в котором целый мир,
неустрашимый королевский меч
в глубинах молчаливого потока,
роды арабов, саксов и испанцев,
случайно завершившиеся мной,—
все это я или, быть может, это
лишь тайный ключ, неугасимый шифр
того, что не дано узнать вовеки?

Конец года

Не символическая
смена цифр,
не жалкий троп,
связующий два мига,
не завершенье оборота звезд
взрывают
тривиальность этой ночи
и заставляют ждать
тех роковых двенадцати ударов.
Причина здесь иная:
всеобщая и смутная догадка
о тайне Времени,
смятенье перед чудом —
наперекор превратностям судьбы
и вопреки тому, что мы лишь капли
неверной гераклитовой реки,
в нас остается нечто
незыблемое.

Роза

Та роза,
которая вне тленья и стиха,—
всего лишь аромат и тяжесть, роза
чернеющих садов, глухих ночей,
любого сада на любом закате,
та, воскресающая волшебством
алхимика из теплой горстки пепла,
та роза персов или Ариосто,
единая вовеки,
вовеки роза роз,
тот юный платонический цветок —
слепая, алая и для стиха
недосягаемая роза.

Искусство поэзии

Глядеться в реки — времена и воды —
И вспоминать, что времена как реки,
Знать, что и мы пройдем, как эти реки,
И наши лица минут, словно воды.

И видеть в бодрствованье сновиденье,
Когда нам снится, что не спим, а в смерти —
Подобье нашей еженощной смерти,
Которая зовется «сновиденье».

Считать, что каждый день и год — лишь символ,
Скрывающий другие дни и годы,
И обращать мучительные годы
В строй музыки — звучание и символ.

Провидеть в смерти сон, в тонах заката
Печаль и золото — удел искусства,
Бессмертный и ничтожный. Суть искусства —
Извечный круг рассвета и заката.

По вечерам порою чьи-то лица
Мы смутно различаем в зазеркалье.
Поэзия и есть то зазеркалье,
В котором проступают наши лица.

Улисс, увидев после всех диковин,
Как зеленеет скромная Итака,
Расплакался. Поэзия — Итака
Зеленой вечности, а не диковин.

Она похожа на поток бескрайний,
Что мчит, недвижен,— зеркало того же
Эфесца ненадежного, того же
И нового, словно поток бескрайний.

К началу занятий англосаксонской грамматикой

Спустя пятьдесят поколений
(пропастей, отведенных временем человеку),
на берегу далекой большой реки,
неизвестной драконам викингов,
я воскрешаю шершавые, неподатливые слова,
которые (некогда ртом, а сегодня — прахом)
складывал во времена Мерсии и Нортумбрии [1],
прежде чем стать Хейзлемом [2] или Борхесом.
В субботу мы прочитали, что Юлий Цезарь
первым из ромбуржцев прибыл подмять Британию;
значит, и гроздья еще не созреют, как я услышу
того соловья из загадки
и плач двенадцати воинов
над погребенным вождем.
Версиями позднейших английских или немецких
слов, знаками знаков мне кажутся эти слова,
а ведь в каждом из них был образ,
и человек призывал их во славу меча и моря;
завтра они возвратятся к жизни
и fyr будет значит не fire [3], а удел
прирученного и многоликого бога,
чей вид повергает нас в первобытный трепет.
Благословен лабиринт
бесконечных причин и следствий,
что на пути к тому зеркалу,
где никого не увижу или увижу другого,
мне даровал созерцать
зарю языка.

---

[1] Англосаксонские королевства на территории Британии раннего средневековья.
[2] Среди предков поэта были англичане, носящие эту фамилию.
[3] Fyr *(древнеангл.)*, fire *(англ.)*— огонь.

Сыну

Не мной ты создан — всеми, кто доныне
сменялись бесконечными родами
И лабиринт, что начат при Адаме,
Вели братоубийственной пустыней
С тех зорь (теперь мифических потемок)
До нас, передавая как наследье
Кровь, текшую в моем отце и деде
И вновь ожившую в тебе, потомок.
Все это я. Мы все. Тысячелетний
Единый ряд с тобою и сынами
Твоими. Все, кто за и перед нами,
От красной глины до трубы последней.
Я переполнен ими. Сущность вечна
Во временном, чья форма скоротечна.

Буэнос-Айрес

Запечатлел он, как на точном плане,
Мои обиды и мои потери:
Я провожал закат у этой двери,
У тех колонн напрасно ждал свиданья.
Здесь дни мои, стираясь посегодня,
Не обошли меня нехитрым даром
Людской судьбы; по этим тротуарам
Тку лабиринт, и он все безысходней.
Здесь вечера тускнеют, ожидая
Плодов, которые сулят им зори.
Здесь тень моя легко сольется вскоре
С конечной тьмой, такая же пустая.
Не страсть, а страх связал нас. Не за то ли
Мой город призрачный люблю до боли?

Напоминание о тени 1890-х годов

Прах. Лишь клинок Мураньи. Лишь размытый
Закат над выцветшею стариною.
Не мог я видеть этого бандита,
Чья тень с закатом вновь передо мною.
Палермо, невысокий той порою,
Венчался канареечным порталом
Тюрьмы. И по отчаянным кварталам
Бродил клинок, пугающий игрою.
Клинок. Лица уже за дымкой серой
Как нет. И от наемника отваги,
Которой ей служил такою верой,
Осталась тень и беглый блеск навахи.
Пятная мрамор, это начертанье
Не троньте, времена. Хуан Муранья.

Хунин

Я — это я, но и другой, сраженный,
Кто дал мне эту кровь и это имя,
Кто распрощался с домом и родными
И дрался у Сепеды и Павона [1].
Я воскрешаю твой Хунин былого,
Мой предок Борхес. Слышишь, ставший тенью
И прахом? Или бронзу сновиденья
Уже не тронет немощное слово?
Или сквозь жалкие мои глазницы
Ты видишь день эпического боя,
Отводок, пересаженный тобою,
Загоны и набеги на границе?
Мне снится строгий профиль, чуть усталый...
Но кем ты был и что с тобою стало?

Камден[2], *1892*

Газет и кофе запах кисловатый.
Начало воскресенья. Все известно
До тошноты. В печати тот же пресный
Аллегоризм счастливого собрата,
Как встарь. Он видит с нищенской постели,
Изнеможенный и белоголовый,
В докучном зеркале того, второго,
Который, верно, и на самом деле
Он. Рот и бороду привычной тени
Найдя рукой, по-старчески рябою,
Он вновь и вновь свыкается с собою.
Конец. И раздается в запустенье:
«Я славлю жизнь, хоть вправду жил едва ли.
Меня Уитменом именовали».

Джеймс Джойс

Дни всех времен таятся в дне едином —
Со времени, когда его исток
Означил бог, воистину жесток,
Срок положив началам и кончинам,
До дня того, когда круговорот
Времен опять вернется к вечно сущим
Началам и прошедшее с грядущим,
В удел мой — в настоящее — сольет.
Пока закат придет заре на смену,
Пройдет история. В ночи слепой
Пути завета вижу за собой,
Прах Карфагена, славу и геенну.
Отвагой, боже, не оставь меня,
Дай мне подняться до вершины дня.

---

[1] Хунин, Сепеда, Павон — города в Аргентине, места известных боев в войнах за независимость в XIX веке.

[2] В городе Камдене в 1892 г. умер У. Уитмен.

Гаучо

Рожденный на границе, где-то в поле,
В почти безвестном мире первозданном,
Он усмирял напористым арканом
Напористое бычье своеволье.

С индейцами и с белыми враждуя,
За кость и козырь не жалея жизни,
Он отдал все неузнанной отчизне
И, проигравши, проиграл вчистую.

Теперь он — прах планеты, пыль столетий.
Под общим именем сойдя в безвестность,
Как многие, теперь он — ход в сюжете,
Которым пробавляется словесность.

Он был солдатом. Под любой эгидой.
Он шел по той геройской кордильере.
Он присягал Уркисе и Ривере.
Обоим. Он расправился с Лапридой.

Он был из тех, не ищущих награды
Ревнителей бесстрашия и стали,
Которые прощения не ждали,
Но смерть несли и гибли, если надо.

И жизнь в случайной вылазке отдавший,
Он пал у неприятельской заставы,
Не попросив и малой крохи — даже
Той искры в пепле, что зовется славой.

За чашкой мате ночи коротая,
Он под навесом грезил в полудреме
И ждал, седой, когда на окоеме
Блеснет заря, по-прежнему пустая.

Он гаучо себя не звал: решая
Судьбу, не ведал он, что есть иная.
И тень его, себя — как мы — не зная,
Сошла во тьму, другим — как мы — чужая.

Утраченное

Где жизнь моя, которой не жил, та,
Что быть могла, бесчестием пятная
Или венчая лаврами, иная
Судьба — удел меча или щита,
Моим не ставший? Где пережитое
Норвежцами и персами времен
Былых? Где свет, которого лишен?
Где шквал и якорь? Где забвенье, кто я
Теперь? Где избавленье от забот —
Ночь, посланная труженикам честным
За день работ в упорстве бессловесном,—
Все, чем словесность издавна живет?
Где ты, что и сегодня в ожиданье
Несбывшегося нашего свиданья?

■

Критика

Г. ЗЛОБИН

БОЯЗНЬ ИСТОРИИ

Страницы современного американского романа

Где бы ни устанавливать начальный рубеж современного периода в жизни Америки — в исходном, 1970-м, или раньше, или позже, история всегда поправит календари. Внутри страны этот период был подготовлен мощным движением против войны во Вьетнаме и борьбой черного населения, других национальных меньшинств за гражданское равноправие, а на мировой арене подписанием в июле 1968 года Договора о нераспространении ядерного оружия. В условиях острого многостороннего кризиса, охватившего Америку, происходила перестройка внешней и внутренней политики правящей элиты, вынужденной приспосабливаться к переменам, происходящим в мире. Начался процесс разрядки международной напряженности, зафиксированный в важнейшем документе «Основы взаимоотношений между СССР и США» (1972).

Разрядка расчищала завалы внутри страны. Американцы, уставшие от эксцессов 60-х годов, тянулись к порядку и покою, но положение дел внушало тревогу и озабоченность: Уотергейт, энергетическая проблема, инфляция и дороговизна жизни, наступление на права трудящихся, растущая безработица, Иран, усиление милитаристских тенденций. Первое в истории поражение США в войне вместе с долгожданным миром вызвало у американцев почти что неведомое им чувство ущемленного национального самолюбия, на котором умело играли влиятельные группы военно-промышленного комплекса. Страна вошла в полосу неустойчивого социального равновесия, смятения, идейно-психологического разброда. Будущее виделось в мрачном свете. «Казалось, что буржуазное общество повсеместно исчерпало запас конструктивных идей»,— констатировал социолог Кристофер Лэш в работе с многозначительным названием «Культура нарциссизма. Американская жизнь в век убывающих ожиданий» (1979).

На пороге было двухсотлетие национальной государственности, и огромная армия идеологов, историков, футурологов, вся разветвленная машина средств массовой информации и обработки умов, с поразительным единодушием принялась поднимать общественное самочувствие, восстанавливать престиж американских ценностей. Постепенно возобладало стремление к сохранению статус-кво, к стабильности, к смягчению «так называемой классовой борьбы», как выразился один из идеологов консерватизма Клинтон Росситер.

К принципам консервативной политической философии в первую очередь относят «веру в существование моральных представлений более высокого порядка, чем простое творение человеческого разума; убежденность в справедливости американской конституции... предпочтение, отдаваемое частной собственности и рыночному регулированию экономики; американский патриотизм... уважение к историческому опыту и враждебность к поспешным нововведениям» («Америка», март 1982).

Таким образом, неоконсервативные принципы сводятся к простой триединой формуле: Бог — американская исключительность — капитал. Вокруг этих сакраментальных понятий и завертелись идеологические маховики, вовлекая в свое коловращение духовную и художественную жизнь страны.

Неоконсерваторы отвергли дорогостоящие и малоэффективные социальные программы — «социальную инженерию» и нападали на разрядку, дающую будто бы преимущества Востоку, «улицу с односторонним движением». Выражая постуотергейтские настроения, «Дважды «ура» капитализму» провозгласил названием своей книги 1978 года Ирвинг Кристол и заодно предостерег соотечественников от «либералистской угрозы» и «международного терроризма». Участились антисоветские вспышки, подогреваемые официальной кампанией в защиту прав человека где-нибудь подальше от дома. Нынешняя администрация США повела мощ-

ное политико-экономическое наступление на права широких слоев населения. В международных отношениях команда Рейгана объявила «крестовый поход» против социализма.

На исходе юбилейного 1976 года, незадолго до вступления Дж. Картера в должность, Джон Херси написал воображаемую речь будущего президента, где подчеркивал «Власть крупных монополий простирается на любой аспект нашей жизни... на весь характер нашей культуры».

Четыре года спустя, когда военно-промышленный комплекс и администрация США взяли прямой курс на конфронтацию с Советским Союзом, Гор Видал предложил свою версию традиционного президентского послания «О положении страны»: «...из тридцати пяти лет, прошедших со времени окончания второй мировой войны, Соединенные Штаты участвовали в войне — «холодной» или «горячей» — тридцать лет; и если Банк будет продолжать править страной, в ближайшей перспективе мы станем воевать снова — и эта война окажется пострашней прошлых».

Литературный процесс 70-х — начала 80-х годов протекал в подвижных и зыбких идейно-эстетических координатах, выявляя сосуществование, состязание и спор разнородных, нередко взаимоисключающих направлений и тенденций. Часть творческой интеллигенции поддалась консервативным настроениям. Претерпел определенную эволюцию, например, «новый журнализм». Декларировавший в качестве творческой установки «социальный реализм», он, однако, явно переоценил свои возможности и в общем не пошел дальше язвительных нравоописательных зарисовок. Один из его лидеров, Том Вулф, достаточно метко окрестивший 70-е годы «десятилетием ячества», одновременно противопоставлял «социалистическим мечтаниям» неограниченное буржуазное предпринимательство, благодаря которому в его представлениях в Америке вырос homo novus, он «заполучил все, о чем мечтали всегда,— деньги, свободу, досуг» и как следствие «роскошь созерцать собственное «я».

Примером крена вправо может служить деятельность Артура Миллера, сопровождавшаяся длительным творческим застоем. Только последняя пьеса Миллера «Американские часы» (1980) внушает кое-какие надежды, что мы снова увидим в нем большого и оригинального драматурга, а не заурядного политика определенного толка. Разумеется, та или иная система взглядов — вопрос убеждений и совести каждого. Однако есть несколько самоочевидных истин современности, и прежде всего десять принципов, выработанных участниками хельсинкского Совещания по безопасности и сотрудничеству, которые не вправе игнорировать ни один деятель культуры.

Еще хуже, когда невыношенные или усвоенные со стороны идеи проникают в творчество. Теряя чувство художественного такта, иные маститые прозаики вдруг вводят в роман «советские» эпизоды, продиктованные не логикой повествования, а бог весть чем (Бернард Маламуд «Разные жизни Уильяма Дюбина», 1979). Усилилось влияние сионистского «лобби» на общественно-культурную жизнь в стране и за рубежом. Никогда еще на американском книжном рынке не было такого наплыва «диссидентских» сочинений, написанных бывшими русскими, причем эту, с позволения сказать, литературу «русского зарубежья» тщатся выдать за литературу советскую. «Советология» сделалась мощной и, судя по всему, прибыльной индустрией. Давно трудятся на ниве «коммунистической угрозы» махровые реакционеры-литераторы У. Бакли, А. Друри, Э. Коппел, Х. Маккинес и другие.

На протяжении всего XX века в американской словесности доминировали три типа творчества: реалистический, коммерческо-конформистский и модернистский, которые нередко окрашивались в натуралистические тона. Последние годы подтвердили эту закономерность, но и усложнили отношения между ними. Размывались грани между авангардом, литературным истеблишментом и роем поставщиков массово-поточной книжной продукции. Обилие пограничных зон, переходных явлений исключают жесткие классификационные линии на литературной карте США.

Определенную роль сыграла происходившая в 60—70-х годах смена литературных поколений и соответствующая перегруппировка сил. Ушли из жизни «старики» — носители реалистической традиции: Хемингуэй, Фолкнер, Стейнбек, Сароян, Уайлдер, Чивер — и писатели-ветераны социалистической литературы: Дюбуа, Голд, Лоусон, Лоренс, Мальц, Норт, Лоуэнфеллс. В целом сохраняло свои позиции военное поколение литераторов — Дж. Джонс, К. Воннегут, Дж. Хеллер, Н. Мейлер, У. Стайрон, Г. Видал, Дж. Болдуин. Вместе с тем активно выдвинулись новые авторы, родившиеся в 30-х годах и позже.

В середине 70-х в США ежегодно издавалось около 1750 новых произведений художественной литературы в твердом переплете и еще полстолька — в мягкой обложке. Конечно, можно принять всерьез шутливо-язвительный «закон», сформулированный писателем-фантастом Т. Старджеоном: 90% чего бы то ни было — совершеннейший хлам. Однако ж и за вычетом «совершеннейшего хлама» остается бездна содержательных, стоящих книг. Иначе говоря, встает вопрос — что и как читать.

«Следить» за узким кругом тех писателей, кого — часто по привычке, по инерции — называют «крупными», «ведущими» и т. п.? Но тогда рискуешь пропустить появление нового, свежего таланта да и не угонишься за некоторыми «заметными». За период 1970—1977 годов Джойс Кэрол Оутс выпустила двадцать четыре книги — романы, сборники рассказов, стихи, критические работы, Джон Апдайк — пятнадцать. Такой продуктивностью может похвастать не каждый — даже коммерческий автор, даже в Америке.

Или, прислушиваясь к авторитетным американским критикам, кидаться на книги, о которых «говорят»? Увы, заатлантические коллеги нередко подводят: иные романы маститых прозаиков, заранее разрекламированные полосными объявлениями в «большой прессе», огорчали то вымученным смехачеством, то беспросветным пессимиз-

мом, а то и чем-нибудь похуже. Да и чего бы мы стоили, если бы ориентировались только на «Нью-Йорк таймс бук ревью».

Или пытаться «открывать» имена и произведения, о которых знаем понаслышке, а то и вовсе никому не известные? Бывает, что такие попытки вознаграждаются.

Вдобавок большое видится на расстоянии, а оно пока коротко.

...Осенью 1979 года после яростной аукционной схватки с конкурентами фирма «Бантам» заплатила 3,2 миллиона модной сочинительнице Джудит Кранц и издательству «Краун» только за право выпустить ее новый роман в мягкой обложке карманного формата. Редактор книги высказался напрямик: «Ни один издатель не рискнет заплатить столько, если он не уверен, что хорошо заработает».

В силу абсолютной художественной беспомощности душещипательная бульварщина вроде «Княжны Маргариты» Джудит Кранц должна быть, строго говоря, предметом социологического анализа, нежели литературного. При этом нельзя не учитывать тиражи коммерческой беллетристики, ее доступность, влияние на общественный вкус и мнение.

«Больше всего привлекали те издания, которые позволяли развлечься и забыть о жизненных проблемах, давали религиозное вдохновение и надежду или описывали гедонистические побуждения»,— писал, обозревая итоги 70-х, Рей Уолтерс в статье «Десять лет бестселлеров». «Не многие из раскупаемых романов представляют собой серьезные произведения литературы»,— меланхолично добавлял обозреватель «Нью-Йорк таймс бук ревью».

Уолтерс упустил один очень важный слой популярного чтения — книги, насыщенные катастрофами, преступлениями, несчастными случаями, проникнутые жестокостью, насилием, грубым натурализмом, хотя нередко подслащенные мелодрамой и сентиментальностью. Недаром список бестселлеров минувшего десятилетия открывает небезызвестный «Крестный отец» Марио Пьюзо. Изданный в 1969-м и к 1 января 1980 года набравший тираж в 13,5 миллиона экземпляров, роман побил все отечественные рекорды. «Большой писатель в буржуазной литературе — тот, кто продал сто тысяч экземпляров своей книги, причем за конкретно обозримый срок, скажем за год или два». Разве угадаешь, что это написано не сегодня, а три четверти века назад Эптоном Синклером? Нет, не все меняется и в Америке.

Хотя скромная с виду книжка «История любви», сочиненная профессором Йельского университета Эриком Сигелом и календарно открывшая семидесятые, значится в списке бестселлеров четвертой (10,2 миллиона экземпляров), пожалуй, именно эта слащаво-слезливая, «романтическая» повесть о целомудренном чувстве, вспыхнувшем, наперекор запретам и кастовым преградам, между отпрыском финансового магната и бедной итальяночкой-иммигранткой и оборвавшемся по воле небес,— пожалуй, именно эта мелодрама вызвала небывалое эмоциональное сопереживание широкой аудитории, взыскующей чего-то чистого, возвышенного, положительного и удовлетворяющейся иллюзией, сказкой, мифом.

Небольшие, написанные легким и лукавым слогом книжки Ричарда Баха затрагивают отвлеченные сферы духовного опыта, трактуя их в духе популярных «учебников жизни».

Бах рассказывал, что «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» (1970, русский перевод [1]), притча о свободном полете, подсказана ему неким Голосом. С «Иллюзиями» (1977), имеющими подзаголовок «Приключения мессии поневоле», обстояло и того проще. Кто-то буквально схватил его за горло и приказал: «Пиши». И вот уже другое «я» автора, тоже по имени Ричард, зарабатывающее себе на жизнь тем, что катает захолустных обитателей Иллинойса на стареньком биплане, встречает товарища по профессии Дональда Шимоду.

Дон Шимода, однако, не просто механик, а механик-мессия, у него золотые руки и чистая, воспаряющая ввысь душа. И не только авиатор, но и американский аватара, то есть земное воплощение божества мудрости и добра.

Изречения и максимы новоявленного механика американской души — это банальная, низведенная до мещанского кругозора мешанина из обрывков христианских мифологем, старых, как мир, волюнтаристских теорий и новейших доктрин о преодолении «материалистического социума» путем «революции сознания». На любой случай жизни в его «Справочнике спасителя» есть успокоительно-уклончивый ответ: «Все уравновешивается... нет ни добра, ни зла — а только то, что делает нас счастливыми или несчастными».

Каждый может вытеснить из головы облачко досадных забот, способен избавиться от «рутины, власти, скуки, земного притяжения», волен выбрать себе любое будущее и любое прошлое. Нужно только немножко воли, крупицу веры и чуточку воображения. Смысл своего учения пророк со Среднего Запада сводит к простейшей, звучащей как анекдот, заповеди: хочешь быть свободным и счастливым — будь им!

«Первые рассказы американки, которые с полнейшей непринужденностью и откровенностью прославляют сексуальность»,— так отозвалась критика на книжку рассказов «Венерина дельта» (1977), написанных Анаис Нин — одной из тех колоритных богемно-космополитических фигур, какими изобиловало межвоенное двадцатилетие.

Не будем ханжами: еще с античности пролегла через мировую литературу эротическая традиция, преобразуясь от века к веку, то выхолащиваясь в непотребное чтиво, то воспаряя к высокому искусству. Под пером Нин эта традиция истощается донельзя.

Вымученная «поэтизация» половой сферы у Нин немало обязана риторичной сексуальной символике Дэвида Г. Лоуренса. Однако если Лоуренсова заповедь: «вначале было тело» — часто служила ему лишь исходным пунктом, то у Нин на теле же все и кончается. В «Венериной дельте» нет анализа любовного чувства с его богатейшей гаммой переживаний и ощущений. По страницам сборника утомительной вереницей

[1] См. «ИЛ», 1974, № 12. *(Здесь и далее прим. ред.)*

проходят состоятельные бездельники, дамы света и полусвета, богемные типы, жиголо, сексуальные маньяки, проститутки, любители мыслимых и немыслимых извращений. В итоге последняя книжка Анаис Нин — издание не то чтобы порнографическое, но близкое к этому: претенциозный поп-справочник по сексу, кама-сутра вульгата.

«Венерина дельта» — только один пример того эротического взрыва, который переживает американская проза двух последних десятилетий. Сам этот «взрыв» есть следствие радикального изменения моральных представлений и языка западной буржуазной культуры. И поставщики ширпотреба, и авангардисты буквально сделались «пленниками секса». Красноречивы даже названия иных романов: «Профессор желания» Филиппа Рота (1977), книга о «погоне за эротическим счастьем и его утрате», как обещает издательская аннотация, или «Художник страсти» Джона Хоукса (1979), где, по отзыву рецензентов, «какая-то темная яростная страсть выливается в смятение психики».

Дэвид Б. Гуралник, редактор «Уэбстеровского словаря американского языка» (1978) с академической иронией пояснял: «Отсутствие в этом словаре ряда известных, вошедших в употребление вульгарных терминов, обозначающих половые и экскреционные органы и функции, объясняется отнюдь не недостатком примеров из текущей литературы, содержащих эти термины. Напротив, огромное количество таких примеров в последние годы заставляет предположить, что названные термины настолько понятны, что не нуждаются в пояснении».

Эта волна захватила и тех писателей, которых трудно заподозрить в сознательном желании приноровиться к стандартам сенсационного чтива. Многие серьезные романисты исходят, видимо, из того, что существует определенная глубинная связь между крайними, напряженными состояниями человека и половой сферой. Создается даже впечатление: чем смелее вторгается литература в острые общественные драмы, тем более расширяется, так сказать, эротогенная зона художественного воображения. Это — общая кризисная черта литератур капиталистического Запада, говорящая об истощении внутреннего мира человека.

«Сексуальная революция» выхолостила чувства, осталась элементарная физическая, нет — физиологическая потребность, иногда удовлетворяемая со всей возможной неразборчивостью, иногда выливающаяся в постоянную психосексуальную озабоченность, «головной секс». Как реакция на взаимное «потребление» мужчины и женщины вошла в литературу тема однополой «любви», единственно будто бы чистой, лишенной эгоистического интереса и т. д. Ей, например, отдала дань в романе «Лиловый цвет» (1982, Пулитцеровская премия) Элис Уокер, автор сильной книги «Меридиана» (1976), посвященной движению за гражданское равноправие черных.

Все более распространяющаяся «безлюбовность» сама по себе стала предметом художественного исследования. Показателен в этом смысле роман Шерли Энн Грау «Свидетельства любви» (1977). Действующие лица много и охотно говорят о любви, немало рефлектируют о ней, иногда даже «выражают» ее по-своему, но настоящего глубокого чувства привязанности, принадлежности другому человеку они, как правило, не знают. Никто из них решительно не способен «отказаться от сознания самого себя, забыть себя в другом «я» и, однако, в этом же исчезновении и забвении... обрести самого себя и обладать самим собой» (Гегель).

Один из самых «идеологизированных» типов массовой беллетристики эксплуатировал повсеместный интерес к истории страны, к ее началам и ходу развития. Спрос породил предложение.

В январе 1980 года Объединение типографских промышленников Нью-Йорка впервые отметило своей наградой профессионального литератора. Им оказался Джеймс Миченер [1]. Председатель Объединения сказал: «Двадцать шесть его книг, насчитывающих более пяти миллионов слов... представляют собой словесные картины, необходимые Америке для понимания ее становления как нации эмигрантов».

Промышленник недаром оперировал преимущественно цифрами. Трудно найти другую более или менее респектабельную фигуру, которая так отвечала бы интересам владельцев печатных машин. К тому времени было распродано около миллиона экземпляров только в твердой обложке 900-страничного романа Миченера «Чесапик» (1978). Книги Миченера поражают грандиозными географическими и временными масштабами. С автором можно побывать едва ли не во всех эпохах, на всех континентах. Действие следующего, «южноафриканского», романа Миченера «Договор» (1980) начинается пятнадцать тысяч лет назад и заканчивается в наши дни...

Прослеживая многоколенную хронику нескольких семейств, Миченер предпринял в «Чесапике» попытку создать охватывающий четыре столетия национальный эпос. Вся книга строится по методу накопления собственно романных эпизодов, где наряду с вымышленными персонажами иногда действуют реально существовавшие личности, исторических экскурсов с цитированием подлинных и придуманных документов, зарисовок быта и нравов, публицистических пассажей, фенологических очерков и т. д. и т. п. Тяжеловесная медлительная проза Миченера обладает редкой способностью самотиражироваться, ей свойственна назойливая повторяемость определенных элементов, форм, приемов.

Миченер так или иначе касается многих узловых моментов национального развития, раскрывая при этом и некоторые мрачные страницы прошлого и настоящего страны, дабы не потерять последний кредит у читателя. Однако его историческая объективность — только видимость, проникая которую различаешь довольно-таки примитивную тезисность, выдающую консервативную тенденциозность книги. Исключительность развития Нового света, апологетика деловой, денежной Америки — к этому, и только этому, сводится вся «философия» истории у мистера Миченера.

[1] Подробнее о книгах Дж. Миченера см. статью Н. Анастасьева «Как стать кумиром (Массовая беллетристика в США)». «ИЛ», 1982, № 9.

Массовое сознание по самому существу своему получает эстетическое наслаждение в узнавании изображаемого. Миченер прекрасно изучил своего читателя и не стремится поразить его ни художественными, ни социологическими открытиями. Он работает на знакомом, известном, общепринятом. Его книга не будоражит ни ум, ни совесть, а, напротив, убаюкивает обывателя привычными почвенными банальностями.

Природа и функционирование «массовой культуры» достаточно хорошо изучены. К общеизвестному стоит лишь добавить, что в условиях капиталистических отношений книга не может не приобретать свойства товара. Американский писатель творит не в вакууме — он прибегает к услугам литературного агента, заключает контракт, рекламируется, издается, рецензируется, переиздается массовым тиражом, выдвигается на премии и т. д. в рамках общепринятой практики, в системе господствующих понятий и вкусов, и это неизбежно сказывается на произведении, сколь угодно, казалось бы, далеком по замыслу от требований рынка. Сам способ создания, производства, сбыта и потребления книжной продукции в США ведет к стиранию граней между литературой «массовой», «коммерческой», «дешевой» и литературой «серьезной», «настоящей», «высокой» и вообще делает такое разделение проблематичным.

В массовой литературе, некогда имевшей обязательный набор штампов, наметился отход от жестких принципов жизнеподобия. Теперь уже и поп-чтиво допускает в себя экспериментальные формы. С другой стороны, «серьезная» и даже элитарная словесность заимствует клише массового сознания, зафиксированные в образах ходовой беллетристики. За минувшее десятилетие произошло, можно сказать, сращение высокой и низкой литературы, ведущее к единообразию художественного мышления. Уже сейчас трудно исчислить урон, который несет культура США от всеохватной коммерциализации литературы. Последствия же этого процесса вообще не поддаются прогнозам.

В той обширной, тоже изобилующей множеством переходов промежуточной зоне между литературой, создаваемой по внутренней потребности художника, и той, что пишется в пандан господствующему интересу, большинство советских и американских критиков ставят Артура Хейли.

Своей популярностью Хейли обязан главным образом тому, что овладел секретами «делового» романа. Каждая его вещь говорит о знании предмета и более или менее достоверно показывает людей в сфере непосредственной профессионально-производственной деятельности—будь то на детройтском автомобильном заводе («Колеса», 1972), в банке («Менялы», 1975) или на электростанции в Калифорнии («Перегрузка», 1979). Автор временами выходит на обсуждение проблем действительно злободневных для американцев, но делает это весьма осторожно, тщательно распределяя белую и черную краски.

Романы Хейли обладают одним бесспорным качеством — они занимательны, причем занимательность заявлена и зазывна. Достаточно прочитать, допустим, начало «Менял», как обнаружится, что тут не столько первый узел тугой завязки, сколько аннотация книги, обещающая, что читатель попадет за кулисы «больших денег» и что его ждет напряженная фабула. Романный текст рекламирует себя.

Материал Хейли варьирует от книги к книге, однако действующие лица, приемы, сюжетные ходы, темп повествования, вся, так сказать, методика романа отработана раз и навсегда. Автор предисловия к русскому изданию «Отеля» и «Аэропорта» ставил в заслугу автору, что его ситуации и решения показывают, как «здравый смысл, чуточку терпимости и несложный расчет сберегают компании и обществу в целом немалый экономический капитал». Верно замечено! Несмотря на отдельные, как говорится, недостатки и сбои, несмотря на огорчительные издержки и человеческие драмы, механизм клиники, гостиницы, аэропорта, автозавода, банковской сети, энергетической системы, американского образа жизни у Хейли действует.

По складу общественной и духовной жизни Америки модернистское искусство всегда занимало скромное место и в литературе. «Классики» американского формализма и авангарда Г. Джеймс, Г. Стайн, Э. Паунд, Т. С. Элиот, Г. Миллер были экспатриантами, и их влияние на живой литературный процесс в Новом свете было незначительно. Больше того, в их книгах видели что-то «неамериканское». Ранние поэтические эксперименты У. К. Уильямса и Э. Э. Каммингса были известны лишь ограниченному кругу посвященных. «Большого» модернистского романа в его завершенном виде американская литература первой половины столетия, можно сказать, не знает.

Модернистское мироощущение захватило значительную часть творческой интеллигенции США именно после второй мировой войны [1], когда либерально-буржуазное сознание Запада оказалось неспособным объяснить Мюнхен, Дрезден, Освенцим, Хиросиму... Художественная мысль Америки металась между сиюминутной данностью маккартистской мании и метафизическим мраком всеобщего самоистребления в результате возможной ядерной катастрофы, то попадая в молотилку «массового общества», то добровольно прячась в подземелье, чтобы «наслаждаться неслышной музыкой собственного отчуждения» (Р. Эллисон. «Невидимка», 1952). Многие художники стали воспринимать бытие как бессмыслицу. Они и их герои разделяли мучительный анархический вскрик хеллеровского Иоссариана в «Уловке-22» (1961, русский перевод): «Да, я за хаос, старый, добрый, не радиоактивный хаос!» Мир и историю начали преподносить в образах балагана, борделя, бестиария, бедлама, бойни.

Эта тенденция перенесла в наши дни «игровое постэкзистенциалистское видение, одновременно пародийное и полное отчаяния, высокоинтеллектуальное и тривиальное, которое бросило вызов фундаментальным

[1] О проблемах американского неоавангарда 70-х годов см. также статью А. Зверева «Тупик (К вопросу об американском постмодернизме)». «ИЛ», 1982, № 6.

принципам искусства, культуры, самого бытия, охватывая различные жанры и субкультуры. Литература то устремлялась в гносеологические поиски своих корней, то замирала в ожидании внезапной лексической смерти». Авторы последнего издания «Литературной истории США» преувеличивают значение этого сдвига, обходя для облегчения методологических задач крепкий пласт реалистического романа, однако характер определенного течения уловлен в общем верно.

Одна из особенностей новейшего американского модернизма — «лингвизация» литературы. Не внешняя реальность, а сам язык становится материалом и предметом творчества, как показывает, например, недавний 800-страничный роман Джона Барта, название которого можно перевести и как «Письма», и как «Буквы» (1979).

Модернизм как мастеровитость — такова центральная идея работы Хью Кеннера «Самодельный мир. Американские модернистские писатели» (1975). Автор связывает ранние языковые эксперименты у отечественных поэтов и прозаиков с достижениями отечественной техники. «Самодельный мир» американского модернизма, согласно Кеннеру, исходил и исходит из посылки, что «язык — это нечто проблематичное, нечто внешнее как по отношению к говорящим, так и по отношению к явлениям, которые они стараются обозначить. Нормы языка не привнесены историей, они выбираются произвольно».

Ту же теорию в профессионально-писательском ключе развивает прозаик Уильям Гэсс. В книге эссе и лекций «Вселенная в слове» (1978) он с немалой эрудицией и выдумкой демонстрирует качественное отличие языка художественной литературы от обыденной речи, поскольку в первой слово претерпевает «онтологические превращения» — что́ бы это ни значило. Однако в общем подходе к языку как материалу искусства Гэсс смыкается с односторонними знаковыми концепциями литературы: «Язык все более утрачивает традиционные семантические свойства и способности в пользу растущего контекстуального взаимодействия. Слова... не «сообщают», не описывают, а создают так называемые предметы».

Ощущение проблематичности языка рождается, конечно же, из представлений о проблематичности самого бытия. Недвусмысленно высказался на этот счет Джон Хоукс в диалоге с Джоном Бартом, состоявшемся весной 1979 года: некоторые писатели «думают, что они отражают или воспроизводят реальность. Они, очевидно, думают, что «там» есть реальность...»

Программные заявления такого рода — а их можно привести множество — отнюдь не означают, что произведения писателей этого направления не преломляют по-своему действительность с ее будничными заботами и историческими катаклизмами, что модернизм как кризисное мироощущение и тип творчества однороден, целостен, не претерпевает никаких изменений и не принимает различные формы.

Эволюцию американской модернистской прозы последних лет можно проследить, сопоставив два романа писателей среднего поколения — Томаса Пинчона (род. в 1937) и Джона Ирвинга (род. в 1942). И в «Радуге земного притяжения» (1973) и в «Мире по Гарпу» (1978) выразилась атмосфера времени, когда по глубокому наблюдению критика Джона Олдриджа «единственной реальностью становится постоянная вероятность катастрофы».

«Радуга» — сложнейшее литературное сооружение, которое автор возводит с помощью разнофигурных и многоразмерных элементов, изготовленных из всевозможных материалов: химия и мифология, теория вероятностей и психоанализ, лингвистика и кинематограф. В ход идут также блоки математических формул и поп-мелодий. Разнородные части конструкции скреплены в целостный монолит бесконечными невидимыми связями по всем уровням и направлениям, которые выходят наружу в виде собственно романных средств, имеющих преимущественно сюрреалистический характер. Читать книгу — все равно что разбираться в груде чертежей, где отсутствуют множество важных листов и утеряна спецификация.

Запутанный лабиринт, подпольная сеть, секретная система, тайный заговор — это излюбленные идеи-образы Пинчона, его метафоры мира и вместе с тем собственного творческого метода, который американская критика сближает с «принципом неопределенности» в квантовой теории. Думается, что правильнее говорить о старом положении идеалистической философии, утверждающем принципиальную невозможность адекватного описания явления не в силу его объективных свойств, а из-за самого познающего сознания, увязающего в неразрешимых противоречиях.

В первом романе с зашифрованным названием «V» (1963) Пинчон вел своего героя по лабиринтам европейской истории, от сараевского выстрела до начала второй мировой войны, и подводил его к огорошивающей мысли, что катаклизмы XX века — результат «Заговора, Которому Нет Названия». В «Радуге» такой злодейский, чудовищный «заговор» сплетен «Ими» задолго до второй мировой, однако и с разгромом гитлеровской Германии и установлением мира. «Их» предприятие продолжает работать».

Странствия героя романа, лейтенанта американской армии Тайрона Слотропа, по взбаламученной Европе лета 1945 года — это безудержная пародия, модерная макабрическая перелицовка плутовского романа, заглядывающего на задворки эпохи и издевающегося над ее явными и тайными пороками. По книге кружит жуткий хоровод гротескных, претерпевающих непонятные метаморфозы фигур. Большинство втянуто в повальную параноидную гонку за овладение секретами Ракеты.

Чтобы передать ощущение безумности происходящего, писатель изобретает многочисленные и многозначные языковые и графические символы. Так, начальная буква немецкого слова «оружие возмездия» — «V» трансформируется в принятое англоязычное обозначение победы и одновременно в знак капитуляции — уподоблением его поднятым вверх рукам. В сложной системе зловещей символики смерти особая роль принадлежит собственно Ракете: летательный

снаряд уподобляется фаллосу, его попадание и взрыв — оргазму и т. п.

Слотроп — условный, обобщенный тип обыкновенного американца эпохи НТР и невиданных общественных переворотов, обманутого, оболваненного и запрограммированного на молчаливый конформизм. Еще в детстве он подвергся бесчеловечному эксперименту и с тех пор находится под неусыпным негласным контролем. Предприятие его отца через посредников вело дела с «И. Г. Фарбениндустри». Работая на войну, немецкий химический концерн-спрут сотрудничал с гигантским нефтяным картелем «Шелл», державой, которая «не имела ни родины, ни лица, ни культурного наследия, не примкнула ни к одной из сторон в войне, зато выгодно эксплуатировала планетарный, глубоко залегающий пласт, откуда выкачивают всевозможные виды корпоративной собственности». Это — прямой публицистический голос автора. В хаосе событий прозревается закономерность, в сумасшествии постепенно проступает система. «Они» — это могущественные военно-промышленные метакартели, наживающиеся на производстве оружия и боеприпасов, не знающие ни национальных границ, ни политических разногласий.

Томас Пинчон отважился на комплексное художественное исследование механики подавления личности в условиях развитой капиталистической системы — от искуснейшего, «невидимого» манипулирования сознанием до создания оружия массового уничтожения. Особенности мировоззрения автора и его поэтики поставили существенные пределы этому исследованию. Но глубокий пессимизм писателя свободен от юродствования и циничного глумления над человеческими ценностями, он имеет даже определенную моральную цель: любыми средствами предупредить о нависшей над человечеством опасности.

Роман Ирвинга представляет собой, напротив, пример массово-модернистской литературы, слияния авангардистской прозы и ходовой беллетристики.

Странные фигуры маячат на страницах этого произведения. Изувеченный воздушный стрелок техник-сержант Гарп, умирающий, прикованный к постели полуидиот, сохранивший, однако, до смерти свою мужскую силу. Ею-то и воспользовалась, чтобы прижить себе ребенка, молодая медсестра-мизантропка Дженни Филдс, ставшая впоследствии воинствующей феминисткой. «Транссексуальное» существо Роберта Малдон, бывший популярный футболист, добровольно перенесший операцию по изменению пола. Изнасилованная одиннадцатилетняя девочка Эллен Джеймс, которой растлители вырезали язык, чтобы она молчала,— трагедия повторилась в фарсе «Общества элленджеймсианок»: его члены тоже повырезали себе языки в знак протеста против разнузданного мужского мира.

Книга Ирвинга по форме представляет собой повесть о жизни и деятельности Т. С. Гарпа, сына Дженни, спортивного борца и писателя (его инициалы — обозначение воинского звания родителя). Кроме того, это роман-эксперимент, поскольку автор включил в текст пространные отрывки из сочинений Гарпа, как бы предлагая посмотреть, как соотносится реальный опыт героя и работа его воображения.

«Что же это за инстинкт, заложенный в людях, который заставляет их ожидать, что что-то должно случиться?» — размышляет Гарп над комбинаторными возможностями фабулы. Причина всех зол и бед, однако, уходит, по Ирвингу, в «хотение», в необузданное чувственное влечение, которое превращается в непостижимую грозную стихию наподобие природной. Книга Ирвинга вообще написана по правилам, которых придерживался Гарп. Философия творчества ирвинговского персонажа сводится к банальностям, почерпнутым из школьных теорий литературы на Западе, а писательская метода самого автора напоминает картины Сальвадора Дали: отдельные фигуры, предметы, детали выписаны прямо-таки с копиистским тщанием, но в сумме составляют фантасмагорические сочетания.

Односложное рыканье «Гарп!», которое издавал искалеченный техник-сержант, бешеное заикание учителя-словесника, «элленджеймсианки», сообщающиеся с другими посредством записок, сломанная после аварии челюсть героя, что обрекло его на продолжительное молчание... Ирвинг выстроил ряд достаточно красноречивых символов безъязыкости и боли, но предпочел не углубляться в их действительную природу. «В мире, по Гарпу, мы все смертны» — такова последняя мудрость, изреченная в заключительной фразе романа, и потому «мы должны стараться жить как можно лучше»,— добавил автор в беседе после выхода романа. Не знаешь, чего тут больше — мещанского морализирования или морочения легковерных голов. Как бы то ни было, решительно прав английский рецензент, отозвавшийся о романе Ирвинга так: «Совместное сочинение Сада и Сарду».

Самое важное, пожалуй, различие, которое иногда легче, иногда труднее прослеживается между массовой беллетристикой в США и так называемой «качественной» прозой, заключается не в формах повествования, не в уровне профессионализма и часто даже не в содержании как таковом, а в мироощущении литературных героев, по которому более или менее угадывается позиция писателя.

Какими бы конфликтами и драмами, сплошь и рядом надуманными, ни насыщались книги, рассчитанные на массовое потребление, действующие в них лица смотрят на действительность, как правило, сквозь розовые очки и потому деятельны.

Серьезная же американская словесность последних полутора десятилетий при всех исключениях и оттенках — скорее область обитания разочарованных, опустошенных, изломанных душ, людей «слабых, беспомощных перед мощными силами, которые играют человеком», как определил своих персонажей Курт Воннегут в «Бойне номер пять, или Крестовом походе детей» (1969, русский перевод) — романной фантазии на темы бывшей войны и современного мира, проникнутой печальным, но и отстраненно-насмешливым взглядом на то и на другое. Книга во многом предвосхитила сегодняшние умонастроения творческой интеллигенции.

Коммерческий бум в сфере культуры и, с другой стороны, общественная апатия определенно сказались на серьезной литературе. Идейно-психологическое безвременье оборачивалось в прозе вялостью выражения и мысли, ослаблением гражданского начала, возвратом к пессимистическому взгляду на ход человеческих дел, субъективизмом. Во многих книгах, несмотря на бесспорный профессионализм, доминировало воспроизведение внешнего слоя действительности — непонятной, нелогичной, враждебной.

«Что-то должно случиться с нашей великой страной, что-то яростное и трагическое»,— предчувствовал герой первого романа Уильяма Стайрона «Сойти во тьму» (1951). «Что-то случилось»— самим названием своего произведения Дж. Хеллер превосходно и предельно точно выразил в 1974 году типичное состояние духа. Что-то случилось — нестройным, разноголосым хором твердит сейчас американская литература, что-то случилось со страной, ее институтами, ее образом жизни, и мыслей, и чувств.

Болезнь налицо, однако мало кто решался ставить диагноз и еще меньше искал средства врачевания. Сама поэтика Хеллерова романа: фиксация тягучей, со скрипом и сбоями непродуктивной работы эгоцентричного и запутавшегося чиновничье-буржуазного сознания, бесконечная повторяемость ощущений неустойчивости, подавленности, невротического страха перед завтрашним днем — сообщает произведению натуралистическую одномерность, отчасти сглаживает углы сатирических гротесков. Роман — знак времени с его неспособностью или нежеланием ответить на вопрос, что же все-таки случилось и в чем причина. Мы видим лишь конечный результат — распад личности, перепуганной ощущением собственной как бы даже недостоверности.

У многих литературных персонажей кипит внутри смутное недовольство собой и миром, но выливается оно лишь в беспредметные парадоксы, язвительную (авто)иронию, разъедающий скепсис, всевозможные фантазии. Они чувствуют себя жертвами обстоятельств, окружения, общества, эпохи, феномена времени, трансцендентных сил, наконец.

Джон Ленард писал с полемической заостренностью, что американский романист «потерял чувство причастности: гораздо проще оставаться отчужденным. Он потерял общественное чувство: социальный порядок, любой социальный порядок требует от писателя поступаться его великой неповторимой индивидуальностью. Если он и держится какой-либо идеи, то это идея своего «я» или недостаточности языка, не способного выразить то отчаяние, в какое его повергает секс или всепоглощающая энтропия».

Прочерчивая диаграмму самочувствия романных характеров, поражаешься, насколько оно схоже, усреднено, однотипно, хотя созданы эти характеры писателями одаренными и вроде бы различных творческих установок. Это самочувствие можно назвать бессилием перед реальностью, страхом перед будущим, боязнью истории.

«Время есть все время... Оно неизменно. Его нельзя ни объяснить, ни предугадать... Рассмотрите его миг за мигом, и вы поймете, что мы просто насекомые в янтаре»,— поучает воннегутовского Билли Пилигрима обитатель далекой планеты, где не знают свободы воли, зато проводят время, созерцая только приятное («Бойня номер пять...»).

«Пальцы какого-то зловещего крупье касались рукавов его мечтаний,— комментирует Томас Пинчон «условия существования» своего героя.— Все, что ему в жизни казалось свободой или случаем, находилось под чьим-то контролем, постоянным и жестким, как зафиксированная ось рулетки» («Радуга земного притяжения», 1973).

«Люди увязают в ненужной ложной комедии, которую называют историей — в событиях, в новостях, в политике»,— изрекает литературная знаменитость Чарли Ситрин у Сола Беллоу («Дар Гумбольдта», 1974), противопоставляя «мощному, организованному движению жизни» даже не собственное «до боли свободное сознание», а беспримесную веру в потусторонние формы бытия.

«Хочу скрыться от истории — от личной и от коллективной!» — исступленно вторит ему другой гуманитарий, разочаровавшийся в книжных премудростях. Правда, в отличие от белловианского интеллектуала, Кэш из романа Оутс «Чайлдуолд» (1976) — человек, страдающий подлинно и ищущий спасения в первоначалах конкретно-чувственного бытия.

Ситрин воспаряет к надмировым субстанциям, Кэш приникает к земле, а герой-повествователь Р. Баха, носящий имя автора, вообще жаждет жить в воображаемом: «Не хочу никакого будущего. И прошлого тоже не хочу. Хорошо бы сделаться Хозяином Мира Иллюзий» («Иллюзии», 1977).

Всех их объединяет одно: взгляд на историю «как разорванный мусорный мешок, набитый случайными совпадениями, которые растаскивает ветер»—так формулирует общее состояние ума мизантроп и подлипала Брюс Голд у Дж. Хеллера («Золото, а не человек», 1979). Этот взгляд восходит в наше время к Т. С. Элиоту. Это он в 1923 году писал, что современная история представляет собой «необозримую панораму бессмысленности и анархии», теоретически обосновывая использование в литературе мифа: «мы можем использовать мифологический метод вместо повествовательного».

Пора кризисов и горячки вокруг двухсотлетия, как уже говорилось, возродила интерес к прошлому, который стал характерологической чертой всей литературы США. Он проявлялся в разных формах: в жанре исторического романа и в его облегченном варианте — сочинениях стиля «ретро», в семейных хрониках и «литературе корней», в бесчисленных мемуарах и изданиях эпистолярного наследия.

К истории обращаются, чтобы извлечь уроки для настоящего и будущего,—это старая истина. Но есть в этой устремленности американцев в былое одна особенность, подмеченная критикой: «История оказывается списком проблем, экзаменом, который человек не выдерживает... Мы обратились к прошлому, чтобы реабилитировать себя, но это лишь один из способов исключить будущее». С другой стороны, «утрачивая уверенность в будущем, мы начинаем закры-

вать дверь в прошлое», как говорил в обращении к нации в 1979 году Картер.

В этом заколдованном круге, в этом неразрешимом противоречии и оказался американский роман, не давший по-настоящему крупного исторического полотна. Наибольшей глубины историзма в прозе достигли, пожалуй, Томас Флэнаган в романе «Год французов» (1979), построенном на материале борьбы ирландцев за независимость в конце XVIII века, и Гор Видал в известной трилогии, рисующей три важных этапа политической жизни Америки («Бэрр», 1973, русский перевод; «1876 год», 1976; «Вашингтон, округ Колумбия», 1966, русский перевод [1]). Большинство же сочинений написано по канонам буржуазной историографии и приукрашивают прошлое — далекое и близкое.

Ведущим представителем стиля «ретро» после «Рэгтайма» (1975, русский перевод [2]) стали считать Эдгара Л. Доктороу. Изображение отдельных сколков с внешней реальности выглядит натурально, правдоподобно, как при демонстрации комплекта цветных слайдов, но неподвижно и избирательно, как того пожелал человек с камерой. Набор колоритных фактов вне их иерархии плюс ностальгия по неким, никогда не существовавшим временам, то есть более или менее искусное преображение прошлого в угоду бытующим вкусам, — таковы особенности этого популярного жанра. Притягательная сила «ретро» для среднего американца — в редукции истории.

Трудно сказать, с кого или с чего пошло это широкое течение — «литература корней», но оформилось оно и получило название, наверное, с выходом историко-очерковой книги «Корни» (1976) Алекса Хейли, проследившего свою родословную до самого дальнего колена. Исследование цепкости и ценностей исконной почвы, отцовского начала, родовой крови, прочности этнических и семейных уз по понятным причинам наиболее отчетливо прослеживается у писателей, принадлежащих к национальным меньшинствам, а также у писателей-регионалистов, особенно южан, где смыкается с неискореняющейся традицией утверждения социально-этической особости просвещенного Юга.

Красноречив в этом плане роман Р. П. Уоррена «Место, куда возвращаются» (1977) и судьба его главного действующего лица. Джед Тьюксбери оторвался от края, где рос, и уклада, который его формировал, сделался известным ученым, прикоснулся к значительным событиям века, но не нашел себя ни в чем и нигде и совершает, наконец, обратное движение в Алабаму.

«Место, куда возвращаются» — это не только последняя точка, поставленная на земном пути, временно́м существовании человека, но и конкретная почва традиции, образа жизни, отчего дома. Итоги жизни — в ее истоках. Такова единственная возможная реальность для личности, отчужденной от истории.

Что до произведений авторов иного, не англосаксонского происхождения, то тема начал и наследия — одна из форм общего оживления этнических культур США, явления, рассмотренного мною в другом месте («Литературное обозрение», 1982, № 9). Показательно в этом отношении состояние афро-американского романа, который после некоторого застоя в начале 70-х снова вышел на передовые рубежи литературного развития, постепенно возвращая себе ясные, здоровые социальные и духовные перспективы, и творчество выдающегося художника Джеймса Болдуина.

Неустойчивость общественной жизни наталкивала писателей на поиски духовных ценностей в семье («За окном спальни. Семейный альбом» Л. Войвуди, 1975; «Земная оболочка» Р. Прайса, 1975, русский перевод; «Семья Даннов» Дж. Фаррела, 1976; «Песнь Соломона» Т. Моррисон, 1977, русский перевод; «Песнь равнин. Для женских голосов» Р. Морриса, 1979 и др.).

Литература США XX века за некоторыми исключениями не знает такой мощной традиции семейного повествования, как европейские. Редкие из названных произведений достигают типологически того органичного слияния семейного и социального, какое есть у Горького, Т. Манна, Дю Гара, Голсуорси, и уступают даже некоторым отечественным романам 60-х годов — взять хотя бы «День восьмой» Т. Уайлдера или романы Дж. Чивера об Уопшотах. В них обнаруживается известная узость общественного видения и отсюда — недостаточность, неполнота реализма. И все-таки, обращаясь к первичной ячейке человеческого общества, писатели стремятся восстановить искусством распавшиеся в окружающем мире связи между людьми. Тем самым, несмотря на издержки, возрождается и развивается животворная традиция, особенно важная в таких условиях, когда в литературе очевидно «недоверие к реалистической полноте картины и тяготение к «притчевой» искусственности» (Дж. Гарднер).

Три романа, изданные Куртом Воннегутом на протяжении 70-х годов: «Завтрак для чемпионов» (1973, русский перевод [1]), «Балаган, или Больше я не одинок!» (1976) и «Тюремная птаха» (1979), подтвердили его репутацию фантазера, сатирика и иронического строителя прекраснодушных утопий. Его комическая стихия по-прежнему окрашивалась то в черный цвет, то в небесно-голубой. Он по-прежнему чутко реагировал на явные или скрытые факты современности — будь то стандартизация духа, навязываемая «массовым» обществом, или угроза массового уничтожения в термоядерной катастрофе. Затрагивая действительно насущные проблемы, писатель, как и прежде, нередко сводил их к простейшим понятиям, скрадывающим сложность реальности, или опрокидывал, снимал их игрою ума или попросту отделывался шуткой.

Формы воннегутовской прозы по-прежнему основывались на условных ситуациях и фигурах, на минимальной сюжетике и были почти целиком выдержаны в поэтике парадоксов. Каждый из трех романов открывается авторским предисловием или прологом — писателю словно бы недостаточно собственно романных средств выражения, и потому он прилагает декларацию намерений

[1] Напечатан в «ИЛ», 1968, № 11, 12.
[2] Роман опубликован в «ИЛ», 1978, № 9, 10.

[1] Печатался в «ИЛ», 1975, № 1, 2.

или наброски творческой автобиографии, которые по истечении десятилетия вылились в книгу эссе и выступлений «Вербное воскресенье. Автобиографический коллаж» (1981).

Последовательное повествование, вероятно, противоречит игровой природе воннегутовского таланта. Художественный текст у писателя строится, как правило, по принципу мозаики, составляется из коротких, на несколько абзацев разнородных высказываний. Высказывания «смотрятся» лишь в сумме, а сумма — типичный, данный в гротескно-абсурдном преломлении урбанизированный американский ландшафт. Впрочем, не только американский: так всюду «на этой сильно поврежденной планете».

«Балаган» — логическое развитие внешнего рисунка «Завтрака», известного нашему читателю. Реальные кризисные явления, зорко подмечаемые писателем, в этой изданной в год 200-летия США книге трансформировались в полный распад американской цивилизации. Страна раскололась на части, города разрушаются, население вымирает. Бывший президент США столетний Уилбер Свейн живет с правнучкой среди руин на обезлюдевшем Манхаттане. Его отрывочные записи и есть роман, то есть не роман, а книга, потому что «Я никогда не напишу ничего более автобиографического»,— заявляет Воннегут в первой же фразе лирико-исповедального «Пролога».

Критик оказывается в деликатном положении. Ему совсем не хочется ассоциировать автора с сенильным стариком, глотающим таблетки, который, покрякивая и хехекая, рассказывает об уродливо-интимных отношениях с сестрой и умирании Америки.

В богатом доме, где жили детьми прикидывавшиеся слабоумными Уилбер и Элиза, были одни им ведомые «двери в другие вселенные». В творчестве писателя тоже есть такие «двери» в более человечные измерения, выходы игровые, иллюзорные, но, судя по тому, с какой настойчивостью они отворяются то в одной, то в другой книге, вовсе не шуточные для автора.

В «Колыбели для кошки» (1963, русский перевод) — это религия «боконизма», расцветшая под гнетом тиранического режима: «человек... просто человек». В романе «Дай вам бог здоровья, мистер Розуотер, или Не мечите бисер перед свиньями» такой запасной выход — благотворительность героя, вознамерившегося раздарить свой капитал бедным. Билли Пилигрим в «Бойне» старался принести людям утешение, «открыв им правду о времени»: причины всех бед лежат в четвертом измерении, недоступном землянам. В «Завтраке» предлагалось дополнить эйнштейновскую формулу энергии $E=mc^2$ членом S — сознанием, правда, потом сознание было скомпрометировано, так как попало в неподходящую, очевидно, телесную оболочку. Главное деяние героя «Балагана» — изобретение средства против самой страшной болезни, «одиночества по-американски». Если раньше над простым людом стояли олигархические фамилии Рокфеллеров, Дюпонов, Вандербильтов, то теперь все родственники и все равны. Каждый гражданин выбирает себе второе имя по названию растения, минерала или животного и тем самым становится членом большой семьи бурундуков или бокситов.

Тридцатистраничным «Прологом» к «Тюремной птахе» Воннегут снова ставит в тупик: то ли пишет автобиографию, то ли объясняет замысел книги, то ли этим способом сооружает мост между собственно романной историей и действительными фактами американской жизни прошлого и настоящего. В конце приложен указатель, где реальные имена, встречающиеся в тексте, значатся наравне с придуманными.

Наиболее впечатляющий момент в прологе — драматичное описание «побоища в Кьюэхоге», жестокой расправы над мирной толпой забастовщиков и членов их семей в канун рождества 1894 года на железоделательном заводе в Кливленде. Поначалу неясно, почему этот сильный эпизод не попал в основной массив текста, потом понимаешь: книга не о том. Вместо намеченной в «Прологе» темы автор предлагает нам историю частной жизни Уолтера Ф. Старбека, в детстве Станкевича, сына бедных иммигрантов — поляка и литовки, рассказанную им самим.

За исключением одной сюжетной линии, связанной с фантастической корпорацией «Рэмджек», повествование в «Птахе», более чем где бы то ни было у Воннегута, приближено к формам самой жизни. Образ и эволюция героя тоже по-своему типичны для части левой интеллигенции: экс-коммунист, более или менее благополучный правительственный чиновник, «лояльный» свидетель Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, «осторожный приверженец капиталистической демократии».

Старбек в обрисовке автора — слабая натура, жертва обстоятельств, пленник общества, «тюремная птаха» истории и потому заслуживает снисхождения. Несмотря ни на что, он остался «идеалистом», который мечтает, что «в один прекрасный день на Земле будет одна большая, мирная, счастливая семья — Семья Людей». По всей книге настойчиво звучат мотивы Нагорной проповеди, а на мягкой обложке, собственноручно выполненной Воннегутом, помимо надписи «общенациональный бестселлер № 1» изображены очертания парящей птицы, напоминающей баховскую чайку.

«Черная» горечь, прикрываемая шутовскими масками, и интерес к проблемам нравственного совершенствования, к религиозным доктринам спасения, «смех и слезы» как ответы на «разочарованность и истощение, на тщету мысли и стремлений», то есть переплетение философско-пессимистических и романтико-реформистских тенденций, определяют разноликость теперешнего Воннегута.

«Не надо банальной иронии, не надо надрывать голос...» — говорит себе романный персонаж, но в этих словах различимы интонации его создателя.

Нельзя представить себе двух более далеких друг от друга художников, нежели «новатор» Воннегут и недавно скончавшийся «традиционалист» Чивер. Их разделяет биография, образ жизни и образ творчества. Чивер не знал такой шумной, выливающейся в «воннекульт» популярности, как Воннегут, зато его давно почитали патриархом

американской словесности. И вот обнаружилось, что два таких разных писателя на определенном этапе сблизились по мироощущению. И это сближение само по себе много проясняет в положении современного американского романа.

«Фолконер» (1977) читается двояко — как повесть и как притча. Современная социальная повесть о 48-летнем преподавателе колледжа Иезекииле Фаррагэте, убившем брата и осужденном на пожизненное заключение. И древняя как мир притча о преступлении, наказании, искуплении и возрождении. Самим именем героя — Иезекииль — писатель недвусмысленно отсылает нас к книге библейского пророка, который учил судей прощать, а беззаконников преображаться. Соответственно две доминирующие интонации: аналитичная, негодующая и лирическая, исповедальная.

Фаррагэт — неизлечимый наркоман. Это началось давно, еще на войне, как упомянуто вскользь, но красноречиво. Однако война войной, она была поводом, а причина, видно, все же глубже. Слушай, отчего ты заделался наркотом? — любопытствует надзиратель, и Фаррагэт мысленно отвечает: как же могло быть иначе в его семье, в его среде. «Он вырос среди людей, занимавшихся незаконной торговлей. Не наркотиками, нет, а духовными, интеллектуальными и эротическими возбудителями». Истинные отцы и дети среднего — серединного — класса американцев, они выдавали культурные суррогаты за настоящие ценности. Фаррагэта бесило самодовольное, доходящее до жестокости равнодушие брата, его напускное бодрячество, его притворство. Кромешным адом обернулась для Фаррагэта женитьба на красавице Марсли. Ее истерики сотрясают дом, она затыкает уши при слове «любовь». Так, по кирпичику кладет Чивер вокруг героя стены, отгораживающие людей друг от друга. Тот дошел до последней точки, когда ударил брата кочергой...

Эпизоды физического и морального надругательства над заключенными в «Фолконере» понадобились автору для того, чтобы на этом темном заднике резче, нагляднее прописать просветление и преображение героя. Фаррагэт на воле был как в тюрьме. Но только в тюрьме он понял цену воли.

Еще большее значение для внутренней перестройки героя имеет его сближение с «тюремными птахами». Среди них, изгоев и отбросов общества, находит он искры понимания и участия, которых так не хватало ему т а м. Услышав от своего «возлюбленного» Джоди «как ты прекрасен», Фаррагэт расцветает, словно цветок: «Он всю жизнь ждал этих слов».

Добровольное мужеложество — это ли не крайняя форма самоотчуждения и искажения человеком собственной природы? Однако ж оно трактуется Чивером как замечательное положительное переживание и безо всякой скандалезности.

Смерть товарища и случай способствуют избавлению Фаррагэта. Спасение в чужом погребальном мешке — это, разумеется, пародия на побег Эдмона Дантеса в знаменитом романе Дюма-отца. И одновременно — нечто большее и серьезное: деликатная и виртуозная парафраза новозаветного эпизода положения во гроб и последующего вознесения. «Меня очень интересует религиозный опыт»,— признался Чивер в беседе с Джоном Херси.

Если писатель действительно намеревался написать «очень мрачную книгу, но излучающую свет», то это ему удалось. Возрадуйся! — как молитву твердит очистившийся острожной преисподней Фаррагэт, шагая с просветленным сердцем по ночному городу. Чистота помысла и человечность художнической позиции автора не вызывает сомнений. Но сомнительно, чтобы свет, ведущий его героя за пределы романа, разогнал мрак, от которого он так настрадался.

Неопределенность, двойственность формально-содержательных установок в сегодняшнем американском романе наглядно демонстрирует недавний, 1980 года, роман Эдгара Л. Доктороу.

Образы внешнего мира и отблески переживаний героев как бы падают на подернутое рябью зеркало его «Гагарьего озера», колеблются, переливаются, дробятся. К этому холодному, затерянному в горах Адирондака озеру, над которым с криком рыщут хищные гагары, к уединенному, зорко охраняемому от посторонних поместью промышленного магната Фрэнсиса Уоррена Беннета так или иначе устремлены пути и помыслы персонажей романа. Гагарье озеро — это знак беспорядочной, зыбкой, расколовшейся реальности 30-х годов и знак структуры самого произведения.

Повествование разорвано и нарочито усложнено. Суховатые сюжетно-протокольные описания перемежаются безостановочной, не знающей пауз и препинаний внутренней речью, не всегда атрибутируемой, или темным верлибром — часто опять-таки с неразличимым авторством, — или обрывками воспоминаний главного героя, находящегося в неопределенном, не наступающем в романе будущем.

Одновременно в книге ощутимо стремление представить изображаемое как достоверное и непреложно данное. Чтобы внушить: «так было», автор использует «объективное» письмо и вводит (псевдо) документальный материал — анкеты действующих лиц. Скользящие и ускользаемые «точки зрения» делают проблематичным авторство и, стало быть, авторскую позицию. Они призваны придать повествованию характер некой очевидности, что подчеркивается и комментариями анонимного наблюдателя: «Здесь я хочу пояснить...», «Ваш протоколист просит прощения за...» Налицо смешение приемов модернистского и натуралистического письма.

Уоррен Пенфилд и Джо Коженевский росли в рабочих семьях, с детства познали нужду, социальную несправедливость, жестокость существующих порядков. Обоих судьба свела с хозяином Гагарьего озера. И оба выходят из этого конфликта морально побежденными, сломленными, внутренне опустошенными.

Обращение Доктороу к 30-м годам симптоматично: безотрадный рубеж 70—80-х вызвал в общественном сознании Америки ассоциации с периодом Великой депрессии. Писателю кое-где удается передать дух времени бьющим в глаза контрастом между положением трудящихся и праздными безрадостными утехами светских знаменитостей

и полусветской сволочи на берегах заповедного озера.

Летопись и литература Америки XX века зафиксировала и присмиревших, отчаявшихся бунтарей типа Уоррена Пенфилда, способных лишь на эксцентрические выходки, и законченных индивидуалистов, как Джо, выломившихся из своего класса, и рабочих-провокаторов вроде Лайла Джеймса по прозвищу Красный. Может быть, автор свел их в одном романе для того, чтобы показать растлевающее влияние сильной личности магната на людей из народа?

«Никаких попыток приукрасить Ф. У. Беннета»,— заверяет комментатор. Умный, образованный, с изысканным вкусом и безукоризненными манерами, он вместе с тем — неисправимый собственник и беспощадный делец.

С другой стороны, «ваш протоколист почтительно рекомендует рассмотреть факты противоположного характера», и читателю предлагаются таковые — от заявления: «История свидетельствует, что класс, к которому принадлежит мистер Ф. У. Беннет, отнюдь не является чистым воплощением зла» до длинного перечня крупных пожертвований, а также великодушия, которое тот проявил к бездомному пьянчуге-поэту и бедному иммигрантскому парню.

И все же герой решает отомстить Беннету, и он мстит — тем, что делается его сыном. «Я засвидетельствую перед лицом господа бога, что Беннет человек...» Приложенная в конце книги «анкета» Джозефа Коженевского-Паттерсона-Беннета сообщает, какую забирающую дух карьеру сделал, оправившись от легких моральных ушибов, приемный сын магната.

Фигура просвещенного капиталиста, бизнесмена-благодетеля, который, как говорится, «тоже человек», образ, данный преимущественно в плане личных отношений или морально-бытовой сфере, снова вошел в оборот американской романистики. Типологически схожи между собой доктор Грунер в «Планете мистера Самплера» (1969) и миллионер-строитель Джулиус Ситрин в «Даре Гумбольдта» (1974) у Сола Беллоу, Александр Маккоун в «Тюремной птахе» Вонегута (1979), «конфетный король» Валериан Стрит в «Смоляном чучелке» Тони Моррисон (1981), банкир и юрист Рассел Хейзен у Ирвина Шоу в «Хлебе по водам» (1981)...

Современная литература США редко ступает в ту область, которая населена производителями, а не потребителями. Она охотнее ищет своих героев среди обеспеченных или праздных слоев общества.

«Джоан Харлинг погружает читателя в мир, о котором большинство из нас ничего не знает»,— гласит издательская аннотация к ее производственно-бытовому роману «Монтажники» (1979).

Герои Харлинг — члены кочующей бригады, занятой возведением нефтеналивных емкостей,— вкалывают, как звери, из последних сил, оглохшие от грохота, полуослепшие от сварки, вкалывают в жару и холод, от звонка до звонка. Ребята и заколачивали что надо, но за длинным долларом не гнались — на что имущество, когда живешь на колесах.

Работяги так же яростно любят и ненавидят, пьют, сквернословят, дерутся, не давая спуска никому, кто покушается на их достоинство. Но это здоровые, внутренне порядочные парни, знающие себе цену, не зараженные накопительством и спаянные трудовым товариществом.

Выявление активного личностного начала, внутренних возможностей человека в ходе трудовой деятельности — принципиальный момент, отрывающий книгу от «экзотической» беллетристики, уступки которой делают литераторы, располагающие, казалось бы, куда большей творческой самостоятельностью.

В центре повести молодого рабочего-писателя из Цинциннати Майка Хенсона «Найти себя» (1980), опубликованной небольшим массачусетским издательством «Уэст энд»,— опустившийся одинокий паренек, безработный, бродяга и наркоман. У него на уме одно: только бы выжить, выжить любой ценой. Потом Сет случайно попадает в пеструю полулюмпенскую артель, которая подряжается разбирать предназначенные к сносу старые дома.

Красочным, местами даже цветистым языком, перемежая «технологические» детали и неожиданные широкие метафоры, воссоздает автор ход этого незатейливого — ломать не строить! — но тяжелого и опасного труда. И вот тут у Сета пробуждается незнакомое чувство силы и собственной полезности. Он проникается сознанием принадлежности к трудящейся семье, к другим людям. Среди строительных развалин происходит постепенное мучительное распрямление личности.

Сотни и сотни страниц текущей американской прозы — и вдруг посреди потока холодновато-профессиональных, усредненных, стирающих индивидуальные черты развлекательных или рассудочных сочинений натыкаешься на книгу, согретую живым дыханием жизни и горячим гражданским чувством автора. Со страниц «Ангельского города» (1978; русский перевод[1]) Патрика Д. Смита вставала Америка и американцы, живущие за пределами мечты о праве «на жизнь, на свободу и стремление к счастью». Привлекала безыскусственность писательского почерка, потрясал драматизм повествования о жуткой судьбе сельскохозяйственных рабочих, покоряла светлая нота надежды на стойкость и солидарность людей труда.

Литературную известность писателю принес роман «Остров навек» (1973; русский перевод), в котором соединяются две темы: социальная несправедливость в отношении индейцев-семинолов и насилие над природой. Роман, переведенный на десять языков, открыл «флоридскую трилогию», куда затем вошли «Ангельский город» и «Аллапатта» (1979).

Трилогия Смита — заметная страница современного американского романа. Книги писателя отмечены высокой мерой нравственности, в них видишь ту благородную, «несыханную простоту», в какую мечтал «под старость впасть, как в ересь» Пастернак.

Всякие «обоймы» условны, подвижны, субъективны, но и без них не обойдешься.

[1] Напечатан в «ИЛ», 1981, № 1.

Характер американского реализма последних лет, его идейно-эстетические параметры, его многообразие, новаторские черты и его слабости наиболее полно, думается, выразили романы «Что-то случилось» Дж. Хеллера (1974; русский перевод[1]), «Осенний свет» Дж. Гарднера (1977; русский перевод), «Только позови» Дж. Джонса (1978; русский перевод[2]), «Над самой головой» Дж. Болдуина (1979), «Софи делает выбор» У. Стайрона (1979)[3]. О некоторых из них мне уже приходилось писать, поэтому — ряд дополнительных соображений.

За исключением Гарднера все эти авторы принадлежат к одному поколению, которое входило в возраст накануне войны и начало писать вскоре после нее. Сейчас уже, увы, нет в живых ни самого старшего, Джонса, ни самого молодого, Гарднера. Остальным под шестьдесят.

Они очень разные — эти художники, и пишут они о разном и по-разному. Однако при всей несхожести материала и творческих манер их объединяет главное — серьезный взгляд на литературу и честное, мужественное стремление наперекор господствующим взглядам сказать правду или часть правды о своей стране. Реальный мир, пропущенный сквозь личный опыт и преображенный талантом,— вот что делает фактом искусства и вязкое хнычуще-агрессивное словоизвержение пустой души Боба Слокума у Хеллера, и неяркую, освещенную лишь светом совестливости повседневность нравственно здоровых, работящих, близких к «травяным корням» людей у Гарднера; и мучительное возвращение солдат с войны на равнодушную родину, их «погибель после боя» у Джонса; и немыслимо тяжкие дороги жизни, познания и борьбы чернокожих братьев у Болдуина; и трагедию героини Стайрона — жертвы расового и национального фанатизма.

Важная черта современной реалистической литературы США — плодотворное экспериментирование с романной формой. Беспредметные, одинаково бесплодные упражнения авангардистов, претендующих то на создание некой автономной сверхреальности, то на отождествление искусства и жизни, и, с другой стороны, натиск стереотипов массовой культуры побуждают серьезных художников исследовать и демонстрировать действительные возможности литературы. Претензиям на новаторство, манипулированию самодостаточным словом они противопоставили целеустремленные художественные опыты по расширению арсенала средств эстетического воссоздания и освоения мира.

Поиски такого рода велись в разных направлениях. Более всего очевидны они в произведениях, где самим романным действием ставится проблема факта и фантазии, соотношения правды реальной действительности и прав художественного вымысла.

Тесно и органично взаимопроникают два вымышленных мира в романе Бел Кауфман «Любовь и все остальное» (1979). Героиня, 56-летняя Джессика Прут, пишет роман, основанный на драматичных моментах своей биографии. Примерно половина текста отдана главам, отрывкам из этого «внутреннего» романа, к ним добавляются дневник и десятки рабочих заметок, которые набрасывает Джессика по ходу работы. И вот уже героиня чувствует, что придуманные персонажи начинают диктовать ей что-то свое, как и в «Теофиле Норте» Уайлдера (1973; русский перевод), воображение спорит с воспоминаниями и дополняет их — или наоборот.

Стайрон в романе «Софи делает выбор», воссоздающем судьбу женщины, прошедшей Освенцим, смело сводит собственную жизнь с чужой, вымышленной. Рассказчик в романе — это сам автор, который писал после войны свою первую книгу о распаде знакомой вирджинской семьи, и трагедия польки кладет особые краски на самоубийство южанки Пейтон Лофтис.

Самой структурой «Осеннего света», совмещением двух совершенно различных романов в одном Гарднер поставил грандиозный эксперимент с двумя основными типами художественного отражения действительности, если угодно — с двумя художественными методами, исследуя моменты их сближения, диалектического взаимодействия и их кардинальную противоположность.

Роман словно бы подготавливал книгу Гарднера «О нравственной литературе» (1978), которая выросла на стыке его художественных и научных интересов. Полемически нацеленная против субъективистских философско-эстетических концепций, эта работа приближается к материалистическому пониманию искусства. Безо всякого преувеличения ее можно счесть манифестом современного американского реализма.

Нашей критике еще предстоит написать о военных романах Джеймса Джонса — целой главе американской литературы после 1945 года.

Писатель умер от тяжелой сердечной болезни, не дописав три главы романа «Только позови», который завершал его трилогию, связанную со второй мировой войной.

На последних страницах второй книги трилогии, «Тонкая красная линия» (1962; русский перевод), та самая грань, какая отделяет на войне человека от зверя, здравомыслие от безумия — по берегу, направляясь к транспортному судну, шагает только что снятая с позиций измотанная пехотная рота. Жара, полузатопленная японская баржа, на ней солдат грызет яблоко, по другую сторону, подальше от берега,— ряды сколоченных крестов для военного кладбища. И заключительная фраза: «Когда-нибудь кто-нибудь из них напишет обо всем этом книгу, и никто не поверит тому, что будет написано, потому что все уже забудут, что так оно и было».

Личный опыт солдата-пехотинца, пережившего ужас и упоение боем, придает непричесанной, расхристанной прозе Джонса неповторимую достоверность и как бы даже сиюминутность.

Три года солдатчины, армейского быта накануне войны, в боях, передышках между ними, в госпиталях, изображены писателем с такой ошеломляющей мужской прямотой, с таким беспощадным реализмом, достигающим местами почти толстовской си-

[1] Главы из романа Дж. Хеллера опубликованы в «ИЛ», 1978. № 4.
[2] Печатался в «ИЛ». 1982, № 7—9.
[3] Главы из романа У. Стайрона публиковались в «ИЛ», 1981, № 1.

лы, что ставил в тупик критику в Штатах. «Джеймс Джонс — последний, может быть, выдающийся американский реалист,— говорилось в связи с посмертным романом,— который исходил из того, что литература должна непосредственно воспроизводить жизнь, что материал выше мастерства». Но в настоящей литературе нет проблемы мастера и материала. Ибо мастер без материала — безработный мастер, или бывший, исписавшийся, или придуманный. Материал без мастера — все равно что материал, который рано или поздно находит мастера.

Важнее признание, нет — констатация факта преемственности джонсовской прозы традиции Драйзера, Вулфа, Хемингуэя, если назвать имена только тех, чье непосредственное влияние писатель так или иначе испытал. Прозы, где подчеркнутая неинтеллектуальность скрывает мучительные раздумья автора о человеке и войне, о жизни и смерти.

По самой своей сути, а не формально и не хронологически «Только позови» сообщает эстетическую и содержательную цельность трилогии, подводит итог всему творчеству писателя. Книга стала романом-прощанием, романом-завещанием.

В марте 1978 года, когда он увидел свет, Джон Олдридж заметил, что герои прозаика не ощущают свою причастность к делу разгрома фашизма. Олдридж был прав и неправ. Прав в том тесном смысле, что конфликт романа располагается как бы даже вне центрального конфликта эпохи. Скажу больше. Джонс и сам не до конца проник в истинный характер всемирно-исторической борьбы между силами прогресса и реакции, которая развернулась в 1939—1945 годах. Он думал, что зло коренится в «какой-то темной, агрессивной, мазохистской части человека», как писал он в мемуарно-публицистической книге «Вторая мировая война» (1975), и нам незачем выпрямлять его мировоззрение: большие писатели в снисхождении не нуждаются.

Но Олдридж неправ в широком, историческом смысле. Герои Джонса, конечно, знали, что сражаются за свою страну, за демократию. Но это знание не было эмоционально пережито ими, не стало стойким убеждением, потому что с самого начала было предано.

Уже пошли в бой фашистские полчища, уже пали Варшава и Париж и бомбят Лондон, уже гитлеровцы вторглись в Советский Союз, а Соединенные Штаты все еще выжидают, не желая ввязываться в «чужую» войну. В числе первых американцев, кто расплачивался за это выжидание, была 6-я рота 27-го пехотного полка, расквартированного под Пёрл-Харбором. В ней нес службу рядовой Джеймс Джонс.

Поэтому-то всю обиду, недоумение, боль, ярость те четверо в романе обрушивают на свою страну, сытую, не понюхавшую как следует пороха, самозабвенно занятую стяжательством, пока где-то там, на Тихом океане или в Европе, лилась чья-то кровь. Физически и душевно травмированные, они потеряли и роту, и родину. Им незачем и нечем было жить.

Тот бесчеловечный порядок, против которого сражались джонсовские солдаты, прямо обличил Стайрон в антифашистском романе, какого давно не было в Штатах и, боюсь, не скоро будет,—«Софи делает выбор». Книги Джонса и Стайрона, двух друзей, дополняют друг друга, являя вершину американской прозы о минувшей войне и предупреждая против опасности новой.

Никакие календари не скажут, где кончаются в литературе 70-е и начинаются 80-е годы. Рейганомика, разложение буржуазно-демократических институтов, оголтелая внешняя политика правящей верхушки США, грозящая ядерной катастрофой, вызывают последние два-три года подъем оппозиционных настроений, а это в свою очередь может привести к сдвигам в художественном сознании Америки.

Опасность игр с нейтронным оружием затронул, например, Воннегут в романе «Стрелок» (1982), хотя эта проблема и преломилась сквозь личность его героя, живущего с сознанием собственной вины и потому «абсолютно нейтрального».

Среди удач 80-х выделяются «Знамение на заре» Роберта Стоуна, «Кролик разбогател» Джона Апдайка и «Происшествие в Чейнисвилле» молодого писателя Дэвида Брэдли — все эти книги появились в 1981 году. В жесткой прозе Стоуна перемешались мужество, предательство, кошмары, кровь. Книга явственно несет признаки приключенческого, политического и философского романов. Несмотря на спорные моменты в изображении народного восстания, писатель ярко демонстрирует зловещую деятельность ЦРУ в Центральной Америке. Высшая, быть может, заслуга Стоуна — в создании редкого по нынешним временам, героико-трагедийного образа американки Джастин, погибающей во имя революции.

Апдайк, напротив, снова обратился к своему антигерою Гарри Энгстрому, прекрасно показав Бэббита образца 1980 года,— недалекого, трусоватого, самодовольного в безошибочном контексте идейного, духовного и морального оскудения некогда крепкого «среднего» класса Америки. Пластичности богатого реалистического письма вредят подробности психосексуальных переживаний похотливого Кролика, но в общем роман радует, так как последние работы писателя были отмечены склонностью к беллетризации.

Писавшееся десять лет монументальное полотно Брэдли доводит до идейно-художественного завершения «литературу корней». Исследуя свою родословную, молодой ученый Джон Вашингтон как бы заново проходит пути и перепутья, какими шли из поколения в поколение через рабский гнет, линчевания, чужие обещания и собственные обольщения американские негры к свободе и человеческому достоинству. Самое же главное, что обретает герой в результате поисков,— это свое настоящее «я» и чувство Истории: она «временами совершает скачки, которые обманывают глаз, а временами будто топчется на месте. Но она движется, всегда движется и всегда вперед».

Такие книги вселяют надежду на жизнеспособность американского реализма. Однако это уже страницы текущих, 80-х и о них подробно — в свое время.

Заметки писателя

То, что мы публикуем сегодня в рубрике «Заметки писателя», — не статьи, не выступления, строго регламентированные определенной темой. Это писательские размышления, разрозненные, на первый взгляд не связанные друг с другом, однако обнаруживающие несомненную общность при более внимательном чтении, ибо и южноафриканский прозаик Андре Бринк, и индийский литературовед Ситанчу Мехта в конце концов говорят об одном — о смысле литературного труда, о нравственности литературы, о том, что делает книгу современной и бессмертной одновременно.

Мысли, высказанные ими, как нам кажется, могут быть небезынтересны для вдумчивого читателя: быть может, кому-то они помогут глубже понять ту или иную книгу.

АНДРЕ БРИНК

НА РАЗНЫЕ ГОЛОСА

1

— Да вы права не имеете! — говорит нью-йоркский знакомый по поводу моего романа «Перекличка голосов».

Знакомый — белый, англосаксонского происхождения, протестант — продолжает:

— Белый писатель не имеет ни права, ни знания предмета, чтобы писать роман о черных и истолковывать то, что испытывает человек с черной кожей. Это вторжение в чужой опыт. Это умозрительные построения, это непристойно. Только представьте себе (в его голосе звучит ужас) белого писателя из Южных штатов, который берется писать «Корни»[1]...

Я поспешно обращаюсь к собственным мыслям, поскольку он сейчас должен начать развивать тему — что испытывает белый, живущий на Юге. Сам он северянин.

Вариации на тему его обвинений — привычное дело.

Мужчина не может — не имеет права — писать о том, что испытывает женщина. Писатель из верхов общества должен остерегаться описаний крестьянской жизни. Если писатель не родился евреем, то ему никогда не проникнуться еврейским ощущением мира. Логически продолжая эту линию: человек молодой не может писать о пожилом, близорукий — о людях с нормальным зрением, волосатый — о лысом, тощая дама — о толстухе...

Определенный смысл во всем этом, бесспорно, есть. Кто из белых писателей мог бы написать романы Нгуги Ва Тхионго, Тони Моррисон или Чинуа Ачебе? Кто, кроме Вирджинии Вулф, мог бы написать книги Вирджинии Вулф? Кто, кроме Андре Шварцбарта и Исаака Башевиса Зингера, мог бы написать то, что написали они? Нужен Горький, чтобы представить себе «На дне», или мадам Лафайет, чтобы появилась «Принцесса Клевская». «Человеческую комедию» мог написать только француз, «Будденброков» или грассовский «Жестяной барабан» — только немец, а «Иерму» — только испанец.

И все же такой подход к проблеме грешит односторонностью, не говоря уже о том, что при желании он может быть истолкован как шовинистический. Джордж Элиот или Жорж Санд создали впечатляющую галерею убедительнейших мужских портретов, а чтобы написать «Анну Каренину», потребовался Лев Толстой. Достоевский вызвал к жизни и князя Мышкина, и Настасью Филипповну тоже. А Уильям Стайрон с его героиней Софи — польской женщиной, которая сделалась архетипической фигурой в современной прозе! На мой взгляд, редко кому удалось вскрыть важнейшие аспекты психологии современных американцев так, как сделал это Набоков; что значит быть цветным в Южной Африке, сумел рассказать белый — Атол Фугард. Расин сделал греков и римлян французами, а Шекспир распространил елизаветинскую Англию на весь мир — и античный, и современный ему. Но если бы не все они, то представление человечества о себе было бы неизмеримо беднее до скончания века.

Самонадеянность? Да, может быть, писательство вообще самонадеянно по самой своей природе, и писатель должен быть самонадеянным или, во всяком случае, обладать той начальной самонадеянностью, которая необходима для любого акта веры. Иначе роль литературы свелась бы к крохотной рациональной задаче: к фиксированию того, что можно считать «лично пережитым» в самом прямом смысле слова, и не просто отрицанию наиболее существенной, глубокой и плодотворной части

[1] Имеется в виду роман писателя-негра из США Алекса Хейли.

«переживаний» — соприкосновения с другим, исследования другого и даже растворения в другом,— но и нестерпимому сужению значения самого понятия «переживание».

Короче говоря, писателю был бы навязан литературный и житейский эквивалент политики апартеида: *не вступи в общение с другим; не доверься собственному восприятию другого; откажись от другого; по сути, откажи другому в том, что находишь ты в себе, и откажи себе в том, что ты познал через другого.*

Может быть, куда более самонадеянно исключить возможность понять другого, чем пойти на риск и обнаружить в нем человеческие черты, которые роднят его с тобой.

2

При размышлениях над этой темой возникают, как минимум, два очень важных вопроса: долг писателя как отдельно взятой личности — и долг писателя как частицы человечества.

Как отдельно взятая личность писатель прежде всего обязан быть верным «лично пережитому», ибо в конечном счете это единственный достоверный опыт, которым он может воспользоваться, на который может положиться в своей работе. Естественно, при условии, что литература для него не форма препровождения времени, а всепоглощающий поиск истины и вечная оценка ценностей (поиск и оценка, требуемые и определяемые языком, как языковой системой, совмещающей в себе социальную необходимость коммуникации и потребность личности в самовыражении).

Так что же такое «личное переживание»?

Андреа дель Сарто, персонаж английского поэта Роберта Браунинга, предлагает одно из толкований:

Моим карандашом могу изобразить,
что знаю,
То, что я вижу, то, чего желаю
Я в глубине души...

(*Перевод М. Донского*)

Вся настоящая литература почерпнута из опыта, так остро и глубоко осознанного писателем, до такой степени вошедшего в его душу, сознание, эмоциональный строй, восприятие мира, самоощущение, что именно этот опыт превращается в основу неповторимости личности и ее собой определяет.

Общепринято различать роман «сердечной боли» и роман «политический», или «социальный». Мне же кажется, что такое разграничение только запутывает дело. Социальное, или политическое, переживание способно захватить душу писателя настолько, чтобы превратиться в его «сердечную боль». Вообще мне кажется, что до тех пор, пока «общественный» опыт человека не будет пережит им как нечто вполне и совершенно личное, написанное на основе этого опыта не поднимется над уровнем банальности и пропаганды. Тут необходимо такое стечение обстоятельств, при которых самое страстное личное желание полностью совпало бы с исторической ситуацией. При таком положении дел не нужно принуждение, исчезает поза — это и есть совершенная гармония дзэн-буддийского лучника, интуитивно выпускающего стрелу в тот самый момент, когда этого «требует» натяжение тетивы.

Я удивляюсь, когда меня спрашивают, не хочется ли мне разок написать «интимную» историю безо всякого политического подтекста — как будто то, что я пишу, диктуется исключительно внешними обстоятельствами, «южноафриканской ситуацией», в которой я живу и за которую чувствую себя в ответе. Дело совсем не в этом.

Если бы я хоть раз в жизни почувствовал желание написать «просто» роман, действие которого происходило бы на отдаленном тихоокеанском островке (отдаленном даже от Фолклендов), я не стал бы колебаться — было б только желание достаточно сильным. Для меня «политический аспект» не есть нечто, что я обязан добавить к повествованию или впихнуть в него; этот аспект постоянно присутствует в числе значительных для меня вещей как составная моего мировосприятия, как составная меня самого. Хотя всякий раз это только отправная точка исследования человеческих состояний, выходящих за рамки компетенции faits divers[1] социополитики. Одиночество человека и его потребность коснуться другого сохранятся и после того, как перестанет существовать их политическая метафора — апартеид.

Важнейшая часть моего опыта — взаимоотношения черных и белых в большом разнообразии форм: как господ и рабов, как противников, как соперников, как друзей, просто как людей. Частично этот опыт относится к годам моего детства и отрочества, когда я в каникулы ездил на фермы к нашим друзьям — белые и черные мальчишки росли вместе, вместе играли, ели, ссорились и хохотали. То, что нас тогда разделяло — а различия были скорее классовые, чем расовые: относительная зажиточность одних и неприкрытая нищета других,— преодолевалось необоримой детской солидарностью. Мы все были детьми, нас одинаково не пускали во взрослый мир, мы все обладали расовой памятью крестьянского бытия, и мы — во всех смыслах — говорили на одном языке. Позднее нас разделила пропасть, созданная обществом, в котором белая или черная кожа отождествлялась с состоятельностью или с бедностью, с принадлежностью к угнетателям или к угнетаемым; в идеальном случае это могли быть отношения мачехи с чужим ребенком. Еще позднее наступает время возобновления связей, теперь уже в Европе, где мы все учимся и все равны, где нас тесно связывает благодарнейшее чувство привязанности к Африке — полумистическая связь с родиной. И, наконец, мы все вступаем в фазу отношений, длящуюся и по сей день: контакты внутри расистского общества, где люди тянутся друг к другу, встречаются как коллеги, как приятели, а в редчайших и бесценных случаях как истинные старые друзья, вопреки всем искусственно воздвигнутым барьерам. Вот это и открывает передо мной возможность почувствовать через мои взаимоотношения с

[1] Отдел происшествий в газете (*франц.*).

разными людьми основы того специфического положения дел, которое посторонние именуют «условиями существования черных» или «условиями существования белых». Что-то из этого опыта я сам не пережил. Другое испытал самым прямым и непосредственным образом. А повседневность опыта превратила его в частицу моей личной жизни, и эта частица так же требует исследования и выражения, как и остальное. Но при всем том никогда нельзя низводить «исследование» до «использования». Грань между ними трудно различима — она скорее ощущается интуитивно, чем понимается разумом.

Работая над романом «Сухой белый сезон», я чуть было не поддался соблазну взглянуть на многое глазами черных жертв апартеида — Гордона Нгубене и его сына Джонатана. Я, может быть, так и поступил бы, если бы как раз в то время не погиб в тюрьме Стив Бико. Описывать крестный путь вымышленного чернокожего героя сразу после настоящей гибели подлинного человека (и какого человека!) мне показалось непристойным. Снова взявшись за роман примерно лишь через год, я все в нем перестроил: белый, расследуя обстоятельства гибели черного, раскрывал чудовищность барьера, разгородившего их миры.

«Перекличка голосов» писалась по-другому. Роясь в рукописных архивных документах, я натолкнулся на протоколы допросов и записи показаний (написанных от первого лица) обвиняемых и свидетелей — среди которых были и черные и белые — по делу о Боккевельдском восстании рабов 1825 года. И пусть многое скрадывал архаичный канцелярский язык судебного секретаря, строчившего протоколы и показания, я чувствовал, как вхожу в соприкосновение с живой плотью и душами тех, чьи голоса звучали со страниц архивных документов. Эти люди присутствовали в документах, они говорили со мной, перекрывая разрыв в полтора столетия, и я слышал их голоса; они рассказывали о себе, об истине, к которой рвались их истерзанные души. Не обратить внимания на этих людей, отмолчаться в ответ на их голоса или истолковать их с позиции «только для белых» было бы такой же гнусностью, как проехаться на горбу мертвого Стива Бико. Это означало бы предать — уже в который раз — дело их жизни и саму реальность их существования.

Один южноафриканский белый либерал обвинил меня в «манипулировании» исторической достоверностью ради истолкования фактов в романтически-экзистенциальном духе: я живописую смиренное согласие рабов с их ужасающей долей и доказываю, что только обманутые надежды на освобождение побуждают их восстать.

Мой критик усмотрел в этом поддержку точки зрения правых, провозглашающих невозможность реформ на том основании, что «им только палец дай, они всю руку отхватят». Но ведь тема обещанной свободы и обманутых надежд рефреном проходит через подлинные архивные документы, о которых я упомянул, особенно через показания Галанта и Абеля. Каждое слово этих свидетельств проникнуто яростью — однако в документы критик, натурально, не дал себе труда заглянуть. Не расслышать эту ярость было бы другим предательством — предательством самой истории.

Говоря «голосами» других, писатель обязан по меньшей мере быть абсолютно честным в воплощении судеб тех, о ком пишет, — даже если их взгляды и их правда вступают в противоречие с нынешней конъюнктурой или собственными склонностями автора. В акте веры, в акте воображения заключен парадокс: чем глубже он заводит в собственную душу, тем глубже проникаешь в душу другого. А это неизбежно ведет все к тому же началу начал художественной литературы: донельзя привычное должно стать остраненным, далекое и непривычное — зажечь в душе огонек узнавания.

3

Итак, все рассуждения о личном опыте писателя кончаются повторением писательской присяги на верность человечеству: «Homo sum...»

Критик, писавший о «Глядя в черноту», возмутился образом главного героя, цветного, потому что цветной «чувствует, действует и рассуждает совершенно как белый».

Что я и хотел показать.

Шейлок: «...я жид. Да разве у жида нет глаз? Разве у жида нет рук, органов, членов тела, чувств, привязанностей, страстей? Разве не та же самая пища насыщает его, разве не то же оружие ранит его, разве он не подвержен тем же недугам, разве не те же лекарства исцеляют его, разве не согревают и не студят его те же лето и зима, как и христианина? Если нас уколоть — разве у нас не идет кровь? Если нас пощекотать — разве мы не смеемся? Если нас отравить — разве мы не умираем? А если нас оскорбляют — разве мы не должны мстить?..»[1]

Взяться за перо побуждает острота личного переживания, но талант писателя определяется тем, насколько высказанное им это переживание тронет душу другого. Нужно уметь открыть другого в себе, вообразить себя в обличии другого — истина, конечно, не нова, но без ее непрестанного воплощения в практику нет контакта между писателем и читателем. Даже если «голоса» звучат — не одушевленные языками пламени, они всего лишь бормотание. В этом суть — а не в том, какой из «голосов» силой своего воображения выбирает писатель. Ибо если нас интересует только это последнее, тогда мы все жертва апартеида, гораздо худшего, чем та политическая система, что функционирует на определенном кусочке земной поверхности.

Когда мне приходит письмо от цветного эмигранта, живущего в Англии, который пишет, что, прочти он «Глядя в черноту» раньше, он, может быть, и не уехал бы из Южной Африки, тогда я знаю, что не зря пишу.

4

И все-таки обвинение в «самонадеянности» во многом справедливо. Белый писатель, который объявляет себя «рупором»

[1] Шекспир. Венецианский купец. Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник. ПСС в 8-ми томах. М., «Искусство», 1958, т. III, с. 257.

черных, может оказаться не меньшим агрессором, чем угнетатель, против которого он восстает. Мужчина, который берется выступать «от лица» женщины, может оказаться похуже тех, кто их принижает открыто. Писатель, который захотел бы использовать тему, скажем, трагедии Бабьего Яра просто как эффектный литературный ход, изменил бы нравственным принципам литературы вообще.

Я не могу взять на себя задачу — растолковывать чернокожему природу его муки: ему она известна куда лучше, чем мне, и для него она страшнее, чем я могу себе представить, — он в ней живет, в этой муке проходит каждый кровоточащий миг его жизни. А если ему вдруг понадобится, чтобы кто-то о ней рассказал, найдутся талантливые писатели того же цвета кожи, что и он.

Значит ли это, что я должен молчать? Если страдание черного вошло в мою жизнь, стало частью моего собственного, моего личного опыта, не окажусь ли я предателем по отношению к себе самому, расписывая исключительно деревья и цветочки, притворяясь, будто этот опыт не имеет значения, будто его вовсе и нет?

Какая незаметная и страшная грань отделяет писателя, с одной стороны, от оригинальничанья и игры в острую тему, а с другой — от благодушия и самолюбования. Опасность, естественно заложенная в этой ситуации, делает необходимыми все новые и новые усилия, ибо писатель обязан до конца разобраться в каждом гране истины, обнаруженной в личном опыте. Самонадеянно?

Да.

Увы.

И слава богу.

При одном условии: эта особая форма самонадеянности — творческая — обязана сочетаться с глубочайшим смирением, со смирением, которое не может не родиться, если отдаешь себе отчет в том, сколь непомерна цель и как трудно достичь ее, не сбиваясь с пути.

И опять Андреа дель Сарто:

И все же должно стремленье превышать
возможности —
Не то к чему нам небо?

(Перевод М. Донского)

СИТАНЧУ МЕХТА

ЗНАЧЕНИЕ КЛАССИКИ ДЛЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Мне не хотелось бы начать с вопроса о том, как вообще соотносятся искусство и время между собой?

Греческий философ Платон и его индийский современник Бхарата считали, что основа настоящего искусства вечна: для Платона это была идея, а для Бхараты — раса.

Многие же искусствоведы наших дней полагают, что искусство глубочайшим образом связано с эпохой своего создания, что оно есть результат исторического и социо-экономического процесса.

Так как же все-таки они соотносятся — искусство и время?

Человек живет не вечностью, а временем. Все то, что сотворено человеком — будь то величественный памятник из камня, или сложная система норм общественной жизни, или прекрасная словесная структура, — несет на себе печать понимания человеком конечности своего существования. Мы видим, как творение человеческого гения сначала символизирует живое начало, затем устаревает, затем умирает, после чего представляет интерес только для археолога. Аналогичным образом произведение литературы может с течением времени превратиться в предмет любопытства или исторического исследования.

И вместе с тем существуют вещи, книги, сохраняющие «свежесть первого дня своей жизни». Может быть, они вечны? Секрет их долгожительства, мне кажется, следует искать не в некоей расплывчатой квазиромантической субстанции, а в четкой фундаментальной связи таких произведений — мифа, эпической поэмы или даже лирического стихотворения — с основными человеческими эмоциями.

Попробуем понять, каким образом классическое произведение способно воплотить в своей структуре и содержании (которые составляют единство) вот эти основные чувства, несущие в себе нашу человеческую суть, и сохранить значимость для человечества даже после того, как социальная система, породившая его, давным-давно исчезла, сменившись другим общественным укладом.

В «Божественной комедии» Данте Вергилий, поэт античных времен, который ведет героя через все круги существования, перед внутренним кругом вынужден остановиться. В святая святых человеческого духа Данте ведет его возлюбленная Беатриче.

Мы помним, как объяснено это в самой «Божественной комедии» — Вергилию не дано проникнуть в последний круг, потому что он язычник, живший до возникновения христианства.

Однако можно предположить, что был у Данте и другой резон — пожалуй, даже более глубокий: Вергилий выступает олицетворением знания. Ему известны ответы на любые вопросы героя. Знание способно провести нас через все круги боли и раскаяния. Но, по-видимому, только разума недостаточно, чтобы открыть нам глубинную суть собственного существования, провести в самый центр самих себя. Вергилий — разум — необходим, чтобы ответить на вопросы путника и проводить его до границы

внутреннего круга, дальше вести может только Беатриче — любовь.

В заключительных главах «Махабхараты», эпической поэмы Индии, мы встречаемся с другим путником, устремившимся к внутреннему кругу человеческого бытия. Юдхиштхира — принц крови, старший из пяти братьев одного из двух воюющих кланов. Братья и королева отправляются в путешествие через великие заснеженные северные горы. К ним присоединяется еще один путник — собака, обыкновенный приблудный пес, который неотвязно трусит за королевской семьей. В тяготах пути умирают все, кроме Юдхиштхиры и собаки; они продолжают идти вдвоем, пока не встречаются на самой высокой вершине с Королем богов. Тот готов увести Юдхиштхиру на небеса — но только Юдхиштхиру, без собаки. Принц не соглашается, он требует, чтобы с ним пропустили и спутника по трудному путешествию, но это противоречило бы установленному порядку, догмам религии. И все же принц стоит на своем. Король богов хочет уйти, оставив принца с его собакой, но тут собака принимает свой подлинный облик: она превращается в олицетворенную Праведность, которая нередко вступает в противоречие с религиозными нормами. Праведность говорит принцу, что он с честью выдержал последнее испытание и может вступить в страну бессмертных.

Эта история из «Махабхараты» по-своему толкует о той же любви, о которой Данте напишет почти две тысячи лет спустя. Отношения принца и приблудной собаки — суть Любви, в этом контексте приобретающей высший смысл любви сострадательной. В ней — величайшее испытание человечности, и именно она делает произведение надолго сохраняющим свою значимость.

Классические произведения: «Божественная комедия», созданная в средневековой Италии, и «Махабхарата», написанная в древней Индии, живы и в наши дни не в силу изысканности стиля или серьезности темы, а потому, что в них воплотилось самое существо человеческого естества; в символической форме они запечатлели сострадательность, соотнесенность каждого человека с другими людьми, пусть с незнакомыми, пусть даже не с людьми — с приблудным псом.

Я употребил слово «воплощение». Как же эта взаимосвязанность воплощается в классике? Почему в классических произведениях она продолжает жить вечно? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно попробовать разобраться в терминах «классика», «миф», «история».

Чтобы быть признанным классическим, произведение вовсе не обязано соответствовать каким бы то ни было канонам, в отличие от того, как романтическое, скажем, произведение должно следовать определенным канонам романтизма. Такие разнообразные творения, как лирическое стихотворение средневекового индийского поэта Кабира, пьеса Калидасы или Шекспира, создания «романтической традиции», или такие современные шедевры, как «Война и мир», «Старик и море», — все это классика. В чем же ее структурная суть?

Это подводит нас к попытке проанализировать термин «миф». Миф не является ни плодом воображения, ни, с другой стороны, строгим логическим построением. Скорее, он символическое выражение опыта — зачастую противоречивого на ранних исторических этапах — целого народа. Миф сопрягает в прочное единство глубинные конфликты и кризисы, позорные и славные деяния, трагедии и пути их преодоления, проторенные не отдельными индивидами, но всем народом. По существу, миф воплощает критические моменты жизни, основную антитезу внутреннего мира человека и внешних обстоятельств его бытия.

Творя миф и храня его, человек выходит за пределы единичного существования, вступая в коллективную жизнь народа; определенный период общественного развития вписывается в вечный ход времени, пересекая рубежи сменяющихся эпох.

Всякий раз, когда талантливый писатель оказывается в состоянии осознать и принять фундаментальный кризис своей эпохи, определив его место в динамике человеческой истории, на свет появляется классическое произведение. И в нем сливаются литература, мифология и история. Собственно, классическое произведение и есть выражение этого кризиса, а также попытка найти корни его. Кризис — явление временное, привязанное к определенному историческому отрезку. И поскольку человек живет временем, а не вечностью, любое классическое произведение сохраняет привкус и аромат эпохи, его породившей. Однако поэт отличен от историка, политика, экономиста или социолога. Он — личность творческая и потому показывает в художественных образах не только кризис своего времени, но и кризис творчества, и его преодоление. Ибо что такое творчество? Это способность человека вызвать к жизни и сохранить в себе то самое состояние соотнесенности с другими людьми, причастности к их бытию, *со-чувствования* с ними и любви к ним.

Творчество есть процесс, в котором безразличие, лежащее в основе жестокости, насилия, стремления к разрушительству, уступает место состраданию — основе любви и созидания.

Итак, классическое произведение сохраняет свою значимость для современности не потому, что в нем воплощено нечто вневременное, неизменное, вечное. Напротив, и красота и уродство эпохи оставляют на нем следы. Но поскольку классическое произведение — будь то лирическое стихотворение или эпос, древнее, средневековое или современное — всегда заключает в себе элемент мифа, оно дает читателю возможность совершить переход от личного к всенародному и даже к всечеловеческому.

И, наконец, классическое произведение живет вполне определенным образом — как искусство, как поэзия. Нас волнует не столько «бессмертие» классики, сколько ее новизна. Вот почему справедливо сказано — «вся классика написана сегодня утром».

Перевод с английского М. САЛГАНИК

Наш календарь

К 100-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КАТАРИНЫ СУСАННЫ ПРИЧАРД

А. ПЕТРИКОВСКАЯ

ПРОМЕТЕЕВА ИСКРА

Катарина Сусанна Причард, столетие со дня рождения которой недавно отмечалось советской общественностью, оставила глубокий след в австралийской литературе. С ее именем связаны такие слагаемые литературного процесса, как становление австралийского романа, переход рассказа от «бесхитростной» фольклорности к психологическому драматизму, первые опыты национальной драматургии и, что особенно важно, тот качественный сдвиг в художественном освоении действительности, который дает основания говорить о зарождении социалистического реализма. «Вероятно, ни один австралийский писатель этого века не оказал большего влияния на развитие национальной литературы, — писал в 1962 году в книге «Сорок два портрета» известный австралийский прозаик Джон Хезерингтон.— Многие видные австралийские писатели — и среди них те, кто ни в коей мере не разделяет ее левых политических убеждений — признают, что уплатили ей большую эстетическую дань». Причард была в числе писателей, которые нанесли Австралию на литературную карту мира.

В 60-е годы, когда пересмотр культурного наследия, естественный для каждого нового этапа развития общества, производился австралийской буржуазной критикой с позиций утверждения господствующей идеологии и девальвации демократических элементов, прогрессивную литературу, лидером которой была Причард, торопились объявить отжившей свой век, упрощающей жизнь, эстетически старомодной. Однако минули бурные 70-е, с резкими перепадами надежд и разочарований, торжеством реакции и собиранием здоровых социальных сил, и оживился интерес к «социальному реализму», и творчеству Причард в частности. Об этом свидетельствуют и переиздание ее произведений, и обращение к ним как материалу для экранизации (в 1982 году была показана телевизионная версия романа «Близкие и чужие», возможно, будут сняты фильмы по роману «Цирк Хэксби» и пьесе «Брэмби Иннис»). Реалистическое искусство, переживающее, разумеется, приливы и отливы, вновь подтверждает свою жизнеспособность, источник которой — в способности его как никакого другого удовлетворять потребность в критическом осмыслении исторического прошлого и быстротекущего дня.

Причард принадлежит к славной плеяде писателей XX века, воодушевленных освободительными движениями, и прежде всего Великой Октябрьской социалистической революцией, к тем, кто не мыслил себя и свое творчество отдельно от борьбы против капиталистического гнета, от антиимпериалистического, антифашистского фронта мировой прогрессивной литературы. Она принимала активное участие в создании партии австралийских коммунистов в 1920 году, входила в ЦК, организовывала рабочие кружки, выступала с лекциями, пропагандируя марксистское учение,— на их основе написаны брошюры «Новый строй», «Маркс как личность и его деятельность», «Материалистическое понимание истории». О том, как она пришла к марксизму, рассказано в очерке «Почему я коммунистка» (1956). В цельной натуре Причард органически сочетались писательница, революционерка и обаятельная женщина — жена и мать, собственноручно вышившая для новорожденного сына «большевистскую» рубашку с колосьями, серпом и молотом.

Причард прожила долгую жизнь. Она родилась 4 декабря 1883 года, когда по Австралии еще путешествовали в дилижансах «Кобба и компании», а умерла 2 октября 1969 года, когда над Землей уже проносились космические корабли. Но и на закате дней — легкая, как перышко, с коротко подстриженными волосами снежной седины, карими глазами и открытым скульптурным лбом — она не была челове-

ком «другой» эпохи: повторяла, что «коммунисты всегда молоды» (так озаглавлен и один из рассказов).

Почти каждый из романов Причард, выходя в свет, привлекал новизной содержания: поднимался пласт, еще не тронутый пером, ставилась проблема, вызывавшая у читателей одобрительное «наконец-то!». Если дистанция времени притупила эту новизну как ощущение сиюминутной реальности, то живость воссозданного мира, его человеческие и общественные заботы, его боль и радость остаются, заражая нас. В поле зрения Причард, как правило,— социальный микрокосм, относительно небольшое сообщество людей в природном окружении, в занятиях и взаимоотношениях. В романе «Рабочие волы» (1926),— в русских переводах «Охотник за брэмой», «Погонщик волов» — таков поселок лесорубов и пильщиков где-то в могучих лесах австралийского Запада, с героями, полными жизненной мощи, — под стать деревьям-великанам, и живописной сочностью красок, в которых выплескивалась языческая радость бытия. То, что несет в себе романтическое начало, поднимаясь над уровнем рутинного, обычного силой мечты, чувства, таланта, служения гражданской идее, из обычного и вырастает, не утрачивая связей с общим уделом. В романе «Кунарду, или Колодец в тени» (1929), где чернокожие аборигены впервые предстали не презренными «дикарями» или «детьми природы», погубленными цивилизацией, но равными в своей человеческой сущности белым, запретная, невысказанная любовь белого фермера и аборигенки лишена романтических прикрас — она возникает как естественное чувство, задавленное расовыми предрассудками и расистскими нравами.

Исходя из того, что на каждом из нас — печать среды и эпохи, Причард вместе с тем с первых шагов в литературе ставила возможность гармонического состояния, именуемого счастьем, в зависимость от готовности человека вмешаться в установленный порядок.

Уже в романе «Пионеры» (1915), как будто скроенном по мерке колониального романа приключений, звучит мотив жизнеустройства: выражая демократическую точку зрения на английскую каторгу в Австралии, Причард относит к «пионерам» — почитаемым первым колонистам — сосланных на каторгу, а само понятие «пионер» употребляет в универсальном смысле: тот, кто прокладывает путь в будущее, «чтобы каждый мог жить лучше и счастливее».

В романе «Черный опал» (1921) старательское товарищество на изолированном опаловом прииске, где «всяк сам себе хозяин», противостоит натиску капитала. При всей утопичности общинной философии — в духе народников, Причард глубоко сочувствует стремлению рабочего человека отстоять свою независимость и достоинство.

В «Рабочих волах» отрицание буржуазного миропорядка утрачивает утопический оттенок. Причард показывает организованный протест — забастовку, на сцене появляется пролетарский революционер, «бесстрашный в мыслях и речах», просветитель и организатор рабочих. Роман и оправдывает, и «снимает» свое название: тот, кто поднялся на борьбу, перестает быть «рабочим волом», покорно идущим в упряжке.

От первых австралийских писателей, чьим героем был поселенец-пионер, Причард унаследовала поэтизацию мужества, стойкости, силы духа. Наездница Джина из романа «Цирк Хэксби» (1930), искалеченная падением, но устоявшая в схватке с жизнью (правда, не без душевных потерь), демонстрирует мужество, волю, способность «выдюжить» — то, что необходимо и на арене цирка, обещающего «самое увлекательное, самое блистательное представление на свете», и на арене жизни.

В том, с каким знанием дела Причард показывает в труде лесоруба и гуртовщика, старателя и фермера, циркового артиста и журналиста, наделяя своих героев качествами великолепных работников, также сказывается национальная традиция уважения к умельцу (поселенец-первопроходец волей-неволей должен был быть и швец, и жнец, и на дуде игрец). Но это и предвосхищение грандиозных возможностей освобожденного труда.

Женщина, способная горы своротить, энергичная, целеустремленная, женственная, но мужественно несущая свою ношу, твердая в принципах,— образ, который варьируется в романах и рассказах Причард, был в какой-то степени проекцией ее собственного «я», хотя среди ее героинь нет «автобиографической». И, быть может, именно женские образы позволяют наиболее отчетливо проследить, как писательница приближалась к изображению такой личности, в которой отразился бы духовный рост народа, свет передовых идей, воспитание в классовых битвах и при этом была бы человеческая подлинность, социальная и национальная характерность.

Причард приводит героинь романа «Близкие и чужие» к пониманию того, что совместная борьба за справедливое устройство общества как высшая форма духовной близости цементирует любовь и привязанность.

В центре трилогии о золотых приисках «Девяностые годы» (1946), «Золотые мили» (1948), «Крылатые семена» (1950), панорамного полотна, охватившего шестьдесят лет австралийской истории, — мастерски написанный образ Салли Гауг, женщины из того же ряда, что и горьковская Ниловна, что Аннет Ривьер Ромена Роллана, прошедшая сходные ступени гражданского и нравственного опыта: через личное, выстраданное — к осознанию причастности к судьбам своего народа и всего человечества, к борьбе за избавление от нищеты, эксплуатации, войн. Исторический опыт австралийского народа — от «золотой лихорадки» и первых столкновений труда и капитала в 90-е годы прошлого века до всемирной битвы с фашизмом — преломлен в жизни Салли и освещен верой в конечное торжество коммунистических идей.

Для творчества Причард чрезвычайно важным был новаторский опыт советской литературы, в особенности творчество Горького, его взгляды на природу искусства и роль художника. В ее творческой судьбе большую роль играла нерасторжимая дружеская связь с нашей страной, в основе которой было сознание того, что мечта, некогда казавшаяся несбыточной, становится явью. Не раз Причард вспоминала тот памятный мельбурнский вечер 1918 года, когда, проходя по мосту Принцев, она увидела плакаты, сообщавшие о революции в России. «Небо среди облаков сияло золотом, и все вокруг было проникнуто золотым светом. Мне в состоянии радостного и головокружительного возбуждения это показалось добрым знамением... Я чувствовала, что события, свершившиеся в России, должны оказать влияние на жизнь людей во всех странах...»

В 1933 году она совершила путешествие по Советскому Союзу. В далекой Австралии приемники ловили на коротких волнах ее речь по московскому радио. Она сделала максимум, чтобы развеять туман лжи и недоверия, — выступала, рассказывала, ее очерки («Подлинная Россия», 1934) печатались в ежедневной мельбурнской «Геральд» и вышли отдельной книжкой. Она писала ее в тяжелейшие дни: трагически ушел из жизни муж, разорение и долги грозили потерей дома и скромного имущества. «Только моя вера в необходимость работать во имя великих идей коммунизма и мира во всем мире помогли мне пережить потрясшее меня горе». Очерки дышали таким энтузиазмом — свидетельство рождения нового общества, несли столь обширную и важную информацию, были написаны такими яркими мазками красок, что Эдвин Брэди, старый поэт-демократ, современник Лоусона, в прочувствованном стихотворении «Лампочка Ленина» благодарил «товарища Катарину», вдохнувшую бодрость в его «усталый стих»:

Товарищ Катарина, спасибо за рассказ.
Солдат опять в походе — есть бодрости запас [1].

Из уст Причард многие австралийцы узнавали о произведениях Горького и Маяковского, Гладкова и Шолохова, Сейфуллиной, Фадеева, Катаева, Гайдара, Леонова. С другой стороны, в журнале «Интернациональная литература», издававшемся в Москве, печатались ее статьи и письма с новостями литературной и общественной жизни Австралии.

Когда гитлеровские полчища вторглись на территорию СССР, Причард объездила всю Австралию, по нескольку раз в день выступая на митингах солидарности с нашей страной, призывая к установлению дипломатических отношений между Австралией и СССР. В письме, посланном 4 августа в редакцию «Интернациональной литературы», говорилось: «Меня не покидает твердая уверенность, что советские народы победят и уничтожат гитлеризм».

В послевоенные десятилетия Катарина Сусанна Причард неизменно поддерживала политику мира и пролетарского интернационализма, которую проводит Советский Союз, проявляла твердость духа и высокую принципиальность в деле защиты завоеваний социализма.

Темперамент борца, сознание высокой ответственности писателя как носителя гуманистических идей побуждали Катарину Сусанну Причард часто браться за перо публициста, откликавшегося на жгучие проблемы современности. Она была также автором многих литературно-критических статей, в которых проявлялась ее горячая забота о судьбах национальной культуры.

Согласно завещанию Причард, ее письма и неоконченные рукописи были сожжены («Я не желаю, чтобы после моей смерти было опубликовано то, что я не одобрила, находясь в здравом уме»). Тем не менее Рик Троссел, сын Причард, дипломат и драматург, проделал важную работу по собиранию ее литературного наследия. В книге «Дикие побеги и анемоны. Жизнь и письма Катарины Сусанны Причард» (1975) он использовал малоизвестные материалы — наброски лекций и выступлений по радио, вырезки из старых газет, уцелевшие письма на литературные и политические темы, в частности, переписку с близкими друзьями — видными австралийскими писателями Вэнсом и Нетти Палмер, Луисом Эссоном, Майлз Франклин, еженедельные письма к нему самому.

В 1982 году Троссел выпустил книгу «Откровенно слева» — избранные статьи и выступления Причард с 1910 по 1968 год по вопросам политики, литературы и положения женщины. Среди них нет, за редким исключением, публикаций в советской печати. Однако и в настоящем виде сборник дает яркое представление о писательнице, которая не знала литературного отшельничества, о бойце, прошедшем с полной выкладкой весь путь.

...«Марш из лагеря Франкленд Ривер» (1932) — статья о походе безработных, которых правительство штата Западная Австралия бросило на так называемые общественные работы — вырубку леса, платя жалкие гроши за тяжелый труд и не обеспечив мало-мальски сносного быта.

...«Преступление против испанского народа» (1938) — Причард входила в Комитет помощи республиканской Испании, и весь сбор от постановки пьесы «Женщины Испании» был перечислен в его фонд.

...«Мир и война» — речь, произнесенная незадолго до начала второй мировой (ей предшествовала брошюра «Кому нужна война?»,— разоблачение политики умиротворения фашизма западными державами и предательства монополий, вооружавших фашистские армии. ...Воспоминания об известном антифашисте Эгоне Эрвине Кише, которому австралийские власти запретили въезд в Австралию для участия в конгрессе против войны и фашизма в 1934 году... Послание австралийскому конгрессу писателей, выступающих за мир. Протест против испытаний ядерного оружия.

[1] Стихотворные цитаты в статье даны в переводе А. Петриковской *(прим. ред.)*.

Как видно, тема борьбы за мир красной нитью проходит сквозь всю публицистику Причард, потому что писательница вела эту борьбу, начиная с кампаний против введения закона, который обеспечил бы бесперебойные поставки «пушечного мяса» на фронты первой мировой войны и до осуждения агрессии во Вьетнаме. «Катарина простаивала часами у входа в кинотеатр Перта, раздавая листовки «Запретите бомбу!» людям, только что просмотревшим фильм «На берегу»; в свои семьдесят восемь лет ехала в День труда на платформе Совета мира по улицам Перта; присоединилась к маршу от Фримантла до Перта, организованному Комитетом за ядерное разоружение; собирала подписи под воззванием о создании безъядерной зоны в Южном полушарии...» (из воспоминаний Р. Тросселла). В лебединой песне Причард, романе «Негасимое пламя» (1967), рассказана история журналиста, который, потеряв сына в «грязной» войне, отказывается от места наверху и самоотверженно отдается борьбе против милитаризма. Всемирный Совет Мира наградил Причард, одного из руководителей движения в защиту мира в Австралии, серебряной медалью имени Жолио-Кюри.

Радея о счастье народов всей планеты, остро чувствуя международность событий в той или иной стране, Причард всегда была горячим патриотом Австралии. Характерно, что статьи — символы веры — начинаются с признания в любви: «Это — правда, что я люблю каждую пядь австралийской земли» («Австралия»)... «Я верю в Австралию... Я верю в австралийский народ» («Будущее за социализмом»). Материализация патриотизма — осуществление социальных чаяний, расцвет культуры: «Если мы любим Австралию и австралийский народ, то должны осознать, что культура, имеющая глубокие национальные корни и достойная бесконечной красоты и природных богатств страны, появится лишь при условии, что наша жизнь будет основана на праве народа удовлетворять повседневные нужды бытия; на праве слышать, видеть и читать то, что создано нашими художниками, поэтами и музыкантами; на праве поддерживать международные отношения, которые избавят нас в будущем от войн и беззаконий отживающей экономической системы».

Для Катарины Сусанны Причард бесстрастного искусства не существовало, каким бы отстраненно-надмирным ни казался его творец. Она разделяла горьковский взгляд на искусство как оружие, по природе своей подразумевающее выбор — утверждение одних ценностей и отрицание других. Иронизировала над упреками в «пропаганде» — непременным элементом буржуазной критики в адрес прогрессивной литературы, возвращаясь к оригинальному значению слова — «распространение идей или учений». Понимала тенденциозность по-марксистски: не навязывание читателю решений «в готовом виде» (Энгельс), а выявление объективных потребностей, назревших изменений внутренней логикой художественного развития. Из портретов австралийских писателей, оставленных Причард, — Генри Лоусона, Бернарда О'Дауда, Эдвина Брэди, Майлз Франклин, Генри Гендел Ричардсон, видно, что, оценивая творчество как единство познавательного, эстетического и морально-воспитательного начал, она всетаки прежде всего ищет «Прометееву искру» — огонь служения человечеству.

В статье «Мои представления и устремления» Причард подводила итоги своего пути. Это литературное завещание, как назвал статью Р. Тросселл, написанное за год до смерти, полемично — реакция на попытки обесценить творчество художника «откровенно левой» ориентации, не забыты и случаи критики с позиций догматически толкуемого марксистского искусства. Но главный смысл полемики — в отстаивании реалистических и демократических традиций австралийской литературы, которые в период растущей идейно-эстетической поляризации подверглись массированным атакам в печати и в университетских кругах. Доминантой личного и художественного мира Причард была борьба за создание общества, свободного от пороков капитализма, — ею, а не смирением, не божественным озарением, человек возносился на высоты духа.

Катарина Сусанна Причард любила строки из «Песен Армии ночи» Фрэнсиса Адамса, пламенного английского поэта-социалиста конца прошлого века, который провел несколько лет в Австралии:

Кто там о поражении толкует?
Я говорю вам: Дело наше
Возможность эту исключает.
Оно — всем силам сила!

Так неизбежно, как Земля свой круг
свершает,
Так неизбежно, как сиянье солнца
Вздымает океанскую волну,
И наше Дело победить должно!

◆

Публицистика

КСЕНИЯ МЯЛО

НА ПУТЯХ БУНТА: ОТ ПРОТЕСТА К ТЕРРОРУ

Проблема левацкого терроризма в капиталистических странах Запада заняла в последнее время особое место в идеологической борьбе. Несмотря на категорическое осуждение теории и практики терроризма, неоднократно высказывавшееся ведущими коммунистическими партиями этих стран и в советской печати, проблема по-прежнему интенсивно эксплуатируется в целях антикоммунистической пропаганды.

Левацкий терроризм организаторы и вдохновители этой пропаганды пытаются представить как результат деятельности «коммунистической агентуры», а его идеологию — как модификацию революционной теории марксизма. В целях фальсификации обращаются и к искаженному толкованию истоков этой идеологии, избегая исследования более глубоких истоков современного терроризма в европейской культуре буржуазной эпохи.

Как следствие этого, преднамеренно оставляют за бортом органические связи левацкого терроризма с традицией мелкобуржуазного анархического бунтарства, которая действительно питает его и с которой марксизм вел ожесточенную борьбу уже при самом своем рождении.

В условиях резкого обострения международной напряженности проблема идеологических и психологических корней терроризма сохраняет всю свою актуальность.

В публикуемой статье предлагается опыт рассмотрения идейно-психологического комплекса левацкого терроризма и его исторической эволюции во взаимосвязях с традицией романтического бунтарства и молодежным бунтом на Западе конца 60-х годов.

> Дух мой жаждет подвигов, дыханье — свободы! Убийцы, разбойники! Этими словами я попираю закон.
>
> *Ф. Шиллер, «Разбойники». Карл Моор, действие первое.*
>
> С ужасом и стыдом бросаю я здесь мой кровавый жезл, повинуясь которому вы мнили себя вправе совершать преступления...
>
> *Разбойник Моор, действие пятое.*

В 1970 году на экраны мира вышел фильм Микеланджело Антониони «Забриски-пойнт» — своеобразное художественное осмысление молодежного бунта, привлекавшего в конце 60-х годов всеобщее внимание. Напомню финал фильма, в котором его героиня буквально испепеляла взглядом преданный проклятию старый мир, это бывшее тогда на всех устах «общество потребления». Созданный разрядом ее ненависти, поднимался чудовищный ядерный гриб, круживший обломки мертвой рухляди, а навстречу солнцу нового мира улыбалось прелестное юное лицо — «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали»...

Странное чувство возбуждает сейчас, в начале 80-х годов, этот апокалипсический экстаз разрушения и восторженное любование им, когда листаешь страницы итальянских газет и журналов. Аресты, процессы — и самый громкий среди них, «дело Моро», немолодые, поношенные и такие прозаические лица за решеткой, те лица, которые на протяжении почти десяти лет скрывались под маской и пугающими словами «красные бригады» [1]. Страстные, как будто сошедшие со страниц Достоевского исповеди «раскаявшихся» (pentiti), горячечные проклятия тех, кто готов и далее следовать путем террора, и тяжкий груз пролитой ими не

[1] Об этой демистификации терроризма выразительно писала газета «Унита»: «...за фанатическими лозунгами и потрепанными эмблемами, за всем этим истерическим прикрытием — люди. Люди с самыми обыденными лицами, в очках и с усами, в сползающих носках, люди с дефектами произношения, которые то и дело повторяют «значит», «а иногда говорят на римском диалекте» (эталоном литературного языка в Италии является тосканский диалект. — *К. М.*) — « L'Unita », 2 febraio 1983.

метафорической, а настоящей человеческой крови. На одном из судебных заседаний в Милане перед потрясенным залом прошла длинная вереница жертв терроризма — раненых и родственников убитых. Газета «Паэзе сера» писала о странном чувстве смещения времен, которое возбуждала эта траурная процессия, исполненная решимости потребовать правосудия».

Обилие арестов и процессов, то обстоятельство, что перед судом наконец предстали убийцы Альдо Моро, журналиста Вальтера Тобаджи, рабочего-коммуниста Гвидо Россы, судьи Эмилио Алессандрини,— все это неизбежно порождает в обществе определенный оптимизм и надежды на ближайшее наступление эпохи «посттерроризма». В январе 1983 года был объявлен приговор, вынесенный убийцам Альдо Моро: в общей сложности 1226 лет и 4 месяца тюремного заключения. Ожили воспоминания о событиях уже почти пятилетней давности, о потрясении общества и беспомощности правительства, и об этих чувствах напомнил министр внутренних дел Роньони: «Перед каждым из нас была тогда закрывавшая горизонт стена — мы ничего не видели, мы ничего не знали. Я хорошо помню это острое чувство бессилия. Невозможно было и подумать, что когда-нибудь перед судьями предстанут виновники побоища на улице Фани и бесчеловечные палачи Моро».

Похоже, что сейчас пора подобных чувств поражения и бессилия наступила для самих террористов, и «исторические лидеры» не скупятся на заявления такого рода. «Реквием» по «красным бригадам» исполнили сами «красные бригады», писала в январе 1983 года «Унита», комментируя любопытное заявление группы заключенных «бригадистов», подписанное, в частности, одним из основателей «бригад» и самым известным их лидером — Ренато Курчо. Авторы документа предлагают «надеть траур по годам вооруженной борьбы». Валерио Моруччи, глава римской «колонны» во времена «дела Моро», заявляет о своем разрыве с терроризмом, по крайней мере в его нынешнем виде «кровавого лобби». Разочарование в своем террористическом прошлом и отход от него декларируют и представители других группировок. Роберто Россо, один из идеологов и основателей едва ли не самой жестокой среди них — «Первой линии», заявил: «Не думаю, чтобы пролитая нами кровь послужила чему-либо».

«Раскаявшиеся» и «отколовшиеся» сейчас составляют почти треть всех обвиняемых в террористической деятельности (всего около трех тысяч), и число их увеличивается. Немало оснований для оптимизма, но не является ли он несколько преждевременным?

В один из январских дней 1983 года в редакцию «Паэзе сера» позвонил молодой голос и с характерным римским выговором, отчетливо скандируя, произнес: «Мы — представители вооруженной пролетарской власти. Мы ликвидировали Джерману Стефанини... Борьба продолжается!» Джермана Стефанини — простая работница из тюрьмы Ребиббиа, где содержится большинство террористов, но для нее, писала «Паэзе сера», был организован «тот же мрачный ритуал, которым сопровождалось убийство Моро: труп лежал в багажнике «фиата-131» и кровь вытекала струйкой из пулевого отверстия за ухом...» Эта символика, несомненно, должна была подчеркнуть преемственность новой волны терроризма по отношению к определенной традиции, и последовавшие покушения на видного профсоюзного деятеля Джино Джуньи и прокурора Турина Бруно Качча[2] усугубили такое впечатление.

То и дело в прессе проскальзывают сомнения: действительно ли уже можно говорить о конце эпохи терроризма? Ряд признаков указывает на его возрождение, хотя и в сильно измененном виде. «Не выступает ли пятое поколение террористов?» — спрашивала в феврале 1983 года газета «Унита» и указывала на идущую в террористическом подполье перегруппировку сил, на новую стратегию и тактику террористов, на их углубившиеся связи с организованной преступностью — мафией и каморрой. Еще в январе туринская «Стампа» писала: «...красные бригады потерпели крах, теперь у терроризма новое имя: каморра».

И в самом деле, материалы, посвященные мафии и каморре, этим двум крупнейшим и традиционным для Италии формам организованной преступности, начинают заметно теснить безраздельно господствовавшую в предыдущие годы тему терроризма. Но вернее сказать, что эта рубрика начинает поглощать рубрику «терроризм», что отражает реально идущий процесс быстрого сближения политической и уголовной преступности. В этой своей новой, «крадущейся», по словам «Униты», разновидности терроризм, уже почти не отличимый от обычной уголовщины, может создать впечатление не только ослабления, но и некоего искажения его исходных ориентаций и установок. Впечатление ложное. Отчасти именно с этим связана заметная в последнее время тенденция к определенной идеализации «первого призыва» террористов, их схематической героизации, противопоставления их жестокого, но по-военному жестокого стиля действий сумеречному коварству и уголовной беспринципности эпигонов. При таком подходе вот уже почти полуторадесятилетняя история левацкого терроризма как бы разрывается на две внутренне не связанные между собой эпохи. Первую олицетворяют «потерянные дети» бунта 60-х годов, «несчастные ангелы Апокалипсиса», движимые праведными целями, хотя и идущие неправильными путями, другую — циничные наемники, «дельцы от насилия».

Неоправданность такого искусственно-

[2] Убийство Каччиа, первоначально приписанное «бригадистам», стало считаться делом рук мафии, и это уже не первый случай, когда различить «почерк» террористов и обычных преступников почти невозможно.

го членения целостного исторического явления очевидна, и она подтверждается, в частности, теми очень интенсивными контактами, которые существуют между «нераскаявшимися» представителями первого поколения и новыми кадрами террористического подполья. В ряде случаев «старики» из тюрьмы руководят целыми операциями. Так, например, существует мнение: главный стратег «красных бригад» еще времен «дела Моро», Марио Моретти руководит группировкой, организовавшей покушение на Джино Джуньи.

Однако еще более важным представляется другое — то «нечто», что присутствовало у самых истоков терроризма и что обусловило эту легкость слияния двух видов преступности. Это «нечто» есть влечение к преступлению как таковому, и оно, реализуясь сейчас в формах столь прагматичных и грубых, у истоков присутствует как порой очень изощренная метафизика. Поставить вопрос таким образом — значит коснуться одного из самых болезненных и, сравнительно с другими, малоизученных аспектов левацкого терроризма, проблемы его духовного генезиса и его глубоких внутренних связей с определенной, очень сильной в культуре Запада традицией.

Эти связи отчетливо обозначились еще в конце 60-х годов, однако вопрос о них был оттеснен на второй план проблемами внешних контактов террористических группировок, их организации, социальных слоев, в которых они находят опору, и т. д. Внимание советских исследователей, в особенности в последнее время — в связи со следствием и процессом по «делу Моро», было обращено главным образом к вопросам международного терроризма и использования левацких группировок разведывательными и диверсионными центрами империалистических государств. Не последнюю роль в такой расстановке акцентов сыграла развернувшаяся в начале 80-х годов в США, а затем и других капиталистических странах кампания, стремившаяся увязать современный левацкий терроризм с прямым влиянием народовольчества [3].

Между тем до 1981 года, когда проблема левацкого терроризма в развитых капиталистических странах стала объектом широкомасштабных политических спекуляций, непосредственная его преемственность по отношению к бунту 60-х мало у кого вызывала сомнения.

Еще в 1968 году в ходе студенческих демонстраций в Италии раздавались возгласы: «Война — нет, герилья — да!», а несколько позже широкое хождение получил лозунг: «Голосование — чушь, винтовка — дело!». Позже писатель А. Моравиа отметил: «Терроризм зародился в 1968-м».

Дж. Бокка напоминает: «В одном из самых первых документов «красных бригад» можно прочесть, что историческое событие, на котором основана инициатива герильеро,— это «68» с его рабочими и студенческими волнениями».

Подобные же констатации делались и о ФРГ. «Университеты, ставшие после 60-х годов студенческими империями,— вот рассадники и питомники терроризма»,— писал профессор Свободного университета в Западном Берлине Курт Зондхаймер. На эту связь указывали английская писательница Дж. Беккер, автор нашумевшей книги «Дети Гитлера: история банды Баадер — Майнхоф», и резко полемизирующий с ней по другим вопросам западногерманский священник П. Ёстрейхер. Она (эта связь) подтверждается, наконец, целым рядом имен, образующих как бы живой мост между бунтом 60-х и терроризмом 70-х.

Не приходится отрицать также и то, что дебют левацкого терроризма в капиталистических странах Запада был отмечен тем же стилем стихийности, непредвиденности, ошеломляющей внезапности, который отличал и сам молодежный студенческий бунт.

Уже любить нам недосуг,
Мы ненавидеть станем,[4]—

казалось, эти слова Георга Гервега стали девизом тех «детей цветов», которые стремительно и, как представлялось многим, неожиданно от языка любви обратились к языку оружия, от эзотерических исканий в области духа — к отрывистому и однозначному стилю военных коммюнике, от «раскованного» существования в лоне романтической богемы — к жесткой субординации глубоко законспирированного подполья. Почти одновременно на сцену выступили «Рэнго Сэкигун» (Япония), «везермены» и «Симба» (США), «РАФ» и «Движение 2 июня» (ФРГ), «красные бригады» и «Первая линия» (Италия). Одни из этих групп, заявив о себе несколькими акциями устрашения, быстро сошли со сцены, другим предстояла более длительная история, на путях которой, по выражению итальянского социолога С. Аквавивы, «68» превратился в «78».

■

Десятилетний юбилей майского движения 1968 года, в свое время воспринятого «бунтующей молодежью» Запада как наиболее полное и блистательное выражение ее протеста, совпал с тем шоком общественного мнения, который вызвало похищение и убийство Альдо Моро. Вопрос о связях «красного» терроризма с движениями 60-х годов настоятельно требовал ответа, и сама страстность, с которой порою отрицали подобную связь, говорила о его актуальности. Так, обозреватель еженедельника «Нувель обсерватёр» Жан Даниэль писал: «Являются ли «красные бригады» детищем мая? Никоим образом. Конечно, всякое было в мае 68-го. Но тогда меньше говорили о том, чтобы разрушать, нежели о том, чтобы быть, меньше о том, чтобы убивать, нежели о том, чтобы жить. Борются против авторитета, иерархии, власти, государства, но в этой

[3] Вопрос этот подробно освещен в статье Е. Плимака и В. Хороса «Народная воля: история и современность» — «Вопросы философии», 1981, № 5.

[4] Перевод Б. Пастернака.

борьбе утверждаются средствами диалога и празднества... Кон-Бендит повторит вслед за американским «йиппи» Джерри Рубином: «Революция — это тоже театр на улице» [5].

Подобную же мысль высказывал и А. Фроссар: на его взгляд, современные террористические движения не находятся ни в какой связи с «Маем» (понимаемым символически как наиболее полное выражение карнавального и чувственно-радостного бунта против буржуазной цивилизации): «Молодые мятежники, молодые революционеры вовсе не ставили своей целью ликвидацию и уничтожение своих противников или своего ближнего; напротив: они хотели пробудить их к жизни (de les faire exister)».

Однако насколько документы и настенный фольклор Мая, являвшийся его подлинным самовыражением, подтверждают этот идиллический образ? Приходится констатировать: минимально. В отличие от апологетов движения этого не скрывали и не скрывают его лидеры. «На этом празднестве носились идеи взятия власти... Немало фантазмов ружья»,— вспоминает Л. Жейсмар, позже участник квазитеррористической группировки «Пролетарская левая». Реально «Май» действительно не был движением, с которым связываются представления о многочисленных жертвах, но именно в своей идеальной ипостаси, в том, чем он хотел быть, он в немалой мере устремлялся к насилию в экстремальной его форме — убийству. Можно отметить известный парадокс: если история знает движения, трагически разрешавшиеся в насилии, но первоначально мечтавшие обойтись без него, то здесь соотношение замысла и практики иное. «Май» был в высокой степени предрасположен к насилию, создавая его истерически взвинченный культ, однако эта предрасположенность реализовывалась по большей части на уровне чисто словесном. О готовности и самодовлеющем желании «пустить кровь» свидетельствовал, в частности, выпущенный еще до пика движения «манифест-программа»[6] первый пункт которого гласил:

«Держать улицу под неустанным контролем и вынудить службу порядка разоблачить себя. Вынудить полицию усилить репрессии для того, чтобы спровоцировать (разр. моя.— К. М.) народное движение против блюстителей порядка...

Не бояться кровопролития. Только буржуа и реформисты боятся крови...

Организовывать вооруженные и отренированные ударные группы для контроля над улицей. Наводить на режим страх. Устрашать...»

То, что в эйфории майских дней прошло почти незамеченным, казалось несущественной подробностью или риторической фигурой, в свете последующих событий приобрело совсем иное звучание. Нельзя не заметить, что в вышеприведеннрм тексте, резко контрастируя с духом «театра» и «карнавала», были кратко и четко сформулированы основные принципы, легшие затем в основу деятельности террористических группировок, в том числе и «красных бригад»: устрашающее провоцирование властей, призванное вызвать эскалацию насилия, и жесткая, милитаризованная организация.

На том карнавале освобожденных инстинктов, каковым и до сих пор многим видится «Май», жажда кровопролития занимала отнюдь не последнее место. В экспрессионистский, праздничный период движений протеста это находило выражение главным образом в словесных призывах «убей!» и угрожающих жестах. Разворачивается своего рода сценическое действие, мистерия «революционного насилия». Но так ли уж велико расстояние, отделяющее этот «театр на улице» от реальных действий, буйное празднество 60-х от сумрачного террористического подполья 70-х?

Еще древние знали, что там, где проходит Дионис, льется не только вино, но и кровь, что там «пахнет смертью». В новейшей истории это продемонстрировал миру фашизм, и такое двуединство дионисийства и кровопролития получило яркое художественное воплощение в фильме Висконти «Гибель богов». А совсем недавно итальянский художник Джулиано Россетти, выпустивший в свет серию рисунков, посвященных 1968 году, вспоминал о нем как о «празднестве, ставшем прелюдией к годам свинца и крови» [7].

Один из известных писателей современной Франции, наследник десадовской метафизики «благодатного преступления» Жан Жене еще до «дела Моро» писал в своем многословном панегирике в адрес западногерманских террористов: «Насилие и жизнь — это почти синонимы. Росток, разрывающий оцепенелую землю, птенец, пробивающий скорлупу яйца, оплодотворение женщины, рождение ребенка — все это суть явления, которые можно назвать насилием. Всякая организованная социальность пронизана «брутальностью», жестокостью, всякое

[5] Однако именно автор этого лозунга, Джерри Рубин, задолго до убийства Моро писал, с завистливым восхищением глядя на Ли Харви Освальда и Сирхана Сирхана: «И я подумал про себя: Кеннеди, бриллиант Америки, и вот — одна пуля, и красота, деньги, власть, слава, все ушло, исчезло. Долой!» ссылка Даниэля на Джерри Рубина исходит, как из чего-то само собой разумеющегося, из безобидного и игрового значения слова «театр». Между тем «театр на улице», характерный для эстетики 60-х годов, был явлением совсем иного порядка и предполагал непосредственное, прямое и зачастую жестокое (в духе также популярного в эти годы «театра жестокости») воздействие на жизнь.

[6] Один из многочисленных документов, которые выпустило Майское движение.

[7] «Годы свинца» («Anni di piombi») — итальянская калька названия известного фильма Маргареты фон Тротты «Свинцовые времена». По словам фон Тротты, выбранный ею образ из Гёльдерлина («Die bleierne Zeit») должен был обозначать 50-е годы ФРГ с их гнетущей атмосферой. Но история распорядилась им по-своему, и в Италии он стал расхожим для обозначения «проклятых 70-х» как лет терроризма.

«спонтанное насилие жизни», естественно продолжаемое революционным насилием, стремится разбить эту «организованную жестокость». Мы обязаны Андреасу Баадеру, Ульрике Майнхоф, Хольгеру Майнсу, РАФ в целом тем, что они заставили нас понять — не словами, а своими действиями: лишь насилие может покончить с жестокостью. Вооруженная фракция представляется и противоположностью Мая 1968-го и его продолжением. В особенности его продолжением (разр. моя.— К. М.). С самого начала студенческий бунт — но не забастовки на заводах — принимает фрондерский тон, что находит выражение в стычках, где противники, полиция и манифестанты стремятся избежать непоправимого. Ночные игры на улицах более напоминают танец, нежели битву».

«Роте арме фракцион» (РАФ), по мысли Жене, как бы воплощает эту зловещую пантомиму в реальность, слово и ритуальный жест — в деяние, развивая в таком деянии сокровенный смысл этого слова и этого жеста. Однако при таком развитии майский карнавал, утрачивая свою безобидную театральность, начинает напоминать знаменитые «трагические фарсы» в романе Рабле, то есть эпизоды, внешне карнавальные, но заканчивающиеся реальным, отнюдь не условным и не фарсовым убийством. Игровой, карнавальный жест оборачивается здесь жестом прикрытия, за которым разворачиваются события совсем не карнавальные, и закономерен вопрос одного из пострадавших: «Кто вы такие: борцы, бойцы или уже убийцы? Это потешный, по-вашему, бой? Убой это, а не бой потешный».

Передавая РАФу знамя бунта, поднятое Маем [8], Жене фиксировал ту духовную ось, по которой совершился переход от театра к действию, от карнавального эпатажа — к военной операции, от «клюквенного сока» — к крови. Эту духовную субстанцию бунта, унаследованную террористами, можно было бы определить как «право на насилие» или еще точнее — «право на преступление».

Связующим звеном между идеологией бунта и идеологией терроризма стало выработанное в русле «новых левых» движений теоретическое положение (в общем потоке «контестации» присутствовавшее как субъективно-психологическое ощущение) о «системном терроре». Это понятие получило широкое распространение в конце 60-х годов, а обозначать оно могло очень широкий, по сути, безграничный спектр явлений: от прямой полицейской репрессивности до «потребительского террора», «сексуального отчуждения» и т. д.

Огромную роль в формировании такого взгляда сыграли идеи представителей Франкфуртской школы, в частности Г. Маркузе, о чем уже много и основательно писалось в советской литературе. Значительное влияние оказало также творчество известного философа-структуралиста Мишеля Фуко, последовательно изучающего различные аспекты буржуазной цивилизации как структуры, призванные «карать и надзирать» [9].

Этот верхний, теоретический уровень общественного сознания явился систематизацией и обобщением (хотя и оказывая, в свою очередь, обратное влияние) гораздо более широко распространенного эмоционально-аффективного восприятия буржуазно-демократического строя как системы жесточайшего гнета, по своей тяжести, а в особенности вездесущности едва ли не превосходящего гнет абсолютизма [10].

Для такого сознания и психологического склада «система», подлежащая насильственному разрушению и уничтожению,— это вся совокупность экономических, политических, социальных, правовых, этических и культурных установлений. Все это — прутья, образующие решетку репрессивности: прямой, то есть государственно-полицейской, и скрытой, но наиболее жестокой, осуществляемой через хитросплетения этических норм и культурных ценностей и идеалов.

При таком восприятии действительности «терроризм» выступает как ответ на «системный террор», и тем самым ему как бы заранее выдается индульгенция, отпускающая его прегрешения. К сожалению, подобный взгляд получил широкое распространение не только среди самих террористов (где он приобрел силу догмата), но также и в довольно широких кругах сочувствующей террористам левой интеллигенции. Его придерживается и ряд исследователей [11].

Между тем вряд ли будет преувеличением сказать, что здесь происходит вторичная мифологизация проблемы в тер-

[8] Разумеется, этой стороной не исчерпывается ни весь комплекс идей «Мая», ни тем более движений протеста 60-х годов, к которым в большой мере восходят также современные пацифистские движения. Это — их крайний левый фланг, на котором метафизика разрушения прозвучала со всей своей убийственной силой.

[9] Он, в частности, описывает психиатрические и юридические институты буржуазного общества как механизмы регулярного изъятия неконформных элементов. Пациенты этих заведений и заключенные являются, по этой логике, в потенции наиболее или даже единственными подлинно революционными элементами, ибо только их «система» не смогла кооптировать и поглотить. Этот взгляд получил довольно широкое распространение в террористических и близких к ним кругах и в той или иной мере реализовался в их практике.

[10] Согласно авторам «Диалектики Просвещения» Т. Адорно и М. Хоркхаймеру, «современная буржуазная демократия скорее всего может быть охарактеризована как «аморфный тоталитаризм». Именно эта аморфность и делает особо опасной подобную разновидность тоталитаризма.

[11] Этот лейтмотив звучит в ряде заявлений таких деятелей культуры Запада, как Г. Бёль, М. Фуко, А. Моравиа. Обращение 40 видных представителей итальянской интеллигенции по делу руководителей «Организованной автономии» газета «Унита» в свое время назвала «манифестом солидарности с террористами».

минах элементарных соотношений «добра и зла», «белого» и «черного», «гонимых» и «гонителей», святых мучеников за правду и жестокосердных «слуг фараоновых». Не случайно для объяснения террористической психологии в оборот было введено понятие «комплекс Робин Гуда». В свое время Баадер заявил, что «человек и история творятся самопожертвованием и убийством». Героический миф о террористах, всячески акцентируя «самопожертвование», предпочитает не замечать «убийство», а в особенности то ритуально-символическое значение, которое в определенной традиции придается этому акту как средству «личностного освобождения».

Как свойственно вообще всякому мифу, абсолютно не воспринимаются, полностью игнорируются любые факты, не укладывающиеся в жесткую схему. Так, Том Хейден, один из самых видных лидеров леворадикального студенчества США 60-х годов, писал о причинах возникновения «везерменов» (террористическая организация):

«Когда наш легальный протест был подавлен дубинками, они порвали с законом. Когда наши жалкие попытки организовать мирную конфронтацию были пресечены, они приняли на вооружение тактику наступательных партизанских насильственных действий». Совсем иначе звучит, однако, собственное заявление лидера «везерменов» Бернардины Дорн, сделанное ею в связи с нашумевшим в свое время убийством «сатаной» Мэнсоном и его бандой беременной актрисы Шарон Тейт и ее гостей: «Представьте себе — сначала они приканчивают этих свиней, затем обедают в той же комнате, а потом еще втыкают свинье Тейт вилку в живот. Здорово!..» Ей вторит аноним: «Какое прекрасное чувство — убить «свинью» [12]. Это, должно быть, потрясающее ощущение, когда убиваешь «свинью» или взрываешь здание. Мы против того, что в белой Америке считается «добрым и приличным». Мы будем сжигать, грабить и разрушать. Мы те, кто являлся в ночных кошмарах вашим матерям».

Этот поиск экзистенциального удовлетворения на путях насилия, в вышеприведенном заявлении декларируемый с какой-то людоедской откровенностью, в целом играл столь большую роль у истоков терроризма, граничившая с психопатологией [13] экзальтация преступления была здесь столь велика, что, анализируя генезис левацкого терроризма, абсолютно недопустимо игнорировать данный аспект проблемы. Более того, именно у истоков терроризма, в документах и прямых высказываниях самих террористов отчетливо звучала мысль о недостаточности государственных репрессий, о необходимости спровоцировать более жестокое политическое насилие, дабы снять самую возможность мирного развития событий. И хотя всякая реальность такого рода сложна и в террористическом подполье действительно были люди, мыслившие в иных категориях, в целом можно скорее удивляться тому непропорционально большому месту, которое изначально заняла в идеологии терроризма тема двоякой самоценности насилия: как способа реализации личной свободы и как наилучшего метода провокаций, призванных вызвать ответную эскалацию полицейских репрессий.

Уже в левоэкстремистском крыле студенческого движения 1968 года во Франции была сформулирована триада «provocation — répression — révolution» («провокация — репрессия — революция»).

В частности, в опубликованном в 1968 году буклете «Политическая герилья», принадлежащем перу Фельтринелли и являющемся, видимо, первым в Европе произведением, четко и связно излагающим как цели, так и средства террористической практики, утверждалось, например, что «настоятельной необходимостью» являются «интенсивные провокации», призванные «разоблачить реакционную сущность государства. Задачей герильи является открытое нарушение закона, всесторонний вызов и оскорбление политических институтов и общественного порядка. И когда в результате государство будет вынуждено вмешаться со своей полицией и судами, легко будет разоблачить его репрессивные, диктаторские тенденции». Для достижения этой цели хороши все средства — даже «стрельба по всем пассажирам поезда», например. Спровоцированное такими методами «грубое вмешательство репрессивных сил позволит покончить с тормозящей процесс идеей, что социалистическую революцию можно осуществить, не прибегая к оружию».

Ульрика Майнхоф еще до своего ухода в подполье заявила: «Необходимо спровоцировать латентный фашизм общества. Мы должны взрывом вызвать фашизм к жизни, чтобы все увидели его,

[12] На сленге 60-х годов — как правило, полицейского, но и шире, всякого представителя «системы» вообще. Поскольку слово «свинья» стало одним из ключевых в лексиконе террористов, в особенности немецких, на нем следует остановиться несколько подробнее. Это не просто ругательства, каковыми вообще пересыпан язык террористов. Это символ, восходящий к архаической индоевропейской мифологии, где «свинья» была олицетворением сил зла и мрака. В таком значении это слово употреблялось Лютером для определения «папистской скверны», и контекст, в котором оно употребляется террористами, не оставляет сомнений в том, что речь идет об аналогичном манихейском делении мира на «чистых» и «нечистых», праведных и неправедных.

[13] Подобный взгляд на левацкий терроризм был особенно распространен в ФРГ, для чего, как мы увидим ниже, немало оснований давали сами террористы. Так, священник П. Естрейхер (впоследствии заметно изменивший свою точку зрения) в 1978 году выступил на страницах газеты «Таймс» с серией статей под общим названием «Германия должна противостоять этим больным гангстерам». Бывший канцлер ФРГ Г. Шмидт в период «дела Шлейера» заявил в беседе с американским террологом П. Дженкинсом: «Я думаю, что все эти люди психически нездоровы».

и тогда народ обратится к нам в поисках руководства». Ренато Курчо, один из так называемых «исторических лидеров красных бригад», открыто снимал вопрос о «нестерпимом насилии» государства, которое, по мнению ряда исследователей, приводит экстремистов в отчаяние и тем самым превращает их в террористов. Напротив, такое насилие еще предстоит вызвать, спровоцировать, и терроризм — идеальный инструмент подобной провокации. Тогда «у буржуазии останется только один выход: восстановить свою власть, усиливая репрессии и осуществляя прогрессирующую милитаризацию государства».

Свой вклад в разработку такой программы внес и Баадер: «Свиньи» будут метаться в темноте, пока не окажутся вынужденными превратить политическую ситуацию в военную».

Эта принципиальная установка на превращение политической ситуации в военную, на создание атмосферы хаоса и разрушения имманентно присуща левацкому терроризму, и сама возможность некатастрофического развития видится здесь как худшее из всех мыслимых зол, как тот путь, на котором не реализуется «священнейшее» из всех человеческих прав — право на бунт. Этот катастрофизм и сопряженный с ним культ насилия, чуждый марксистской традиции [14], заставляет скорее вспомнить кредо анархического нигилизма Макса Штирнера: «То, что надвигается на нас,— это не новая революция, а мощное, гордое, бессовестное и бесстыдное преступление».

С особой силой этот катастрофизм и квазирелигиозный культ насилия обнаружились в истории немецкого левацкого терроризма, что связано, конечно, с особенностями немецкой духовной традиции и специфической истории Германии, но также и с тем, что здесь, если не говорить о спорадических действиях «везерменов», левацкий терроризм впервые в послевоенной истории Западной Европы заявил о себе как самостоятельный феномен.

Особый нервно-экзальтированный душевный склад наиболее известных рафовцев «первого призыва», их эсхатологическая, отзывающаяся пламенем Мюнцера ненависть к «осквернённому» миру, характерная для них мистика очистительного огня и кровавого искупления, наконец, глубокая духовная, а порою и генеалогическая [15] связь с мощными пластами немецкой культуры — все это давало немало оснований говорить о «красном терроризме» как о «немецкой болезни». Однако, как показали дальнейшие события, это был лишь пролог, открывавший эпоху левацкого терроризма и в предельно заостренной форме явивший его внутренние противоречия и парадоксы. Несовместимое и взаимоисключающее сплетены здесь в один клубок: нравственный максимализм и беспринципная жестокость, сильный религиозно-аскетический элемент в детстве и ранней юности в сочетании с метафизически, в духе «Степного волка» Г. Гессе, переосмысленным распутством, проклятия поколению отцов, «поколению Освенцима»,— и решающая встреча в баре со знаменательным названием «Волчье Логово», с неонацистами, у которых была куплена первая партия оружия. Трагическая развязка (коллективное самоубийство в тюрьме Штаммгейм, продолжающее вызывать много сомнений) усугубила драматизм немецкого варианта левацкого терроризма и в огромной мере содействовала попыткам его героизации и хрестоматийному его упрощению. За трагизмом конца исчезало начало, отмеченный интонациями мефистофельского глумления «хэппенинг» конца 60-х годов.

Поскольку понятие «Театр» неотъемлемо сопутствует терроризму [16], как оно сопутствовало и леворадикальным движениям 60-х годов, на этом вопросе следует остановиться несколько подробнее. Это тем более важно, что, как уже отмечалось, для многих слово «театр» служит своего рода алиби, указывающим на полную невозможность развития терроризма из карнавальной стихии протеста. Между тем одной из самых ярких и своеобразных черт леворадикального бунта 60-х годов было органическое слияние в нем «эстетики» и «политики», цели которых формулировались примерно одинаково: как тотальное освобождение подавленного буржуазной социально-политической системой, но в еще большей мере — буржуазной культурой подлинного, «инстинктивного» человека. Именно в точке пересечения эстетики и политики и возник хэппенинг — популярнейшая в 60-е годы форма театрального действия, которое должно было возникать непроизвольно, спонтанно, быть импровизацией на наиболее острые (желательно — политические) темы и оказывать непосредственное, преобразующее воздействие на саму жизнь.

В огромной мере хэппенингом был Май, черты хэппенинга были также

[14] Здесь следует напомнить слова В. И. Ленина: «Для настоящего революционера самой большой опасностью, — может быть, даже единственной опасностью,— является преувеличение революционности, забвение граней и условий уместного и успешного применения революционных приемов. Настоящие революционеры на этом больше всего ломали себе шею, когда начинали писать «революцию» с большой буквы, возводить «революцию» в нечто почти божественное, терять голову, терять способность самым хладнокровным и трезвым образом соображать... в какой момент, при каких обстоятельствах, в какой области действия надо уметь действовать по-революционному и в какой момент, при каких обстоятельствах... надо уметь перейти к действию реформистскому» (Полн. собр. соч., т. 44, с. 223.).

[15] Как установила Дж. Беккер, Гудрун Энслин являлась прямым потомком Гегеля, а в родословной Ульрики Майнхоф блистает имя Гёльдерлина.

[16] Терролог Б. Дженкинс даже сформулировал афоризм: «Терроризм — это театр». Не говоря уже о той (весьма неоднозначной) роли, которую играют по отношению к терроризму масс-медиа, он сам по себе органически связан со сценическим эффектом, с тем впечатлением, которое производят его акции.

присущи многим демонстрациям и вообще формам политической деятельности леворадикального направления. Эстетикой хэппенинга был отмечен и стиль западноберлинской «Коммуны-1» — образования, развившегося на крайне левом фланге леворадикального молодежного движения в ФРГ и культивировавшего и проповедовавшего «новый образ жизни». Основателем ее был студент Фриц Тойфель, знаменитый своими сольными хэппенингами, которым уже и тогда был присущ оттенок глумливости и жестокости. Гамбургский леворадикальный журнал «Конкрет», «первым пером» которого была Ульрика Майнхоф, писал, воздавая должное провоцирующей деятельности Тойфеля: «В антиавторитарном движении протеста учащихся, студентов и молодых рабочих Фриц Тойфель и Райнер Лангхауз являются чем-то вроде манежных клоунов. Само собой разумеется, ни одна демонстрация, ни один «сит-ин», ни один конгресс не обходятся без их очаровательных, причудливых розыгрышей, раздражающих власти».

Этим «очаровательным розыгрышам» принадлежала огромная роль на том повороте, который отмечает переход от общей риторики протеста к насилию, а преступное и невинное сливались здесь порою столь тесно, что последний роковой шаг, за которым начинался мир подполья, некоторые делали неощутимо для себя [17].

Основание «Коммуны-1» было для Тойфеля сигналом к тому, чтобы поставить вопрос о хэппенинге как средстве осуществления революции. На первой встрече участники «Коммуны-I» — девять мужчин, пять женщин и двое детей — обсудили перспективы революционного движения в Западной Европе и выбрали имя «Вива Мария группа» (что было напоминанием о фильме Луи Малля, в котором Брижит Бардо и Жан Марэ делали революцию в Мексике). Этот прямой ход с киноэкрана в жизнь необычайно выразительно характеризует органичность слияния эстетики богемы и детектива с идеей тотального бунта против буржуазной цивилизации, присутствующую у истоков терроризма. Не случайно среди пионеров этой «группы» с опереточным названием был Руди Дучке — один из главных лидеров и теоретиков «новых левых».

По-своему органично «новый стиль жизни» и политический радикализм сливались и в журнале «Конкрет». Журнал, пользовавшийся популярностью в кругах левой интеллигенции и студенчества (хотя этот успех не был лишен скандального оттенка), являл собою своеобразный симбиоз культурно-сексуального радикализма и политической левизны. «Гвоздевые» интервью — с Сартром или Руди Дучке — перемежались статьями на темы вроде «Любовь среди адептов ЛСД», а фотографии обожженных напалмом вьетнамских детей непосредственно соседствовали с порнографией. Заголовки гласили: «Секс и политика», «Секс и революция: освобождает ли любовь (Macht Liebe frei?)»[18]. Знаменитая фотография мальчика из варшавского гетто с поднятыми вверх руками иллюстрировала текст статьи о «пилюле для тинейджеров» с ее основным тезисом о «сексе как средстве освобождения». Журнал программно писал: «Голые груди и красные знамена — что общего между ними?.. Что может объединять политику и секс? Все! — отвечают «новые левые», ученики Маркузе и Дучке... Make Love, not War!» («Занимайся любовью, не войной!»)

Этот пафос «сексуального освобождения», столь характерный для движений протеста 60-х годов, ни в коей мере не следует понимать упрощенно, лишь в духе элементарной бытовой распущенности. Он был выражением целостной философии, в которой такое освобождение представлялось инструментом радикального переустройства мира. При этом, несмотря на лозунг «Make Love, not War», в программном дионисийстве «Коммуны-1» и наиболее радикальной части «новых левых» вообще Эрос виделся величайшей жизненной силой, которая, подобно танцующему Шиве, созидает и губит миры и всегда права в своей созидательной и губительной мощи.

Наконец, и «Конкрет» и «Коммуну», эти две матрицы не только западногерманского, но и западноевропейского левацкого терроризма, отличал также характерный для всего духа движений 60-х годов «тьермондизм», повышенное внимание к «третьему миру» и желание самоотождествиться с ним в страдании и мести, в духе «комплекса Сартра — Фанона». Ульрика Майнхоф приобрела огромную популярность своим «Открытым письмом к шахине» [19]; «Вьетнам» же означал здесь, да и нередко вообще в студенческих движениях на Западе, героическое сопротивление «Востока» как мифологизированного олицетворения принципиально иных жизненных начал

[17] «Я был уверен, что делаю бомбы для киношников: ведь все было совсем как в кино», — показывал позже Дьерк Хофф, дизайнер и гравер, знаменитый своими «беби-бомбами», которые террористки, имитируя беременность, проносили под платьем. «Все мы вошли в политику как в продолжение студенческих хэппенингов. Сценарии Тойфеля заменила книга Маригеллы, а практику в Берлине пройти нетрудно: надо только знать кое-какие бары», — писала позже в своих «Воспоминаниях о банде Баадер — Майнхоф» студентка-физик Беата Штюрмер. Путь от дискотек и хэппенингов через «кос-какие бары» и жизнь в «Коммуне» прочерчивает и бывший рафовец Михаэль Бауман, показания которого впервые приоткрыли для постороннего глаза частную жизнь террористов.

[18] В последнем нельзя не усмотреть парафраз известной надписи на воротах Освенцима «Arbeit macht frei» и не поразиться ёрническому контексту, в котором она упоминается.

[19] В ответ на опубликованное в журнале «Нойе ревю» интервью шахини, в котором она сообщала о жизни своей семьи, «Конкрет» письмом Ульрики Майнхоф информировал своих читателей об истинных условиях жизни большинства населения Ирана при шахском режиме.

бездушной материалистической цивилизации «Запада».

Эстетика провоцирующего хэппенинга и идеология «тьермондизма» неразрывно сплелись в документах, которые обозначают самую точку перехода акта провокации в террористическую акцию.

■

22 мая 1967 года в Брюсселе загорелся большой универмаг «Инновасьон». Это произошло в промежутке между визитами в Западный Берлин вице-президента США Хэмфри и шаха Ирана. Оба визита были ознаменованы демонстрациями протеста, и во время последней из них, 2 июня 1967 года, был убит студент Бено Онезорг [20]. С этим убийством некоторые исследователи связывают острую реакцию радикалов, развернувшуюся в терроризм.

Тем более показательно для настроений, вызревших в недрах молодежного бунта, что уже 24 мая 1967 года (то есть до убийства Бено) среди студентов Свободного университета в Западном Берлине распространялись четыре листовки, подписанные «Коммуной-1». Ссылаясь на точные сведения, якобы полученные от маоистской группы «За мир и дружбу между народами», одна из листовок описывала происшествие как чрезвычайно удавшийся хэппенинг. Она гласила: «Новые формы демонстраций, впервые опробованные (разр. моя.— К. М.) в Брюсселе. В ходе крупномасштабного хэппенинга демонстранты в защиту Вьетнама создали условия, близкие к военным, на целых полдня в самом центре Брюсселя. Этот сильнейший за многие годы пожар в Брюсселе был тщательно подготовлен и отрежиссирован: перед универмагом шествовали с плакатами и произносили речи, в то время как внутри рвались зажигательные бомбы». Деловито сообщалось, что катастрофа застигла около четырех тысяч человек покупателей и служащих, и «магазин превратился в океан пламени и дыма». Всюду метались живые факелы, иные выбрасывались из окон и разбивались насмерть, другие умирали от удушья. Свидетель сообщал: «Это было видение Апокалипсиса». Листовка заканчивалась выражением нетерпеливого пожелания: «Когда же загорятся берлинские универмаги?».

Другая давала своего рода обобщение: «Наши бельгийские друзья, наконец, разработали план, согласно которому население сможет разделить радости Вьетнама: они поджигают большой магазин, и триста пресыщенных буржуа заканчивают свою жалкую трепещущую жизнь с поистине вьетнамскими ощущениями.

Брюссель — Ханой...

Брюссель дал нам единственно возможный ответ:

Гори, Товарный Склад[21], Гори!
Коммуна-1, 24 мая 1967 г.»

Этот выбор универмагов в качестве первых объектов террористических акций и уверенность в том, что идущие туда люди заслуживают смерти на костре, несомненно, в огромной мере был подготовлен бесчисленными толками о «потребительском терроре» и взглядом на пресловутого «одномерного человека» как своего рода «недочеловека». Что же касается метода — поджогов, то он был естественным для эстетики хэппенинга, который иногда даже называли «живописание огнем». В то же время в этом культе карающего огня явственно звучали апокалипсические ноты: «И ниспал огонь с неба от Бога, и пожрал их». Слово «Апокалипсис» совсем не случайно прозвучало в листовке от 24 мая. Желание карать явно доминировало здесь над желанием благодетельствовать, Карл Моор — над Робин Гудом: «И благо тому из вас, кто будет всех неукротимее жечь, всех ужаснее убивать!»

Архаическая мистика очистительной силы огня и восхищение его театральностью, грозное и легковесное отлично уживаются у автора лозунга «Революция — это театр на улице!» Джерри Рубина: «...огонь — это бог революции. Огонь — это спонтанный театр. Никакие слова не могут сравниться с огнем. Жги, жги, жги!» Это был тот потаенный и двусмысленный пласт в сознании «новых левых», на котором сочувствие «униженным и оскорбленным» отступало перед не лишенным садоэротических оттенков стремлением увидеть беспощадного мстителя с обагренными кровью руками, а в еще большей мере — стать им.

Ответ на вопрос: «Когда же загорятся берлинские универмаги?» был вскоре получен. 2 апреля 1968 года был подожжен универмаг во Франкфурте-на-Майне. Официально объявленный его мотив — «зажечь факел в честь Вьетнама». Франкфуртский поджог вызвал раскол среди «новых левых»[22]; и в числе тех, кто оценил его положительно, была Ульрика Майнхоф.

Более того, она схватила самую суть акции (которую отнюдь не составляли милосердие и сострадание [23]), и эту суть она приняла и одобрила: «Прогрессивное значение пожара в универмаге заключается не в уничтожении товаров, оно заключается в преступности акта, в правонарушении как таковом». Майнхоф добавила: «Остается в силе то, что

[20] Писатель Гюнтер Грасс назвал убийство Онезорга первым политическим убийством в ФРГ.

[21] «Товарный склад» — здесь очевидная метафора для обозначения «общества потребления».

[22] Его категорически осудил СНСС («Союз немецких студентов-социалистов»), но одобрили многие студенты-«коммунары», очень большая часть тех, кого в ФРГ именуют «schike linke» («шикарные левые»): творческая элита, артистическая богема и т. д.

[23] Наиболее распространенное определение мотивов действия террористов в сочувствующих им кругах.

Фриц Тойфель сказал на конференции СНСС: «А все-таки лучше жечь универмаги, чем управлять ими». Фриц Тойфель иногда удивительно умеет попасть в точку» [24].

«Преступить» — вот эта точка, нервный узел терроризма, в котором соединяются его экзистенциальный, политический и юридический аспекты и который тесно связует его с целым пластом буржуазной политической и философской традиции.

Сакрализация бунта и даже преступления — составная часть политической философии буржуазной эпохи в ее леворадикальном варианте. Именно буржуазия принесла с собой идею абсолютной индивидуальной свободы, по отношению к которой любая власть, по сути дела, является тиранией. В период великих буржуазных революций этот бунт во имя свободы был направлен прежде всего против монархии и церкви (как политически полновластной организации). Однако его задачи не исчерпывались и не ограничивались только этим. В идеале он мыслится как перманентный бунт против любых ограничений эмпирической свободы индивида. Так, Т. Джефферсон писал в своем известном письме У. Смиту: «Пусть избавит нас бог от того, чтобы мы еще двадцать лет оставались без восстания. Древо свободы должно время от времени освежаться кровью патриотов и тиранов. Это его естественное удобрение» [25]. Джефферсон писал изнутри общества без монарха, и в его словах явственно звучит мысль о том, что и общество и человек должны время от времени находить своих «тиранов», дабы не погрязнуть в рабстве. «Malo periculosam libertatem quam quietam servitutem» («Опасную свободу предпочитаю спокойному рабству»),— писал Джефферсон в письме к Мэдисону. Но как далеко может простираться эта свобода, вступающая в роковое противоборство со столь же имманентной буржуазному духу идеей «закона»?

В перфекционистской (то есть исходящей из представления о естественно доброй человеческой природе) линии Просвещения нарастание свободы, пусть даже и через благодетельные для нее регулярные «освежения кровью», видится как неуклонное нарастание добра. Однако уже в XVIII веке обозначилась и другая линия, исходящая из представления о человеке как вместилище разрушительных и несущих смерть инстинктов, которым тем не менее надо даровать свободу. С уникальной последовательностью эта посылка была доведена до своих крайних выводов в творчестве маркиза де Сада. В философии де Сада «свобода» как абсолютная ценность укрепляется не кровью «тиранов», но кровью любого человека, которую другой человек пожелает пролить во имя утверждения собственной свободы. «Примите свободу преступления,— писал Сад,— и вы навсегда войдете в состояние бунта, как входят в состояние благодати».

В 60-е годы лидер американских хиппи Эммет Гроган сочинил гимн, в котором, хотя и в вульгаризованной форме, отчетливо слышатся отголоски всего этого круга идей:

Вы — граждане народа,
Граждане народа, где есть законники,
делающие законы,
Законы, приказывающие быть
свободными,
Свободными ходить в школу
до шестнадцати лет,
Свободными нести обязательную
военную службу,
Свободными платить налоги на армию,
Свободными видеть, как за нашей
свободой следят шпики.
Это ваши друзья, охраняющие вас
От бродяжничества, от бунта и
разрушения,
От желания быть самим собой.

Культ бунтующей жизненной силы, которая всегда, даже в самых своих человекоубийственных проявлениях права, то и дело заявляет о себе в устойчивом стремлении поставить знак равенства между жизнью и насилием, между творчеством и разрушением, между свободой и преступлением. В пределе же — между полнотой самоосуществления и актом уничтожения д р у г о г о, то есть убийством, когда оно трактуется не как «преступление», по необходимости влекущее за собою «наказание», а как почти мистический акт откровения. Один из героев романа Мальро «Завоеватели», исповедующий эту религию насилия, замечает о русских писателях: «У них у всех один недостаток: они никого не убили. Если их герои страдают, совершив убийство, значит, мир не изменился для них... В действительности же, я думаю, они должны были бы увидеть мир полностью преобразившимся, изменившим все свои измерения. Мир не человека, который «совершил преступление», но мир человека, который убил».

Именно в это русло и направился экзистенциальный и политический поиск некоторых из самых крайних радикалов 60-х годов, отлившийся затем в терроризм.

Отправляясь от общего для «новых левых» представления о репрессивности правовых и этических установлений существующего общества, рафовцы уже самый момент любого их нарушения, трансгрессии считали моментом осуществления абсолютной свободы, тем самым приближаясь к садовскому отождествлению свободы и преступления. Эту возрожденную в 60-е годы садическую интерпретацию бунта известный участник «Мая» Мишель Ле Брис сформулировал как альтернативу «полного конформизма в системе или убийства другого». Не случайно террористы так ча-

[24] Ее мысль полностью совпадала с той, которая была в другом контексте высказана Баадером: «Преступление есть не что иное, как момент революционной вспышки». См.: А. В е с е л и ц к и й. Кому это выгодно? М., Политиздат. 1982, с. 52.

[25] Сама мистика «очистительной и плодоносящей силы пролитой крови» восходит к древнейшим представлениям. См.: Д. Ф р е з е р. Золотая ветвь. М., 1980, XXIV, XXVIII.

сто и со всей откровенностью подчеркивают момент наслаждения, даруемого террористической акцией и всем складом нелегального существования. «Безграничный терроризм обеспечивает безграничное наслаждение» — этот лозунг, выдвинутый в 1969 году неким «обществом любителей гашиша», был весьма популярен в подпольных и близких к ним кругах. Ульрика Майнхоф, уже проходя тренировку в лагере для террористов, заявила: «Насколько интереснее учиться грабить банки и выскакивать на полном ходу из машины, чем сидеть за пишущей машинкой». Это было продолжение того же романтического бунта против серых, «мещанских» будней, который заставлял когда-то девочек-подростков из сложившегося вокруг Ульрики элитарного кружка упиваться словами «Степного волка»: «Во мне загорается дикое желание сильных чувств, сногсшибательная злость на эту тусклую, мелкую, нормированную и стерилизованную жизнь, неистовая потребность разнести что-нибудь на куски, например, собор или самого себя,— совершить какую-нибудь лихую глупость, сорвать парики с каких-нибудь почтенных идолов, снабдить каких-нибудь взбунтовавшихся школьников билетами до Гамбурга, растлить девочку или свернуть шею нескольким представителям мещанского образа жизни». Такому исполненному экзистенциально-романтической напряженности восприятию враждебна всякая устоявшаяся, обретшая спокойные, а стало быть, и рутинные формы жизнь — бытие, ставшее бытом. Прорваться в сферу свободы — значит выйти за его границы, «преступить» их. А поскольку «общество» — это не абстракция, а живые люди, такой порыв приобретает специфически человекоубийственную направленность. Культ хаоса и насилия, противопоставляемого упорядоченным «мещанским будням», как творческое начало бытия — умерщвляющему, достигает своей кульминации в превознесении акта убийства, возможно также и самоубийства. Отсюда совершенно особый, «вампирический» характер такого рода акций, когда, убивая другого, убийца переживает единственно возможный для него момент истины, обретает смысл жизни.

В этом своем экстремальном варианте бунт во имя жизни оборачивается практикой смерти. «Ворвемся дыханием смерти в больную систему»,— гласил «Манифест группы социалистических пациентов» гейдельбергского врача-психоневролога Губера, сделавшего небезуспешную попытку направить наиболее агрессивные формы поведения душевнобольных в русло терроризма.

Такой прорыв из экзистенциального вакуума в экзистенциальную эйфорию, осуществляемый средствами вооруженной борьбы, группа итальянских авторов определила термином «вооруженный экзистенциализм». Организатор РАФ, бывший юрист Хорст Малер, заявил, будучи в тюрьме: «РАФ не представляла никого, кроме самой себя. Среди тех, кто симпатизировал ей, она порождала тот же феномен «антиполитики», а многих вела к преступности, наркомании и самоубийству. Презрению к жизни других, так же как и к своей собственной. Те, кто сегодня разыскивается по обвинению в терроризме, имеют одно кредо: жизнь лишена смысла, единственно положительный смысл, который заключен в ней,— это убить с в и н ь ю».

Но это лишь одна сторона террористического демонизма, один вариант развития питавшей его мистики бунта и преступления. Есть и другой, и сейчас, в свете тех тенденций, которые наблюдаются в Италии, его можно, пожалуй, считать доминирующим.

В замечательном романе кубинского писателя Алехо Карпентьера «Погоня», опыте философских размышлений автора о проблемах индивидуального террора, его безымянный герой отражает в своей трагической судьбе поэтапную эволюцию «времен Трибунала»: «И со ступеньки на ступеньку, направляемый все более решительной рукой, он постепенно дошел до бюрократии террора. Былая одержимость, клятва мстить предателям, слова «Hoc erat in votis» [26], мысленно произносимые над трупами приговоренных,— все превратилось в работу, сулящую быстрое обогащение и высоких покровителей».

«Убийство стало для нас ремеслом,— заявил в своих показаниях самый известный из «раскаявшихся», бывший глава туринской «колонны» Патрицио Печи.— Это звучит ужасно, но это так». Обыденность, р у т и н н о с т ь насилия — вот что сразу бросается в глаза как отличительная особенность итальянского терроризма. «Один убитый — каждые двадцать дней, один раненый — каждые пять, одно покушение — ежедневно. Такова статистика этого времени смерти и крови, последних пяти лет свинца в столице»,— писала «Унита», комментируя досье, составленное коммунистами Рима. Что сталось с «романтикой бунта», когда уже само количество совершаемых акций, эта индустрия террора, потребовало не экзальтации фанатичных одиночек, а организованных и строго регламентированных действий? Когда как неизбежное следствие этого в мире террористов появилось и все больше стало углубляться расслоение на «руководителей», посылающих свои распоряжения из-за письменного стола и находящихся в каких-то тайных отношениях с миром «большой политики», и рядовых,— пушечное мясо терроризма, дело которого — эти распоряжения выполнять?

Между тем романтизация бунта и насилия у истоков итальянского терроризма была не менее сильна, нежели в истории РАФ, и тема «очарования вооруженной борьбы и подпольности» не раз звучала в заявлениях самих террори-

[26] Здесь: «Такова была клятва» (*лат.*).

стов. О том, сколь элементарным было зачастую это «очарование», хорошо сказал бывший рафовец Михаэль Бауман («Бомми»): «Когда у тебя за поясом пистолет, ты с самого начала ощущаешь превосходство. Последний слабак чувствует себя сильнее, чем Мухаммед Али. А все, что от вас требуется,— это спустить курок. Любой идиот может это сделать. Но здесь есть соблазн, которому многие поддаются». И те, кто поддавался этому соблазну, выражались иначе. «Ты оставляешь мать, идешь стрелять, но делаешь это, чтобы жить, чтобы жизнь имела смысл. Тем самым ты даешь материальное воплощение своему отказу» — так было сформулировано кредо насилия одной из террористок [27].

Вместе с тем интонации этого культа насилия были в Италии существенно иными, свободными от «шопенгауэровской сумрачности», отличавшей РАФ. Доминирующим эмоционально-психологическим фоном было очень традиционное для южнороманских стран отождествление «мужественности» и «оружия», в Италии к тому же исторически укорененное в устойчивом стереотипе неповиновения государству. «Унита» писала в этой связи: «Речь идет о старинном зле, корни которого нелегко вскрыть в меандрах веками раздробленной страны, общества «без государства». Наследием этой истории явился специфический взгляд на насилие как на орудие лично, без вмешательства юридических институтов государства, творимого правосудия и его роль как «суррогата неполных и потерпевших поражение народных революций». Такой стереотип «народного мстителя», столь ярко представленный в итальянской истории фигурой Фра-Дьяволо, и лег — хотя не без существенных дополнений в духе «новых левых» — в основу того очень условного образа «пролетариата», именем которого террористы вершили свои акции и который претендовали представлять.

Весь этот комплекс идей наиболее выразительное воплощение получил в творчестве очень популярного в 60-е годы политолога, профессора Падуанского университета Антонио («Тони») Негри, ныне находящегося под следствием по обвинению в террористической деятельности. «Пролетариат» для Негри — это некая мистическая, наделенная чарующей, бестиальной силой сущность, юный хищник, который должен пробудиться и явить себя миру во всей своей дикой, стихийной красоте. Это «самовыявление» (так можно перевести ключевое в концепции Негри слово autovalorizzazione.— К. М.) должно обязательно осуществиться через насилие. «Полное жизни животное, свирепое со своими врагами, дикое и свободное в своих страстях,— такой мне хочется видеть коммунистическую диктатуру».

Свое видение пробуждающегося хищника Негри иллюстрирует строками Рембо (поэта, вообще очень любимого террористами), посвященными мятежному Парижу:

> Париж! Закружившийся в яростной пляске,
> Сраженный ударами сотен ножей,
> Хранящий во взоре весеннюю ласку.
> Прозрачных и светлых звериных очей [28].

Насилие, полагает Негри, ценно само по себе как выражение этой дикой и свободной силы и не нуждается в оправданиях. Для того же, кто присоединяется к нему, здесь открывается источник особо интенсивных и — как это было и для западногерманских террористов — эротически окрашенных ощущений: «Всякий раз, когда я надеваю passamontagna (шлем альпинистов и горнолыжников, используемый террористами.— К. М.), я ощущаю животное тепло пролетарского сообщества. Возможный риск меня не тревожит, напротив, я ощущаю лихорадочное возбуждение, как если бы я ожидал встречи с любовницей. Боль противника меня не смущает: пролетарское правосудие обладает собственной творческой силой и собственной доказательностью...» [29].

Вся эта патетика, отзывающаяся одновременно Ницше и иезуитом-террористом Нафтой из романа Т. Манна «Волшебная гора», рисовала образ пролетариата как орудия кровавого террора, как «тарана», призванного сокрушить твердыню буржуазного общества. Но что думал об этом сам пролетариат? Сейчас представляется бесспорным, что он самым решительным образом отверг ту роль, которую стремилась навязать ему идеология терроризма, что он не пожелал стать олицетворением духа бунта и тотального разрушения.

Опыт итальянского левацкого терроризма в этом отношении можно считать уникальным. В отличие от своих немецких единомышленников, в полном соответствии с основными догматами «новых левых», третировавших рабочий класс как «заевшийся» и «обуржуазившийся» и не искавших никаких контактов с ним [30], «красные бригады» предприняли беспрецедентную по масштабам и упорству попытку закрепиться в среде кадрового пролетариата, на крупнейших предприятиях промышленного «треугольника» Милан — Турин — Генуя. Эта попытка потерпела поражение, и оно было красноречиво признано прежде всего самими террористами. Так, Патрицио Печи на процессе по «делу Моро» говорил о роли, сыгранной в исторической эволюции «красных бригад» и в его собственной судьбе тем «нет», которое сказали рабочие нашей вооруженной

[27] Имеется в виду «Великий отказ» — лозунг и символ веры бунта 60-х годов.

[28] Перевод автора статьи.

[29] Следствие по делу руководителей «Организованной автономии», виднейшим из которых и был Негри, показало, что именно Негри — и только Негри — освобождался от участия в практических акциях «в силу своей роли ведущего теоретика». «Риск» для него лично, стало быть, был не столь уж велик, что не умаляет идеологической значимости всего пассажа, но делает особенно непривлекательной провокаторскую роль Негри, толкающего на этот путь других.

[30] «Мы полностью отождествили себя с третьим миром и были равнодушны к немецким рабочим»,— заявил позже Хорст Магер.

борьбе, «нет», которое недвусмысленно превращало нас во врагов тех, кого мы на теоретическом уровне пытались представлять. Именно ощущением такого провала было продиктовано одно из самых громких убийств, совершенных террористами,— убийство рабочего судоверфи «Италкантьери» Гвидо Россы. По словам самих террористов, он был убит «как олицетворение непроницаемости рабочего класса для их влияния», и это убийство было отмечено вообще-то нехарактерным для «бригадистов» стилем личной ненависти.

Сам Негри в написанном им недавно, уже в тюрьме, меморандуме «Do you remember revolution?» («Помнишь ли ты революцию?») констатировал, что созданный им образ «остался чужд рабочему движению».

С огромной силой этот разрыв между террористами и трудящимися массами обнаружился в 1978 году, в дни похищения и убийства Альдо Моро. Национальная реакция на акцию террористов была исключительной по своим масштабам и по своему единодушию. В продолжение не одной недели люди непрерывной вереницей несли цветы к месту, где было обнаружено тело убитого, и к месту, где он был похищен. Уличные манифестации протеста против террористов и солидарности с правительством, по словам итальянского коммуниста Адальберто Минуччи, сравнимы только с манифестациями 1945 года. И наконец, всеобщая забастовка, на многих предприятиях начавшаяся стихийно, была свидетельством того решительного осуждения, которое рабочие вынесли терроризму.

Кровь, пролитая террористами, писала недавно «Стампа», пролилась на алтарь «пролетарской» борьбы, «которую пролетариат никогда не разделял и всегда осуждал». Но по мере того как углублялась социальная изоляция терроризма («пропасть», по словам «раскаявшегося» Марко Барбоне), в нем все более явно обозначался процесс, который начинался уже в Германии, но, в силу быстрой гибели основного ядра РАФ, мало отразился в их биографиях, составляющих основу героической легенды. Это — процесс его бюрократизации, превращения романтического «приключения» в тягостную рутину, это — становление железной дисциплины и полная утрата индивидуальной свободы, той самой свободы, во имя которой начинался бунт.

Такие элементы уже присутствовали, однако, в немецком терроризме, и первым предал их гласности Михаэль Бауман, как и вообще он первым приподнял ту завесу тайны, которая скрывала от общества частную жизнь террористов. Как сообщил Бауман, личная воля члена группы полностью подавляется: от него требуется беспрекословное повиновение приказам сверху. Рядовые члены группы могут обсуждать технические аспекты предстоящей операции: расстановку людей, выбор оружия, марку автомобилей и т. д., но цель операции обсуждению не подлежит, тем более ее глобальный стратегический замысел. Вступающего в группу предупреждают, что выйти из нее он уже не сможет: обратный путь ведет только на кладбище. Предатели уничтожаются, и убийство в июне 1974 года двадцатидвухлетнего Ульриха Шмюкера, заставившее много говорить о Нечаеве и о «Бесах» Достоевского, было лишь первой «акцией» такого рода.

Поскольку террористы, организованные в узкие группы, вынуждены проводить вместе много времени, почти не соприкасаясь с внешним миром, возникает ситуация крайнего нервного напряжения и отчуждения друг от друга. Люди перестают разговаривать между собой о чем-либо, не относящемся к «делу». Изучается, чистится, смазывается, разбирается и собирается оружие, штудируются военные учебники; обмен мнениями происходит только при обсуждении технической стороны операций. Порою, по словам Баумана, напряжение становится «просто невыносимым», и ссоры вспыхивают по любому, самому ничтожному поводу, например, однажды — о том, куда пойти завтракать. В другой раз заспорившие между собой Баадер и фон Раух уже схватились за револьверы, и только стук и звон брошенной Бауманом на пол бутылки разрядил атмосферу. Сложные отношения складывались между теми, кто исповедовал «коллективную любовь» (у первого поколения РАФ — почти обязательный догмат, в отличие от итальянцев, где этот элемент полностью отсутствовал), и теми, кто был против. Взаимное раздражение доходило до ненависти, и членов группы удерживала вместе только внешняя опасность, необратимость избранного пути. Таким образом, порочный круг замыкался.

Жизнь в подполье, вспоминал другой «отступник», Ганс-Иоахим Клейн,— это «ад». Почти все время тратится на обеспечение собственной безопасности. «Это безумие... Чем больше этим занимаешься, тем больше вязнешь в дерьме».

Все эти элементы в укрупненном виде предстали в итальянском терроризме, где, как уже говорилось, сама численность подпольных кадров, их жестко милитаризованная организация, сложная сеть баз, явок, квартир, снабжения, внешних контактов быстро вели к превращению «террористической вселенной» в карикатурного двойника государства, с уродливо гипертрофированными «карательными» и «надзирательными» функциями. При этом, как обнаружилось, наблюдалась даже какая-то особая страсть к мелочной документации и бюрократической фиксации деталей.

Бюрократизировался, отлившись в зловещий ритуал, и сам процесс террористического судопроизводства, впервые описанный судьей Марио Сосси. Представшее перед ним судилище более всего напоминало инквизиционный трибунал: жуткие фигуры в черных капюшонах, «ураганные» допросы, не дающие подсудимому собраться с мыслями, мелочная казуистика, ритуальные формулы,

наконец,— презумпция виновности, то есть постулат, согласно которому само наличие обвинения уже является доказательством вины. На террористических процессах подсудимые лишены права на защиту. Во всех деталях этой судебной процедуры и в приемах обращения с приговоренными (что достигло кульминации в «деле Моро») явно сказывалось, что прогрессирующая изоляция мира террористов от всего остального мира, быстрое расширение потенциального круга их жертв, их «врагов» вели ко все большей дегуманизации, при которой эти «враги» вообще перестают восприниматься как люди.

Уже сама брань, которой щедро уснащен язык террористов, все эти «свиньи», «канальи», «собаки», щедро раздаваемые налево и направо, очень выразительно свидетельствуют об их специфическом мироощущении неких праведников в толпе «поганых», об остром чувстве окружающей их «скверны». Эта резкая обособленность от всего остального мира иной раз отзывается чем-то янычарским. Террорист ощущает себя холодной сталью, у которой одно назначение — резать. «Поверить в вооруженную борьбу — значит приобрести способность противостоять всяким ловушкам чувства. Я никогда и ни к кому не испытываю ненависти. Выстрелить для меня то же, что для хирурга воспользоваться скальпелем, иначе нельзя победить болезнь». В полном соответствии с таким складом чувств находится то, что сами слова «убийство», «смерть» начинают исчезать из лексикона террористов, заменяясь технической терминологией: «ликвидация» (термин, которым, как известно, пользовались нацисты), «это дело» и т. д. Из показаний Марко Барбоне: «Наша дегуманизация прогрессировала, и, например, карабинеры из Новары, которых следовало уничтожить, были только «объектом», а не человеческими существами». Эмилия Либера, рассказывая об убийстве Моро, называла его только «это дело». «Это дело» стало выполняться профессиональными «киллерами» — убийцами, что не должно было оставлять места ни для каких эмоций. Не должно было оставлять, но оставляло, и для многих «раскаявшихся» толчком к этому было именно осознание реальности смерти — и ценности жизни. Роберто Сандало, киллер из «Первой линии»: «Когда я увидел этого человека, который мне ровным счетом ничего не сделал... Перед тем как выстрелить, я попросил у него прощения. На следующий день я пошел в полицию». Марко Барбоне: «Дни, последовавшие за убийством, совершенно истерзали меня. Я не осмеливался прикоснуться к оружию, я физически ощущал ужас того, что мы совершили. У меня было чувство полного краха, я не осмеливался глядеть моим близким в лицо. И тогда я решил сотрудничать с правосудием. Я хотел освободиться от этой тяжести».

«Историей человеческого и политического убожества» назвал Барбоне историю терроризма, который, превращая людей в «символы» и «знаки», присвоил себе право убивать. Эта тенденция отождествлять человека и выполняемую им в «системе» функцию, столь сильная в среде «новых левых» [31], была в полной мере унаследована и развита террористами. Ульрика Майнхоф в своем нашумевшем интервью журналу «Шпигель» сформулировала это так: «Мы утверждаем, что человек в униформе — свинья, то есть не человеческое существо, и мы можем покончить с ним. Большая ошибка — вообще говорить с этими людьми, а вот стрелять вполне допустимо».

Человек в униформе... В своих воспоминаниях Вера Фигнер рассказывает об одном эпизоде, относящемся уже ко времени ее пребывания в Шлиссельбурге. Один из заключенных, доведенный до истерики мелочной придирчивостью надзирателя, плюнул ему в лицо. «Поступок Мартынова возмущал меня: каков бы ни был смотритель, он был человек, и оскорбление, нанесенное ему, я считала недопустимым против кого бы то ни было». Но именно «человек в униформе» стал мишенью одной из самых последних и самых циничных по своей бессмысленной жестокости террористических акций.

Джермана Стефанини, о «ликвидации» которой сообщали террористы, дабы подчеркнуть, что «борьба продолжается»,— пятидесятисемилетняя работница в тюрьме Ребиббиа, в обязанности которой входило поливать зелень и цветы в саду и разбирать (не цензуровать!) почту. Страдая тяжелой формой ревматизма, она почти всю жизнь прожила на иждивении отца, инвалида войны и водопроводчика по профессии. После его смерти нужда вынудила Джерману, какое-то время почти голодавшую («иногда я обедала у тетки, иногда у кузины...»), искать посильную для себя работу. Совершенно чуждая политике, она приняла предложенное ей более чем скромное место, не подозревая, что надетая ею «униформа» в чьих-то глазах превращает ее во врага, подлежащего уничтожению. Какое безумие могло побудить увидеть в этой женщине, обойденной и судьбой и обществом, «символ репрессивного государства»? Когда читаешь опубликованную журналом «Эспрессо» магнитофонную запись допроса Стефанини, изъятую у ее убийц, вскоре арестованных, почти физически ощущаешь чудовищность смешения всех понятий в их психологии. Перед ними существо поистине обездоленное, поистине беспо-

[31] В романе Р. Мерля «За стеклом» служитель Фейяр рассказывал: «Легавый, — говорит мне какой-то сопляк. — Фашист. — И раз по башке ножкой от скамейки... А еще говорят, что защищают интересы пролетариата. Попробуй поспорь с ними, одну брань и услышишь. Я как-то говорю им: как же вы, защитники народа, нас, служителей, избиваете? Знаешь, что они мне ответили? Вы, говорят, предали собственный класс! Вы на службе у буржуазии!.. Как будто любому пролетарию, чтобы заработать себе на хлеб, не приходится идти на службу к буржуазии! Разве на заводе по-другому?»

мощное, которое даже не в состоянии понять, чего от него хотят, и не располагает никакими решительно сведениями. Перед ними, если угодно, действительно человек из того разряда «отверженных», именем которых когда-то клялись террористы. И этот человек, только потому, что ради куска хлеба ему пришлось надеть «униформу», оказывается виновным более даже, нежели тот, кому счет в банке позволяет не идти «на службу к государству». Обвинение почти мистическое, как обвинение в сговоре с дьяволом, и абсолютно не поддающееся опровержению. Судьи неумолимы в своей «праведной» инквизиторской жестокости.

«Стефанини. Я рассказала вам всю мою жизнь, неужели вы отнимете ее у меня? Я ничего больше не знаю. (Плачет.)

Голос. Перестань реветь! Нам на это наплевать! Перестань реветь, заткнись, тебе говорят. (Выстрел.)»[32]

Быстрое расширение круга жертв терроризма, обилие случайных или совсем незначительных фигур среди них (перечень их бесконечен: от охраны Моро до банковских служащих, просто прохожих, посетителей кафе и т. д.) — все это имел в виду режиссер Марио Миссироли, автор телевизионной постановки «Преступления и наказания». Этот роман сейчас стал очень актуален в Италии, заметил Миссироли, хотя обычно в связи с современным терроризмом чаще всего вспоминают «Бесов». Раскольников, продолжал режиссер, «поставил себя выше общепринятой морали и во имя идеологии, которую мы назвали бы безумной, убивает старуху-процентщицу, символ социального зла для него. Но вместе с ней он убивает и ее сестру, смиренную и безвинную. Здесь есть тревожное сходство между тем, что было вчера, и нашим сегодняшним днем...»

Рассказы самих террористов об их душевном состоянии после «акций» — убедительное свидетельство тому, что не исчерпала себя не только тема «преступления», но и тема «наказания». Однако это наказание не все пережили в форме невозможности жить и дышать «после этого», как говорил Барбоне. Явилась и другая, быть может, еще более страшная его разновидность — духовное умирание «заживо», постигающее убийцу. Эмоциональное оскудение, как бы душевное «иссыхание», столь резко контрастирующее с экзальтацией первого периода,— одно из самых сильных впечатлений, вынесенных наблюдателями террористических процессов. «Наша жизнь,— показывал Барбоне,— становилась все более отмеченной печатью полного человеческого убожества. Дегуманизацией, которая низводила нас на уровень прямо-таки скотский, и это особенно сильно обнаружилось, когда в тюрьмах начались убийства по малейшему подозрению в отступничестве».

Чудовищные примеры такого рода (как, например, попытка пяти террористок задушить свою подругу красным шарфом) изобилуют, и этой примитивизации, какой-то прямо-таки рептильности на душевном уровне, соответствует прогрессирующее перерождение терроризма в бизнес насилия на уровне социальном. Провал ставки на рабочий класс, социальная изоляция, потребности «самофинансирования» — все это стимулировало быстро идущий процесс «мафизации» терроризма, превращения его в специфический «бизнес смерти». Тенденция эта обозначилась довольно быстро, и английские журналисты Добсон и Пейн писали в конце 70-х годов: «В наши дни терроризм стал большим бизнесом... Террористические организации действуют как мультинациональные компании и делают легитимные вклады в акционерные общества... 70-е годы — эра «жирных» террористов, купцов от насилия, лично не участвующих в вооруженной борьбе» [33]. Уже само по себе это проникновение мафистской терминологии в мир террористов достаточно выразительно: «жирные», «Grassi» — традиционное обозначение мафистских боссов, к которым сходятся многочисленные нити, но которых многие рядовые члены банд никогда не видели в лицо.

Такая же тайна окутывает «жирных» от терроризма — владельцев комфортабельных вилл и роскошных автомобилей. «Жирные» избегают авансцены, порою неизвестны ни их имена, ни их биографии. Неясно даже, принадлежат ли они к миру терроризма или какими-то загадочными путями властвуют над ним извне. Ясно только, что связи терроризма с миром закулисных, «теневых» структур власти мощно разрослись, и, например, Валерио Моруччи полагает, что терроризм в его нынешнем виде — не более чем орудие в руках этих могущественных и хорошо законспирированных сил.

Другое ответвление этого же процесса представляет усиливающееся сближение террористов и каморры. Закамуфлированная на какое-то время риторикой «пролетарской революции» апология уголовного преступления снова выступает на первый план — теперь, однако, не в романтических одеяниях, взятых напрокат у шиллеровских «Разбойников», а на уровне деловом и прагматическом. Складывается впечатление, что каморра взяла под свою защиту остатки «бригадистов», отступившие в Неаполь, но вместе с тем поставила их на службу собственным целям. «Террористам еще предстоит урегулировать отношения с каморристскими боссами,— писала «Унита».— Они ищут и находят новых союзников». «Налицо два явления, которые могут стать макроскопическими,— заявил Сандро Морелли, секретарь рим-

[32] «Бессмысленная месть, чудовищное преступление...» — писала «Унита». Как это часто бывает, непреклонная жестокость убийц вовсе не сочеталась с безмерной смелостью; по словам полиции, в момент ареста они были перепуганы «почти до шока».

[33] По некоторым данным, 430 похищений, осуществленных итальянскими террористами за 10 лет (1972—1982), принесли им доход в 200 млн. долларов.

от яранги до школьного здания, приходилось перешагивать через тысячелетия». Он рассказывает об истоках сегодняшнего расцвета культур этих народов — итоге претворения в жизнь ленинской национальной политики; об отличительных признаках новых книг северян, направленных против всех видов загрязнения среды — не только в лесу, в тундре, в поле, в море, в реке, в озере, но также и в духовном климате общества, личности, во внутреннем ее мире. «Долг современного писателя — способствовать развитию самобытных литератур народов, какими бы малыми они ни казались на первый взгляд, ибо и малые звезды украшают небо!»

Столица Заира — в тридцати километрах от Браззавиля, за двадцать минут туда можно добраться по реке. А по телефону поговорить из Браззавиля с Заиром возможно только через Париж.

Об этом рассказывает с трибуны конголезский поэт Леопольдо Мамонсоно-Пинди. Он приобщает собравшихся к нелегким проблемам своей страны, своего континента, где еще весьма ощутима зависимость от произвола колониалистов. Проблем этих много — политических, языковых, культурных,— фиксирует их даже приведенный оратором «мини-факт», с которого мы начали рассказ о его выступлении.

Завершая его, оратор из Конго предлагает создать в рамках Ассоциации секцию перевода произведений афро-азиатской литературы.

Литературовед и критик Юрий Суровцев избрал для своего выступления тему «О культурно-социологической основе взаимосвязей национальных литератур». Трактовал он ее, исходя из общественного контекста, в котором она предстает сегодня.

Не «вестернизация», не техника, не индустрия сами по себе угрожают сегодняшнему миру, но именно капитализм, империализм, неоколониализм, стремление нивелировать великое богатство человеческого рода — многообразие его культур. Таков главный тезис его речи, обращенной ко всему комплексу проблем, обсуждаемых на Конференции. Особое внимание он уделил анализу характерных явлений в развитии советской многонациональной литературы. В самой конференции Ю. Суровцев видит новую форму стимулирования международных литературных связей — форму, подсказанную жизнью современного сложного и тревожного мира. «Афро-азиатское писательское движение — важный, разумно организованный поток, течение в современном литературном мире. И мы, писатели советской страны, будем искренне рады, если что-то из опыта наших литературных взаимосвязей окажется полезным для этого в мировом масштабе осуществляемого благородного движения». Этими словами заключил свою речь Ю. Суровцев.

Звучат голоса писателей Нигерии, Ирака, Монголии, Узбекской Советской Республики. Заметное место в обсуждении заняли проблемы детской литературы — многие речи были почти полностью им посвящены.

Тему драматургии и театра затронул в своей речи известный драматург Афанасий Салынский: «Что преподнесет человечеству современный театр? Одарит ли надеждой на будущее или вселит в душу отчаяние, позовет ли на защиту мира, всего живого на земле? Вот о чем сегодня стоит задуматься». Он говорит о невиданной войне за человеческие души, бушующей в современном мире, о тенденциях воспевания грубой силы, жестокости, смакования всего того, что способствует нравственному опустошению людей, готовит их к тому, чтобы они легче становились жертвами социального насилия. Такого рода «искусство» растлителей душ, которому в Советской стране уже многие десятилетия назад поставили заслон, имеет еще приверженцев в среде реакционных буржуазных литераторов, философов и практиков театра, говорит оратор.

Передо мной одно из приложений к материалам Культурной комиссии — текст выступления народного писателя Каракалпакии Туленбергена Каипбергенова, которое не удалось заслушать и потому в завершение своего беглого обозрения работы этой комиссии позволю себе привести его целиком:

«Мы живем в такое время, когда мир, как никогда, нуждается в писательском слове в защиту мира, прогресса, свободы народов. В народе говорят: «Слово лечит — слово калечит». Орудием писателя всегда было слово, объектом изображения — правда, только правда жизни. Лишь тот, кто говорит правду, достоин памяти поколений.

Еще классик каракалпакской литературы бессмертный Бердах сказал: «Мое слово сначала должно понравиться мне, потом моему дому, затем моему соседу, после — моему народу, тогда оно будет нравиться всем...»

Когда-то на древнем Востоке распространителями добрых мыслей были странствующие поэты — шаиры; из аула в аул, из края в край, из страны в страну они несли национальные песни, свои газели. Они говорили на разных языках, но мечтали об одном и том же — о торжестве разума и справедливости, о единении людей доброй воли. Ассоциация писателей Азии и Африки является в какой-то мере воплощением их мечтаний, продолжением их идей. Ведь сегодня в этом зале собрались лучшие представители культуры многих стран, собрались, сознавая свою ответственность перед человечеством и историей. Потому что творчество писателя — волнующее послание грядущим временам и поколениям. Литература — это мост, соединяющий континенты, река, в которую вливаются культуры разных народов планеты.

Никакие летописи, документы, хроники не могут заменить художественного слова. Навои и Низами, Данте и Шекспир, Гёте, Лев Толстой, Пушкин и Бердах оставили нам великую память, описав психологию и нравы своего времени. Они не только были воспитаны своей эпохой, но и сами являлись воспитателями своего времени и грядущего.

Рассказывают, что грозный Хорезм-шах при жизни жестоко преследовал поэтов за их вольные стихи, но завещал похоронить его тело у скромной могилы знаменитого Паллевана Махмуда с надеждой, что по дороге к праху поэта хоть кто-нибудь споткнется и о могилу хана.

Живет также легенда о том, как в трудный час древняя Спарта обратилась за военной помощью к своим извечным соперникам — афинянам. И последние в насмешку прислали хромого воина. Плохой солдат оказался хорошим поэтом. Благодаря его вдохновляющим, страстным гимнам спартанцы одержали победу над врагом. Талантливое слово поэта оказалось грозным оружием.

Эти предания говорят о том, как высоко ценилось во все времена и у всех народов художественное слово. Судьбы времени, судьбы эпохи зависят от людей. Но люди по-разному понимают свою роль в жизни. Есть такие, что считают себя вправе огнем и мечом навязывать человечеству свою волю. Угрожая всеобщим уничтожением, атомной катастрофой, они пытаются диктовать народам разных стран и континентов, как им следует жить. А народы мира давно уже хотят жить в мире, в соответствии со своими идеалами добра и справедливости.

Писатель, поэт, если он подлинный поэт,— всегда выразитель души народной и, следовательно, выразитель его идеалов. Вот почему сегодня писатели — в первых рядах борцов за мир, за национальный прогресс и свободу народов.

Писатель, если он настоящий, не может стоять в стороне от болей мира, от страданий людей. Рождается уже второе поколение палестинцев, чьи матери под вой и гул израильских «фантомов», под канонаду орудий с клеймом «Сделано в США» поют на чужбине колыбельные о прекрасной родине. Дети Южной Африки с молоком матери впитывают ненависть к угнетателям. И этот печальный список можно продолжить. Гневом и болью набатно звучит над планетой пламенное слово Алекса Ла Гумы, Фаиза Ахмада Фаиза, Абдаррахмана аль-Хамиси, Муина Бсису, Зульфии и многих других.

Ассоциация писателей стран Азии и Африки — это не только объединение коллег по перу — это содружество пламенных борцов за мир и справедливость. Я здесь представляю небольшой народ, который издревле живет между двумя великими реками. История каракалпаков, как и история многих других народов, полна драматических событий, связанных с борьбой за свою независимость, за свое право существовать на земле.

Основной темой каракалпакского фольклора была свобода, борьба против завоевателей. Из уст в уста передавали каракалпаки тысячестрочные сказания в стихах, в которых воспевалась любовь к Отчизне. Сегодня на многих языках мира читают дошедший до нас из глубин веков гениальный эпос «Кырк кыз» — «Сорок девушек», прославляющий героизм женщин-патриоток, защитивших свободу и независимость от иноземцев.

Древняя история каракалпаков напоминала скитания изгнанника, бредущего по бездорожью неизвестно куда, это был и ратный путь воина, густо окропившего ненасытный песок своей кровью, это и биография дехканина, который в поте лица пишет ее дедовской сохой. Словно тени, блуждали каракалпаки во тьме веков на задворках мирового прогресса. Великий Октябрь дал нам возможность встать на могучий фундамент мировой культуры. Мой народ и другие малочисленные нации Советского Союза обрели свою национальную письменность лишь после 1917 года, и первые рассказы, повести, романы увидели свет в тридцатые годы нашего столетия. А сегодня имена Расула Гамзатова, Чингиза Айтматова и многих других представителей молодых советских литератур известны миру.

У современной прогрессивной литературы не существует границ. Основополагающие принципы движения писателей стран Азии и Африки, заложенные четверть века назад в столице солнечного Узбекистана — идеи гуманизма, добра и справедливости, свободы и равенства,— являются надежнейшим фундаментом нашего содружества. Эти общечеловеческие, вечные ценности получают ныне все большую поддержку всего прогрессивного человечества. Потому что в них выражены самые заветные чаяния всех народов мира и самое человечное из человеческих стремлений — жить в мире. В связи с этим я хочу вспомнить знаменательные слова из обращения Первой ташкентской конференции писателей стран Азии и Африки к писателям мира:

«Мы, писатели,— совесть народов. На нас лежит ответственность за судьбу не только наших современников, но и будущих поколений...»

Об этом должен помнить каждый честный писатель...

Слово — другим континентам

Не пора ли, однако, привести речи гостей, прибывших на конференцию с других континентов?

Писатель-коммунист из США Филлип Боноски выступает на конференции от имени «другой Америки» — не Америки газетных магнатов, Белого дома, не Америки международного валютного фонда или игорных притонов Лас-Вегаса — нет, от имени Америки, не желающей проливать потоки крови, не желающей иметь нейтронную бомбу, отказывающейся принимать политику тех, кто посылает карателей в Никарагуа, Сальвадор и Гватемалу, как посылали их во Вьетнам. Америки Марка Твена, Америки, мечтающей о том, чтобы Чили обрело свободу, отказывающейся убивать кампучийцев, палестинцев, ливанцев, Америки протестующей, ведущей борьбу за мир.

«Хотя я приехал не из Азии или Африки, но я думаю, что здесь и мое место,— говорит он.— Ведь столько моих соотечественников связано с этим континентом самим происхождением!»

Филлип Боноски рассказывает о том, как трудно ему было попасть в Ташкент — в дни злокозненных провокационных антисоветских акций администрации Рейгана до-

В июне 1975 года агентство Франс-пресс передало сообщение из Чили: в городе Чильян, на юге страны, уничтожена (замазана варом) роспись Сикейроса «Смерть захватчику!». Саморазоблачительный акт пиночетовских варваров еще раз подтвердил правоту слов мексиканского монументалиста об открыто идеологической, «ангажированной» направленности его искусства.

Сикейрос всегда считал сверхзадачей живописи превращение ее в средство мобилизации гражданского сознания масс. Поэтому он так горячо ратовал за монументализм — искусство, которое невозможно запереть в частной коллекции или превратить в предмет благоговейного созерцания, поместив в музей. Не отрицая бесспорной ценности шедевров прошлого, он мечтал о живописи, которая могла бы активно вмешиваться в жизнь, его идеалом было искусство, которое отвоевывает себе место в каждодневном быту, «затягивает» человека и ведет его от эстетического переживания к серьезным раздумьям о сложнейших проблемах современности.

Подобным стремлением объясняются многочисленные художественные новации Сикейроса. Приведенный в публикации отрывок о работе над росписью в г. Чильяне помогает понять их функциональное значение. Художник, не терпевший самодовлеющих формалистических «изысков», раскрывает здесь смысл странных для непривычного взгляда деформаций натуры и композиционных особенностей его муралей [1].

Помещенные на обложке репродукции, разумеется, могут дать лишь самое общее представление о монументальной живописи Давида Альфаро Сикейроса. Но и эти фрагменты свидетельствуют о дерзком мастерстве и неукротимом гражданском темпераменте замечательного художника и бескомпромиссного борца за права трудового народа.

Настоящая публикация — дань памяти великого мексиканского монументалиста, чье искусство продолжает жить и сражаться.

Е. А. КОЗЛОВА,
искусствовед

ВВЕДЕНИЕ, написанное Анхеликой Ареналь де Сикейрос

Я много лет уговаривала Давида написать книгу воспоминаний. На мой взгляд, вся его жизнь — борьба и подвиг художника-творца; в каком-то смысле ее можно считать образцом человеческой жизни. Такой жизни, которая воодушевляет, окрыляет, вдохновляет. Но он был слишком увлечен текущими делами — настенной живописью, политической борьбой, разного рода начинаниями — и всегда отвечал мне, что современность куда важнее для него, чем прошлое.

Однако в беседах с друзьями и товарищами Давид любил припоминать эпизоды своей жизни и борьбы, рассказывал красочно, образно. Порой даже походил на актера — так страстно и увлекательно звучал его рассказ. Конечно, не раз мне доводилось слышать одни и те же истории, но они мне никогда не наскучивали, потому что Давид всегда добавлял какую-нибудь новую деталь или находил новое выражение, украшавшее повествование.

Впрочем, надо признаться: Давид был прав, хотя я тогда не вполне его понимала. Он был так жизнелюбив, так динамичен, так занят работой умственной и физической, что сесть за стол и писать или диктовать свои воспоминания в хронологическом порядке означало для него терять драгоценное время в ущерб повседневным делам большой политической важности, жертвовать рождающимися творческими замыслами. Все же ему удалось урывками писать — появилось несколько очерков, которые вошли в данную книгу и посвящены важным или достойным упоминания событиям его жизни.

Однако настал момент, когда Сикейрос был обречен на бездействие,— я имею в виду его последнее и длительное тюремное заключение с 3 августа 1960 года по 13 июля 1964 года, когда он был обвинен в «нарушении общественного порядка».

Тем не менее, несмотря на тяжелые условия, он не потерял ни минуты. Все, что было сделано в тюрьме — в основном эскизы, наброски,— очень пригодилось ему впоследствии, при создании муралей. К тому же он наконец взялся за мемуары. Во время каждого нашего свидания я твердила ему об этом, пока он наконец не решился. Так появилась на свет эта книга.

Темы его рассказов всегда зависели от того душевного состояния и настроения, с каким он просыпался утром. Бывало, он начинал с рассказа о поездке на Кубу. Потом вдруг переходил к тем годам, когда он был солдатом мексиканской революции, а в заключение описывал одну из стычек с Диего Риверой.

© Angélica Arenal de Siqueiros, 1975.

[1] Мураль (от исп. el muro — стена)— настенная живопись. Муралист — программное движение мексиканских художников-монументалистов XX в., которое возглавляли Д. Альфаро Сикейрос, Д. Ривера, Х. К. Ороско.

Я считаю, что эта книга в основном отражает позицию решительного и мудрого борца, которому довелось действовать в сложную эпоху, богатую, как никакая другая в истории, открытиями — сражениями за счастье человека и обновление в сфере искусства. Со всеми этими характерными чертами современности и связано имя Давида Альфаро Сикейроса.

■

Однажды вечером отец с гордостью принес домой большой мексиканский флаг, завернутый в папиросную бумагу. «Это,— сказал он мне,— шелковое знамя для завтрашней демонстрации, которую мы, Кавалеры Общества Колумба, проведем в честь дона Франсиско Леона де ла Барры [1]. Его нам сшили дамы-католички, но на нем нет изображения нашего национального орла. Найди-ка желтый кадмий, посиди ночь и аккуратно напиши по белому фону слова: «Да здравствует де ла Барра!» Я же очень устал и пойду прилягу.

На следующее утро отец спросил меня: «Ты сделал то, что я велел?» — «Да, папа».— «Тогда идем,— торопливо сказал он.— Мы и так опаздываем». Я взял флаг, снова завернутый в папиросную бумагу, и вместе с братом Хесусом поспешил за отцом к ресторану «Троянский конь». Там уже собралась целая толпа господ в сюртуках и в цилиндрах. От группы отделился дон Мануэль Амор Эскандон, быстро подошел к нам и обратился к отцу: «Ты принес знамя, Пти?» Отец, выталкивая меня вперед, ответил: «Да, вот оно. А лозунг написал мой сын». Дон Мануэль Эскандон взял знамя, сбросил бумажный чехол, и почти одновременно я покачнулся от мощной оплеухи. Я был абсолютно уверен, что так могла лягнуть только лошадь Карла Великого. В действительности же мне дал затрещину отец в тот самый момент, когда он и другие высокочтимые кавалеры Колумба прочитали: «Да здравствуют дела бара!»— ибо хотя я слыл прекрасным художником, но грамотеем был неважным. Таков был мой первый акт саботажа по отношению к контрреволюции.

В начале века еще сохранялась мода пышно расписывать потолки. Однажды и в наш дом пришли художники, чтобы выполнить эту грандиозную, по моему мнению, задачу. На голове маэстро красовалась широкополая шляпа, на шее — пышный галстук-бабочка, хотя и то и другое было изрядно потрепано. Подмастерья, естественно, не уступали ему по виду. Они принесли с собой ящики с красками и прочие атрибуты художников, пишущих маслом,— кисти, шпатели, линейки. Никогда ранее в моей жизни не происходило столь волнующего события. С жадным нетерпением ожидал я их прихода, а потом, чтобы постоянно быть подле них, сам малевал с утра до вечера, благо отца не было в Мексике. Художники начали свою работу с того, что расстелили и натянули холст на рамы, скрепленные деревянными гвоздями. Я, как обезьяна, повторял все их действия с удивительной точностью: принес палки, вбил в них гвозди, натянул холст, разогрел столярный клей и смешал с испанскими белилами. Моя загрунтованная материя, как и их плафоны [1], должна была высохнуть в течение суток.

Так все и было, но затем начались чудеса. Маэстро в огромной шляпе и пышном галстуке взобрался на козлы, уселся на них и с мастерством, которое меня просто ошеломило, стал рисовать гирлянды роз, а затем — маленькие фигурки по углам. Мое желание копировать его действия угасало с каждой минутой. Ничто не могло оторвать меня от созерцания этого волшебства. Маэстро разукрасил комнаты моей сестры и брата Хесуса, затем превзошел самого себя в комнате отца и достиг полнейшего апофеоза в гостиной.

Приземистый, уродливый и чудовищно грязный, заляпанный красками человек стал моим кумиром. Я начал подражать ему даже в походке, что было весьма трудно, так как мой кумир хромал на одну ногу: он ее не очень явно, но все же заметно волочил. Я, конечно, узнал, где находится лавка, в которой они покупали кисти, краски, клей, испанские белила, деревянные гвозди и все остальное. Я узнал также, какие из красок, продававшихся в лавке, были стойкими, а какие, несмотря на яркость, быстро выгорали.

Когда маэстро и его помощники собирались уходить, получив последнюю порцию условленных денег, не слишком охотно врученных им нашей домоправительницей доньей Хуанитой, я испытал чувство жестокого одиночества. Тем не менее художники передали мне часть своих знаний, и с этим багажом можно было дерзнуть приняться за свою первую картину.

Напрасно, повторяя движения и жесты маэстро, пытался я воспроизвести почти каллиграфические завитки нескончаемого плюща и уж тем более роскошные розы, сделанные легкими шлепками кисти. А о фигурах с глазами, губами и всем прочим и говорить нечего. Я даже усомнился в том, что бог предназначил для меня эту стезю, поскольку руки меня совсем не слушались. Но я был упрям и потому снова взялся за дело. Но на этот раз при помощи не кого-нибудь, а самого Рафаэля Санти. Фармацевт из ближайшей аптеки направил меня на путь истинный, подарив цветную литографию «Мадонны в кресле» великого итальянского мастера. Полагаю, что аптекарь — главный участник этой истории — был человек образованный, потому как я услышал от него такое назидание: «Сначала изучи больших мастеров, а затем, падая и поднимаясь, сумеешь твердо встать на собственные ноги». Приняв к сведению сей рецепт — ведь его как-никак дал аптекарь,— я взялся за дело. И стал писать, не прибегая к тому, что, как я узнал позже, называется работой по сетке, а копируя прямо «на глазок». Кстати сказать, отец потом с

[1] Франсиско Леон де ла Барра — временный глава правительства Мексики (1911).

[1] В данном случае живопись выполнялась на холстах, которые прикреплялись к потолку.

большой гордостью рассказывал всем о моей сноровке. «Сын увеличил картину без всяких фокусов»,— повторял он при каждом удобном случае.

Так появилось мое первое живописное творение, написанное маслом, величиной что-то около метра в длину и семидесяти сантиметров в ширину. Владелица картины вставила его, понятное дело, во флорентийскую раму, которая сама по себе впечатляет предостаточно.

После завершения «Мадонны» Рафаэля — Сикейроса необходимо было переходить к следующему этапу творчества. Уже без помощников маэстро, который создал столь прекрасные произведения искусства на потолках нашего дома и которого я не забывал ни на минуту, мне предстояло самостоятельно отправиться в лавку за красками и другим необходимым материалом. Должен заметить, что к тому времени я сам представлял собой миниатюрную копию маэстро-художника. Я отрастил волосы, а поскольку они были такими черными и густыми, что голова стала похожа на большой шар, мои школьные товарищи прозвали меня Пирули[1]. Широкополая шляпа появилась на свет в результате соответствующей реставрации старой шляпы отца, а откуда взялся галстук-бабочка, я уже не помню. Естественно, моя внешность доставила немало веселых минут лавочнику, который отпускал по моему адресу массу всяких шуток. И вот однажды произошло второе событие, которое стало для меня чем-то вроде знамения, хотя и причинило жестокое страдание.

Я выслушивал очередные издевки лавочника, когда открылась дверь и в лавку вошел художник — высокий, в большой чистой шляпе, в вельветовом костюме, этой любимой одежде представителей парижской богемы. Да, не музыкант, не поэт, не драматург, а именно художник, так как густым и звучным голосом он потребовал кисти и краски. Я, едва доходивший до пояса этому великану-гению, смотрел на него оцепенев и разинув рот. Мои глаза не упускали из виду ни одного из его движений. В то время я еще верил в бога и подумал, что господь посылает мне моего второго маэстро.

Но как подступиться к нему, как заговорить? Раза три-четыре он, очевидно почувствовав на себе мой сверлящий взгляд, обернулся в мою сторону. Однако не только ни о чем не спросил, не только не сказал мне ни слова, а я уверен, счел меня чем-то вроде букашки-таракашки. Лавочник, мой лавочник, снабдил его всем, что он просил, и, в частности, набором кистей из «верблюжьего волоса», о существовании каковых я и не подозревал. Затем художник быстро повернулся и вышел. Я метнулся за ним, но жестокий мучитель из лавки, громко хохоча, схватил меня за плечи. Я вырывался, как зверь, попавший в ловушку, но ловкий мерзавец не отпускал меня ровно столько времени, сколько потребовалось, чтобы этот едва обретенный ангел-хранитель навсегда исчез из моей жизни. Я еще много раз возвращался к лавке. Рыскал по окрестностям. Выискивал разные предлоги, чтобы разузнать о нем в аптеке, где мне явился Рафаэль Санти, и в других ближайших лавках, но этот маэстро, мой второй учитель, испарился, и я больше никогда и ничего о нем не слышал.

Прошло несколько лет, и лишь в ту пору, когда я учился во франко-английском колледже братьев маристов[1], меня заметили на уроках рисования, и в конце концов я стал лучшим учеником в школе по этому предмету.

Помню, наступил день вручения наград. Для этого торжественного акта дирекция нашей школы сняла небольшой театр в Колонии Санта-Мария, рядом с парком. Были отпечатаны роскошные пригласительные билеты. Все тогдашние газеты, особенно «Импарсиаль», многословно освещали это событие. Излишне говорить, что мне должна была достаться первая премия по рисованию. Никакие силы человеческие, никакие интриги ни французского, ни мексиканского происхождения не были способны воспрепятствовать ее получению. В то время моим учителем рисования во франко-английском колледже был молодой человек, одетый, как настоящий уважающий себя художник и казавшийся мне очень похожим на моего потерянного ангела-хранителя из лавки... И потому я приложил максимум усилий, чтобы отец купил мне черный костюм с длинными брюками, точно такой, как у школьного учителя, а также галстук, очень строгий галстук, и шляпу, достойную художника.

Уже началось вручение наград, но я не входил в зал, ожидая когда в дверь высунется моя сестра и скажет: «Твоя очередь». Наконец наступил долгожданный момент, сестра крикнула мне сдавленным от волнения голосом: «Входи!» — и я важно вступил в зал, однако тут же был встречен громкими возгласами собравшихся: «Глядите-ка, вот вырядился! Точь-в-точь наш учитель рисования!!!» Я шествовал по залу, сопровождаемый общим хохотом, ибо действительно был точной копией, хотя более чем наполовину уменьшенной, учителя рисования. Думаю, именно с того момента я сделался невосприимчив к насмешкам своих врагов: спокойно и даже вызывающе поднялся я тогда на сцену, широко раскланялся и принял награду — большую книгу в красной обложке с золотым обрезом («Историю всех святых») на французском языке.

Как и когда возникло наше новое художническое движение? Оно началось с забастовки студентов класса живописи, скульптуры и графики Академии Сан-Карлос (ныне Национальная школа изящных искусств). Эта забастовка — против педагогической рутины и по политическим мотивам — состоялась в 1911 году, когда мексиканская революция набирала силы. Начало мексиканской революции положили бурные народные демонстрации и вооруженные выступления в 1910 году. Их цель состояла в том, чтобы свергнуть генерала Порфирио Диаса,

[1] Длинные витые леденцы из жженого сахара.

[1] Католические монахи ордена девы Марии.

который на протяжении тридцати лет был диктатором в стране, и добиться новых легальных реформ. Забастовка длилась почти 6 месяцев и на полпути вылилась во всеобщую студенческую забастовку революционного характера. Мы, застрельщики забастовки, подверглись в школе нападению конной полиции, многие из нас были арестованы. Это произошло после того, как мы забросали тухлыми яйцами директора школы, архитектора Риваса Меркадо. Наш арест вызвал бурные проявления национальной солидарности с выступлениями студентов. Кстати, самыми «вкусными» из всех этих проявлений солидарности были шоколадные торты и пироги, которые передавали арестованным. Мы — Хосе де Хесус Ибарра (лидер забастовки), Расьель Кабильдо (наш поэт), Мигель Фернандес, Фидеас Элисондо, Романо Гильемин, Мигель Анхель Перес, Хесус Ньето, братья Лабрадор, Игнасио Асунсоло, Боенеррес Моралес, Хосе Эскобедо, Матео Боланьос, Рамон Альба, Кабальеро Лопес, Фернандес Урбина и многие другие, не менее активные, имен которых уже не помню, и я (самый младший в группе) — наслаждались этим первым, «гастрономическим» выражением народной поддержки. Нашу деятельность поддерживали морально и материально такие представители интеллигенции, как доктор Сесар Маргайн и писатель Хосе Таблада. Помогала нам не только интеллигенция, но и, например, Бенансио, испанец, владелец кабачка, что слева от Школы; Самуэль, китаец, владелец ближайшего кафе; Бельясетин, оружейный мастер.

Выйдя на свободу, мы организовали выставки картин и скульптур в общественных парках города. Проводили митинги в народных кварталах и выступали на ярмарках. Газета «Паис», бывшая в то время органом крайне правого крыла католической партии, заявила, что наши выступления — это самая настоящая «революционная деятельность, замаскированная под борьбу за изменение учебных программ», и что «бунтовщиков следует рассматривать как врагов общества и государства». Газета, впрочем, тут же писала, что речь идет «о сопливых мальчишках, которые должны быть примерно наказаны своими отцами».

Так началась наша политическая деятельность, и одновременно — хотя мы сами этого еще не понимали — начался наш путь к революционному политическому искусству. Мы выступали без предварительной теоретической подготовки, просто вышли на улицы, навстречу народу.

Когда победил кандидат Революции на пост президента республики дон Франсиско И. Мадеро, пришла и наша победа, если иметь в виду удовлетворение наших требований изменить старые методы преподавания.

Своими политическими сражениями мы добились материальных льгот, пересмотра методов преподавания и приобрели определенный опыт для разработки новой эстетической доктрины. Таким образом, выступление, положившее начало нашей деятельности, укрепило нашу веру в политику как орудие борьбы. Мы делали первые робкие шаги в новой жизни, которая являлась антитезой прежнего бытия, его отрицанием, началом его агонии. Наше движение стало первым в Мексике шагом по пути социальной революции в области культуры; первым проявлением того социального запала, который постоянно воспламеняет Мексику на протяжении последних трех десятилетий ее истории. От этого движения, как от главного ствола, ответвляются все последующие события современной интеллектуальной жизни Мексики. Наша победа, кроме всего прочего, объясняет, почему мое поколение деятелей изобразительного искусства Мексики впоследствии столь активно включилось в политическую жизнь страны. Действительно, все мы, художники и скульпторы, которые участвовали в забастовке 1911 года, и те, кто поддержал это наше движение в различных штатах республики, особенно в штате Халиско, заняли видные места в органах национального представительства и в руководстве рабочим и крестьянским движением. Это действительно примечательное явление в современной мировой истории.

«Дон Диего», как мы называли его тогда в Мексике, уже был самым известным мексиканским художником. В течение горячих лет мексиканской революции он жил и напряженно работал в Париже. Был знаком с беспокойными ищущими творцами новой французской живописи, был другом Пикассо, Брака, всех больших мастеров нового направления. Его творчество и сам он были на виду, хотя и не выдвигались на первый план.

Диего Ривера знал и понимал французский импрессионизм. Он по достоинству оценил Сезанна и сумел использовать гениальные концепции этого мастера, касающиеся формы в пространстве. Он хорошо разбирался в новой, так называемой авангардистской литературе, процветавшей в ту пору. Из современных конструктивистских теорий Ривера извлек кое-что полезное и удачно применял новшества, отмеченные чертами его яркой индивидуальности, для обогащения латиноамериканского искусства.

Ривера в Европе знакомил меня с последними образцами западного искусства. В течение двух лет я не расставался с ним, с уважением выслушивал его суждения и наблюдал за быстрой эволюцией творчества. Я понял, какая огромная пропасть разделяет его работы пяти-шестилетней давности, сделанные в Испании,— то есть те работы, которые он посылал в Академию изящных искусств Мексики, будучи государственным стипендиатом,— от его творений на этом, новом этапе жизни. Я считаю, что общение с Риверой, независимо от той личной пользы, какую оно могло принести мне или ему, стало важным фактором развития нашего движения в целом. И не потому, что Ривера — это Ривера, а я — это я. Дело в том, что в ходе нашего общения как бы сливались два течения — европейское, которое тогда было весьма продуктивным, и мексиканское, инстинктивно искавшее новые методы в изобразительном искусстве.

Диего Ривера отражал здравые, свежие веяния в европейском искусстве, где восстанавливались в правах известные ценности, преданные забвению в течение нескольких веков господства академизма.

Я же был олицетворением вдохновенного

порыва тогдашней мексиканской художественной молодежи, которая воодушевлялась пока лишь самыми смутными представлениями о будущем «великом» искусстве.

Ривера через меня, своего рода делегата молодых мексиканских художников в Париже, дарил нашему зарождавшемуся движению все то, что он смог почерпнуть из вековечной сокровищницы искусства живописи, и делился открытиями, на которые так щедро было тогда новое европейское искусство.

Я рассказал ему о наших стремлениях, о стремлениях молодых мексиканцев вернуться к былым великим свершениям искусства, развить и упрочить современное международное движение социального искусства, искусства для всего народа, искусства великого и телом и душой, как мы тогда вдохновенно выражались.

Во время долгих бесед я рассказывал ему о наиболее значительных достижениях нашей забастовки 1911 года, о первой школе живописи на открытом воздухе — школе Санта-Анита; о первом периоде подпольной политической работы. Я живописал ему полицейские преследования, наши скитания по разным штатам страны, перипетии нашей жизни, жизни людей, преследуемых за политическую деятельность. Я повествовал о наших военных путях-дорогах, о том, как изумлялся при виде архитектурных сооружений индейцев и чудес сельской архитектуры колониального периода. Я делился с Риверой впечатлениями от странствий по Мексике, об индейских племенах, о труде крестьян и рабочих, о деревянных акведуках горных индейцев, о созидательном гении народа. Я излагал перипетии наших сражений, уснащая рассказы бесконечными подробностями, и таким образом разворачивал перед ним всю панораму нашей политической деятельности, весь процесс гражданского становления. Я как бы превращал его в косвенного участника нашей жизни и борьбы. Так постепенно я завоевывал Риверу для нашего дела, которое едва начинало развертываться.

Позже я получил возможность выразить свои теоретические позиции в манифесте, написанном мною в Барселоне в 1921 году и публикованном в журнале «Вида Американа», который я основал в каталонской столице. По сути манифест представлял собой синтез наших совместных с Риверой идей, результат обобщения взглядов на тогдашний европейский конструктивизм и плодотворный бурный примитивизм.

Цитирование некоторых отрывков может дать представление о том, что я хочу сказать:

«Понимание удивительной человеческой глубины «туземного искусства» и народного творчества в целом направило на ясный и правильный путь изобразительное искусство, свернувшее четыре века назад на темную тропу ошибок. Так давайте же сблизимся с древними жителями наших долин, с индейскими художниками и скульпторами (майя, ацтеками, инками и другими). Наша природно-климатическая близость поможет нам проникнуться живительным духом их произведений, в которых живет сама природа, и это может послужить нам отправной точкой. Воспримем же их способность к обобщению, ни в коем случае не впадая в достойные сожаления археологические реконструкции («индеанизм», «примитивизм», «американизм»), которые в моде среди нас и ведут лишь к стилизации прошлого».

Такова словесная материализация тех раздумий, которым молодые мексиканские художники предавались во время четырех суровых лет военной службы. Таков наш мексиканизм, наш американизм, «возврат к природе нашей земли» и «культурным источникам нашей земли», если применять выражения, употреблявшиеся на конгрессе в Гуадалахаре [1] в 1919 году.

«Мы отвергаем теории, основанные на относительности «национального искусства». Будем же универсальны, и наше природное естество, расовое и местное, неизбежно проявится в творчестве».

Вот они — универсалистские концепции конгресса в Гуадалахаре, которые систематически будут выявляться в истории нашего движения. Но были и оттолоски европейского влияния.

«Следует создавать объемы в пространстве. Изображаем ли мы статическую или динамическую реальность, будем же прежде всего строителями, замесим любовь к прекрасной природе на приверженности строгой истине».

Таковы мысли, навеянные мексиканскими исканиями и почерпнутые из новых теорий современного искусства Парижа. Такова исходная совокупность элементов нашего эстетического мышления. В нашем манифесте, хотя он и написан не совсем ясным языком, а изложение порой непоследовательно, нет ни капли конформизма и содержатся интересные начатки положений, превосходившие оригинальностью тогдашние модные европейские доктрины.

Наши устремления к «осовремениванию» искусства давали знать о себе. Пусть они были еще непоследовательны, но уже оставляли определенное впечатление.

«Давайте вернемся к древности с ее созидательной основой, с ее великой простотой, но не будем обращаться к архаическим «мотивам», которые могут быть восприняты в качестве экзотических; давайте жить жизнью нашей чудесной динамичной эпохи. Давайте любить современную технику, которая создает нам поразительные условия для художественного творчества... Прежде всего мы должны иметь твердое убеждение в том, что искусство будущего должно, несмотря на естественные и временные периоды упадка, подниматься все выше и выше!

В других документах точно отражались тогдашние взгляды на монументальную живопись как на предпочтительную форму социального искусства для народа. Я имею в виду пространное письмо Диего Риверы, направленное им мне из Парижа в Барселону. Это письмо явилось ответом на мое послание, где я пламенно отстаивал необходимость возврата к настенной живописи и поносил живопись станковую. В своем письме Диего Ривера торжественно провозглашает следующее: «Действительно, возврат к настенной живописи должен стать самым высоким нашим предназначением.

[1] Конгресс художников — участников мексиканской революции.

Станковое искусство принадлежит индивидууму, монументальная живопись — всему народу».

Наши идеи, выходя за рамки голых абстракций, мало-помалу стали материализоваться и обретать отчетливость. В Гуадалахаре мы уже стали со всей определенностью говорить о своей политической задаче — поставить наше художественное творчество на службу народу в его социальной борьбе. Позже в Париже наше мышление, обогащенное бо́льшей творческой зрелостью и опытом, обратилось к решению проблем формы, без чего любая художественная программа представляет собой сплошную абстракцию. Теория у нас стремилась не отставать от практики и жизненного опыта.

Наш манифест был воспринят в Мексике с огромным энтузиазмом. Регулярные выступления, разъясняющие теорию, изложенную в манифесте, подливали масла в огонь. То, что мы писали, с математической точностью отражало общее мнение. Мы с Риверой лишь облекали в слова то, что витало в воздухе. Ороско же, почти не выступая и не написав ни строчки, своим творчеством поддерживал наши устремления. Его работы того периода производили на мексиканскую молодежь такое же впечатление, как наши с Риверой высказывания. Я считаю, что выставка Хосе Клементе Ороско в книжном магазине «Библос» отлично проиллюстрировала суть наших речей, стала отправным пунктом нашего движения с формально-художественной стороны. Могучие, динамичные работы Хосе Клементе Ороско заставили нас ощутить что-то новое, горькое и терпкое на вкус, и мы выплюнули ко всем чертям те сладкие конфетки, которые привыкли посасывать за долгие годы лакировки действительности, типичной для Мексики периода порфиристской диктатуры.

В этот период перестройки нашего эстетического мышления всем нам, и тем, кто находился в Европе, и другим — в Мексике, посчастливилось найти своего Медичи, который оказал материальную помощь нашему делу, и этого Медичи звали Хосе Васконселос[1]. Человек широких интересов, острого ума и скорый на решения, Васконселос, будучи тогда министром народного просвещения, поддерживал наши начинания. Вступив на этот пост, он заявил: «У вас есть теперь стены, чтобы взяться за живопись...» При таких обстоятельствах произошло возвращение Риверы в Мексику в 1922 году и мое возвращение — спустя шесть месяцев, поскольку из-за своего должностного положения[2] я не мог тут же вернуться на родину.

Движение художников-монументалистов — результат наших многолетних напряженных поисков — вот-вот должно было родиться. Наша программа — естественное отражение нашего политического созревания — переставала быть чисто теоретической, теперь она должна была претвориться в дела, в ощутимую реальность.

Каковы были первые события, ознаменовавшие начало нашего муралистского движения? Я обнаружил, что художники затеяли шумную перепалку по поводу того, кто первым начал работать в области настенной живописи. Роберто Монтенегро и Хавьер Герреро говорили, что, когда Диего возвратился из Европы в Мексику, они уже расписывали внутренние стены старинного собора святых Петра и Павла. Доктор Атль со своей стороны утверждал, что, когда «пузан Ривера вернулся в Мексику, он, Атль, уже успел набросать, стереть и еще дважды написать первую часть росписи в этом же соборе». Диего Ривера не старался опровергнуть истинность такой хронологии. Его ответ был категоричен: начало «настенной живописи в собственном смысле этого слова» положил он, Ривера, в Амфитеатре Национальной подготовительной школы, так как «разрисовывать куски стен в соборе Петра и Павла наподобие подносов, как это делали Роберто Монтенегро и Хавьер Герреро, не значит заниматься монументальной живописью». Что же касается попыток доктора Атля, можно сказать лишь так: «Творение, достойное кисти мумии Микеланджело, да еще с пятисотлетним опозданием». Роберто Монтенегро, кроме всего прочего, всюду твердил, что именно он первым произнес сакраментальную фразу: «В Мексике мексиканская, и только мексиканская, живопись». Карлос Мерида, уроженец Гватемалы, но долгое время живший и работавший в Мексике, утверждал, и думаю, с полным правом, что он первый отыскал в доиспанских традициях Америки элементы, необходимые для создания подлинного мексиканского и вообще латиноамериканского искусства. Действительно, он раньше других и раньше Риверы начал писать темперой небольшие картины на индейские темы и в индейской манере. Естественно, что теоретические установки их всех были такими же или еще более несовершенными, такими же или еще более наивными, как и их творчество. В среде тогдашних поэтов царила, должен признать, большая теоретическая неясность в определении мексиканизма как характерной черты нашего зарождавшегося движения. Они видели решение главной проблемы в том, что эстетическая революция в Мексике началась с революции формы, ибо в противном случае, утверждали они, «художники так и останутся подражателями Сатурнино Эррана, Франсиско де ла Торре и других, которые уже давно рисуют индейцев и жанровые сцены».

Чтобы отчетливее представить себе наши достижения того времени, надо прежде всего, подумал я, упорядочить хронологию. Нет сомнения, что Роберто Монтенегро и Хавьер Герреро правы, утверждая, что они начали рисовать на стенах раньше, чем Ривера. Но и Ривера прав, утверждая, что их работа фактически была не настенной живописью как таковой, а росписью «подносов», хотя в данном случае выглядела как один гигантский поднос — общей площадью более 1500 кубических метров. То, что непосредственно написал Роберто Монтенегро, являло собой интерпретацию в стиле «ар нуво»[1]

[1] Хосе Васконселос (1881—1959) — мексиканский историк, писатель, философ-метафизик, государственный деятель.

[2] Сикейрос находился в Париже в качестве военного атташе при мексиканском посольстве.

[1] Стилевое направление в европейском и американском искусстве конца XIX — начала XX в. Для него характерны тяготение к символике и изысканный декоративизм.

народной росписи спинок стульев — обычай, в то время широко распространенный в мексиканской провинции. Хавьер Герреро, помогавший Монтенегро украшать собор святых Петра и Павла, полностью расписал здесь же небольшую часовню, но сделал работу в типично колониальном стиле, хотя мне казалось, что сознательно он к этому не стремился, ибо его художническим кредо были постулаты ортодоксального доиспанского искусства. Но в одном сомнения нет: их профессиональные устремления подогревались новым огнем, пламенем монументализма, страстным желанием вернуться к большим формам, к искусству функциональному, и эта же самая страсть овладела многими молодыми художниками, группировавшимися вокруг них.

Мне оставалось лишь познакомиться с результатом «великой пробы сил», с творением, которое я хотел видеть с того самого момента, как, вернувшись из Европы, вышел из вагона в Веракрусе: что же сумел сделать Диего Ривера? Созданное им, очевидно, должно стать воплощением наших общих идей, сообща «заквашенных» и не раз заново «месившихся» во время наших нескончаемых бурных бесед в Париже. Земля Мексики, люди Мексики, бытовые реалии Мексики, вся история Мексики, прежде всего индейской, во всяком случае Мексики, где все индейское было бы главным: цвет Мексики или, точнее, многоцветие Мексики; собственные устремления Мексики, яростно бунтующей против культурного влияния Европы, хотя и не отвергающей преобразующего «сезанизма», который вернул европейскому искусству его утраченные конструктивные ценности и т. д. и т. п.

В Амфитеатре [1] я встретил тех, кого можно было бы считать членами первой группы Риверы. Ее составили Фермин Ревуэльтас, Рамон Альба де ла Каналь, Эмилио Гарсиа Каберо, Фернандо Леаль, Жан Шарло и в роли помощников — Максимо Пачеко и рыжий Мансана, имени которого я никогда не знал. «Где же Хосе Клементе Ороско?» — был мой первый вопрос. «Ороско собирается писать свои первые фрески в Патио Гранде [2],— сказали мне.— То, что уже сделано, сделано Риверой».

По узкому коридору я обогнул с задней стороны Амфитеатр и вошел в большой зал, показавшийся мне тогда огромным, в зал, украшенный каменным орнаментом в колониальном стиле. Я обернулся и увидел завершенные наброски Риверы, первые наброски настенной живописи в Мексике, его и мои, хотя и выполненные рукой Риверы. И сразу же — страшное разочарование! Разочарование, не замедлившее отразиться на моем лице. Заметив это, Диего, наверное, тогда и произнес свою первую обидную фразу, которая породила наш спор, длившийся вплоть до его смерти... Содержанием его произведения стали символические фигуры театра, музыки, танца, скульптуры, украшенные к тому же нимбами над головами. А что касается формы, то не было и намека на народный мексиканизм, который так нас волновал. Что-то очень далекое от образа Мексики, сотрясаемой революцией, о которой я с такой горячностью рассказывал Ривере в течение многих ночей и дней.

Как страшно по-разному, думалось мне, два различных человека могут интерпретировать одну и ту же идею! Очевидно, беседуя с Риверой на общую тему, мы представляли себе совсем разные вещи — более того, вещи, полностью противоположные и по теме, и по форме, и по цвету, и по стилю, и в конечном итоге, по тому высшему художественному мерилу, которое называется вкус. Диего начал свою работу с вогнутой стены, куда встроен орган, но я поначалу не заметил этой детали. Большие фигуры, изображенные на основной, фронтальной части стены, совсем подавили меня.

Глубоко удрученный, обманутый в своих ожиданиях найти то, что, казалось, должно было соответствовать воплощению в искусстве плодов моего собственного воображения, я отвернулся от Диего и медленно побрел в ту сторону, где находился большой орган. Что же я там увидел! Диего изобразил над органом пуму в сельве и странного орла с множеством крыльев, причем цвет и манера письма разительно отличались от только что виденного мною. Я не удержался и заорал снизу: «Диего, вот это здорово! А остальное — ерунда, абсурд!» И почти выбежал из помещения, успев на ходу услышать, как облегчил свою душу Диего Ривера тихим смачным ругательством. Он и все остальные были шокированы. Я полагаю, что именно после этого начался теоретико-эстетический раскол в группе.

«Может, я найду прибежище у Ороско?»— думалось мне. Моя тесная дружба с Хосе Клементе Ороско, несмотря на разницу в возрасте — он был старше на 13 лет,— зародилась во время забастовки в Академии изящных искусств в 1911 году. Хосе Клементе Ороско был неистовым и изобретательным членом забастовочного комитета, а я — своего рода чемпионом по метанию камней в конную полицию. Он пригласил меня к себе домой, познакомил с семьей, хотя я не помню, чтобы когда-нибудь мы говорили с ним об искусстве. Уже в то время Хосе Клементе был мизантропом, который не любил формулировать теории, а довольствовался простой воркотней. Но свое дело знал... Так что же создал Хосе Клементе Ороско? Может быть, между нами существует определенное сходство в интерпретации наших прежних чисто умозрительных замыслов?

Но меня ждало новое разочарование. Несомненно, как в Мексике, так и во время бесед в Париже с Риверой, мое представление о том, чем должна быть наша живопись, во многом было связано с влиянием картин Ороско и его зарисовок на темы публичных домов, той коллекции крупных акварелей и гуашей, которыми Ороско украшал трактир «Лос Монитос», принадлежавший его брату, и которые он всякий раз заменял новыми, когда я заходил туда за своей обычной порцией хо-

[1] Амфитеатр «Боливар» — один из залов высшего учебного заведения в столице — Национальной подготовительной школы (Препаратории). С росписью галерей внутренних дворов и помещений этого здания связаны первые шаги мексиканского революционного монументализма.

[2] Большой внутренний двор Препаратории.

лодной фасоли по-халискски и стаканом атоле[1]. И что же я вдруг увидел? А то, что Ороско взялся рисовать образ святой девы а-ля Ботичелли, окруженный ангелочками, всеми, как один, белокурыми. Одним словом, полная антитеза Ороско 1911—1916 годов. Почему он сменил своих таких типичных женщин улицы на этих непорочных святых дев? Или он увлекся какой-то религиозной чушью, что, впрочем, трудно допустить, зная закоренелого еретика Ороско. «Нет, нет,— повторял я, в волнении расхаживая перед ним.— Это не то, совсем не то». Правильно говорят, что часто победитель оказывается жертвой. Наш крестовый поход против парижской живописи обернулся поражением: мы полностью оставили врагу поле битвы. Ороско, в былое время всегда готовый ответить ударом на удар, теперь явно сдал позиции. «Я не понимаю тебя, не понимаю!» — кричал он мне. Помню вопрос, который он сделал одним из своих оборонительных аргументов. «А разве плохо, что создавать фрески нас учат именно великие мастера муализма?» — «Нет конечно,— говорил я, вертясь волчком вокруг него,— но речь-то идет сейчас об ином муализме, об ином, совсем ином... О том муализме, который, не забывая уроков лучшего муализма всех времен и народов, мог бы другим способом, новым способом...» — и я кусал себе губы, не находя слов для точного выражения того, что хотел сказать.

У меня нет сомнения, что мои коллеги по муалистским исканиям составили обо мне единодушное мнение как о каком-то заядлом педанте. Именно тогда Диего произнес по моему адресу фразу, которая, как он думал, сразит меня наповал: «Диего пишет, Сикейрос болтает». Естественно, в то время я еще не имел возможности выразить свои идеи кистью, еще не мог четко определить свое понимание монументальности. Но настал и мой черед. В течение долгих недель я воевал с Васконселосом, чтобы заполучить «свою стену». Лиценциат Хосе Васконселос, бывший в то время министром народного просвещения и главным лицом в бюрократическом аппарате, распределявшем заказы художникам, выдвинул лозунг: «Вам — площадь, от вас — быстрота». Он говорил: «Делайте так же или даже хуже, чем вначале, но делайте быстро и по возможности на большей площади».

Но чем дальше шли мы по своему пути, чем решительнее мы опирались на наши традиции, и чем ярче проявлялась национальная самобытность нашего творчества, тем меньше это нравилось Васконселосу. Удивительный парадокс: человек, который материально поддержал нас, инициаторов нового художественного направления, в общем питал отвращение к нашему творчеству, отвращение, переросшее к концу его жизни чуть ли не в ненависть.

Думаю, что работа мне перепала случайно, когда я скорее по наитию, чем по заранее составленному плану заявил Васконселосу: «Еще в Париже вы сказали Диего и мне, ознакомившись с нашими грандиозными замыслами о создании монументальных росписей в Мексике, что если вы станете министром просвещения, то тут же пригласите нас и дадите нам возможность выполнить свои намерения». И еще: «Что касается меня, то мне не нужна такая стеночка, какую вы дали Ривере, поручив ему расписать внутреннюю часть сцены Амфитеатра «Боливар»; не нужна и такая стеночка, какую благоразумно — будь что будет — выбрал себе Хосе Клементе Ороско во дворе Подготовительной школы; и такая, какую предоставили Ревуэльтасу напротив стены Рамона Альба де ла Каналя, не нужен и пятачок, который вы дали Фернандо Леалю напротив пятачка Шарло. Я хочу получить несколько больших площадей и закончу работу в течение месяца».

Смотрю, Васконселос делает удивленное, но довольное лицо, дескать: «Наглец, но молодец!» Вот так я и подписал контракт на роспись целого куба лестницы так называемого Малого колледжа Национальной подготовительной школы, лучшей части всего этого архитектурного комплекса. В моем распоряжении оказались четыре стены, как бы подрезанные колоннами первого лестничного пролета, не говоря уже о потолочном своде и о всем помещении полуподвального этажа с его четырьмя стенами и огромным потолком. В итоге, начав с попытки любым способом заполучить работу, я инстинктивно вступил на путь гораздо более глубокого осмысления муализма, нежели мои товарищи. «Настенная живопись,— смог провозгласить я позднее,— это живопись, предназначенная для цельного архитектурного объекта — изнутри или снаружи его; все остальное — «панноизм» (или декоративизм, так как слово «панно» относится к одной стене). Такое мое определение вызывало массу реплик, причем, естественно, самых колких, со стороны Диего Риверы, а подчас и со стороны Ороско. Оба говорили мне с поистине сокрушительной логикой: «Настенная живопись — это та, что делается на стенах, и точка».

Нам необходимо было покончить с идейным хаосом. Без этого движение художников утратило бы свою значимость. Мы начали, наконец, осознавать слабость своих бессистемных действий и устремлений и решили положить конец неразберихе, тормозившей нашу деятельность.

Ответ на вопрос, что же делать, звучал кратко и конкретно: следовало укрепляться организационно; точнее, нужна была организация, нужна была дисциплина. Мы нуждались в программе — изложении нашего творческого и гражданского кредо. Обратиться к политическому искусству, подчиненному условиям современной эпохи, было непросто.

Мы говорили о необходимости создавать революционное политическое искусство для народа, но сделать это без самого широкого обсуждения проблемы было нельзя. Я повторяю: мы говорили о политической живописи. О живописи, революционной как по содержанию, так и по форме.

[1] Неалкогольный напиток, приготовленный из маиса.

Но наши высказывания на сей счет пока что очень походили на детский лепет.

Наша первая задача состояла в том, чтобы найти организационную форму для совместных действий. Определить основу основ, подать сигнал отправления в долгий путь. И вот родилась идея образовать профессиональный союз наподобие тех, которые охватывают других трудящихся. Предложение получило единодушное одобрение, и было решено встретиться на следующий день в доме товарищей Диего Риверы и Гуадалупе Марин, тогдашней жены Диего.

На учредительном собрании Диего Ривера выступил с утверждением, что мы не можем рассматривать себя в качестве интеллигенции: по его словам, мы — «просто-напросто работники ручного труда». «В крайнем случае,— заявил он,— мы можем считаться квалифицированными рабочими, но не больше. Мы, как рабочие, должны защищать свои личные интересы и интересы профсоюза в целом».

Затем мы обсудили вопрос о том, как должен называться наш профсоюз, и назвали его в конце концов Синдикатом революционных живописцев и граверов Мексики. Чтобы немедленно приступить к работе, было решено создать исполнительный комитет, который тут же и был избран. Меня сделали генеральным секретарем, Риверу — секретарем по внутренним вопросам, Фернандо Леаля — секретарем по внешним связям, Хавьера Герреро — секретарем по финансам.

Хосе Клементе Ороско отказался присутствовать на нашем собрании из-за личной неприязни к Диего Ривере, но согласился войти в профсоюз. Они с Риверой были настоящие антиподы: Ороско всегда отличался крайним индивидуализмом, Ривера же выделялся своей дипломатичностью.

Наша наивность в то время доходила до того, что на втором собрании, состоявшемся в Амфитеатре «Боливар» в Национальной подготовительной школе, мы, по предложению Риверы, решились просить принять наш профсоюз, созданный для экономической борьбы, в Коминтерн, который, как известно, был политической организацией, объединяющей коммунистические партии всего мира. Мы и не знали тогда, что такие организации, как наша, входят в состав международных профсоюзных объединений через представителей своих местных и национальных профсоюзных федераций. Предложение Риверы прошло единогласно, среди общего ликования, и тут же была составлена соответствующая петиция. Я так никогда и не узнал, получен ли ответ на это письмо, но вполне уверен, что в Москве было сказано немало сочувственных дружеских слов в наш адрес...

К счастью, у нас появился наставник. Уроженец Канарских островов, коммунист Гомес Лоренсо проявлял на наших частных собраниях поразительное терпение, разъясняя самые элементарные вещи, касающиеся профсоюзной борьбы. Мы уже давно симпатизировали рабочим, поскольку совместно участвовали в Революции, но ничего не знали об организационных формах их борьбы и, понятно, о научной доктрине пролетариата как класса. Наш идейный наставник взял на себя труд преподать нам, причем в весьма деликатной форме, азбучные истины той культуры, которую мы любили и пропагандировали, толком еще не понимая ее сути. Под руководством Гомеса Лоренсо мы прежде всего обсудили и разработали политическую программу, на что затратили трое суток. Позже мы дополнили ее эстетической программой и положениями о формах личного участия в работе.

Хосе Клементе Ороско оставил обнаженных мадонн эпохи Возрождения, чтобы вернуться к своему традиционно атакующему стилю. И несмотря на то, что в его работах продолжали встречаться либерально-идеологические огрехи, он, несомненно, встал на путь интересных поисков, сближавших его творческие принципы с основными принципами нашего Синдиката. Его ядовитая критика образа жизни капиталистов, буржуазного правосудия и реакционного духовенства стала важнейшей отправной точкой для последующего развития революционно-агитационной, пропагандистской живописи. Его произведения этого периода по своему динамизму, по своей импульсивности, несомненно, можно считать лучшими среди первых образцов муализма. Я имею в виду его панно «Разделяй и властвуй!», «Лжелидер», «Бог богатых», «Вооруженный пролетарий», «Капиталистическая свалка». Просто вдохновляющий прогресс!

Ривера перестал быть пантеистом времен Амфитеатра Национальной подготовительной школы. Он отказался от своих идеалистических потуг, от символов вечности, от всех этих горизонтальных восьмерок, которые ему так нравились. В его росписях появились изображения мексиканских трудящихся в их повседневности, людей, эксплуатируемых феодалами и империалистами. Его героями стали крестьяне, продолжающие сражаться с оружием в руках за землю; пеоны[1] в помещичьих асьендах, все еще находящиеся во власти жестоких надсмотрщиков.

Риверу влечет яркая красочность. Его работы перегружаются фольклорными мотивами. Он не оставляет своих археологических пристрастий, что выражается в пикассовской манере охотно обращаться к «музейной» живописи, использовать элементы стилей традиционных культур. В его работах еще нет страстности, они все еще насыщены мистическими мотивами, но, несомненно, стоят на гораздо более высокой ступени, чем его прежние вещи, и, самое главное, заметно огромное стремление идти вперед, совершенствовать изобразительные формы.

Сам я покончил с абстрактными живописными экспериментами, с космогоническими «эквивалентами». Перестал увлекаться символикой, изображать «начала»—огонь, землю, воздух, воду. И приступил к работе над «Похоронами рабочего», «Революцией, разрывающей оковы», «Свержением идолов» и другими вещами, хотя мои творения оста-

[1] Батраки в помещичьих имениях-асьендах.

вались весьма архаичными. В общем, ценность моих работ определял их этнологический характер, но еще никак не революционный. Их нельзя назвать мистическими в собственном смысле этого слова, но они производят впечатление на зрителей больше своей формой ради формы. Прогресс по сравнению с предыдущими работами все же был очень незначителен. Некоторым образом я могу поздравить себя с тем, что на длительное время оставил живопись. На то время, которое мне потребовалось, чтобы проникнуться динамизмом революционного учения пролетариата.

Как видно из сказанного, одновременно с некоторыми изменениями, касавшимися профессиональных вопросов, мы форсировали нашу общественную деятельность, а вместе с ней необходимое политическое образование. Так мы и шли — имея в виду обе цели — в будущее.

Вскоре мы выпустили первый номер газеты «Мачете». Это был орган Синдиката революционных живописцев, скульпторов и граверов Мексики и потребительского кооператива «Франсиско Хавьер Мина». Все публикации — от политического лозунга до последней статьи — свидетельствовали о нашем ультрарадикальном настрое и прямой оппозиции правительству, которое мы считали не более не менее как капитулянтским.

Наша газета быстро получила признание. И ее влияние не ограничилось национальными рамками, а распространилось на всю Латинскую Америку. Форматом четырехполосная, двуцветная, щедро иллюстрированная, она стала очень популярной в народе. С другой стороны, мы не ограничивались обычными каналами распространения печатной продукции, а расклеивали ее на стенах наподобие плаката. На улицах перед «Мачете» собирались настоящие толпы. Понятно, что наша газета, как в рисунках, так и в острых подписях к ним,— а это в основном определяло стиль издания — затрагивала самые насущные проблемы жизни страны. Никто с большей настойчивостью не ратовал за национализацию нефти. Начиная с 1924 года мы постоянно выступали с этим требованием на страницах «Мачете». Новая конституция была принята уже в 1917 году, но аграрная реформа, провозглашенная этой политической хартией, не проводилась в жизнь. Крестьяне, в свое время получившие оружие, обезоруживались, а это вызывало жестокие столкновения между сельскими тружениками и армией.

Наше политическое развитие, естественно, привело нас — я имею в виду практическую сторону дела — к экспериментам в области «многотиражной графики», хотя мы даже не отдавали себе отчета, что занимаемся именно этим. «Мачете» со временем показала нам, что в эпоху подпольной борьбы «многотиражная графика» даже в большей мере, чем настенная живопись, является искусством для масс, служит лучшим изобразительным средством революционной агитации.

Органом Синдиката стала рисованная газета, хотя мы и не замышляли ее таковой: само собой получилось в силу нашей профессии. «Наши рисунки и гравюры — не иллюстрации к статьям,— говорили мы,— скорее статьи иллюстрируют рисунки». Вот и все теоретическое обоснование нового мероприятия, впрочем, вполне справедливое, если исходить из логики наших намерений.

С формальной стороны наша первая многотиражная графика, понятно, страдала теми же самыми недостатками, что и монументальная живопись. Рисунки, как и настенные росписи, были отмечены мистикой, не имели четкого агитационного содержания.

Однако в любом случае «Мачете» отвечала определенной социальной потребности, и ее распространение соответствовало нуждам революционной политики. Массы приняли нашу газету с энтузиазмом, и вскоре она распространилась по всей стране.

Дверь в моей камере в Генеральной полицейской инспекции[1] неожиданно открылась. На пороге стояли два офицера из канцелярии президента республики. Президентом в то время был дон Паскуаль Ортис Рубио, в насмешку прозванный Нопалито (Нопаль — кактус, который в Испании и в Южной Америке зовут еще «чумбера», сочится липким соком, будто слюни пускает, а потому название его служит в Мексике синонимом человека глуповатого, попросту говоря, дурака). «Сеньор Сикейрос,— сказал мне офицер, старший по званию,— вы отправитесь с нами в канцелярию президента республики. Сеньор генерал Лагос Часаро («Скелет» Лагос Часаро) хочет побеседовать с вами».— «Хорошо,— ответил я,— надеюсь, что после десяти дней пребывания в полной изоляции я наконец смогу узнать, чем объясняется эта драконовская мера? Мне до сих пор неизвестно, в чем меня обвиняют.»

Меня в автомобиле доставили в Национальный дворец. Затем мы прошли в личный кабинет начальника канцелярии президента — генерала Лагоса Часаро. Этот высокопоставленный чиновник принял меня с самым суровым видом, стоя, уперев кулаки в овальный столик. Без всякого предисловия он сразу же приступил к допросу: «Почему вы питаете такую ненависть (цитирую дословно) к президенту республики?». Я, в то время по-детски восторженно переживавший свое первое знакомство с марксистской теорией, вызывающе принял такой же неприступный вид и, саркастически покачивая головой, даже подражая голосу генерала, ответил: «Сеньор президент республики представляется мне, полковник, лишь шестеренкой, и даже не самой главной, в общественной машине, и эта шестеренка должна вращаться в том направлении, которое необходимо для машины. А если она этого не сделает, то останется без зубьев».

Надо сказать, что при недавнем покушении на президента ему выстрелом выбили зубы, но я, разумеется, имел в виду зубья шестерней. Лагос Часаро, который несомненно был осведомлен о моей непричастно-

[1] Первые 10 дней после ареста в мае 1930 года Сикейрос провел в карцере полицейской штаб-квартиры.

сти к этому «зубодробительству», хотя и старался не показывать вида, не смог сдержать улыбки. «К сожалению, он уже лишился зубов». Тут все остальные офицеры и среди них один усатый, стоявший рядом, откровенно расхохотались. Легонько шлепнув меня по плечу, генерал добавил: «Канцелярия президента знает о вашей абсолютной непричастности к покушению и о непричастности вашей партии. Преступник арестован, а зачинщики будут вскоре найдены».

Усатый, которого я не знал, некий Салас-сар, оказавшийся не более не менее как начальником секретной полиции, подчиненной непосредственно президенту республики, попросил меня до выхода из дворца зайти к нему в кабинет. Там он предложил мне сесть, сам уселся рядом и, чуть ли не облизывая мне ухо, зашептал немыслимо сладким голосом: «Друг мой Сикейрос, я всегда питал и питаю к вам огромное уважение, но не могу понять, что заставляет вас жертвовать своим творчеством ради политики. Сеньор президент республики только лишь вчера говорил мне в присутствии других государственных деятелей: «Этот сеньор Сикейрос — великий художник, ветеран революции, он мог бы иметь абсолютно все, что захотел бы». И это точно, друг Сикейрос, вы могли бы иметь все, что взбрело бы вам в голову, если бы отказались от ваших политических идей». Я принял оборонительную позу, которую тогда всегда принимал,— в общем-то несколько театральную — и в свою очередь склонившись к его уху, так же проникновенно шепнул: «Ну что я могу с собой поделать! Это ведь вопрос у-беж-де-ния». Тогда сей высокий полицейский чин, щекоча своими усами мое ухо, прошелестел так, будто выдавал мне какой-то чудодейственный секрет: «Друг мой Сикейрос, это просто вопрос силы воли».

Я подумал про себя: «Хм, как будто уговаривает меня бросить пить или курить».

(Окончание следует)

Советская литература за рубежом

ИТАЛИЯ

Повесть ВАЛЕНТИНА КАТАЕВА «Белеет парус одинокий». Издательство «Рицциоли».
Роман ЮРИЯ РЫТХЭУ «Сон в начале тумана». Издательство «Мурсиа».
Документальный очерк ЮРИЯ ТРИФОНОВА «Отблеск костра». Издательство то же.
Сборник прозаических произведений МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ. Издательство «Риюнити».

ПОЛЬША

«Блокадная книга» АЛЕКСАНДРА АДАМОВИЧА и ДАНИИЛА ГРАНИНА. Издательство «ПИВ».
Роман АНАТОЛИЯ АНАНЬЕВА «Танки идут ромбом». Издательство «Выдавнитство обороны народовой».
Избранная поэзия АЛЕКСАНДРА БЛОКА. Издательство «Выдавнитство литерацки».
Повесть АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА «Крутые горы». Издательство «Наша ксенгарня».

ФРАНЦИЯ

Роман ЧИНГИЗА ГУСЕЙНОВА «Магомед, Мамед, Мамиш». Издательство «Мессидор».

Поэмы ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА. Издательство «Галлимар».

Повесть ЮРИЯ РЫТХЭУ «Когда киты уходят». Издательство «Пюбликасьон ориенталист де Франс».

Повесть АРКАДИЯ и БОРИСА СТРУГАЦКИХ «За миллиард лет до конца света». Издательство «Флёв нуар».

Повесть ЮРИЯ ТЫНЯНОВА «Подпоручик Киже». Издательство «Галлимар».

ФРГ

Повесть ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «Белый пароход». Издательство «Зуркамп».

Книга АРСЕНИЯ ГУЛЫГИ «Иммануил Кант». Издательство «Инзель».

Роман БУЛАТА ОКУДЖАВЫ «Путешествие дилетантов». Издательство «Ровольт».

Повесть ВЛАДИМИРА ТЕНДРЯКОВА «Ночь после выпуска». Издательство «Зуркамп».

Роман ЮРИЯ ТРИФОНОВА «Время и место». Издательство «Бертельсман».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Повесть ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «Джамиля» и рассказы. Издательство «Правда».
Стихотворения и поэмы АННЫ АХМАТОВОЙ. Издательство «Татран».
Роман ЮРИЯ БОНДАРЕВА «Выбор». Издательство «Ческословенски списователь».
Повесть ВЕНИАМИНА КАВЕРИНА «Двухчасовая прогулка». Издательство «Одеон».
Повесть ВЯЧЕСЛАВА КОНДРАТЬЕВА «Сашка». Издательство «Наше войско».
«Избранное» ИЛЬИ СЕЛЬВИНСКОГО. Издательство «Лидове накладетелстви».
Книга КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО «От двух до пяти». Издательство «Младе лета».

Антирубрика

МАРК ТВЕН

РАССКАЗЫ

Перевод с английского ЛЮДМИЛЫ БИНДЕМАН

Политическая экономия

ЗНАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ — ПЕРВООСНОВА УМЕЛОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ. МУДРЕЙШИЕ ЛЮДИ ВСЕХ ВРЕМЕН ПОСВЯЩАЛИ...

Тут мою мысль прервали сообщением, что какой-то субъект ждет меня внизу у двери. Я спустился и спросил, по какому он делу, пытаясь держать в узде свои сногсшибательные идеи по политической экономии, чтоб они, ударившись в бегство, не запутались в упряжи. В душе я желал, чтоб мой гость лежал сейчас где-нибудь на дне морском под затонувшей баржей. Я горел как в лихорадке, он был холоден и невозмутим. Извинившись за беспокойство, посетитель сообщил, что, проходя мимо моего дома, заметил — на крыше нет громоотводов.

— Нет, ну и что? — спросил я.

— Ничего особенного,— отвечал он,— ничего особенного, но, если вы не возражаете, я могу их установить.

Я новичок в хозяйственных делах — всю жизнь скитался по гостиницам да пансионам. Как всякий новичок, я изображаю из себя умудренного опытом домовладельца перед незнакомыми, а потому сказал, как бы между прочим, что и сам давно собирался установить штук восемь громоотводов, но... Незнакомец вздрогнул и внимательно посмотрел мне в глаза. Я сохранял олимпийское спокойствие, решив про себя, что на оплошности меня по выражению лица не поймаешь. Посетитель рассыпался в любезностях — такой-де заказчик ему милей любого другого в городе.

— Договорились,— бросил я и направился к себе, намереваясь целиком отдаться любимому предмету, но посетитель прилип ко мне с вопросами: сколько «точек» надо установить? где именно? какие стержни предпочтительней? Такими вопросами загонишь в тупик любого, кто не знаком с тонкостями домоводства, но я отвечал с таким апломбом, что он и не заподозрил во мне новоиспеченного хозяина. Я распорядился установить восемь точек, разместить их на крыше и использовать стержни самого высокого качества. Специалист по молниям сообщил, что бывают простые стержни по двадцать центов за фут, с медным покрытием — по двадцать пять центов за фут и, наконец, оцинкованная спираль — по тридцать центов за фут. Вот она отведет любую молнию, куда бы та ни метила, и «сделает ее миссию безвредной и апокрифической».

— Неплохо сказано — «апокрифической»,— заметил я,— особенно если вспомнить, из какого гнезда вылетело это словечко. Впрочем, оставим филологию в покое, я предпочитаю оцинкованную спираль.

Тогда он сообщил, что двухсот пятидесяти футов спирали, пожалуй, хватит, но уж делать так делать — у меня будут лучшие громоотводы в городе на зависть и восхищение друзьям и недругам; пусть они все, как один, признают, что отродясь не видели такой «симметричной и гипотетической» выставки громоотводов. На это уйдет футов четыреста, впрочем, он не настаивает на своем и постарается обойтись меньшим количеством.

— Не стесняйтесь в расходах,— подбодрил его я,— пускайте в ход все четыреста, полагайтесь только на свой вкус, а я, с вашего разрешения, вернусь к работе.

Итак, избавившись наконец от назойливого посетителя и направив ход мыслей в общее русло, я продолжал:

...ПОСВЯЩАЛИ ЭТОМУ ПРЕДМЕТУ ВСЕ ВЕЛИЧИЕ СВОЕГО ГЕНИЯ, ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ, ПОЗНАНИЯ. СВЕТОЧИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ, МЕЖДУНАРОДНОГО БРАТСТВА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОРМЫ ВСЕХ ВРЕМЕН, ЦИВИЛИЗАЦИЙ И НАРОДОВ — ОТ ЗОРОАСТРА[1] ДО ГОРАЦИЯ ГРИЛИ...

(Здесь меня снова прервали и попросили спуститься вниз для переговоров со специалистом по молниям.)

Я побежал к двери, обуреваемый грандиозными идеями, они на ходу облекались в грандиозные слова — что ни слово, то целая процессия слогов, застревающая во рту минут на пятнадцать, не меньше. И снова я, раскаленный до бешенства, предстал перед ним — спокойным и невозмутимо-вежливым. Мастер стоял в задумчивой позе Колосса Родосского[2], уперши руки в бока, одна нога на молодом кусте туберозы, другая — на клумбе с маргаритками; прищурив один глаз, он восхищенно разглядывал другим самую большую трубу на крыше моего дома. Дела складываются так удачно, заметил он, что можно только радоваться жизни, и добавил:

— Нет, я вас спрашиваю, видели вы что-нибудь более ахинейно-экспрессивное, чем восемь громоотводов на одной трубе?

Нет, признался я, в моей памяти не сохранилось ничего, способного затмить это зрелище. По мнению мастера, только Ниагара превосходила его задумку красотой природного ландшафта. Он искренне полагал, что мой дом станет бальзамом для скорбного взора, стоит лишь придать некоторую завершенность остальным трубам, иными словами, смягчить буйство coup d'œil[3] ценностью свершения, унять смятение духа, естественно возникающее после coup d'état[4].

Я пожелал узнать, по какой книге он обучался красноречию и нельзя ли одолжить ее на время. Он отвечал с любезной улыбкой, что такой слог из книг не позаимствуешь и лишь близкое знакомство с молниями позволяет, используя подобные обороты речи, выйти сухим из воды.

Тем временем мастер произвел окончательный расчет. Выходило, что штук восемь дополнительных громоотводов в разных местах на крыше дома обеспечат его полную безопасность; на это уйдет еще пятьсот футов материала. Кстати, и на первые восемь расход спирали больше футов на сто — он ошибся при первой прикидке.

— Я очень тороплюсь,— нетерпеливо вставил я,— нельзя ли поскорей закончить расчеты? Меня ждет работа.

— Я МОГ БЫ установить только восемь громоотводов и спокойно удалиться по своим делам,— молвил он в ответ,— некоторые так и поступили бы. Но я сказал себе: хоть он и чужой мне, этот человек, я скорей умру, нежели причиню ему зло. Его дом не защищен от молний, и не сойти мне с этого места, если я не поступлю с этим человеком так же, как хотел бы, чтобы поступили со мной. Я сказал правду. А теперь, незнакомец, я исполнил свой долг, и если своевольная дефлогистонная посланница небес ударит...

— Ну полно, полно,— взмолился я,— поставьте еще восемь точек, добавьте еще пятьсот футов спирали, делайте все что душе угодно, только успокойтесь, не томитесь и выражайте свои мысли яснее, чтоб хоть со словарем можно было понять! А теперь, когда мы, надеюсь, договорились, я снова берусь за дело.

Я просидел не меньше часа, пытаясь поймать ход мысли в тот момент, когда меня прервали в последний раз. Наконец мне это удалось, и я продолжил свои изыскания:

...БИЛИСЬ НАД ПРОБЛЕМАМИ ВЕЛИКОЙ НАУКИ, НАХОДЯ В НЕЙ ДОСТОЙНОГО СОПЕРНИКА, ЧТО ПОСЛЕ КАЖДОГО УДАРА ПОДНИМАЕТСЯ С УЛЫБКОЙ, ПОЛНЫЙ СИЛ. ВЕЛИКИЙ КОНФУЦИЙ ЗАЯВЛЯЛ, ЧТО СКОРЕЙ СТАЛ БЫ ХОРОШИМ СПЕЦИАЛИСТОМ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ, ЧЕМ ШЕФОМ ПОЛИЦИИ. ЦИЦЕРОН ПОЛАГАЛ, ЧТО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ — ВЕЛИЧАЙШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО УМА, И ДАЖЕ НАШ СООТЕЧЕСТВЕННИК ГРИЛИ ВЫРАЗИЛ ХОТЬ И ТУМАННУЮ, НО ВЕСОМУЮ МЫСЛЬ, ЧТО ПОЛИТИЧЕСКАЯ...

(И тут меня снова вызвал специалист по молниям.)

Я сбежал вниз, закипая от раздражения. Он начал с того, что ему легче умереть, чем оторвать меня от любимого занятия, но его наняли в надежде на то, что работа будет выполнена умелой рукой мастера, и она выполнена. Усталость-де побудила его искать столь нужное отдохновение от трудов, и он уж было предался праздности, как вдруг, глянув на крышу, понял, что ошибся в расчетах: разразись гроза, дом, к которому он проявляет личный интерес, будет беззащитен, ибо шестнадцать громоотводов смогут лишь...

— Давайте решим дело миром! — закричал я.— Ставьте сто пятьдесят точек! Ставьте громоотводы на кухню, ставьте десяток на сарай! Два — на корову! Один — на повара! Утыкайте ими весь злосчастный дом, пока он не уподобится зарослям тростника,— оцинкованного, с серебряными наконечниками. Больше жизни! Не стесняйтесь, расходуйте весь материал, все, что есть под рукой. А не хватит громоотводов, беритесь за водоотводы, используйте для отвода глаз все, что удовлетворит вашу мрачную тягу к индустриальному пейзажу и даст передышку моему горящему мозгу и исцеление истерзанной душе!

Моя речь не тронула этого железного человека, и, даже не улыбнувшись в ответ, он хладнокровно закатал рукава и сказал, что пора браться за дело. Все это произошло три часа тому назад. Не знаю, хватит ли у меня присутствия духа вновь взяться за перо и обратиться к благородному предмету политической экономии, но соблазн велик, ибо нет в мировой философии ничего, столь близкого моему уму и сердцу.

---

[1] Греческая форма имени пророка Заратуштры *(здесь и далее прим. перев.)*.

[2] Колоссальная скульптура бога Солнца Гелиоса была символом могущества, богатства и свободы острова Родос.

[3] Быстрый взгляд *(франц.)*.

[4] Государственный переворот *(франц.)*.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ — САМЫЙ ЩЕДРЫЙ ДАР НЕБЕС ЧЕЛОВЕКУ, КОГДА РАСПУЩЕННЫЙ, НО ОДАРЕННЫЙ БАЙРОН ЖИЛ ИЗГНАННИКОМ В ВЕНЕЦИИ, ОН КАК-ТО ЗАМЕТИЛ: ЕСЛИ Б Я МОГ ВЕРНУТЬСЯ И ПРОЖИТЬ ЗАНОВО НЕРАЗУМНО РАСТРАЧЕННЫЕ ГОДЫ, ТО ВСЕ ПЕРИОДЫ ЯСНОГО, НЕ ЗАМУТНЕННОГО СПИРТНЫМ СОЗНАНИЯ ПОСВЯТИЛ БЫ НЕ РИФМОПЛЕТСТВУ, А ЭССЕ НА ТЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ. ЭТУ ТОНКУЮ НАУКУ ЛЮБИЛ И ВАШИНГТОН, А ТАКИЕ ИМЕНА, КАК БЕЙКЕР, ДЖАДСОН И СМИТ, СВЯЗАНЫ С НЕЙ НАВЕКИ. И ДАЖЕ ВЕЛИКИЙ ГОМЕР В ДЕВЯТОЙ ПЕСНИ «ИЛИАДЫ» ГОВОРИТ:

Fiat justitia, ruat coelum,
Post mortem unum, ante bellum,
Hic jacet hoc, ex-parte res,
Politicum e-conomico est [1].

ГРАНДИОЗНОСТЬ ЗАМЫСЛА ДРЕВНЕГО ПОЭТА ВКУПЕ С ПРИСУЩИМ ЕМУ ДАРОМ СЛОВА И ВОЗВЫШЕННОЙ МЕТАФОРИЧНОСТЬЮ ОБРАЗОВ ВЫДЕЛЯЮТ ЭТИ СТРОФЫ, УВЕНЧАННЫЕ СЛАВОЙ...

Нет, умоляю, больше ни слова. Предъявите счет и отныне и во веки веков храните в этом доме глухое, безграничное молчание. Девятьсот долларов? Это ваше последнее слово? Получите чек на эту сумму, его с готовностью оплатит любой респектабельный банк в Америке. А почему это на улице собралась такая толпа? Как, смотрят на громоотводы? Господи, да что они, их раньше не видели? Никогда не видели целый лес громоотводов на одной крыше? Я вас правильно понял? Спущусь вниз и погляжу на это массовое проявление невежества.

ТРИ ДНЯ СПУСТЯ

Вся семья измучена. Целых двадцать четыре часа наш ощетинившийся дом был притчей во языцех для всего города. Театры пустовали: самые изобретательные постановочные эффекты казались людям скучными и банальными по сравнению с моими громоотводами. День и ночь вся улица была запружена зрителями, многие ротозеи приехали из окрестных деревень.

Какое несказанное облегчение мы испытали, когда на второй день началась гроза и молнии стали бить в мой дом! Как говорится, места для публики опустели. Через пять минут на расстоянии полумили от нашего дома не было ни одного ротозея, но зато они облепили окна, крыши и балконы всех высоких домов, стоявших на приличном удалении от нашего. И этим людям было на что посмотреть! Если бы все падающие звезды и фейерверки в честь Четвертого июля за жизнь целого поколения соединились в один сверкающий дождь и пролились одновременно на одну крышу, это было бы заурядное зрелище по сравнению с чудом пиротехники, каким стал мой дом, блиставший в грозовом мраке. Мы подсчитали, что молнии ударили в него семьсот шестьдесят четыре раза за сорок минут, но, зацепившись за верный громоотвод, соскальзывали вниз, не успев удивиться, как их ловко провели. За всю бомбардировку повредило только несколько шиферных плит, и то потому, что в этот миг все соседние громоотводы любезно препровождали молнии вниз. Со времени сотворения мира никто не видел ничего подобного. За целый день и целую ночь ни один из моих домочадцев не решился высунуть в окно голову: молния обрила бы ее наголо, сделав гладкой, как бильярдный шар. И уж поверьте, никто из нас и думать не смел о том, чтобы выйти наружу.

Наконец ужасная осада кончилась, и в тучах, проплывавших над ненасытными громоотводами, не осталось больше электричества. Тогда я вышел из дома, нанял смелых работников, и мы не сомкнули глаз, пока не содрали с крыши техническое вооружение, вселявшее в людей такой ужас. Три громоотвода остались: на крыше дома один, один — на кухне, один на сарае. Как видите, они торчат там и по сей день. И лишь тогда люди отважились снова пройти по нашей улице.

Кстати, за все это страшное время я не брался за эссе по политической экономии. Я и сейчас еще не настолько уравновешен психически, чтоб возобновить эту работу.

К СВЕДЕНИЮ ПУБЛИКИ!

Лицам, желающим приобрести три тысячи двести одиннадцать футов оцинкованных спиралевидных стержней для громоотводов, а также тысячу шестьсот тридцать два грозовых разрядника с серебряными наконечниками — все в удовлетворительном состоянии и даже с учетом большого износа, годное к употреблению в обычную грозу,— обращаться с предложениями к владельцу газеты.

Восстановление аппетита

Название этого заведения — Хохбергхаус. Оно — в Богемии, всего лишь в нескольких часах езды от Вены, и поскольку находится в Австрийской империи, это, разумеется, курорт. Австрийская империя сплошь состоит из курортов и одаривает здоровьем весь мир. Все источники там целебные. Воду разливают в бутылки и рассылают по всему миру, местные жители пьют пиво. Это явное самопожертвование, но чужестранцы, знающие вкус венского пива, придерживаются другого мнения. Особенно хорошо пильзенское, которое подают в маленьком погребке на задворках первого округа, название вылетело у меня из головы, но это место легко отыскать. Вы спрашиваете, как пройти к православной церкви; находите ее и проходите мимо, а в домишке по соседству и расположен погребок. Там не слышно городского шума, там всегда воскресенье. В погребке всего две комнатушки под низкими тяжелыми сводами. И потолки и своды побелены, иначе помещение вполне сошло бы за темницу.

[1] Пусть торжествует правосудие, хотя бы обрушилось небо.
После смерти единственный, прежде отрадный,
Здесь покоится бесплодный предмет,
Это — политическая экономия *(лат.)*.

Обстановка в погребке простая и дешевая, без всяких украшений, и тем не менее это рай земной для приносящих себя в жертву, потому что пиво там подают превосходное — в целом мире нет ничего подобного. В первой комнатке всегда человек двенадцать — пятнадцать завсегдатаев, мужчин и женщин, во второй — с десяток генералов и послов.

Можно прожить в Вене много месяцев и не услышать об этом погребке, но, раз побывав там, неизбежно становишься завсегдатаем. Я помянул погребок просто к случаю, отдавая мимоходом дань благодарности за испытанное блаженство, ибо погребок не имеет ничего общего с темой рассказа. Эта тема — курорты.

Все люди со слабым здоровьем должны избрать Вену постоянным местом жительства и, используя ее как базу, совершать время от времени перелеты на местные курорты. В Мариенбад — избавиться от лишнего веса, в Карлсбад — избавиться от ревматизма, в Кальтенлойтгебен — избавиться от остальных болезней. Все курорты рядом. Заложив бисквит в двенадцатидюймовую пушку, можно из Вены забросить его в Кальтенлойтгебен. Можно сбегать туда в любое время дня, можно съездить туда на феноменально медленном поезде. Не пройдет и часа, как зной и духоту города сменят лесистые холмы, тенистые лесные тропинки, мягкая прохлада и птичьи трели, тишина и спокойствие рая.

К вашим услугам и множество других курортов, куда легко добраться из Вены,— чудесные места. Вена находится в центре прекрасного мира гор, с озерами и лесами меж ними, ни один другой город не может похвастаться столь удачным расположением. Как я уже сказал, вокруг — масса курортов. Один из них — Хохбергхаус. Он одиноко стоит на высоком холме в густом лесу. Внушительных размеров здание называется пансион «Аппетит». Люди, потерявшие аппетит, съезжаются сюда его восстанавливать.

По прибытии меня принял в своем кабинете профессор Хаймбергер. Он спросил:

— Сейчас шесть часов вечера. Когда вы ели в последний раз?

— В полдень.

— Что вы ели?

— Можно смело сказать — ничего.

— А что вам было предложено?

— Обычные блюда.

— Отбивные котлеты, куры, овощи и прочее?

— Да, но прошу вас, не говорите о пище, меня тошнит при одном упоминании о ней.

— Надоело привычное меню?

— До смерти. Мечтаю даже не слышать о нем.

— Вам неприятен вид пищи?

— Более того — меня тошнит от нее.

Доктор задумался, потом достал длинное меню и пробежал его глазами.

— Я полагаю, вам следует питаться... впрочем, выбирайте сами.

Я глянул в меню, и мой желудок взбунтовался. Из всех варварских трапез это была самая отвратительная. В начале меню стояло: «Требуха жесткая, недоваренная, с душком, шпигованная чесноком». Где-то посредине: «Отбивная из молодой кошатины, рубленый шницель из старой кошатины, ростбиф с кровью из кошатины». В конце меню: «Матросские башмаки всмятку с колесной мазью». Между этими блюдами значилось много других, способных вызвать тошноту и у каннибала.

— Доктор,— заявил я,— в таком серьезном случае, как мой, шутки неуместны. Я прибыл к вам восстанавливать аппетит, а не терять его жалкие остатки.

— А я и не шучу,— ответил он невозмутимо,— чего ради мне шутить?

— Но я не могу питаться этой дрянью.

— Почему? — произнес он с восхитительной наивностью, искренней или наигранной.

— Вы еще спрашиваете почему? Да потому, что уже несколько месяцев я в рот ничего не беру, кроме омлета и сладкого крема. А эти ваши невообразимые кушанья...

— О, со временем вы их полюбите,— сказал доктор.— Это отличные блюда, и вы ДОЛЖНЫ включить их в свой рацион. Таковы здешние правила, и они соблюдаются неукоснительно. Я не могу позволить вам отойти от правил.

— Ну что ж,— улыбнулся я,— тогда вам пришлось бы позволить мне отойти в лучший мир. Я уезжаю.

Он взглянул на меня с оскорбленным видом и сказал следующее, придав делу совсем другой оборот:

— Я уверен, что вы не допустите подобной несправедливости по отношению ко мне. Я принял вас с открытой душой, вы не обманете моего доверия. Я зарабатываю на жизнь этим курсом восстановления аппетита. Если вы уедете отсюда с таким же плохим аппетитом, сами понимаете — пойдут разговоры, что вам мой курс не помог, а следовательно, может не помочь и другим. Вы не уедете, вы не причините мне вреда.

Извинившись, я заявил, что остаюсь.

— Вот и хорошо. Я был уверен, что вы не уедете. Это обрекло бы мою семью на голод.

— А разве они не голодают? Неужели они едят эту дьявольскую стряпню?

— Кто? Моя семья? — Глаза доктора округлились от изумления.— Разумеется, нет.

— Ах, нет! А вы сами?

— Конечно нет.

— Понимаю. Это тот самый случай, когда врач не принимает лекарств, которые прописывает другим.

— Но мне они не требуются. Кстати, прошло уже шесть часов с тех пор, как вы ели в последний раз. Ужинать будете сейчас или позже?

— Я не голоден, но можно и сейчас. Хочется поскорей разделаться с этим делом, чтоб не висело над душой. Я привык ужинать в шесть часов. Все авторитеты в науке требуют соблюдения режима. Попробую что-нибудь, хоть предпочел бы легкую порку взамен.

Профессор протянул мне свое диковинное меню.

— Выбирайте сейчас, но, если хотите, можете поужинать и позже.

— О боже, лучше проводите меня в номер. Я позабыл про ваши строгие правила.

— Не спешите с ответом. Есть еще одно правило. Если вы сделаете заказ сейчас, он будет выполнен немедленно, но если будете тянуть время, вам придется обождать, пока мне заблагорассудится его выполнить. Без моего согласия вы не можете заказать ни одного блюда.

— Хорошо, проводите меня в номер. и пусть повар идет спать: никакой спешки нет.

Профессор поднялся со мной на этаж выше и провел меня в очень милый и удобный номер — с гостиной, спальней и ванной. Из окна открывался вид на зеленые долины и холмы, поросшие лесом; мирская суета не нарушала величавого покоя уединенных здешних мест. В гостиной было много полок, сплошь уставленных книгами. Профессор сказал, что оставляет меня одного, и добавил:

— Можете курить и читать сколько вам будет угодно, можете пить воду — сколько вздумается. Как проголодаетесь, позвоните и сделайте заказ, а я решу, следует его выполнять или нет. Ваш случай очень запущенный и тяжелый. Пожалуй, первые четырнадцать блюд слишком изысканны и не принесут вам пользы. Прошу вас проявить сдержанность и не заказывать их.

— Вы призываете меня к сдержанности? Не беспокойтесь. Вы еще сэкономите на мне деньги. Сама идея улучшить аппетит больного человека поживой для стервятников — чистое безумие.

Я произнес эти слова с горечью: меня бесило то, с каким хладнокровием доктор рассуждал о новых орудиях уничтожения. Он, судя по всему, огорчился, но не обиделся. Положив меню на комод у изголовья кровати, доктор сказал:

— Пусть будет под рукой. С более тяжелым случаем я никогда не сталкивался, здесь потребуются сильные средства, а потому прошу вас проявить сдержанность и начать с пятнадцатого номера.

Доктор ушел, и я разделся. Я смертельно устал и хотел спать. Проспав шестнадцать часов кряду, я проснулся в десять часов с ощущением бодрости и прилива сил. Венский кофе! Это было первое, что пришло мне на ум,— недосягаемая роскошь, великолепный кофе из кофейни, по сравнению с которым все, что подают в гостиницах Европы и Америки,— жалкая бурда. Я позвонил и заказал кофе, а к нему венские булочки, чудо кулинарии. Слуга отворил задвижное окошко в двери и сказал — вы догадываетесь, что он сказал. Он отослал меня к меню. Я отпустил слугу за ненадобностью.

Приняв ванну, я оделся и отправился на прогулку — до самой двери. Она была заперта снаружи. Я позвонил. Появившийся слуга объяснил мне, что это еще одно здешнее правило: пациента держат взаперти до первого приема пищи. Я не особенно рвался гулять раньше, но теперь это стало делом принципа. Тот, кого держат под замком, мечтает вырваться на волю. К тому же я обнаружил, что мне нечем заняться. В два часа я прикинул, что минули сутки с тех пор, как я ел в последний раз. Время шло, и я ощутил признаки голода, определяемого превосходной степенью прилагательного. И все же я не был так голоден, чтобы обратиться к меню.

Надо было как-то убить время. Я принялся читать и курить. Я читал и курил час за часом. Все книги как на подбор были о жертвах кораблекрушения, о пленниках пустыни, о заключенных, томящихся в подземельях, о голодающих в осажденных городах. Я читал о всевозможной пакости, которой голодающие пытались притупить муки голода. Первое время эти описания вызывали у меня тошноту, потом они перестали производить такое отталкивающее действие, и еще через какой-то промежуток времени я поймал себя на том, что облизываюсь при упоминании о более или менее приемлемых адских отбросах. Через сорок пять часов голодания я нетерпеливо дернул звонок и заказал второе блюдо, значившееся в меню, какие-то клецки — компост из икры и дегтя.

Мне отказали. Все последующие пятнадцать часов я то и дело подбегал к звонку и заказывал блюда в нисходящем порядке. Отказ следовал за отказом. Но каждый раз я изживал в себе один предрассудок за другим. Я делал несомненные успехи, и, по мере того как неуклонно подбирался к заветному номеру пятнадцатому, мое сердце билось все сильнее и сильнее, а надежды воспаряли все выше и выше. И наконец, проголодав шестьдесят часов, я одержал победу над собой и заказал номер пятнадцатый — «невылупившегося птенца всмятку».

— Шесть дюжин, погорячей и подушистей! — попросил я.

Через пятнадцать минут слуга принес заказ, его сопровождал доктор, радостно потиравший руки.

— Вы пошли на поправку, вы пошли на поправку,— возбужденно повторял он.— Дорогой сэр, мой великолепный курс меня никогда не подводит, никогда! К вам вернулся аппетит. Скажите, что это так, доставьте мне удовольствие!

— Тащите сюда свою падалы! Я могу съесть все, что значится в вашем меню!

— О, как это благородно! Просто великолепно! Я знал, что смогу добиться своего. Моя система не дает осечки! Ну как птенцы?

— Ничего восхитительнее не пробовал, а ведь я вовсе не любитель дичи! Прошу — не мешайте мне, я не могу говорить с набитым ртом.

— Полное излечение,— констатировал доктор.— Никаких сомнений — опасность миновала. Бросьте птенцов, я доверяю вам, можете переходить на бифштексы!

Принесли бифштекс величиной с корзину, а к нему картофель, венские булочки и кофе, и я приступил к трапезе, которая обошлась мне так дорого.

Я ел, и в подливку капали слезы благодарности — благодарности доктору, вложившему мне в голову чуточку здравого смысла, его-то и недоставало мне долгие-долгие годы.

Тридцать лет тому назад доктор Хаймбергер отправился в длительное морское путешествие. На борту корабля было пятнадцать пассажиров. Режим питания определялся строгим распорядком дня: в семь

утра — скверный кофе, в девять — завтрак — та же бурда со сгущенным молоком, отсыревшие булочки и крекеры, соленая рыба; в полдень — ленч, солонина, отсыревшие булочки, крекеры; в пять — обед — гороховый суп-пюре, соленая рыба, тушеная солонина с капустой, свинина с бобами, пудинг; с девяти до одиннадцати — ужин — чай со сгущенным молоком, соленья, маринованные устрицы, свиные ножки, жареная грудинка.

В конце первой недели пассажиры утратили аппетит и едва прикасались к пище. Они являлись к столу, чтобы как-то убить время. К тому же мудрость предков предписывала им питаться регулярно. Пассажирам надоела грубая однообразная стряпня, она не вызывала у них аппетита. Дни напролет они слонялись по кораблю полуголодные, мучимые коликами в желудке, мрачные, неразговорчивые, несчастные. Трое из них страдали устойчивым расстройством пищеварения. За три недели путешествия от них осталась только тень. Больной, прикованный к постели, питался одной рисовой кашей и не выносил даже вида обычных блюд.

И вдруг — кораблекрушение, жизнь в шлюпках. И без того скудные запасы продовольствия истощались. Аппетит у пассажиров улучшался. Когда остался лишь сырокопченый окорок, да и того по две унции на брата, аппетит у всех стал отменным. На пятнадцатый день жизни в шлюпках и страдавший несварением желудка, и больной, и даже самые хрупкие дамы с упоением жевали матросские башмаки и жаловались лишь на то, что порции слишком малы. И это были те самые люди, что в рот не брали корабельной солонины с капустой и другой грубой пищи.

Потерпевших кораблекрушение подобрало английское судно. Через десять дней все пятнадцать пассажиров чувствовали себя не хуже, чем перед кораблекрушением.

— Никто не пострадал из-за этого приключения,— сказал профессор.— Понимаете мою мысль?

— Да.

— Хорошо понимаете?

— Полагаю — вполне.

— Нет, не понимаете. Вы сомневаетесь. Вы не можете постичь всю важность этой мысли. Подчеркиваю: НИ ОДИН ИЗ НИХ НЕ ПОСТРАДАЛ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ.

— Теперь понимаю, что вы хотели сказать. Это поистине замечательно.

— Ничего подобного. Это естественно. С какой стати они должны были пострадать? Пассажиры проходили курс восстановления аппетита, предусмотренный самой природой, лучший и мудрейший курс в мире.

— Там у вас и возникла эта идея?

— Да, именно там.

— Эти люди получили очень ценный урок.

— Почему вы так думаете?

— Как почему? Вы же считаете, что они получили ценный урок.

— Ничего подобного. Я не глупец.

— А они — глупцы?

— Они — люди.

— А это одно и то же?

— К чему спрашивать? Вы прекрасно знаете, что я имею в виду. Когда речь идет о здоровье и о том, что с ним связано, средний человек — продукт своей среды и собственных предрассудков, а их назначение — сделать его ослом. Он не может подытожить три-четыре новых обстоятельства и извлечь из них урок. Это выше его понимания. Средний человек лишен наблюдательности. Он довольствуется информацией, полученной из вторых рук. Если бы животные, которых мы ошибочно называем низшими, были так глупы, как человек, они б исчезли с лица земли за год.

— Следовательно, эта история не послужила уроком для пассажиров?

— Ни малейшим. На английском судне они стали питаться регулярно и снова едва прикасались к еде. Поклевывали без всякого аппетита пищу, вызывавшую у них отвращение, ходили мрачные, несчастные, полуголодные, а их возмущенные желудки разражались бранью и проклятиями, ныли дни напролет, молили о снисхождении. И напрасно, ибо это были желудки глупцов.

— Ваша идея, как я понимаю, такова...

— Все очень просто: не ешьте, пока не проголодаетесь. Если пища вам не по вкусу, если она вас не удовлетворяет, не приносит радости и утешения, не ешьте, пока не почувствуете СИЛЬНОГО голода. Тогда она вас обрадует и пойдет на пользу.

— И режим питания вовсе не обязателен?

— Пока ведете борьбу с плохим аппетитом — нет, когда аппетит восстановится, режим делу не повредит. Как только аппетит ухудшается, немедленно вносите корректив — голодание, кратковременное или длительное, в зависимости от потребности.

— Я полагаю, самая лучшая пища, самая полезная...

— Любая пища полезна. Некоторые продукты полезнее других, но в целом любая простая пища приносит пользу людям. Любая пища — изысканная или грубая — хороша на вкус и питательна, если следят за аппетитом, и каждый раз, когда он понижается, прибегают к небольшому голоданию. К примеру, Нансен привык к разного рода деликатесам, но когда ему приходилось целыми месяцами есть одно лишь медвежье мясо, он не испытывал никаких недомоганий и неудобств, потому что у него был здоровый аппетит: ведь и медвежьим мясом не обеспечишь себя постоянно.

— Но врачи назначают больным тщательно продуманную сбалансированную диету.

— А что им еще остается делать? Больные с молоком матери впитали в себя предрассудки. Они ни за что не соглашаются голодать: боятся, что помрут от голода.

— Но от голода люди слабеют, разве это не так?

— В этом нет никакого вреда. Вспомните больных, потерпевших кораблекрушение. Пятнадцать дней они получали мизерные кусочки окорока, жевали матросские башмаки — словом, практически голодали. Голод ослабил больных, но не причинил им вреда. Голод привел их в отличную форму, отныне они могли есть с удовольствием и наслаждаться крепким здоровьем. Но они не осознали этой возможности, упустили ее. Они остались больными, и поделом! А вы знаете, к каким фокусам прибегают врачи

на курортах? Используют мою систему в завуалированном виде. Виноградолечение, водолечение, грязелечение — все это одно и то же. И виноград, и ванны, и лечебная грязь — полдела, а дело — в скрытом голодании.

Пациент привык к четырехразовому питанию, с поздним завтраком и поздним ужином. А что ему приходится делать на курорте? Он встает в шесть утра. Съедает яйцо всмятку. Два часа слоняется по променаду в компании других чудаков. Съедает бабочку, выпивает маленькими глотками стакан процеженной сточной воды, вонючей, как дыхание стервятника. Слоняется по аллеям парка еще два часа, на сей раз один. Обратитесь к нему с вопросом и в ответ услышите:

— У меня избыток воды в организме, я выгоняю из себя воду, пожалуйста, не мешайте!

Бедняга ковыляет дальше. Потом съедает засахаренный листок розы. Часами лежит в тишине и одиночестве в своей комнате. Говорить запрещается, читать запрещается, курить запрещается. Приходит доктор, слушает сердце, щупает пульс пациента, выстукивает его грудь и спину, мнет живот, а потом выясняет результаты с помощью крошечной палочки, похожей на флажолет. Доктор назначает пациенту ванну на полградуса (по Реомюру) холоднее, чем вчера. После ванны пациент съедает еще одно яйцо всмятку. Далее — стакан сточной воды в четыре-пять часов дня и тоскливый променад с другими чудаками. Обед ровно в шесть — полпончика и стакан чая. Полтора месяца на таком режиме — представляете? Пациент спускает жир, приобретает отличную форму. И эффект везде одинаков — в Лондоне, Нью-Йорке, у черта на куличках.

— А за какое время вы приводите пациента в норму?

— Теоретически это можно сделать за день-два, но на деле на это уходит от недели до полутора месяцев, в зависимости от характера и психического склада пациента.

— Чем вы это объясняете?

— Посмотрите на ту группу женщин — играют в футбол, занимаются боксом, прыгают в высоту, бегают, берут барьеры. Эти пациентки находятся здесь уже шесть-семь недель. Приехали — смотреть на них было жалко: еле-еле душа в теле. Привыкли четыре раза в день пробовать разные деликатесы, а там и вовсе потеряли аппетит. Поговорив с каждой, я запер их по комнатам. Самую хрупкую заставил голодать десять часов, остальных — по двенадцать — пятнадцать. Муки голода были ужасны, они умоляли меня дать им чего-нибудь поесть. Жаловались на тошноту, головные боли и многое другое. Зато как приятно было на них смотреть, когда срок голодания истек! Они припомнить не могли, чтобы в прошлом еда доставляла им такое наслаждение. Я привел их собственные слова. Казалось бы, курс лечения закончен, но нет! Получив возможность питаться когда захочется, они выбрали привычный четырехразовый режим. Через день-два мне пришлось вмешаться: аппетит у пациенток явно ухудшился. Я заставил их отказаться от одной из трапез, и это снова привело их в норму. Потом они возобновили четырехразовое питание. Я умолял их по своей воле отказаться от обеда или ужина, не дожидаясь моего запрета. Еще пару недель тому назад они не могли это сделать: не хватало мужества, но теперь они воспитали в себе это качество, и больше им ничто не угрожает. Они сами могут исключить одну из трапез, когда возникает необходимость. Мои пациентки в прекрасной форме и могли бы вернуться домой, но они еще не совсем уверены в себе, потому и откладывают отъезд.

— А бывают и другие случаи?

— О да! Порой пациент постигает всю премудрость за неделю — самостоятельно регулирует свой аппетит и поддерживает его в полном порядке, отказываясь от обеда или ужина без всякого ущерба для себя.

— Но почему надо отказываться от всего обеда или ужина? Почему не отказаться от одного блюда?

— Это плохое, неэффективное средство. Если желудок не взывает к вам самым решительным образом, не кричит, выражаясь фигурально, лучше ему не докучать, пусть хорошенько отдохнет. Встречаются люди, которые едят больше других, но тем не менее на здоровье не жалуются. В общем, и люди разные, и аппетит у всех разный. Могу показать вам человека, который приучил себя есть восемь раз в день — без всякого желания, в то время как аппетит его требовал не больше шести трапез в день. Я заставил этого пациента перейти на шестиразовое питание, и теперь он здоров и радуется жизни. Какой режим питания у вас?

— Раньше, двадцать два года подряд, я ел полтора раза в день, а последние два года — два с половиной раза — кофе с булочкой в девять, второй завтрак — в час дня, обед — в половине восьмого или в восемь.

— А прежде? Кофе с булочкой в девять, обед вечером, а в промежутке — ничего?

— Именно так.

— Так почему ж вы решили питаться чаще?

— Послушался советов родственников. Они очень тревожились за меня. Думали, что я заморю себя голодом до смерти.

— Двадцать два года вы считали, что легкий завтрак и обед вас вполне устраивают?

— Да.

— Значит, ваше нынешнее состояние и объясняется этим дополнительным питанием. Исключите его. Вы пытаетесь есть чаще, чем того требует желудок. Вы ничего не приобретаете, вы только теряете. За день вы съедаете меньше, чем раньше при старом режиме питания, когда ограничивались легким завтраком и обедом.

— Истинно так, я стал есть намного меньше. В те добрые старые времена мой обед был основательнее.

— Тогда ешьте всего раз в день — вечером, и так несколько дней, пока у вас не установится хороший надежный аппетит, потом можете добавить легкий завтрак. И не слушайте, что говорят домашние. Если вы больны и знаете, что с вами, особенно

при простуде, сутки не ешьте ничего. Болезнь пройдет сама собой. Голод как рукой снимает даже самый зловредный насморк.

Ни один насморк еще не выдерживал суточного голодания.

— Знаю. На себе испытал, и не раз.

ВИЛЬГЕЛЬМ БУШ

Перевод с немецкого БОРИСА ХЛЕБНИКОВА

Вильгельм Буш (1832—1908) — немецкий поэт и художник, автор «детских и взрослых историй в стихах и картинках». Широкую известность принесла Бушу его книга для детей «Макс и Мориц» (1865). Блестящий сатирик и юморист, Вильгельм Буш зло высмеивал немецкого бюргера.

МУДРЫЙ ФИЛИН

Премудростей филин всю жизнь не любил,
поэтому, видно, и мудрым прослыл.

А страстные спорщики, аист и ворон,
любили вести философские споры.
Кому, например, довелось появиться
на свете вначале — яйцу или птице?

«Яйцо послужило началом начал! —
разгневанно аисту ворон кричал.—
Тот просто невежда и круглый дурак,
кто может подумать, что это не так».

Но аист твердил, что яйцо лишь от птицы,
и только от птицы, могло появиться,
а кто этот факт до сих пор не поймет,
тот сам, мол, невежда и сам идиот.

Внезапно два маленьких лягушонка
вмешались в их споры, раскваказшись звонко.

Один лягушонок проквакал: «Ква-ква,
прав ворон, умнейшая он голова!
Я давний сторонник теории птиц,
на свет появившихся раньше яиц!»

Другой лягушонок проквакал: «Ква-ква,
прав аист, пустая твоя голова!
Наука всегда появление птиц
считала лишь следствием птичьих яиц!»

Но аист и ворон
воскликнули хором:
«Кто смел своим вздором
мешать нашим спорам?»

Защитников оба схватили своих
и, долго не думая, слопали их.

А филин дискуссий всю жизнь не любил.
Должно быть, поэтому долго и жил.

ЗЛАЯ СОБАКА

Шел Петерман ночной порой
с собакою к себе домой.

Вдруг, шлеп! Неловкий сделав шаг,
свалился Петерман в овраг.

Пес растерялся. Глядь, идет
сюда же встречный пешеход.

Вот пешеход спешит к оврагу
и хочет вытащить бедягу.

Он выручил его б, однако
вцепилась в путника собака

и с громким лаем гонит прочь
того, кто им хотел помочь.

А Петерман из буерака
сам вылез и побил собаку.

Мораль:

Когда хозяин
груб и глуп,
и пес бывает
зол и туп.

◆

Наши гости

Гэ Баоцюань, Гао Ман

(Китайская Народная Республика)

Участников VI Международной встречи переводчиков советской литературы, проходившей в Москве, китайских литераторов Гэ Баоцюаня и Гао Мана, нам представляет член редколлегии журнала «Иностранная литература» Л. Эйдлин:

— Сегодняшние гости редакции — наши давние знакомые. Товарищ Гэ Баоцюань впервые приехал в СССР еще в 1935 году совсем молодым человеком, ему было тогда всего двадцать два года. В течение нескольких лет он работал в нашей стране корреспондентом «Дагунбао» и ряда других китайских газет. Наверное, это не случайно — ведь в его семье представители нескольких поколений были журналистами, газетчиками, а один из ближайших родственников выпустил книгу «История китайской журналистики».

В 1949 году, когда была образована Китайская Народная Республика, Гэ Баоцюань стал ее первым поверенным в делах в СССР.

У себя на родине наш гость широко известен как исследователь и переводчик русской классической и советской литературы. Благодаря его трудам китайский читатель познакомился со многими произведениями Пушкина, Блока, Маяковского, Горького, Эренбурга, Максима Танка, Аалы Токомбаева. Совсем недавно вышел на китайском языке знаменитый «Кобзарь» Тараса Шевченко, в этом издании бóльшая часть переводов принадлежит Гэ Баоцюаню.

Долгое время Гэ Баоцюань был заместителем генерального секретаря Общества китайско-советской дружбы. Ныне он член правления Союза писателей КНР, старший научный сотрудник Института иностранной литературы Академии общественных наук, советник научного общества по изучению творчества Лу Синя, заместитель председателя Всекитайского общества исследователей русской и советской литературы.

Гао Ман посвятил себя главным образом переводу поэзии. Под именем У Ланьхань он опубликовал множество переводов стихотворений Шевченко, Маяковского, Ахматовой, Николая Тихонова, Самеда Вургуна, Максима Танка, Алексея Суркова и советских поэтов последующих поколений. Но это еще не все: Гао Ман переводил и драматургию — пьесы Маяковского, Афиногенова, Корнейчука... Переводческую деятельность он сочетает с работой художника. Гао Ман, например, создал целую серию портретов переведенных на китайский язык советских авторов... Хорошо помню, как мы с ним увиделись в первый раз. Это было в 1954 году. Он приехал к нам в составе китайской писательской делегации. Гао Ман — заместитель главного редактора «Шицзе вэньсюэ» («Мировая литература»), журнала, родственного нашей «Иностранной литературе».

Сотрудники редакции расспрашивают китайских писателей об их работе.

— Рад, что имею счастье посетить редакцию «Иностранной литературы»,— говорит Гэ Баоцюань.— Главного редактора журнала Николая Федоренко я знаю с 1939 года, мы познакомились в Чунцине. Никогда не забуду, как сорок восемь лет назад я приехал в Москву... До сих пор в памяти моей живут песни, которые пели у вас тогда... На одном из торжеств на Красной площади мне посчастливилось видеть своими глазами Максима Горького. А через год я со скорбью в сердце присутствовал на похоронах великого писателя. Я был свидетелем того, как в вашей стране отмечали 25-летие со дня смерти Льва Толстого, 100-летие со дня гибели Пушкина... Именно тогда я решил посвятить свою жизнь переводу и пропаганде русской и советской литературы, изучению истории литературных связей между Китаем и Россией. Когда же возникли эти связи? Исследуя этот вопрос, я обнаружил, что первым русским произведением, вышедшим на китайском языке в 1903 году, был «любовный роман» — «История Смита и Марии, или Сон бабочки в сердце цветка». Я долго недоумевал, что бы это могло быть: переводное название ставило в тупик. Какова же была моя радость, когда я нашел наконец эту книгу и, познакомившись с ее содержанием, понял: это пушкинская «Капитанская дочка»! Итак, распространение русской литературы в Китае началось с перевода пушкинской повести. Случайный, может быть, но какой знаменательный факт!..

Немало времени и сил я посвятил работе над книгами «Лермонтов и Китай», «Ленин и китайская литература», «Маяковский и Китай». И еще один эпизод в исследовании русско-китайских литературных контактов: в ленинградских библиотеках мне удалось «раскопать» интереснейшую переписку Льва Толстого с одним китайским студентом, учившимся в Петербурге.

Очень увлекла меня история переводов на китайский язык басен Эзопа. Впервые они появились у нас в XVI веке. В настоящее время я готовлю статью о переводах басен Эзопа в XVI—XVIII веках.

Не менее интересно было проследить, как проникли к нам знаменитые анекдоты о Ходже Насреддине, ставшем поистине нашим любимцем. Сначала, разумеется, пришлось изучать арабские анекдоты, а уже потом обращаться к герою восточного фольклора Ходже Насреддину. Его привел к нам в Синцзян «шелковый путь», торговый путь, по которому немало паломников направлялось к святым местам...

Вы спрашиваете, сколько тысяч знаков составляют мои исследования? Не знаю, никогда не считал. К тому же я не только исследователь, но и переводчик. Горжусь

тем, что наиболее известен мой перевод пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке», он включен в учебники для средней школы, как и перевод «Песни о Буревестнике» Максима Горького. Я перевожу не только с русского, но и с других славянских языков. Перевел поляков — Юлиуша Словацкого и Генрика Сенкевича, чехов — Божену Немцову и Витезслава Незвала, болгар — Христо Ботева и Николу Вапцарова. Кстати, мне привелось побывать в Болгарии у матери Вапцарова. Я спросил ее, как она поживает. В ответ она сказала: «Я живу в прошлом веке...»

Меня очень увлекает работа над переводами с языков народов СССР. Перевожу с украинского и белорусского — так родились переводы Тараса Шевченко, Ивана Франко, Янки Купалы. А вот чтобы сделать перевод «Фархада и Ширин» Алишера Навои, стихов Джамбула или, скажем, рассказов Вилиса Лациса, чтобы написать предисловие к армянскому эпосу «Давид Сасунский» или к поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», приходится прибегать к языку-посреднику, к русскому языку. Опираясь на русские переводы, я работал и над текстами Назыма Хикмета, Пабло Неруды, Агостиньо Нето, поэтов Мозамбика. Когда стихи переведены на русский язык — они тем самым переведены на язык всего мира. Я владею далеко не всеми языками, но русский дает мне возможность познакомиться с литературой любой страны. Поистине это великий связующий язык...

О трудностях перевода. Мне кажется, что многие переводящие с русского не всегда улавливают (или не умеют передать) приметы русского быта, особую атмосферу русской жизни. Лично меня выручает то, что я прожил в вашей стране десять лет. Вспоминаю, как долго я трудился над переводом «Двенадцати» Блока. Но вот я приехал в Ленинград, услышал, как дует тот самый блоковский «черный ветер», отправился к Аничкову мосту, затем на Дворцовую площадь. И в тот момент, когда я проходил под аркой Генерального штаба, мне вдруг показалось, что рядом со мной маршируют блоковские двенадцать... Того, что я почувствовал, словами не передашь. И тогда-то стихи Блока зазвучали для меня по-настоящему, мне открылся их глубинный смысл...

По возвращении в Китай я хотел бы написать книгу «Снова в Советском Союзе». Я многое повидал у вас: побывал на заводах и фабриках, встречался с интересными людьми, с литераторами. Надеюсь стать третьим — после Го Можо и Мао Дуня — автором такого рода путевой книги.

— Мне хотелось бы рассказать о нашем «Шицзе вэньсюэ»,— берет слово Гао Ман,— этот журнал был основан в 1953 году, то есть на два года раньше вашего. Наши журналы — братья по духу. Первым главным редактором «Шицзе вэньсюэ» был наш выдающийся писатель Мао Дунь. За тридцать лет существования журнал прошел сложный, я бы сказал — зигзагообразный путь, был у нас и перерыв в издании (в связи с культурной революцией). Своей главной задачей мы считаем публикацию лучших произведений мировой литературы, в том числе — русской и советской, а также литератур социалистических стран. Тираж нашего журнала — 50 тысяч экземпляров, распространяется он в основном по подписке. И объем «Шицзе вэньсюэ», и его тираж гораздо скромнее, чем у «Иностранной литературы». Это объясняется тем, что он рассчитан в основном на определенный круг читателей: специалистов, изучающих зарубежные литературы, преподавателей иностранных языков — словом, на интеллигенцию. Мы выпускаем и книжное приложение, подобное вашей «Библиотеке «Иностранной литературы», правда, несколько большего формата. Разумеется, в Китае есть и другие журналы, знакомящие с иностранной литературой, но они адресуются к широким читательским массам.

Переводы с русского занимают среди наших публикаций почетное место: Лев Толстой, Шолохов, Пришвин, Айтматов, Борис Васильев — вот далеко не полный список наших русских и советских авторов. Чтобы дать представление о «географических» масштабах «Шицзе вэньсюэ», приведу несколько примеров: за последние годы мы печатали американцев Фроста, Фолкнера, Воннегута, индийцев Тагора и Премчанда, японца Иноуэ, турка Кемаля, сенегальца Сембена Усмана, англичан Моэма и Грина, французов Бальзака, Стендаля, Пруста, Моруа, Эме, немцев Шамиссо и Зегерс, румына Караджале, швейцарца Дюрренматта, аргентинцев Кортасара и Борхеса, бразильца Амаду, австралийца Уайта... Список этот можно было бы продолжить.

В своей переводческой работе мы конечно же сталкиваемся с немалыми трудностями. Скажем, произведения авторов из социалистических стран мы нередко переводим не с языка оригинала, а с перевода на русский. Общепризнанно, что переводить с оригинала лучше, чем с языка-посредника, но, к сожалению, часто бывает, что наши переводчики с русского обладают более высокой квалификацией, чем владеющие языком оригинала. Впрочем, и они порой оказываются в весьма сложных ситуациях. Так, недавно мы были вынуждены отказаться от перевода лесковского «Левши», сочтя, что сложнейшую лексику и весь дух этой вещи вряд ли можно без потерь донести до китайского читателя. Наши переводчики горячо любят свое дело, и я уверен, приложат все силы, чтобы все лучшее, что есть в мировой литературе, включая советскую литературу, было переведено и издано на китайском языке.

Беседа наша подходит к концу. Вспоминаются знаменательные слова, сказанные Гэ Баоцюанем на VI Международной встрече переводчиков в Москве: «Перевод и ознакомление с русской и советской литературой не только способствовали культурному обмену между народами Китая и Советского Союза, но и содействуют укреплению их великой дружбы».

Отрадно сознавать, что благородный труд китайских коллег высоко оценен у нас в стране: за плодотворную и многолетнюю деятельность в области перевода советской литературы Гэ Баоцюань и Гао Ман награждены Почетными грамотами Союза писателей СССР.

Г. ВЕРЖХОВСКАЯ, А. ЧУГУНОВА

Среди книг

Издано в СССР

ОБ ИСКУССТВЕ ВРАЧЕВАНИЯ

«Я поселился в небольшом губернском городе средней России... Я нанял квартиру в той же местности, вывесил на дверях дощечку: «доктор такой-то» — и стал ждать больных...

Каждый звонок заставлял испуганно биться мое сердце, и я с облегчением вздыхал, узнав, что звонился не больной. Сумею ли я поставить диагноз, сумею ли назначить лечение? Знания мои были далеко не настолько прочны, чтобы я чувствовал себя способным пользоваться ими экспромтом. Хорошо, если у больного окажется такая болезнь, при которой можно будет ждать: тогда я пропишу что-нибудь безразличное и потом справлюсь дома, что в данном случае следует делать. Но если меня позовут к больному, которому нужна немедленная помощь? Ведь к таким-то именно больным начинающих врачей обыкновенно и зовут... Что я тогда стану делать?»...

Эти строки из «Записок врача» русского прозаика В. Вересаева. А вот фрагмент из автобиографических «Рассказов врача» крупнейшего современного португальского писателя Фернандо Наморы:

«Двадцати четырех лет от роду, с дипломом в кармане и с робостью в душе, я начал врачебную практику в Монсанто...

Местные жители — угрюмый народ, загрубевший от карабканья по крутым склонам в тщетной борьбе с бесплодной землей, — в моей неопытности чуяли опасность. На приеме они едва разжимали губы, испытывая мои способности к волшебству, а их упрямые лица выражали только недоверие и вызов».

Русская литература знает немало писателей-врачей. Достаточно назвать, кроме Вересаева, имена таких замечательных писателей, как А. Чехов и М. Булгаков. Успешно сочетает практическую работу хирурга с литературной деятельностью наш современник Ю. Крелин. Все больше приближаются к художественной прозе и документальные книги хирурга Н. Амосова.

Подобная традиция издавна существует и в Португалии. Неудивительно, что медицинская профессия зачастую определяет тематику и психологическую углубленность произведений, авторы которых долгие годы лечили людей. О взаимодействии медицины и литературы и размышляет в публикуемой нами статье Фернандо Намора, используя собственный опыт и свои книги, среди них известные советскому читателю «Рассказы врача» (Л., «Художественная литература», 1968) и повествующий о нравственной деградации врача в современном буржуазном мире роман «Человек в маске» (опубликованный в сборнике, включающем также роман «Хлеб и плевелы» и публицистику Ф. Наморы. М., «Прогресс», 1981).

Больше двадцати лет я лечил людей, занимаясь в то же время и творчеством, и меня часто спрашивают об отношениях между медициной и литературой, так как во многих странах люди традиционно совмещают профессии врача и писателя. Во все века медицина давала литературе многих выдающихся деятелей — это характерно и для португальской культуры. Врачей всегда влекло к себе искусство, а художники в не меньшей степени интересовались медициной. Перелистывая страницы грандиозной книги — истории медицины, — убеждаешься, как трудно провести границу между творческим актом и актом врачевания: недаром помощь больному, страждущему всегда принадлежала сфере искусства — «искусства врачевания», «врачебного искусства».

Разумеется, у этого упориого взаимного влечения есть свое объяснение, и на ум прежде всего приходит простая мысль: у медицины и литературы не только множество общих черт, но и общая цель. И та и другая проникают в тайники человеческого тела и духа; и та и другая обогащены огромным опытом многих поколений и подходят к страданиям человека с необычайным пониманием, терпимостью, но и тре-

бовательностью. Кстати, одна знаменательная подробность: слово «диагноз», то есть самая основа взаимоотношений врача и больного, этимологически восходит к «способности понимать».

С другой стороны, больной, как правило, испытывает неуверенность и страх. Поэтому он склонен откровенно рассказывать о своих переживаниях человеку, от которого он ждет утешения и помощи. Таким образом врач, от которого ситуация требует максимальной чуткости и деликатности, обретает уникальную возможность узнать все сложности «феномена человека». Такое познавание именно в силу своей напряженности очень часто требует выхода, выражения, катарсиса. Этот выход предоставляет искусство.

Продолжая исследовать сходство между литературой и медициной, мы придем, например, к следующему выводу: врач по самой природе своей профессии стремится определить те факторы, которые вносят хаос в нашу психосоматическую систему, и найти им противодействие.

Точно так же и искусство собирает разрозненные, загадочные, «темные» элементы, осмысливает их, диагностирует и освобождает нас от давящей их несочетаемости или угнетающей таинственности, выявляя неизвестные нам связи между ними, растолковывая то, что прежде казалось непостижимым или зашифрованным.

Думаю (исходя из собственного опыта), что медицина не порождает писателей, но она формирует их на особый лад. Если писатель по призванию или волей судьбы становится врачом, профессия медика окажет сильнейшее воздействие на его личность, во многом определяющее, как он будет воспринимать мир. И если в конечном итоге писатель победит в нем врача, он будет ощущать свой уход в литературу как дезертирство, и отказ от врачебной деятельности отзовется постоянной и мучительной ностальгией.

Я работал врачом в глухих деревушках и в большом городе. И медицинский опыт отразился во многих моих книгах. У меня есть «деревенский цикл» произведений, где действуют обитатели глубокой провинции, и «городской цикл» — книги, герои которых — люди под маской, искажающей и уродующей их истинное лицо. Примером первого цикла могут служить «Рассказы врача», «Хлеб и плевелы», а второго — «Живущие в подполье», «Человек в маске», «Печальная река». Почти все они уже опубликованы в Советском Союзе или готовятся к изданию.

Прихотливое разнообразие моих книг объясняется некоторыми чертами моей биографии. Я происхожу из крестьянской семьи, хотя еще до моего рождения мой отец занялся торговлей в окрестностях университетского города Коимбры. Он принадлежал к тем «деревенским» (так пренебрежительно называли их в округе), которые переселялись поближе к городу, потому что их не устраивала застойная сельская жизнь, кроившая человеческие судьбы по узким и неизменным меркам. Мы жили весьма скромно, и решение послать меня в университет далось непросто.

Мои родители оставались в городке чужими, и, быть может, поэтому каникулы я проводил в их родной деревне, в мире, полном трудностей, но естественном и приветливом. Память о той среде, которая окружала меня в юности, жизнь в самой гуще народа — все это отразилось на моем мировосприятии и, конечно, на моих книгах. В своем творчестве я не раз пытался воссоздать атмосферу глубокой провинции (один из моих поэтических сборников носит название «Земля»), и, мне кажется, именно здесь я раскрылся как писатель наиболее глубоко и правдиво. Семья, природа, люди, труд — все, что запомнилось мне из того времени, я могу определить одним словом: «подлинность». Подлинность и поступков и чувств. С тех пор и в литературе меня привлекает все подлинное и отталкивает всякая искусственность.

Мать хотела, чтобы я стал врачом и не покидал отчего дома. Я предпочел бы поступить на филологический факультет или заняться архитектурой, но я не посмел расстроить планы матери, которая с необыкновенным упорством и самопожертвованием делала все, чтобы я стал медиком. Женщина с сильным характером и несгибаемой волей, она всегда предостерегала меня от пассивной покорности судьбе.

Тем не менее незадолго до окончания университета я освободился от родительской опеки и, вольный как птица, начал свою врачебную практику, выбирая преимущественно такие места, которые пользовались славой самых негостеприимных. Мне хотелось познать жизнь во всех ее суровых неожиданностях. Пожалуй, надо добавить, что к тому времени я успел напечатать несколько книг. (Свой первый роман я писал с 16 до 18 лет, а ему предшествовали три сборника стихов.)

Очень скоро темы моих произведений стала определять многообразная, грубая в своей откровенности жизнь, в которую я погрузился как врач. Это была жизнь неимущих — крестьян, шахтеров, контрабандистов, бродяг, рабочих, мелких торговцев, но я видел и жизнь привилегированных членов общества: помещиков, а также адвокатов и чиновников, им прислуживавших. Позже, когда я переехал в город и устроился в онкологической клинике, мне открылась жизнь городской буржуазии. Но в первые годы я кочевал с места на место, и в моих книгах отразилось разнообразие окружавших меня характеров, героев, природы.

Каждый раз приходилось вживаться в новую среду. Это было интересно и в то же время мучительно, потому что действительность была сурова, а мое положение — шатко. Моя природная ранимость еще больше усиливала эту шаткость. Что-то во мне восставало против окружающего мира и снова гнало в дорогу. Одновременно во мне происходило слияние писателя с врачом: врач обогащал писателя опытом, «снабжал материалом», высвечивал те или иные события, а писатель объяснял врачу неповторимую сложность человеческих взаимоотношений, которые ему приходилось наблюдать — причем как участнику происходящего.

Меня часто спрашивают, чувствовал ли я влечение к медицине и если чувствовал, то почему полностью ее оставил. Мне нелегко ответить на этот вопрос. Хотя мне с самого начала были чужды кастовость этой профессии, ее ритуальность, медицина служила мне опорой, давала возможность погрузиться в скрытую от посторонних глаз жизнь, увидеть в ней самое страшное и самое прекрасное. Именно она поставляла мне литературный материал и помогала накапливать его. Даже от такого замкнутого человека, каким я был (и остался), медицина требует умения активно сострадать и приходить на помощь, она вручает нам ключи, которые отпирают самые недоступные тайники человеческой души.

Но трудно оставаться врачом, чтобы обслуживать писателя. Рано или поздно предстояло сделать выбор. Ни медицина, ни литература не допускают полулюбительского отношения. Я пожертвовал медициной, потому что понял: писателю предстоит пойти дальше, чем врачу. Но никому еще не удавалось полностью отказаться от медицины: врач до конца сохраняет особый взгляд на людей и на события. Медицина внушила мне, что человеческие отношения должны быть чистыми, светлыми, благородными, и я пытаюсь сохранить верность этому идеалу.

Проблему раздвоенности между городом и деревней (критика отмечает, что она присутствует во многих моих книгах и является традиционной для португальской литературы) осложняет то обстоятельство, что я до сих пор ощущаю себя крестьянином, для которого город, где он живет, — это нечто вроде ссылки. Я очень остро чувствую одиночество, а чем больше скучено в одном месте людей, тем меньше они друг друга знают и тем труднее им существовать вместе. Город представляется мне архипелагом множества одиночеств, охваченным паникой муравейником. Но мы сами сотворили эту нелепую жизнь, эту повседневность, не согретую подлинным огнем и не допускающую никакой мечты. Мы таимся, вместо того чтобы открыться друг другу. И в городах, среди гигантских людских скоплений, все проблемы обостряются.

В деревне живут точно такие же люди, и жизнь их так же скована и зачастую нелепа, но в деревне у времени другой отсчет, а у событий — другой смысл. Там может внезапно возникнуть связь между человеком и окружающим миром; там еще живо давно утерянное в городе почти бессознательное благоговение перед величием ежедневного труда; там другая шкала ценностей. В деревне люди еще сохранили способность к созерцательности, без которой не может быть гармонии. Там еще чувствуют свою общность с другими. И должен признаться — в деревне моя интеллектуальная деятельность протекает более интенсивно и плодотворно.

Слияние литературы и медицины предопределяет и автобиографические черты в творчестве писателя, сознает он это или нет. Конечно, в любой книге любого автора отражается его собственная жизнь, однако когда писатель — врач, это приобретает особый оттенок. Автобиографические элементы очень быстро выходят за узкие рамки отведенной им роли, и происходит это независимо от воли писателя. Многие полагали, что мои книги (как и книги других писателей-врачей) представляют собой свод личных впечатлений. Такой вывод опирается в основном на «Рассказы врача».

Однако все они автобиографичны лишь в определенном смысле: все они — плод пережитого, необъяснимого и внезапного потрясения, отождествления рассказчика с тем, что он рассказывает. Это фрески (я имею в виду «Рассказы врача»), главный герой которых — молодой врач, попадающий в мир примитивных страстей, рабской зависимости от сильного, мир жестокий и неумолимый, почти всегда рождались из какого-нибудь эпизодического образа, из проходной сцены, даже из одной фразы. Тем не менее истории не утрачивают «правдивости»— в них жизненная частность, обрастая сюжетом, приобретает необходимую для литературы обобщенность, особенно когда литература вторгается в мир болезни, которая, как ничто другое, раскрывает человеческую личность.

То же относится и к романам «Человек в маске» и «В воскресенье вечером», действие которых происходит в городской больнице. В романе «В воскресенье вечером», к примеру, я изобразил врача, работающего в онкологической клинике, где все определяется близостью неминуемой смерти, о которой знают и те, кто болен, и те, кто обязан их лечить. Жизненный материал подсказал такие образы, как доктор Жорже и Кларисса, и драматические ситуации, в которых эти двое играют главную роль. Я представил себе историю Жорже и Клариссы, историю любви и смерти, а мог бы придумать другую, похожую в главном. Это моя «территория» — я знаю ее как врач и, следовательно, как писатель.

Обобщая написанное мною, я мог бы сказать, что мои книги — это вехи, которые отмечают мой путь как человека, и почти всегда — как врача-профессионала. В них можно найти маршрут моих странствий: из родной деревни в университетский улей (как в романе «Огонь в темной ночи»), жизнь среди пестрого люда на испанской границе («Ночь и рассвет»), или среди упрямых крестьян и бездомных батраков («Пшеница и плевелы»), или среди городских буржуа и бедняков, ютящихся в недостойных человека трущобах большого города.

Я пишу о том, что видел, что испытал, но мое зрение обострилось благодаря занятиям медициной. Я принадлежу к той категории художников, которые нуждаются в самом тесном контакте — и прямом и опосредствованном — с окружающей действительностью.

Говорят, выстраданные мною книги обладают свойством затрагивать читателя: он чувствует и верит, что все рассказанное ему — плод жестокого опыта. А тот способ, каким этот опыт передается, выдает в авторе «гуманиста». Правда, это понятие имеет слишком много разных определений. Мне кажется, меня называют так, с одной стороны, из-за нераздельного слияния мое-

го творчества с опытом врача, с другой — из-за терпимости и сострадания, которыми, как считают, проникнуты мои книги, даже когда речь в них идет о проблемах, далеких от медицины.

У каждого писателя свой путь и свой голос, который у него нельзя отнять, хотя голос этот может быть и сильным, и не таким уж сильным. Если верно, что литература потеряла так называемую «легкую эмоциональность», поскольку современный читатель сам ищет ключи к прочитанному, при каждом новом чтении отыскивая новые связи, сцепления, ходы, то не менее верно и правило, что каждое произведение все-таки должно нести эмоциональную нагрузку и воплощать попытку преобразить действительность — только тогда свидетельствующую, что писатель честно выполняет свой долг перед жизнью и перед людьми. В любом случае ценность произведения искусства измеряется не только его чисто эстетическими достоинствами, но и тем, какое воздействие оно оказывает на общество.

ФЕРНАНДО НАМОРА
г. Лиссабон

Издано за рубежом

В МИРЕ «ШОУ-БИЗНЕСА»

Публикуемой ниже рецензии М. Сергеева речь идет о романе западногерманского писателя Франца-Йозефа Дегенхардта «Бард», посвященного проблеме, волнующей на Западе и писателей и читателей.

«Я наблюдаю массы людей, которые искренне, сознательно и даже с энтузиазмом живут тем, что поклоняются певцу, какой-либо личности и даже вещам, которые не являются составной частью культуры и социальной жизни. Значит, они находят в этом нечто, что не могут почерпнуть в литературе, религии и прежних идеалах»,— эти слова принадлежат известной французской писательнице, члену Гонкуровской академии Франсуазе Малле-Жорис, которая одной из первых среди современных западных писателей рассказала в романе «Дикки-король» (1979) об индустрии зрелищ, о мире «шоу-бизнеса».

Тяготение масс к зрелищу, проповедующему чаще всего хаос и абсурд, на Западе объясняют по-разному, и причин тут много. Это и страх перед будущим, и поиск утраченных иллюзий, и всеохватывающий процесс тривиализации культуры, связанный с НТР, и власть массовых средств информации, и дух наживы, царящий во всех сферах жизни и искусства в частности, и отрицание существующих нравственных ценностей, и неосознанный бунт против общества. Именно поэтому идеологи западной культуры, апологеты буржуазного общества уделяют такое внимание эстрадному шоу, приветствуя попытки «разрядить» с его помощью взрывоопасные рычаги недовольства, поддерживая бездуховное, безыдейное начало в этом искусстве. Но, как известно, отказ от всяких идеологий — это тоже определенная идеология. И совершенно очевидно, что мифологизация «шоу-бизнеса», «образ» певца уже давно используются в целях идеологической обработки широких масс. Итальянский критик Анджело Ринальди откровенно назвал такого рода обработку «беспрецедентной в истории затеей по кретинизации масс». За видимой стихийностью эстрадной моды, массового идолопоклонства он очень точно разглядел механизм целенаправленного идеологического воздействия, которым ловко пользуются дельцы от культуры в своих классовых и коммерческих интересах. Направляя назревающий бунт в удобное для них русло, оказывая определенное психологическое и эмоциональное воздействие на толпы зрителей, они по-своему защищают существующую социальную систему, не гнушаясь никакими циничными методами для достижения этих целей.

Уже упомянутый роман «Дикки-король» Ф. Малле-Жорис, который французская критика оценила как роман-свидетельство, разоблачающий неприглядные нравы, царящие в мире эстрадного «шоу-бизнеса»,— наглядная иллюстрация упомянутого «заговора» эстрадных бизнесменов и всякого рода проходимцев от культуры как против зрителей, так и против исполнителей, которые зачастую тоже становятся жертвами их махинаций. Герой романа, небесталанный, но простодушный певец, вынужден в угоду своим хозяевам постоянно перестраивать свой «образ», превращаясь из романтического любовника в мистико-эротического певца-пророка и т. д. Любопытно, что среди возможных его «воплощений» фигурирует и бунтарь, выступающий против общества потребления, угнетения и т. д. Писательница уловила очень важную тенденцию использовать настроения молодежного протеста в качестве приманки и оболванивания неискушенных зрителей.

Однако и на Западе существуют исполнители и ансамбли, которые, испытывая подлинную тревогу за судьбы людей, судьбы мира, стремятся противостоять натиску бездуховности и пошлости на эстраде. Все большее число из них начинает осознавать социальную значимость их искусства и по-своему «бить в набат», призывая слушателей всерьез задуматься о происходящих в мире тревожных событиях. И надо сказать, что путь певцов, осознающих необходимость своего участия в социальной и политической борьбе, не «усыпан розами».

Несомненно, современная западная литература не может пройти мимо этой сложной, подчас противоречивой проблематики. Ей посвящен и роман западногерманского писателя Франца-Йозефа Дегенхардта «Бард».

В. ЖУКОВА

ПОИСКИ И БЛУЖДАНИЯ ПИТА АТТЕНА

Franz Josef Degenhardt. Der Liedermacher. München, Bertelsmann Verlag, 1982.

Франц-Йозеф Дегенхардт. Бард. 1982.

Советскому читателю Франц-Йозеф Дегенхардт известен в основном как прозаик; на русском языке выходили его романы «Бикфордов шнур» [1] и «Пожарища». В ФРГ он знаменит также как автор и исполнитель песен злободневного, остро-социального содержания; они записаны на многочисленных пластинках, их часто можно услышать на предвыборных мероприятиях компартии, на встречах сторонников мира.

Героем нового романа Дегенхардт сделал популярного «барда» Пита Аттена. Аттен прогремел еще в 60-е годы, особенно песней «Переходи, парень, к нам, на темную сторону улицы», которая стала своего рода гимном тогдашних «бунтарей», так называемого «альтернативного» левого движения. Он и сейчас с успехом исполняет ее как «ударный номер». Но времена с тех пор изменились. Из числа тогдашних соратников Аттена по жанру немногим удалось сохранить свои позиции, свое лицо. «Некоторые перешли в разряд развлекательной промышленности, стали поставщиками шлягеров... которые открыли им доступ на телевидение. Другие совсем исчезли со сцены, переменили профессию».

Дегенхардт дает в своем романе интересные портреты и характеристики бывших единомышленников Пита Аттена, ставших идолами «шоу-бизнеса». Вот, например, Руди Шаванкер: «великан-бэби на сцене, в снопах прожекторов кричал и брызгал слюной... Зрителей уже было не удержать, они вскакивали, швыряли в него пустые бутылки, били себя кулаками в грудь». Или Рикки Ройтер, которого правая пресса окрестила когда-то «баррикадным крикуном», написавший работу об Эрихе Вайнерте и пролетарском романе, способный вести дискуссии с философами «франкфуртской школы» на их языке; «бунтующая» молодежь скандировала, как лозунги, строки из его песен, например: «Торговцы картинами и беллетристы — это контрреволюционисты». Сейчас он подлаживается под новые молодежные вкусы: «прыгает, танцует, и вертит задом», и выбривает на груди седые волосы, чтобы никто не угадал его возраст и принадлежность к другому поколению.

Пит Аттен пытается сохранить верность давней традиции немецкой песни, которая сопровождала все общественные движения «от Вальтера фон дер Фогельвейде до Эрнста Буша» и до наших дней. В нашу, «аудиовизуальную эру» жанр этот приобрел особое звучание, считает Аттен. Но чтобы «сопровождать время своими песнями», надо «вникать в жизнь, близко ее чувствовать, иначе песня не прозвучит».

[1] Опубликован в «ИЛ», 1976, № 1,2.

Сказано хорошо, только где грань между способностью чувствовать пульс времени и умением «держать нос по ветру», которому поучает Аттена Карло — продюсер фирмы, выпускающей его грампластинки? Кто-то из бывших поклонников уже упрекает Пита, что и он тоже служит «обществу потребления», которое на словах обличает, что его отношения с публикой в сущности «недемократичны», как и у многих других кумиров эстрады: «Он стоит наверху, стадо — внизу. Песня действует, как удар хлыста, помогающего держать стадо в подчинении... По сути, это отражает отношения верхов и низов». И Аттен не находит что и возразить на эти упреки.

Роман Дегенхардта интересен многими колоритными наблюдениями над важной областью современной западной культуры, которая включает в себя и хорошо организованный «эстрадный бизнес», и целый спектр стихийно возникающих явлений. Профессионально, со знанием дела описывает автор жизнь гастролирующего певца, его отношения с телевидением и другими средствами массовой информации, неустроенность кочевого быта, тяжесть психологических и нервных перегрузок, связанных с выступлениями. Несмотря на все старания, концерты Аттена привлекают все меньше публики, тиражи его пластинок падают. Встревоженный продюсер Карло, этот «честный циник», откровенно предупреждает Аттена: «Если ты не удержишься, я найду себе другой талисман».

В этот момент разражается громкий скандал. Участник одного из процессов по делу террористов показал, что Пит Аттен однажды предоставил им убежище. Аттена арестовывают во время антракта одного из концертов и неделю держат под следствием. Шпрингеровская «Бильд» успевает опубликовать его фото в наручниках с комментарием о «певцах, которые, разъезжая, перевозят инструкции террористов». Дело против Аттена не возбуждено, однако телевидение и радио объявляют ему бойкот. Самого Аттена после этой истории будто подменили. Он на время утратил былую уравновешенность, стал прибегать к услугам психоаналитика.

В таких обстоятельствах произошла его встреча с Манне Крёгером. Крёгер — второй герой романа, выступающий в нем на равных правах с Аттеном. Они поочередно рассказывают об одних и тех же событиях — каждый со своей точки зрения, дополняя и споря друг с другом. Такой прием позволяет автору показать события и их участников во всей их неоднозначности и противоречивости. Манне — потомственный металлург. И дед его, и отец работали на одном заводе. Он вырос в кругу друзей, товарищей по партии, где «вместе отмечали дни рождения и свадьбы, похороны и заводские юбилеи... успешную забастовку, удачу на выборах в заводской совет или городское управление». В то же время он человек другого поколения, других вкусов, чем его родители. На стене у него висят рядом фотографии Гагарина, Патриса Лумум-

бы и Элвиса Пресли, чьи песни он знает наизусть, как и песни Эрнста Буша. Ему кажется необходимым соединить традиции рабочей массовой песни с достижениями современного стиля. Вот почему он увлекся песнями Пита Аттена. Когда Аттен предлагает ему сотрудничество, Крёгер соглашается. Однако родные и друзья воспринимают решение Манне сопровождать Аттена в поездках по стране как дезертирство. Лишь позднее, услышав сочиненную Аттеном песню о рабочей династии Крёгеров «со 120 годами трудового стажа», они изменили свое мнение о нем.

Эта песня, ставшая новым «ударным номером» Аттена, знаменовала для него выход из кризиса. Какое-то время в нем видят «народного певца», «художника пролетариата». Он выступает перед бастующими рабочими, и «сотни людей в воодушевлении подпевали ему», выступает даже на предвыборных митингах компартии — но все это, по его собственному выражению, с «прищуренным левым глазом». Представления Манне и его друзей о борьбе рабочих кажутся ему комично-старомодными, подходящими скорей для двадцатых годов, чем для современного индустриального общества с его «стратегией перекройки рынков», «товарным мышлением» и «разрушенными коммуникациями». «Для него, образованного выходца из семьи католических служащих, наши действия казались недостаточно революционными», — замечает Манне Крёгер, и все же он считает Пита «своим», защищает его перед товарищами: «Если с ним как следует поспорить, его можно переубедить».

Споры на первых порах не мешают сотрудничеству. Манне Крёгер оказывается незаменимым спутником в постоянных турне Аттена. Он водит машину, умеет позаботиться и об аппаратуре, и о рекламе, и о порядке в зале, и об отношениях с местными устроителями. С ним можно посоветоваться, как составить программу применительно к конкретным условиям. Он находчив и смел, когда приходится сталкиваться с враждебными провокациями.

Но постепенно разногласия становятся все более ощутимыми. Аттена приглашает выступить в телевизионной программе статс-секретарь Пиотровский, политик, оказавшийся временно не у дел, но теперь решивший добиваться избрания в бундестаг. Пиотровский в романе — представитель нового типа «профессиональных политиков», прекрасно владеющий «доверительным стилем» в обращении с аудиторией. Он хочет использовать популярность Пита Аттена в своих целях, и сам Аттен не заблуждается относительно его намерений. Однако его вроде ни в чем не ограничивают, он может петь и говорить перед камерами что хочет. Только продюсер Карло, видящий в этом «телевизионном трепе» прежде всего способ увеличить тиражи пластинок, советует: «Твой счет скандалов, Пит, уже полон... Так что немного сбавь тон. Политикой не увлекайся. Нужно что-то более человечное... А если Пиотровский будет заставлять тебя говорить, помни о равновесии! Выпад в сторону Запада — два в сторону Востока...» «Я ненавижу тебя», — говорит Пит, а Карло отвечает: «Мы все надеемся на твой инстинкт».

Это интересный момент. В ненависти Аттена к продюсеру не приходится сомневаться, но инстинкт действительно срабатывает. Пит даже спел перед камерами свою старую «боевую» песню «Переходи, парень, к нам, на темную сторону улицы», но прозвучала она в контексте, выгодном Пиотровскому. Манне, смотревший его выступление, со стыдом спрашивает Аттена, не собирается ли он вскоре по примеру других «натянуть серебристые штаны и вдеть серьгу в ухо»? Пит в ярости отвергает его упреки, но разрыв между ними неизбежен.

Манне Крёгер переходит работать на станцию техобслуживания автомобилей, Пит Аттен разъезжает с Пиотровским по стране. Речей его он не слушает, его дело — петь перед выступлением политика и после, только и всего. Сборы хорошие, он часто появляется на телеэкранах, тиражи его пластинок растут. Но что-то все-таки гложет Пита, не дает покоя.

Дегенхардту удалось создать непростой образ довольно типичного для ФРГ «левого интеллектуала». Он считает себя врагом «общества потребления», протестует против его порядков и при этом действует в конечном счете по его законам, ему на потребу. Он старается быть субъективно честным, оправдывая те или иные свои поступки сложностью обстоятельств, но разве не из лучших намерений действует и Пиотровский, суть которого хорошо охарактеризовал сам Аттен: «Я не сомневаюсь, эти люди верят в свою ложь в тот момент, когда ее произносят. Манне в запале спора называет Пита «циничным оппортунистом», а друзья Манне видят в Аттене «мелкобуржуазного выскочку», по сути чуждого рабочим. Для одних он «последовательный борец, неподкупный автор зонгов и враг фальши», для других — «жадный до рекламы певец и шоу-поэт». И то и другое — крайности. «Я не продажный обманщик,— утверждает Пит Аттен,— но и не человек непреклонных убеждений... Принимайте меня каков я есть». До последней страницы романа он мечется, блуждает, пытается найти свое место в сложном и противоречивом мире.

Особенно драматический характер обретают заключительные главки, рассказывающие о событиях, связанных с так называемой «табачной мельницей». Этот старый дом собираются снести, но группа «протестующих» захватывает его, предлагает объявить памятником архитектуры и устраивает в нем свою «коммуну». Публика в «коммуне» самая разношерстная: тут и клоун, и пара влюбленных, и «бунтарь» по прозвищу Бакунин, и просто «Падди, играющий на губной гармошке», и уже немолодой безработный металлург Пауль Поттхоф, нашедший в «коммуне» свою семью. В городе многие симпатизируют «захватчикам», а вот среди друзей Манне Крёгера разгораются споры по поводу того, как же следует к ним относиться. Использовать их в тактиче-

ских целях как союзников? Однако опытный Пиотровский успевает воспользоваться ситуацией раньше. В то время как власти грозят «оккупантам» репрессиями, он предлагает им принять участие в публичном диспуте на телевидении. С помощью Аттена это удается устроить. Но едва начавшись, дискуссия оборачивается скандалом: в Пиотровского летят тухлые яйца, а вечером, уже умытый и в чистом костюме, он вещает с телевизионных экранов о неспособности этих людей к «демократической дискуссии». Манне Крёгер да и Пит Аттен подозревают, что яйца бросали провокаторы, может быть по поручению самого Пиотровского. Но доказать ничего нельзя, да и среди «протестующих» есть экстремисты, от которых всего можно ожидать. Власти окончательно решают снести дом, занявших его изгоняют силой. И тогда безработный Пауль Поттхоф предпринимает отчаянный шаг: он забирается на крышу и грозит броситься с нее, если Пиотровский лично не пообещает ему сохранить «табачную мельницу». После многочасовых переговоров лишь все тот же Пит Аттен сумел убедить Поттхофа спуститься, обнадежив его от имени Пиотровского туманными обещаниями. Он сам знает, чего они стоят, но идет на это, чтобы спасти человека.

Однако «табачную мельницу» все-таки сносят, в выигрыше опять оказывается Пиотровский — он избран в бундестаг. А Пит Аттен пишет новую песню — о «табачной мельнице» и безработном Пауле Поттхофе. Песня пользуется успехом. Однажды на концерте ее слышит Манне Крёгер и в очередной раз убеждается, насколько талантлив его бывший товарищ. Бывших друзей все-таки тянет друг к другу. Может быть, они еще окажутся вместе?

Дегенхардт сумел дать на страницах книги колоритную и достоверную картину современной общественной жизни ФРГ. Несомненная его удача — живой, реалистичный образ Пита Аттена. Читатель расстается с ним, когда он, кажется, на пути к преодолению очередного кризиса. Осмысливая прошлое, он извлекает из него уроки и с новой надеждой всматривается в будущее. И будущее это связано для него с мыслями о Манне Крёгере. На последней странице он повторяет: «Манне, ты должен снова отправиться в путь вместе со мной».

М. СЕРГЕЕВ

ПОЭЗИЯ СВИФТА 250 ЛЕТ СПУСТЯ

Jonathan Swift. The complete Poems. Editor Pat Rodgers. London, Yale University Press., Penguin, 1983.

Джонатан Свифт. Полное собрание поэтических сочинений. Ответственный редактор Пэт Роджерс. 1983.

На Международной книжной ярмарке, проходившей осенью прошлого года в Москве, два английских издательства, «Йель юниверсити пресс» и «Пингвин», представили уникальную книгу — «Полное собрание поэтических сочинений» Джонатана Свифта. Книга эта насчитывает 956 страниц, в нее вошли все известные на сегодняшний день поэмы, стихи, баллады, оды, эпиграммы, эклоги великого английского сатирика; их публикацию подготовил Пэт Роджерс. Чем примечательно это издание и отличается ли оно от существующих уже канонических собраний, скажем, трехтомника, подготовленного ирландским издателем Джоржем Фолкнером, вышедшего в 1735 году, или однотомника Герберта Дэвиса, увидевшего свет в 1967 году? Почему Британский совет по искусству отобрал эту книгу на суд международного читателя?

Отечественная критика высоко оценила работу ответственного редактора Пэта Роджерса: в «Таймс литерари сапплмент» Ричард Вэндорф поместил обстоятельную статью, в которой отметил основные достоинства издания. Вот уже два с половиной столетия поклонники таланта Свифта — энтузиасты и специалисты — трудятся над расшифровкой его поэтического наследия. А труд этот, как известно, титанический: в силу многих причин его стихи не сразу находили дорогу к читателю. Настоятель собора св. Патрика был беспощаден в своей сатире к власть имущим и клерикалам, тори и вигам, протестантам и католикам, ирландским наместникам и шотландской знати, фаворитам королевы Анны и английским епископам. И потому он был вынужден скрывать свое авторство. Его друг, поэт Александр Поп, писал ему по поводу поэмы «О поэзии. Рапсодия», которая была опубликована анонимно и со значительными купюрами: «Ваш способ скрываться напоминает мне индийскую птицу, о которой я как-то читал, что она прячет в ямку голову, в то время как ее перья и хвост торчат наружу». Лондонский издатель Мотте очутился в тюрьме за то, что опубликовал поэму «О поэзии».

И вот впервые, наконец, стихи Свифта вышли массовым тиражом. Том этот обладает важными особенностями, отличающими его от предыдущих изданий. В нем приведены в соответствие с нормами современного языка синтаксис и орфография. Расширен исторический и филологический комментарий, в который включены примечания самого Свифта, к ряду стихотворений даются варианты. Роджерс тщательно изучил и сопоставил тексты предыдущих изданий, в частности, недавно обнаруженную в библиотеке факультета английского языка и литературы Оксфордского университета верстку трехтомника стихов, готовившихся к публикации в 1735 году дублинским издателем Фолкнером. Ценность находки заключается в том, что это — доцензурный состав будущего собрания. Сопоставление разных вариантов одного и того же поэтического произведения делает нагляднее работу поэта и издателя. К примеру, в 1723 году Свифт написал «Стеллу в Вуд-Парке», впервые стихотворение было напечатано Фолкнером, позднее среди бумаг лондонского приятеля Свифта, Форда, были найдены два рукописных отрывка, из которых, судя по всему, Фолкнер сам и

скомпоновал это стихотворение. Впрочем, многие исправления и купюры были результатом не столько художественной взыскательности поэта, сколько уступкой официальной цензуре. Особенно полно прослежена история создания, как в конкретно-событийном, так и в художественном плане, центрального поэтического произведения Свифта — «Стихи на смерть доктора Свифта», опубликованного лишь спустя семь лет после того, как оно было написано, — да и то в искаженном виде.

Роджерс уточнил авторство ряда новых стихотворений, в частности «Балладу в связи с выборами в Вестминстере в 1710 году», уточнил датировку примерно десятой части стихотворений. Интересны замечания редактора по поводу аллюзий поэта, который, будучи человеком глубоко образованным, обладавшим блестящей культурой, очень часто обращался к античным источникам, ветхозаветным и новозаветным авторам, к своим коллегам-поэтам — предшественникам и современникам. Порой это скрытая цитата, порой формальное подражание, к примеру, Горацию или Вергилию, порой поэтический комментарий к известному сюжету. Роджерс анализирует и традиционно-ирландские мотивы, поговорки, пословицы, рифмы и ритмы, освоенные поэтикой Свифта.

Поэт охотно вступал в полемику со своими оппонентами — будь то глава кабинета министров Уолпол или античный автор — по самым острым общественно-политическим вопросам или по извечным общефилософским проблемам. В 1726 году Свифт прочитал сатирический цикл поэта-современника Эдварда Янга — «Вселенская любовь», весьма модного в придворных кругах версификатора, служившего рупором идей монархии. И не мог удержаться от комментария, который вылился у него в язвительную сатиру на общество, в котором он был обречен жить. Вместе с пятью другими стихотворениями (среди них была и поэма «О поэзии. Рапсодия») он тайно переправил это стихотворение с женой типографа Барбера из Дублина в Лондон. Неудивительно, что стихотворение «Читая сатиру д-ра Янга «Вселенская любовь» было напечатано анонимно, с купюрами, лишь спустя восемь лет. Вот ее первые и заключительные строфы:

Будь песнь твоя правдива столь,
Что сходен с ангелом король,
Министр не только на бумаге
Печется о всеобщем благе,
Иной, лишь мудростью богат,
Ведет уверенно сенат;
Что всяк, кому поешь ты гаммы,—
Слуга общественной программы;
Что каждый пэр по части слуг —
Ума и чести лучший друг.
Где та страна (коль песнь правдива).
Что хоть отчасти так счастлива?
. . . . . .
Воззрим на дело по-иному,
Коль сердце к истине влекомо:
Допустим, стоит старый мир
Твоих разгневанных сатир;
Коль от Любви вселенской проку —
Народ, подверженный пороку;
Коль к благу может через мрак
Вести лишь королевский шаг,
И коль для клирика эклога
В латыни выше веры в бога,
Коль испугавшийся банкрот
В сенате голос продает
И рассчитавшийся с долгами —
Живет все теми же благами;
И коль Фемида — злая тварь,
Что злата ждет на свой алтарь;
Где та страна — ответь мне ясно,—
Что хоть отчасти так несчастна?

(*Перевод А. Солянова*)

Страстность, публицистичность, гражданственность таланта Свифта, его всемерная отзывчивость на события, происходившие в обществе, превращали почти каждое его стихотворение в факт политической жизни Англии и Ирландии. Когда Георг I разрешил предприимчивому дельцу Вильяму Вуду чеканить монету для Ирландии, что повлекло за собой резкое падение курса валюты, Свифт выступил со своими знаменитыми «Письмами суконщика». Это было в 1724 году, а в 1737-м в знак протеста против очередной махинации правительства с золотым фондом он объявил траур — вывесил над собором черный флаг. Через пару дней на официальном чаепитии он встретился с архиепископом Ирландским и без промедления запечатлел их встречу в сатире «За и против. Сказка из Дублина». В ней он, не скупясь на насмешки и издевку, рассказал, как прелат гневается на негодника Свифта, сеющего смуту в народе. Понятно, что опубликована эта «сказка» в стихах была лишь спустя тридцать лет после смерти «негодника» — ее разыскал один из энтузиастов свифтианы, ученый и издатель Никольс. Коллега Никольса, внучатый племянник писателя, Дин Свифт, приступая к поискам и обнародованию поэтического наследия Свифта, сокрушался, что в этой «груде путаницы» разобраться вряд ли будет кому-то под силу.

Путаница возникала еще и потому, что сатирик старался оставаться в глазах окружающих непричастным к работе над прижизненными изданиями своих сочинений. Так, когда Фолкнер опубликовал три тома сочинений сатирика, тот счел необходимым уведомить всех, что не участвовал в подготовке их к печати, а в предисловии, которое тем не менее сам и написал, сообщал, что все сведения об «этом авторе», то есть о Свифте, ему известны якобы из третьих рук. Вот начало предисловия:

«Первая книга произведений этого автора была издана около тридцати лет назад, она называлась «Разные сочинения в стихах и прозе». Несколько лет спустя появилось три тома «Разных сочинений», подписанных Дж. Свифтом и Ал. Попом. В издании стихи были собраны в отдельном томе. Но и в двух других томах вместе с прозаическими сочинениями были поэтические, которые будто бы принадлежали друзьям нашего автора; мы их не включаем, наше намерение — издать только стихи самого писателя...

Предлагаемые стихи пронизаны или юмором, или сатирой, часто и тем и другим. Мы не беремся судить об их достоинствах... но не станем скрывать, что́ услыхали от некоторых лиц, чье мнение достойно внимания: у автора никогда не было репутации писателя, заимствующего чужие мысли, сравнения, эпитеты или манеру письма, что бы он ни писал — хорошо это, плохо или средне, — это ни у кого не позаимствовано».

Конечно, главная причина отказа от авторства и своего участия в литературных

делах — соображения политического характера и формальный статут священника. Но были и другие, существенные, мотивы. Казалось, судьба обрекла Свифта на вечное противоборство с самим собой: он смеялся над церковниками и при этом добивался звания епископа, хотя понимал суетность этих усердий.

А вы как метр земной палитры
Обречены почить без митры,—

говорит он себе в «Диалоге с юристом».

Жизнь в Дублине была ему тягостна. «Газеты поведают вам,— пишет он по поводу своего назначения в деканат св. Патрика,— что я вновь осужден на житье в Ирландии». Но именно он стал национальным героем Зеленого острова, возглавив в XVIII веке борьбу народа против английского владычества.

Еще Свифту было суждено полюбить дважды и пережить своих избранниц. Эстер Джонсон — как ни тривиально, увы, это звучит!— не подозревала о привязанности Свифта к другой Эстер — Ваномри. Он писал Эстер Джонсон, или Стелле, изо дня в день письма, своего рода дневник, ничего не утаивал из жизни БДГП (такими буквами автор «Дневника» обозначал собственную персону). Дневник утаил лишь, что его автор много времени и мыслей уделял Эстер Ваномри, которую называл Ванессой (имя получилось из первых слогов фамилии и имени). Свифт посвятил ей поэму «Канденус и Ванесса», поэма не предназначалась для чужих глаз, но после внезапной смерти мисс Ваномри она была издана. Несколькими годами позже умерла Стелла, правда, стихи, посвященные ей, она смогла прочитать в томе, подготовленном Фолкнером. «Дневник для Стеллы» первым обнародовал упоминавшийся уже Дин Свифт. Прошло еще несколько десятков лет, и в 1814 году Вальтер Скотт напечатал письма Свифта Ванессе и поведал историю их любви. Советский читатель в 1981 году смог познакомиться с русским переводом «Дневника для Стеллы», с удивительным тактом, любовью и тонким знанием предмета подготовленным и переведенным А. Г. Ингером и В. Б. Микушевичем.

Все создатели поэтической свифтианы единодушны в одном — его стихи чрезвычайно биографичны, в них запечатлены события жизни поэта, к тому же он не считал себя профессионалом и потому ревностно следил за тем, чтобы его стихи не повредили тем, кто служил ему источником вдохновения. Однажды он обмолвился Стелле: «Когда я пишу разборчиво, мне, сам уж не знаю почему, начинает казаться, что мы не одни и что все, кому не лень, могут за нами подглядывать, а у небрежных каракулей вид такой укромный...» К тому же декан любил писать условными обозначениями, переставляя буквы (к примеру, «Каденус» — анаграмма «деканус»), мистифицировать. В ходивших по рукам списках, как правило, прокрадывались ошибки, терялись строфы, а нередко возникали новые, придуманные переписчиками.

Однако Свифта узнавали сразу: его мощный, гневный голос, его простая, безыскусная интонация, а главное — правдивость и мужественность его стиха ничто не могло заглушить. А когда он обращался к читателю, знал, к кому именно он обращается. Фолкнер рассказывал, как на самом деле он готовил свое издание: каждый день приходил к настоятелю домой и вслух читал ему гранки стихов в присутствии двух слуг, «а если те чего-нибудь не понимали, Свифт тут же переписывал строчку, переделывал рифму так, чтобы им все стало ясно. «Теперь пойдет,— говорил он,— я ведь пишу для простых людей, а не для знати».

В своем предисловии Роджерс пишет, что «тщательно составленная карта джунглей — если такое возможно — мало что меняет». Вряд ли усилия ученых и издателей можно сравнить с работой топографов — ведь они на протяжении двух с половиной веков не просто фиксировали, но по строчке искали, «сортировали» и изучали мощные заповедные леса свифтовской поэзии. «Я вовсе не хотел,— добавляет Роджерс, объясняя принципы, которыми он руководствовался при подготовке книги,— превратить Свифта в Почетного Поэта XX века». Но как бы то ни было, актуальность проблем, которые волновали сатирика, непреходящая значимость его философских суждений и обобщений, составляющие смысл и пафос его поэзии, делают Свифта Почетным Поэтом нашего времени.

А. НИКОЛАЕВСКАЯ

◆

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

КНИГА СТИХОВ АЛЬФРЕДА КОЛЛЕРИЧА

«Альфред Коллерич — один из тех, кому послевоенная австрийская литература во многом обязана своими успехами», — отмечает газета «Франкфуртер альгемайне». И дело не только в том, что он известный поэт и прозаик, лауреат премии имени Петрарки. Коллерич активно действует как организатор: он руководитель культурного центра «Форум штадтпарк», издатель известного журнала «Манускрипте», в котором «впервые напечатались едва ли не все австрийские писатели, родившиеся после 1940 года».

Как это бывает, организаторские заслуги в чем-то даже заслонили чисто литературные. Своим новым поэтическим сборником «Низвержение в счастье», который выпустило зальцбургское издательство «Резиденц», Альфред Коллерич напомнил о себе как о незаурядном лирике.

Известно, что журнал «Манускрипте» всегда поощрял литературные искания. Между тем «в своем собственном творчестве Коллерич скорее традиционалист». Его стихам присуща глубокая серьезность, отчасти рефлективность, характерные для австрийской поэзии.

«Стихи последнего сборника Альфреда Коллерича можно сравнить с поздней лирикой Райнера Марии Рильке», — пишет рецензент, отмечая в них одновременно «смелость и логическую непостижимость». Правда, замечает он, по сравнению с Рильке они кажутся несколько «анемичными». «Его строфы всегда искусны, но эта искусность бывает холодной». Несмотря на подобные оговорки, критик дает новой книге Коллерича высокую оценку.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

УИЛЬЯМ ГОЛДИНГ — НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ

Тридцать лет назад Нобелевская премия по литературе была присуждена Уинстону Черчиллю. С тех пор никто из британских писателей не удостаивался этой высокой награды. В минувшем, 1983 году лауреатом этой премии стал Уильям Голдинг.

В заключении Нобелевского комитета, пишет литературный обозреватель «Таймс» Филип Хаувард, говорится, что 72-летний английский романист был удостоен этой награды «за ясность реалистического рисунка и универсальность мифа в произведениях, объясняющих существование человека в современном мире... В его книгах,— говорится далее,— вне зависимости от того, о чем они, много жизненной энергии, читатель подчиняется силе, вере писателя, проникается удивительным, парадоксальным чувством свободы, пронизывающим его книги...»

В англо-американской прессе много откликов на это событие. Джон Фаулз, сообщают Пол Кил и У. Л. Уэбб в «Гардиан», сказал, что выбор Голдинга в качестве Нобелевского лауреата очень удачен: «Я действительно считаю, что он лучший из английских романистов его поколения, а в романе «Морские ритуалы» он достиг совершенной формы»,— сказал Фаулз, имея в виду последний роман писателя, удостоенный премии «Букер» за 1980 год. Дорис Лессинг также одобрила выбор Нобелевского комитета: она назвала Голдинга очень крупным прозаиком современности.

Говоря о своих планах на будущее. Голлинг сообщил, что он завершил новый роман, который, видимо, будет называться «Бумажные люди». В нем будет рассказываться история добившегося известности писателя, спасающегося в деревенской глуши от назойливого американского критика, пишущего исследование о его творчестве.

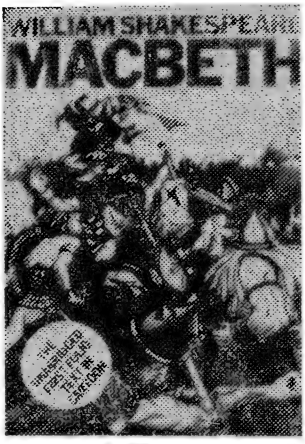
Среди других творческих планов Голдинга—и новая поездка в Египет: «Я хочу написать книгу, которую можно будет назвать «Египет Голдинга». Надеюсь, что потом мне в голову придет более подходящее заглавие. Это не будет обычная книга путевых заметок: я хочу попытаться выразить в ней свое понимание Египта, его культуры, традиций».

ПОСВЯЩАЕТСЯ ТУРГЕНЕВУ

Музей Виктории и Альберта в Лондоне отметил 165-летний юбилей со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева выставкой, развернутой в двух залах. В первом, пишет в «Таймс литерари сапплмент» Элизабет Уинтер, представлены материалы, рассказывающие о связи Тургенева с театром, о его отношениях с кружком Полины Виардо, куда входили Шопен, Берлиоз, Лист, Густав Доре. Очень интересны, замечает Э. Уинтер, подлинные рисунки Виардо и неопубликованное либретто Тургенева на тему «Капитанской дочки» Пушкина. Устроителям выставки, продолжает Э. Уинтер, удалось передать атмосферу кружка Виардо, а следовательно, и дух времени.

Не менее удачен и второй зал выставки: он посвящен теме: Тургенев и Россия. Хотя, пишет Э. Уинтер, Тургенев много лет провел за границей, его связь с родиной никогда не прерывалась. Даже вдали от России он выступал хроникером русской жизни и выразителем лучших чаяний русской интеллигенции.

Э. Уинтер. «Месяц в деревне». «Магветё», вышел сборник произведения».



Как полагают издатели, 92 картинки в стиле комиксов помогут привлечь внимание подростков Великобритании к тексту подлинника знаменитой трагедии Шекспира «Макбет». Уже была попытка издать произведения великого драматурга в виде комиксов, но впервые текст трагедии печатается не только без сокращений, но и соответствует оригиналу. Если книги будут раскупаться, то за ними последуют другие пьесы Шекспира, на очереди — издание трагедии «Отелло».
На снимке: обложка комикса «Макбет».

(Газета «Интернэшнл геральд трибюн»)

Отдельные стенды выставки рассказывают о театральной судьбе пьесы Тургенева «Месяц в деревне». В 1983 году исполнилось сто лет со дня постановки этой пьесы в Александринском театре в Петербурге. Как пишет Э. Уинтер, «Месяц в деревне», произведение, наделенное удивительным психологизмом,— одна из любимых пьес, к которой обращались разные поколения актеров и режиссеров. Интересны фотоматериалы: Майкл Редгрейв в роли Ракитина в «Сент-Джеймс тиэтр», Ингрид Бергман в роли Натальи Петровны при открытии театра Ивонн Арно в 1965 году; сцены из балета «Месяц в деревне» Фредерика Эштона в «Роял опера хауз» в 1976 году.

ВЕНГРИЯ

ЛАЙОШ МЕШТЕРХАЗИ — ПУБЛИЦИСТ

В Будапеште, в издательстве «Магветё», вышел сборник публицистики Лайоша Мештерхази «Логика патриотизма».

«Вошедшие в книгу работы — только небольшая часть произведений писателя, написанных в этом жанре, кстати, одном из любимых,— указывается в рецензии на страницах ежемесячника «Кёнььвилаг». Очень часто проблема, поднимаемая в публицистической статье, становилась основой для создания художественного произведения».

Статьи настоящего сборника тематически связаны и с прошлым Венгрии и с ее сегодняшним днем. Так, например, в статье «Рубежи, выводы» анализируется деятельность венгерского Сопротивления в годы второй мировой войны. Мештерхази говорит о причинах его недостаточного размаха, вместе с тем он заостряет внимание читателя на тех прогрессивных тенденциях, которые были характерны для периода, предшествующего освобождению.

Другая статья, «Ностальгия и наука», посвященная вопросам становления венгерской народной демократии, расценивается на страницах журнала «Кёнььвилаг» как пример историко-политической публицистики.

Особо говорится в рецензии о статье, знакомящей современного читателя с личностью и деятельностью Михая Каройи (о нем см. «ИЛ», 1983, № 10). Сам Мештерхази отмечал, что «понимание деятельности Михая Каройи ведет и к по-

---

О деревянных скульптурах работы двух художников (отца и сына Енё Серватиуса и Тибора Серватиуса), «как о любых подлинных произведениях искусства,— считает критик журнала «Уй тюкёр» Андраш Секеи, — рассказать словами невозможно. Чтобы иметь хоть какое-то представление о них, их надо воспроизвести хотя бы с помощью фотографии».
На снимке: скульптура Серватиуса-старшего «Студентка».

(Журнал «Уй тюкёр»)

ниманию всей современной истории Венгрии».

«Книга «Логика патриотизма», — говорится в заключение рецензии, — свидетельствует о том, как тесно был связан Мештерхази с окружающей его действительностью, как четко и остро он ставил самые сложные вопросы, как упорно, с завидным оптимизмом, искал на них ответы, заставляя искать и читателя».

ВЕНГЕРСКИЕ СТИХИ В «ЧУКОККАЛЕ»

Об интересной находке — яркой, своеобразной иллюстрации связей, контактов двух литератур, венгерской и русской — рассказал своим читателям журнал «Уй тюкёр».

Миклош Кун, автор многих работ по русской истории, обнаружил в архиве К. И. Чуковского, в одной из многочисленных тетрадей, составивших знаменитую «Чукоккалу», венгерские стихи. Стихи эти, вошедшие в уникальное собрание автографов и рисунков выдающихся представителей культуры XX вена, которое Маршак называл музеем (здесь автографы Репина и Шаляпина, Блока и Маяковского, Уайльда и Фроста), принадлежат перу замечательного венгерского поэта-коммуниста Антала Гидаша. К. И. Чуковский и А. Гидаш впервые встретились в Кисловодске осенью 1936 года, знакомство это переросло в дружбу, продолжавшуюся десятилетия.

Стихотворение А. Гидаша «Сердце» — это и лирический эскиз, и философское размышление о времени, об эпохе, и почти пророческое предсказание. Публикуя это стихотворение, которое раньше не было известно ни венгерскому, ни советскому читателю, и рассказывая историю появления венгерской странички в «Чукоккале», журнал воспроизводит автограф поэта, датируемый ноябрем 1936 года, публикует портреты Гидаша и Чуковского.

ГДР

АННА ЗЕГЕРС: НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В издательстве «Академиферлаг» вышла книга Анны Зегерс «О художественном произведении и действительности» (дополнительный том). Эта книга была подготовлена еще при жизни писательницы литературоведом Зигрид Бок, которая в 1970—1971 гг. выпустила трехтомник критико-публицистических работ Анны Зегерс со своей вступительной статьей и обстоятельными комментариями. На протяжении многих лет З. Бок собирала статьи, заметки, интервью Анны Зегерс, разбросанные в периодике, специальных научных изданиях. Результатом этих

разысканий и явился новый сборник — дополнение к вышедшему ранее трехтомнику. Впервые найден и опубликован, в частности, немецкий оригинал публицистической работы Анны Зегерс о Тельмане, вышедшей в Англии в 1934 г. Перепечатаны отрывки из брошюры Зегерс «Советские люди», написанной ею в 1948 г.— после поездки в Советский Союз, очерки о А. Коллонтай и С. Образцове, записи бесед с советскими людьми, сделанные во время поездки, — «Стахановец», «Директор школы», «Маникюрша», «Поп», «Переводчица». Некоторые из материалов, помещенные в книге, появляются на немецком языке впервые, а советским читателям давно знакомы — такова статья «Толстой с различных точек зрения», написанная для «Литературного наследия» и помещенная в томе этого издания «Толстой и зарубежный мир».

Французским читателям давно известна краткая статья Зегерс «Дорогие французские друзья!», напечатанная в «Юманите» в 1977 г. в связи с выходом тома избранных произведений писательницы во Франции,— теперь и читатели ГДР могут ознакомиться с ней. Большой раздел сборника составляют письма к разным адресатам, главным образом к читателям, задававшим Анне Зегерс вопросы об отдельных ее произведениях, их замысле, источниках, образах,— писательница отвечала им, немногословно и доброжелательно. Некоторые из писем обращены к деятелям культуры, друзьям Анны Зегерс. Впервые публикуются письма к Биланду Херцфельде, Дьёрдю Лукачу, Бруно Фраю — в них раскрываются существенные моменты биографии Зегерс,— такие письма раскрывают новые черты в облике писательницы-коммунистки, помогают яснее представить себе ее нелегкий жизненный и творческий путь.

Приложением к книге напечатан ее ранний рассказ «Мертвецы с острова Дьяль. Голландская легенда, пересказанная Антье Зегерс». Этот фантастический рассказ, напечатанный в газете «Франкфуртер цайтунг» в декабре 1924 г., был дебютом молодой писательницы: здесь впервые она подписалась псевдонимом, под которым появилась четыре года спустя повесть «Восстание рыбаков», а затем и другие ее произведения.

РАССКАЗЫ ИОХЕНА ЛААБСА

Издательство «Миттельдойчер ферлаг» выпустило сборник рассказов Иохена Лаабса (о нем см. «ИЛ», 1980, № 12) «Каждый человек хочет быть королем». В книге семь рассказов — шесть коротких и один, по которому назван сборник, отличающийся от других не только размером, но и темой. Главный герой его, плановик доктор Штайн, на первый взгляд увлечен работой. Он разъезжает по разным городам, выступая с докладами, выдвигает целый ряд предложений как специалист. Читатель не сразу понимает, что Штайн заботится не о деле, а о своем реноме, он «хочет быть королем». Лаабс подводит к этому исподволь, очень тонко и психологически точно.

В остальных рассказах писатель в сжатой, скупой манере делает зарисовки, в которых подчас представлена целая жизнь. Вот из маленького городка приезжает женщина к сыну в Берлин, и на нескольких страницах очень живо показан и ее характер, и мир, в котором она живет... Молодая женщина ждет кого-то весь долгий вечер, и читатель понимает, что она пережила большую личную драму... Люди собираются ужинать, и писателю удается несколькими штрихами нарисовать их быт...

«Рассказы Иохена Лаабса можно назвать литературными документами, — пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд». Они дают представление о взаимоотношениях разных людей, их жизненных позициях, их характерах... Писатель ставит вопрос об истинной ценности человека, о его месте в обществе».

«Иохен Лаабс поднимает в своей новой книге много важных, актуальных проблем,— пишет в журнале «Нойе дойче литератур» Вольфганг Титтель. — Он хороший психолог, ему удается сочетать рационализм с эмоциональностью, серьезный тон его повествования то и дело перемежается с веселыми и остроумными моментами».

«В своей прозе Лаабс обращается к разным жанрам, он использует форму эссе и фельетона...— отмечает газета «Берлинер цайтунг». — Мы с интересом следим за его творчеством».

ИНДИЯ

СОВЕТСКАЯ ПОЭЗИЯ В ИНДИИ

Переводы произведений русской классической и советской поэзии на индийские языки имеют давние традиции. Первое место среди них занимают стихи и поэмы Маяковского. До сих пор практиковался «двойной перевод» с английского языка. Ныне положение меняется, и переводы делаются непосредственно с русского.

В связи с этим не может не привлечь внимание рецензия в газете «Джан юг» на подборку новых переводов на хинди стихов советских поэтов — Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной, Андрея Дементьева, Павла Боцу и ряда других (опубликована на страницах журнала «Напряжение»). Автор переводов, популярный поэт и переводчик Варьям Синх, знаток русского языка, очень тонко передает на хинди специфику русской просодии, стилевое своеобразие каждого из представленных им поэтов.

Новая подборка стихов советских поэтов, опубликованная на хинди, знаменует собой качественно новый этап — этап непосредственного перевода с языка оригинала.

САНСКРИТ И КИНО

Является ли мертвым классический язык древности санскрит? При всей своей наивности вопрос этот вовсе не так прост, как может показаться с первого взгляда. Дело в том, что санскрит в Индии до сих пор используется как средство общения. Согласно данным переписей населения, проводившихся в независимой Индии, около двух тысяч человек назвали санскрит в качестве родного языка и свыше 200 тысяч — в качестве второго языка. Санскрит преподается во многих учебных заведениях Индии, а в ряде школ на санскрите ведется обучение. На санскрите в Индии выходят около трех десятков периодических изданий и даже существуют две ежедневные газеты, тираж которых составляет почти 15 тысяч экземпляров. На санскрите издаются стихи и поэмы, повести и рассказы. Список лауреатов премии Литературной академии Индии, присуждаемой за лучшие художественные и литературно-критические произведения, почти ежегодно пополняется именами поэтов и прозаиков, избравших санскрит в качестве средства литературного выражения.

В свете всего этого не может не привлечь внимание сообщение индийской прессы о том, что на санскрите создан и выходит на экран первый в истории индийского и мирового кинематографа художественный фильм, поставленный «Национальной корпорацией развития кино». Фильм посвящен жизни философа и религиозного реформатора Шанкары, жившего в VIII веке. Уроженец Южной Индии, Шанкара много странствовал по стране, проповедуя свое учение и ведя диспуты с представителями других религиозных течений, и окончил дни свои в Кедарнатхе — одной из святынь индуизма, расположенной в Гималаях.

Как сообщает пресса, фильм будет демонстрироваться в Бенаресе, а также в ряде связанных с с жизнью Шанкары городских центров в штатах Карнатака и Керала, где санскритом владеют значитель-

ные слои населения. Для показа в других городах Индии фильм будет снабжен субтитрами на хинди.

Индийская общественность с интересом встретила сообщение о создании первого фильма на санскрите.

ИОРДАНИЯ

ИНТЕРВЬЮ С ИОРДАНСКИМИ ПИСАТЕЛЬНИЦАМИ

Раз в неделю, по пятницам, ведущие иорданские газеты — «Ад-Дустур», «Саут аш-Шааб» и «Ар-Рай» — выходят со специальными приложениями, посвященными культурной и литературной жизни страны. На их страницах печатаются произведения писателей и поэтов Иордании и других арабских стран, литературные заметки, интервью.

Недавно в культурном приложении газеты «Ар-Рай» были опубликованы интервью с двумя видными представительницами современной иорданской литературы — писательницей-новеллисткой Хинд Абу Шаар и поэтессой и критиком Аминой аль-Адван.

Как говорится в редакционном вступлении, Хинд Абу Шаар пишет не только рассказы, но также стихотворения в прозе и литературоведческие исследования. К числу ее увлечений относится и живопись.

Отвечая на вопрос о роли рассказа в иорданской литературе и о том, отражает ли иорданская литература, и в частности новеллистика, «основные проблемы народных масс Иордании», Абу Шаар сказала, что «рассказ занял в иорданской литературе прочное место в период 60—70-х годов. Это объясняется доступностью и «легкостью распространения» рассказов, которые читатель может найти в ежедневных газетах.

В Иордании рассказу принадлежит особая роль и потому, что он касается таких событий, как изгнание со своей земли и вынужденная эмиграция палестинского народа, приведшие к «изменению социальной, экономической, а вслед за этим и идеологической структуры» в стране. Большинство произведений современных иорданских писателей отражает «эту тяжелую повседневную действительность».

Представляя читателям автора второго интервью — Амину аль-Адван, газета сообщает, что ее перу принадлежат рассказы, поэмы и литературно - критические исследования. Ею выпущены две книги критических статей и поэтический сборник.

Отвечая на вопрос: «Как вы расцениваете женскую литературу в Иордании?»— аль-Адван заявила, что литературу не следует подразделять на «женскую» и «мужскую» и что единственным критерием при оценке произведения должен быть его художественный уровень. По мнению аль-Адван, произведения иорданских писательниц-женщин — это «серьезная литература, далекая от субъективных поверхностных проблем и тем, лишенная вульгарного коммерческого духа и тесно связанная с социальными и национально-патриотическими проблемами». Для ее содержания и формы характерно новаторство. В частности, оно присуще рассказам Хинд Абу Шаар, которые прекрасно передают тревогу за судьбы родины. Другая иорданская писательница, Сахир ат-Телль, в рассказах своего сборника «Праздник приходит рано» правдиво описывает гражданскую войну в Ливане, классовые противоречия в стране, изменения в жизни иорданской деревни и города. Острые социальные и политические проблемы Иордании и всего арабского мира ставит в своем сборнике стихов «Бегство по кругу» поэтесса Раджа Абу Газаля.

На снимке: писательница Хинд Абу Шаар.

(Газета «Ар-Рай»)

На снимке: писательница Амина аль-Адван.

«Темы и проблемы, которые затрагивают иорданские писательницы в своих произведениях,— заключает аль-Адван, — это общенациональные проблемы, касающиеся всех граждан в арабских странах».

ИСПАНИЯ

РОМАН МИГЕЛЯ ДЕЛИБЕСА

За Мигелем Делибесом давно установилась репутация писателя вдумчивого и серьезного, не склонного следовать капризам литературной моды и идти на поводу у читателей; писателя, сумевшего с первой же своей книги, романа «Кипарис бросает длинную тень», опубликованного в 1948 году, и по сей день не только сохранить верность себе, своей художественной манере и своим темам, но и всегда быть актуальным. Поэтому каждая новая книга Делибеса ожидается с нетерпением, которое сторицей вознаграждается. Подтверждает это и опубликованный в конце 1983 года роман «Любовные письма шестидесятилетнего ловеласа».

Название книги странно для Делибеса, обычно избегающего говорить о сокровенных человеческих чувствах. Впрочем, читателю скоро становится ясно, что название это иронично по отношению к главному герою книги. Новое произведение Делибеса относится к почти забытому в наши дни жанру эпистолярной прозы: основу романа составляют письма шестидесятилетнего человека к женщине, о желании которой познакомиться с человеком ее возраста он узнал из объявления, помещенного в одном из журналов. Из писем мы узнаем историю всей его жизни: многолетняя работа в области журналистики при полном отсутствии интереса и способностей к этой деятельности (что не помешало ему добиться достаточно высоких постов благодаря различным махинациям и связям), убежденная верность идеалам франкизма — и вынужденный уход на пенсию после победы демократии в стране. Стремясь представить себя в более выгодном свете, человек этот рассказывает о своих жизненных «успехах», не замечая, что они свидетельствуют против него. Однако это видит женщина, к которой он обращается, и хотя ее ответов в книге нет, по тону его писем мы можем судить о растущем в ней желании прекратить эту переписку.

Испанская критика высоко оценивает новый роман Делибеса, особо выделяя мастерство писателя в создании психологических характеристик.

ИТАЛИЯ

ТРИ «МУЗЫ» МИКЕЛАНДЖЕЛО АНТОНИОНИ

«Я смог бы заполнить целые тома, если бы пожелал опубликовать все, что мне случилось написать», — так заявил в беседе с корреспондентом еженедельника «Эуропео» выдающийся кинорежиссер Микеланджело Антониони. Оказывается, он писал всегда — и не только киносценарии. В ранней молодости, будучи студентом университета, он создавал комедии, восходящие, по его собственным словам, к поэтике Луиджи Пиранделло, затем в 1942 году, когда Антониони начинал свой путь в кино в качестве ассистента у Марселя Карне, он работал над романом, который так и остался незаконченным: кино постепенно вытесняло другие привязанности, хотя полностью с литературным творчеством режиссер никогда не порывал. Сценарии его, написанные часто в соавторстве, бесспорно, значительные явления литературы тоже, и не случайно они публиковались издательством «Эйнауди».

В 1982 году журнал «Чинема нуово» поместил на своих страницах отрывки из дневника Антониони, который он вел во время работы над фильмом «Крупным планом». Эти отрывки вызвали большой интерес у читателей, и в 1983 году журнал вновь познакомил их с литературным творчеством режиссера, поместив его рассказы-воспоминания под названием «Расскажу вам о себе, чтобы рассказать о фильме». Антониони считает, что режиссер не должен разъяснять свои произведения. Полезнее, по его мнению, рассказать о некоторых «околокиношных» событиях, происшедших в процессе съемок, и Антониони повествует о выпавших на его долю (и на долю других участников съемочной группы) приключениях во время работы над «Приключением», когда съемки велись на острове Панареа в Тирренском море.

В 1983 году издательство «Эйнауди» выпустило также книгу рассказов Антониони «Игра в кегли на Тибре». Подчеркивая, что он не профессиональный писатель, Антониони называет эти рассказы «неснятыми фильмами». Он рассказывает об огромных трудностях, организационных и особенно финансовых, с которыми связана постановка фильма, и шутливо замечает: «А чтобы рассказать фильм — не тратишь почти ничего». И тем не менее один из рассказов, вошедших в книгу — «Четверо в море», в недалеком будущем должен стать кинокартиной под названием «Судовая команда». Это история богатого промышленника, который в день своего пятидесятилетия отправляется в путешествие на роскошной яхте и причаливает к «иным берегам» — подальше от общества потребления, к которому он принадлежал до сих пор.

В том же 1983 году в Венеции Антониони выставил свои живописные полотна — пейзажные зарисовки (всю жизнь режиссер в дружбе и с этой — уже третьей для него — «музой»). 90 экспонатов выставки — это не только картины Антониони, но и увеличенные их фотографии, сделанные учеником режиссера Роберто Руссо и «проявляющие» многие детали, не различимые на полотне малого формата, подобно тому как в фильме «Крупным планом», одном из самых значительных созданий Антониони, на увеличенном снимке «проявляются» следы драматического события, которое не могли обнаружить герои простым глазом.

Пока в Венеции зрители знакомились с художником Антониони, а по всей стране читали рассказы писателя Антониони, режиссер Антониони был удостоен высшей награды Венецианского фестиваля — Золотого Льва. И 1983 год поистине стал «годом Антониони». Так это назвала газета итальянских коммунистов «Унита».

ЙЕМЕНСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА

НОВИНКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Журнал «Аль-Мактаба аль-Арабийя» сообщает о новых книгах йеменских авторов, опубликованных бейрутским издательством «Дар аль-Ауда». Среди них следует прежде всего назвать сборник стихов «Светлая точка во тьме» выдающегося йеменского поэта и общественного деятеля Мухаммеда Махмуда аз-Зубейри, погибшего в шестидесятые годы от руки монархистов. Это третий сборник поэта, вышедший в арабских странах. В него вошли стихотворения аз-Зубейри, не публиковавшиеся при жизни. Сборник содержит также очерк жизни аз-Зубейри и исследование его творчества, написанные известным йеменским поэтом и критиком Абд аль-Азизом аль-Мукалихом.

Кроме того, издательством опубликовано еще две книги йеменских авторов — пьеса в стихах известного поэта Хасана аль-Лаузи «Крик на суде молчания» и сборник рассказов молодого новеллиста Мухаммеда Салеха Хайдары «Влюбленная из Йемена». Пьеса аль-Лаузи посвящена революционно-освободительной борьбе народа Йемена. В рассказах Хайдары рассматриваются проблемы, волнующие йеменскую молодежь в нынешний трудный период, переживаемый арабскими народами.

МАРОККО

ИНТЕРЕСНЫЕ ИЗДАНИЯ

Издающийся в Багдаде журнал «Аль-Аклям» поместил заметки своего корреспондента о культурной жизни Марокко. В них сообщается, в частности, о выходе в свет нового сборника стихов поэта Бенсалема Хамиша под названием «Революция зимы и лета». Стихи Хамиша посвящены актуальным проблемам современности. Поэт преподает в Марокканском университете. До этого он выпустил сборник стихов на французском языке.

Сообщается также о том, что в Рабате стал выходить новый журнал по вопросам культуры и литературы — «Синдбад».

МЕКСИКА

ПРЕМИЯ МЕКСИКАНСКОМУ ПИСАТЕЛЮ

Премия принца Астурийского — одна из наиболее почетных испанских литературных наград. Учрежденная в 1981 году для поощрения испаноязычных писателей, она присуждается авторитетным жюри, в состав которого входят президент Испанской Королевской Академии языка и литературы Педро Лаин Энтральго, известные писатели Мигель Делибес, Алонсо Самора Висенте, Франсиско Айяла. В этот раз впервые награда досталась представителю Латинской Америки — мексиканскому писателю Хуану Рульфо.

Он вошел в историю современной латиноамериканской литературы как автор всего двух книг — сборника рассказов «Равнина в огне» (1953) и романа «Педро Парамо» (1955), после которых Рульфо ничего не опубликовал. И тем не менее популярность этого писателя постоянно растет, а тиражи переизданий «Педро Парамо» увеличиваются с каждым разом. Объясняется это, по-видимому, тем, что автор, стремившийся исследовать глубинные пласты народной жизни, нашел для решения этой художественной задачи повествовательную технику, органично слитую с народным мироощущением. В романе Рульфо обобщены и подняты на высоту символа те стороны действительности и национального характера, что во многом определили судьбу мексиканского крестьянства.

О влиянии Хуана Рульфо на свое творчество неоднократно говорили писатели, чьи книги составили славу латиноамериканского романа. Так, например, Габриэль Гарсиа Маркес, присутствовавший на торжественном вручении Хуану Рульфо премии принца Астурийского, говоря об исключительном значении этого писателя, сказал корреспонденту газеты «Паис»: «Именно книги Рульфо помогли мне найти свой путь в литературе, подсказали, какой дорогой нужно идти. Поэтому всегда, когда я писал о нем, у меня возникало ощущение, что я рассказываю о самом себе». Президент Испанской Королевской Академии Педро Лаин Энтральго, объявляя решение жюри, назвал Рульфо «родоначальником большой латиноамериканской прозы, нашедшим новые выразительные средства, одним из крупнейших испаноязычных писателей современности».

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Иракский журнал «Аль-Аклям» поместил репортаж своего корреспондента о культурной жизни в Объединенных Арабских Эмиратах. По его словам, она носит разнообразный, хотя и несколько бессистемный характер. В стране издается пять ежедневных газет, каждая посвящает одну из своих страниц литературе. Кроме того, две газеты выпускают раз в неделю большие литературные приложения.

В городах ОАЭ существуют клубы, в которых местными учеными и писателями, а также литераторами из других арабских стран читаются лекции по вопросам искусства и литературы, организуются книжные выставки.

Книги писателей и поэтов ОАЭ издаются как в самих Эмиратах, так и за их пределами, чаще всего в Бейруте. К числу лучших произведений автор репортажа относит рассказы Абд аль-Хамида Ахмеда, в которых даны реалистические картины жизни в Эмиратах, и стихи Ахмеда Рашида Сани.

В корреспонденции сообщается также о зарождении театрального искусства в ОАЭ. Так, при культурном клубе г. Аджмана создана недавно театральная труппа, которая готовит к постановке свою первую пьесу «Игра со стульями». (Автор пьесы и режиссер-постановщик — Юсуф аль-Халиль.)

ПОЛЬША

ИМЕНИ ЗБИГНЕВА ЗАЛУСКОГО

Центральной военной библиотеке, главному книжному хранилищу Вооруженных сил Народной Польши, присвоено имя полковника Збигнева Залуского, писателя, политического деятеля, автора книг, получивших широкую популярность, таких, как «Пропуск в историю», «Семь главных польских грехов», «Финал 1945», «Сорок четвертый». По этому поводу в библиотеке была устроена встреча, участники которой поделились воспоминаниями о писателе. Среди выступавших были писатели Зофья Быстшицка, Збигнев Сафьян, Януш Пшимановский.

Министр культуры и искусства профессор Казимеж Жигульский, говоря о творчестве Збигнева Залуского, подчеркнул, что особое место в творчестве писателя занимает историческая эссеистика, открывающая нам смысл национального существования и дающая нам знания, которые нам служат в настоящем и будут служить в будущем.

Библиотека во время сентябрьских событий 1939 года была почти полностью уничтожена, в послевоенные годы все пришлось начинать почти с нуля. Сейчас она полностью укомплектована не только новыми, но и старыми, редкими изданиями, такими, как книги XV—XVIII веков. Одним из ценных собраний библиотеки являются военные польские и зарубежные журналы первой половины XIX века, а также журналы времен второй мировой войны. В библиотеке также собраны дневники участников Варшавского восстания, донесения, письма военнопленных из концлагерей, солдатские письма с фронта. Фонды библиотеки, носящей отныне имя Збигнева Залуского, неоценимы для военных историков.

СУДАН

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА АТ-ТИДЖАНИ ЮСУФА БАШИРА

Как сообщает журнал «Аль-Мактаба аль-Арабийя», бейрутским издательством «Дар аль-Джиль» совместно с суданской книготорговой фирмой «Матбаат Халифа Атыйя» выпущена книга литературоведа Хенри Рияда «Ат-Тиджани Юсуф Башир. Поэзия и проза».

Умерший очень молодым Ат-Тиджани Юсуф Башир (1912—1937) считается крупнейшим суданским поэтом XX века. В своих романтических стихах он призывал соотечественников к борьбе за свободу, против колониального рабства. Поэту принадлежит единственный сборник стихов «Сияние», опубликованный посмертно.

РУМЫНИЯ

В румынском театре с большим успехом идут спектакли по произведениям русской классики. В государственном театре города Тимишоары режиссером Богданом Улму поставлена «Женитьба» Гоголя. Спектакль был так тепло принят зрителями, что, по признанию самого режиссера, «он никак не мог поверить в то, что спектакль поставлен именно им».

На снимке: исполнители главных ролей — Илдико Замфиреску, Матиас Пелджер, Петер Скук.

(Газета «Ромыниа литерарэ»)

В то же время его творчеству посвящено немало исследований суданских и других арабских историков литературы.

В своей книге Х. Рияд, много сделавший для популяризации суданской литературы в арабских странах, предпринял попытку собрать воедино все написанное Ат-Тиджани Ю. Баширом. Чтобы собрать материал, ему пришлось поработать в архивах Хартума, просмотреть много старых газет и журналов, где были напечатаны статьи и стихотворения поэта. В результате получилась ценная книга, которая дает хорошее представление об Ат-Тиджани Ю. Башире как о талантливом поэте и незаурядном публицисте.

США

«О СТАНОВЛЕНИИ РОМАНИСТА»

Так называется вышедшая посмертно в издательстве «Харпер энд роу» книга Джона Гарднера. Как отмечает еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью», книга может служить пособием начинающим романистам, в ней обсуждается широкий спектр проблем — от умения поддержать рабочее настроение до сравнительных достоинств пишущей машинки и ручки. Все эти на первый взгляд чисто технические аспекты творчества представляются Гарднеру весьма существенными, поскольку они непосредственно связаны со способностью поддержания «ясного и длительного видения», необходимого для создания большой литературы.

По мнению Гарднера, писателю необходимы: чувство языка, острый глаз наблюдателя, способность интересоваться взглядами людей, отличными от точки зрения самого автора, и поскольку Гарднер придавал столь существенное значение нравственности — благожелательность как к читателям, так и к персонажам. Читатель, считает Гарднер, является соучастником творчества, поэтому плохие люди не могут писать хорошие книги: по существу они безразличны к своим персонажам и те получаются у них недостаточно достоверными, сюжет теряет подлинную логику, а читатель перестает верить писателю.

Гарднер советует начинающим писателям быть очень осторожными и в выборе издателя, поскольку ошибки в этом вопросе могут иметь для них драматические последствия.

Великими романистами не рождаются, а становятся, считает Гарднер. Главные средства овладения мастерством — упорный труд и дисциплина, без которых нельзя создать ничего подлинного.

Фильм «Неизвестный Чаплин», демонстрация которого продолжается три часа, создали документалисты Кевин Броумлоу и Дэвид Джил. Сюда вошли незаконченные работы Чаплина 1916—1917 гг., которые тот назвал «лучшими годами своей жизни», рабочие моменты съемок и купюр на стадии монтажа. В частности, авторам, которые провели кропотливую работу «археологов» кино, проявили глубокое уважение к его прошлому и превосходно воссоздали это прошлое. Им посчастливилось обнаружить ранее неизвестные кадры из фильмов «Золотая лихорадка» и «Эмигрант». По их словам, они не уставали восхищаться Чаплином.

На снимке: Чарли Чаплин на съемочной площадке.

(Еженедельник «Юманите диманш»)

РОМАН-БЛЮЗ

В небольшом нью-йоркском издательстве «Бард-Эйвон букс» вышел роман Джона Эдгара Уайдмена «Я ждал тебя еще вчера...». Имя этого негритянского прозаика пока еще мало знакомо широкому читателю, но, по словам рецензента еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», писатель обещает вырасти в большого мастера. Несколько лет назад Дж. Уайдмен выпустил одновременно две книги, тогда оставшиеся почти незамеченными, — сборник рассказов «Дамбалла» и роман «Убежище», где он провел своих читателей по узким улочкам Хоумвуда — негритянского гетто в Питсбурге, крупном городе в штате Пенсильвания. Вышедший недавно роман явился продолжением «хоумвудской саги».

Название роману дала строка из известного блюза, который когда-то исполнял негритянский певец Джимми Рашинг. И это вовсе не случайно: роман, панорамно воссоздающий полувековую историю Хоумвуда — от «веселых» двадцатых до «усталых» семидесятых, — представляет собой, по мнению рецензентов, своеобразный «блюз в прозе», который исполняется главным героем-рассказчиком — молодым писателем, вернувшимся в родной Хоумвуд после долгих скитаний по стране. Возвращение вызывает в его памяти целую вереницу щемящих воспоминаний о людях и событиях, с которыми были связаны годы его детства и юности. Столь характерный для негритянского блюза лиризм, пронизанный тоской и мечтательностью, становится лейтмотивом всего повествования, где в отдельных «картинках» запечатлены десятки колоритных образов: старые и умудренные опытом потомки дяди Тома и их внуки — молодые борцы за социальную справедливость...

Но как невозможно пересказать блюз, так не поддается пересказу этот поэтический роман, чтение которого, заключает рецензент, наверняка доставит удовольствие многим читателям.

ТУНИС

ПЕРВЫЙ РОМАН АЛЬ-БАШИРА БЕН СЛАМЫ

Пресса Туниса и других арабских стран сообщает о выходе в свет романа «Аиша», написанного нынешним министром культуры Тунисской Республики, главным редактором журнала «Аль-фикр» Аль-Баширом Бен Сламой.

Роман «Аиша» — первое художественное произведение Бен Сламы, который прежде выступал как критик и публицист. В романе

показана жизнь туниссного общества первой половины XX века, в эпоху французского протектората. В центре повествования — судьба крестьянской семьи, переселившейся из деревни в столицу, которая с трудом приспосабливается к новым для нее условиям. Автор романа рисует жестокие противоречия тогдашнего тунисского общества, угнетенное положение женщины.

Тунисская критика высоко оценивает роман «Аиша», отмечая, в частности, новаторский характер стиля и языка этого произведения.

«ЗЕМЛЯ В ПОЭЗИИ ПАЛЕСТИНСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ»

В современной палестинской поэзии большое место занимает тема земли, которая для поэтов-палестинцев служит символом всего самого дорогого — родной деревни, крестьянского труда, любимой родины.

Тема земли в палестинской поэзии Сопротивления с 1918 г. по наше время всесторонне и в разных аспектах исследуется в книге литературоведа Мухаммеда аль-Кады «Земля в поэзии палестинского Сопротивления», недавно опубликованной издательством «Ад-Дар аль-арабийя лиль-китаб». Исследование дополнено стихами современных палестинских поэтов Махмуда Дервиша, Тауфика Зайяда и Самиха аль-Касема. Предисловие к книге написано тунисским критиком Монжи аш-Шемли.

ФРАНЦИЯ

«ВИДЕОФИЛИЯ»

Так назвал парижский журнал «Позитиф» видеокассетный бум во Франции. Шестьдесят новых кассет с самыми разными фильмами, программами выбрасывается на французский рынок ежемесячно. Их тираж варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч. В 1982 году старый американский фильм «Бен-Гур» был продан в видеокассетах тиражом 5 тысяч экземпляров, а фильм Робера Оссейна «Отверженные» в 3500 экземпляров, что близко к присуждению ему «золотой кассеты». Большим спросом пользуется сейчас концертная программа Джонни Холлидея, снятая во Дворце спорта.

За два последних года во Франции были проданы 925 тысяч видеомагнитофонов. Любопытно, замечает «Позитиф», что спрос на порнофильмы (которые на кассетах пользовались поначалу большим спросом) упал до 3%, общего спроса. Музыкальные программы составляют 4%, французские легкие комедии — 27%, драматические комедии — 31%, детективы — 22%, фильмы ужасов — 5%, детские программы, в частности мультфильмы,— 8%.

Большинство кинокомпаний во Франции в настоящее время имеют свои «видеодепартаменты». То же самое относится к тем компаниям, которые занимаются музыкой (варьете, мюзик-холлы). Наконец, созданы «чистые» видеокассетные фирмы, которые занимаются созданием специальных программ или тиражированием уже когда-либо записанных на видеомагнитные пленки.

Любопытно, что стали выходить и специальные издания, освещающие проблемы и практику видео. Для профессиональных кругов издается «Видео-про», информационным изданием является «Видео-7». Кроме того, имеются такие публикации, как «Видео-интернасьональ» и «Теле-сине-видео» и, наконец, «Видео-ньюс», предназначенный для кинолюбителей.

Распространение видеокассет идет по линии продажи (в специальных магазинах, магазинах грампластинок, магазинах телевизоров, в книжных лавках) и по линии проката.

Стоимость кассеты с фильмом пока еще достаточно высока, не говоря о видеомагнитофонах. И все ж их успех на рынке неоспорим. Правительство попыталось преградить приток японской продукции: все японские видеомагнитофоны должны теперь ввозиться через Пуатье, где их облагают большим налогом и тем механически сдерживают поступление в торговую сеть. В результате там оказались блокированы 200 тысяч аппаратов. Тем не менее в 1983 году было продано 700 тысяч изделий различных японских фирм.

Как отмечает журнал «Позитиф», кассеты заменили районные кинотеатры (практически прекратившие свое существование), которые посещались массовым зрителем, где билеты стоили 7—8 франков. Прокат кассеты сегодня обходится не на много дороже. В распоряжении видеопрокатчиков огромный каталог, в котором весь Чаплин, многие старые французские фильмы, музыкальные американские картины с Фредом Астером, большое число лучших произведений советской киноклассики (начиная с «Броненосца «Потемкина»).

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ

Под покровительством министерства культуры Франции в Центре Помпиду была проведена культурная программа, посвященная духовной жизни Чили. «Это важное событие,— отмечает обозреватель «Юманите диманш»,— призвано было символизировать неослабевающее стремление художников к свободе в стране, вот уже десять лет переживающей ужасы военной диктатуры».

Центральным событием программы была выставка живописных произведений из музея Сальвадора Альенде, основанного в Сантьяго в эпоху демократии и уничтоженного впоследствии Пиночетом. Для этого возрожденного в эмиграции музея, ставшего символом художественной и политической свободы, художники из многих стран мира специально создают и посвящают свои работы. В настоящее время музей не имеет собственного здания и существует как бы условно, так как принадлежащие ему произведения экспонируются на многочисленных передвижных выставках. Недавняя демонстрация картин в Париже «приехала» из Клермон-Феррана и отправится затем в Анвер. Размещение выставки в одном из небольших залов Центра Помпиду сопровождалось множеством разнообразных культурных мероприятий, отразивших современное состояние чилийской культуры. Устные журналы предлагали обсудить проблему прав человека при нынешнем режиме, театральные и поэтические вечера представили монтаж документов, диапозитивов,

Известная советскому зрителю актриса Анни Жирардо играет сейчас в «Театре Монпарнас»: читает, поет, даже исполняет цирковые номера. Критик Мишель Курио пишет в газете «Монд»: «Работе Анни Жирардо присуща редкая строгость выразительных средств и искренность. Она часто спасает банальные произведения, не обладающие никакими художественными достоинствами, она умеет вдохнуть жизнь в любой текст... Но,— пишет Курио,— невольно становится грустно, когда видишь эту большую актрису, растрачивающую свои силы в варьете, в то время как она должна бы играть в лучших театрах страны». На снимке: Анни Жирардо.

(Газета «Монд»)

кинофильмов, музыкальных произведений, созданных чилийскими деятелями культуры в ссылке.

Особым успехом пользовалось театрализованное представление на площади перед Центром Помпиду на фоне специально для этого случая созданной монументальной росписи, а также демонстрация ковров и гобеленов, вышитых в Чили семьями политических заключенных.

ФРГ

ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ УЛЬРИХА ФОГТМАНА

Несколько лет назад Дитер Веллерсхоф в одном из интервью заявил о своем намерении «написать роман из жизни делового мира». «Деньги, как универсальный механизм, который в нашем обществе все приводит в движение, — тема первостепенного значения, — сказал тогда он.— Можно лишь удивляться, что она почти не отражена в современной западногерманской литературе».

В новом его романе «Победитель получает все», выпущенном недавно кёльнским издательством «Кипенхойер унд Вич», речь идет о фабрике молочных продуктов в провинциальном городке Зигбурге, о супермаркетах и банковских кредитах, о мире предпринимателей и финансистов. Перед читателем проходит «история человека, который начинает с нуля, женится на дочери рейнского промышленника, гонится за большими деньгами, но находит свою смерть»,— пишет в журнале «Шпигель» критик Рольф Беккер.

Со смерти героя и начинается роман. В номере опустевшего отеля лежит мертвое тело. Это умерший от инфаркта Ульрих Фогтман, «дипломированный коммерсант». «Так обычно начинаются криминальные истории, — замечает рецензент газеты «Франкфуртер альгемайне» Йохен Хибер.— У трупа стоит полицейский комиссар и ищет разгадку смерти». Но Веллерсхоф написал не криминальный роман. В смерти героя нет ничего таинственного. Чтобы понять причины, погубившие Фогтмана, надо рассказать историю всей его жизни.

Когда тело выносят из номера, из-под простыни высовываются ступни с уродливо искривленными пальцами. Это красноречивая деталь: вскоре автор объяснит, что выросший в бедной семье Фогтман долго вынужден был носить слишком тесную обувь. В студенческие годы он оставался робким, неуверенным в себе. А деньгами первоначально заинтересовался не столько из корысти, сколько из интеллектуального любопытства: как некоей «мифической материей», «мировой тайной». Благодаря женитьбе ему удается начать карьеру на фабрике своего тестя. Жену он не любит, но надеется, что дальнейшее возвышение и богатство обеспечат ему свободу.

Фогтману кажется, что это желанное богатство уже близко, когда появляется возможность выгодно приобрести группу супермаркетов. Никакие моральные соображения его не останавливают. Он усвоил истину: победитель получает все.

Однако Дитер Веллерсхоф, автор интересных исследований о «тривиальной литературе», хорошо помнит и вторую часть этой расхожей мудрости: проигравший погибает. Хитрый мюнхенский делец Оттер обманывает заравшегося провинциала. Исчезает неверная возлюбленная, с которой Ульрих связывал мечты о будущем. Жена заявляет о разводе. Фогтмана ждут долги, разорение — и в конце концов смерть.

«Это роман о погоне за деньгами и конкуренции, роман об экономической жизни Федеративной Республики, немецкий обществеиный роман»,— пишет в «Шпигеле» Рольф Беккер, называя книгу самым значительным произведением Веллерсхофа.

ХАННА ХИОБ — ДОЧЬ БРЕХТА

Известной актрисе Ханне Хиоб, старшей дочери Бертольта Брехта, исполнилось 60 лет. Из них почти 40 — на сцене. Западногерманский журнал «Театер хойте» уделяет большое внимание творчеству этой актрисы, подчеркивая, что Ханна Хиоб — настоящая дочь своего отца, продолжающая традиции его театра, политического в своей основе.

В начале актерского пути Ханна Хиоб играла Леонтину в «Бобровой шубе» Гауптмана, Лену в комедии Бюхнера «Леонс и Лена», не была оставлена ею без внимания и русская драматургия: в 1956 году в Цюрихском драматическом театре Ханна Хиоб сыграла Лизоньку в неоконченной драме Л. Толстого «И свет во тьме светит». Потом были сыграны роли Йермы и доньи Роситы в пьесе Ф. Гарсиа Лорки, брехтовские героини: Иоанна («Святая Иоанна скотобоен»), Катрин из «Мамаши Кураж», Тереса (1974 год, в телефильме «Винтовки Тересы Каррар»). Вместе с ней в этом телефильме играла крупная немецкая актриса, ее близкая подруга Тереза Гизе, дружба с которой оказала большое влияние на творческое развитие Ханны Хиоб. В последние годы жизни Тереза Гизе, уже оставившая сцену, выступала с чтением стихов Брехта.

После смерти Терезы Гизе (1975) Ханна Хиоб приняла эстафету своего друга, актрисы, художественным слово-

На снимке: Ханна Хиоб в роли Тересы в телефильме «Винтовки Тересы Каррар».

(Журнал «Театер хойте»)

вом вставшей на защиту демократических идеалов. В мае 1979 года передовые слои ФРГ волновали предстоящие выборы нового президента. И Ханна Хиоб, протестуя против кандидата партии ХДС Карстенса, вместе с несколькими актерами организовала театральную «Анахроничную процессию «79» и отправилась по дорогам страны. Консервативная рейнская газета высказалась по поводу представления уличного театра: «Это слишком однозначно!» «А разве Брехта можно понимать двояко?» — улыбнулась Ханна Хиоб, прочтя это высказывание. Но этим представлением уличный театр Ханны не ограничился. В начале марта 1983 года она с тремя музыкантами снова пустилась в путь — на этот раз они показывали новую брехтовскую программу, специально подготовленную к очередным выборам в бундестаг, «Росток еще плодоносит».

Ханна Хиоб, дочь Бертольта Брехта, делает все, чтобы поэзия ее отца продолжала быть действенной.

ШВЕЦИЯ

«ГОРОД СВЕТА»

Недавно в издательстве «Боньерс» вышел новый роман известной шведской писательницы, члена шведской Академии Черстин Экман. «Город света» — четвертая, заключительная, часть серии романов, задуманных как история одного шведского городка с конца прошлого века до наших дней «с женской точки зрения». Первая книга серии, «Ведьминские кольца», вы-

шла в 1974 году, вторая, «Весенний источник»,— в 1976 и третья, «Ангельский дом»,— в 1979.

Хотя у «Города света» есть много общего с предыдущими книгами тетралогии, этот роман, по мнению рецензентов, вполне можно рассматривать как самостоятельное произведение. Сама Черстин Экман считает, что «Город света» — главная книга серии, на написание которой ее вдохновили дебаты 70-х годов о роли женщины в современном обществе.

Повествование в романе, в отличие от первых трех книг, ведется от первого лица, от лица его главной героини Анн-Мари. Анн-Мари, женщина, которой уже за сорок, приезжает в свой родной городишко в начале 80-х годов, чтобы продать разваливающийся отцовский дом. Но вместо того, чтобы заниматься продажей, она поселяется в этом доме своего детства и погружается в воспоминания и размышления о своей жизни. Мотивы переосмысления прошлого, подведения итогов, пересмотра жизненной позиции становятся ведущими в романе.

Как отмечают рецензенты, писательнице очень удался образ главной героини, Анн-Мари, женщины, носящей в себе целый мир, существа сильного и одновременно слабого, человека, пережившего глубокий нравственный кризис и все же нашедшего в себе силы начать жить сначала.

Но ценность романа заключается не только в создании «женского портрета» наших дней. В произведении, проникнутом симпатией к простым людям труда, затрагивается целый ряд важных тем: отчужденность людей в современном буржуазном обществе, нравственные поиски, возможность альтернативы той жизни, которой живет сегодняшняя Швеция.

Эта книга, пишет рецензент газеты «Афтонбладет»,— «попытка конкретизировать и обсудить наше отношение к истории и современности... Я думаю, что к ней будут не раз возвращаться, углубляться в нее и размышлять над ней».

«ДЕТИ В КАМНЕ»

38 лет назад на японские города Хиросиму и Нагасаки были сброшены атомные бомбы, унесшие сотни тысяч жизней. На сегодняшний день в Японии 370 000 человек официально зарегистрированы как жертвы атомной катастрофы. Эти факты хорошо известны любому школьнику.

Но напоминать об этом, «звать живых» нужно неустанно, считает шведская писательница и художница, прогрессивный общественный деятель Анн-Маргрет Дальквист-Юнгберг, посвятившая свою жизнь и свое творчество борьбе за мир. Именно по ее инициативе недавно в Гётеборге была организована выставка об атомном оружии, получившая широкий резонанс по всей стране.

Весной 1982 года писательница совершила поездку в Хиросиму и Нагасаки. Там она встречалась с людьми, пережившими атомную катастрофу, жертвами второго и третьего поколений, посещала больницы для пострадавших.

Дальквист-Юнгберг пережила настоящее потрясение. Свои впечатления она отразила в книге «Дети в камне», вышедшей недавно в издательстве «Норстедтс».

Трудно определить жанр этой обличительной книги: стихи (они составляют большую часть) перемежаются с художественной прозой и публицистикой. Книга иллюстрирована фотографиями, говорящими на своем скупом языке страшную правду о последствиях использования атомного оружия.

Но основная ценность книги заключается в стихах, содержащих большой эмоциональный заряд. Они рисуют ужасающую картину возможного будущего человечества, находящегося под угрозой ядерной войны.

Книга призывает к активному коллективному действию против массового уничтожения всего живого и поэтому, по мнению рецензента коммунистической газеты «Ню даг», является бесценным вкладом в дело борьбы за мир.

ШВЕЙЦАРИЯ

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН

Активизация женского движения в Швейцарии породила целую серию книг, написанных женщинами специально «для женщин», сообщает в еженедельнике «Вельтвохе» критик Клара Обермюллер. Издатели, почувствовав спрос, стали выпускать специальные так называемые «женские книги».

«Наверное, есть женщины, которые не читают ничего, кроме «женских книг»,— размышляет над этим явлением критик. — Мне лично само это обозначение претит, и серий вроде «Новая женщина» я не люблю. Возможно, существование таких серий для начала облегчает возможность писательницам войти в литературу. Но я думаю, — продолжает она,— женщины должны остерегаться соблазна писать «женские книги». Они могут писать хорошо или плохо, но особого отношения к себе вовсе не требуют».

В качестве примера книг, которые «заслуживают уважения не только с литературной, но и с общественной точки зрения», автор рассматривает работы Франциски Грайзинг, Верены Висс и Марии Бойтер. «Новые книги о женщинах — не только для женщин» — так озаглавила она свой обзор.

Франциска Грайзинг взяла сюжет своего романа «Комнатная тишь» из газет. Это история молодой женщины, которая чувствует себя всем чужой. Едва ли не больше всех она боится собственных родителей: отца, который когда-то изнасиловал ее, и мать, которая сама произвела на свет внебрачного ребенка, но с тех пор преследует ненавистью и презрением каждую «согрешившую» женщину. Поэтому, забеременев, девушка скрывает это до последней минуты. Родив ребенка, она, в «комнатной тиши», она душит его, когда он издает первый крик, боясь, что его услышат и отнимут у нее первое человеческое существо, которое ей принадлежит.

Можно ли винить в этом ужасном преступлении одну только мать? Нет, отвечает автор, условия жизни, злоба окружающих довели несчастную женщину до состояния, когда она уже не отдает отчета в собственных действиях.

«За камерным названием книги Франциски Грайзинг — история насилия, — пишет Клара Обермюллер,— в том числе и насилия тихого, не видного со стороны».

О насилии рассказывает и Верена Висс в романе «Медленное бегство». Писательница, изучавшая историю и право, нашла материал для своего первого романа в зале суда. Слушалось дело мужа, убившего жену. Но подсудимый сам объявил себя жертвой. По его словам, женщина спровоцировала убийство своим поведением.

Сама погибшая уже ничего не может сказать в свою защиту. Единственный ее адвокат — автор. Писательница заново анализирует случившееся и показывает, «на какую стену непонимания наталкивается женщина», которая не желает терпеть лицемерия, навязанного ей в браке, «нарушает правила игры и пробует идти своим путем».

Женщины не желают быть просто жертвами, они ищут способы борьбы, пусть иногда и гротескные, как в романе Майи Бойтер «Словесная ловушка». Это тоже история распада семейных отношений. Для героини брак давно уже стал невыносим, но муж, психиатр, занятый только своими делами, ничего не желает замечать. Для него важно, чтоб внешне все было в порядке. И тогда женщина решается на необычный шаг: она записывается на сеанс психотерапии к собственному мужу. А чтобы он ее не узнал, говорит с легким иностранным акцентом и ставит условием, что беседа будет проходить в двух разных комнатах, через открытую дверь, но так, чтобы друг друга не видеть. Муж попадается в ловушку и выслушивает

правду о собственной семейной жизни.

Критик сомневается в правдоподобии такой ситуации, но сам замысел кажется ей не менее симптоматичным, как и взятые из жизни сюжеты Верены Висс и Франциски Грайзинг. «Женщины подают свои голоса, они не жалуются. Они пробуют защищаться... В книгах о женских судьбах все более ощущается стремление бороться за свои права».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«КОНЕЦ СВЕТА» ИЛИ НАЧАЛО НОВОГО ВЕКА?

Новый роман заслуженного писателя ЧССР Ладислава Фукса «Герцогиня и кухарка» («Чехословенски списовател», 1983) привлек к себе пристальное внимание как читателей, так и критики и вызвал немало споров. И это неудивительно: актуальность проблематики — обращение автора к глубинным историческим переменам в судьбах человечества, — эмоциональная напряженность повествования, многообразие и сложность изобразительных средств заставляют думать и спорить.

В романе представлена жизнь аристократической верхушки австрийского (даже шире — европейского) общества конца XIX века. Зачастую в гротескных фигурах и ситуациях, в сложном сплетении реальных бытовых деталей и символов (иногда сложных и многозначных, иногда же нарочито комически сниженных) писатель воссоздал атмосферу тревоги, страха, предчувствия приближающегося «конца света», характеризующую умонастроение цвета венской аристократии (космополитичной по своей национальной принадлежности) на переломе столетия.

Своеобразным провозвестником близящихся катастроф выступает в романе молодая обаятельная герцогиня София, наследница колоссального состояния. Умная и насмешливая, вдумчивый наблюдатель и недюжинный психолог, она острее и отчетливее других ощущает надвигающиеся социальные сдвиги. Символичен в этом отношении и ее литературный труд — драма о гибели античного Рима. В нее она вложила свои раздумья о неизбежности движения истории.

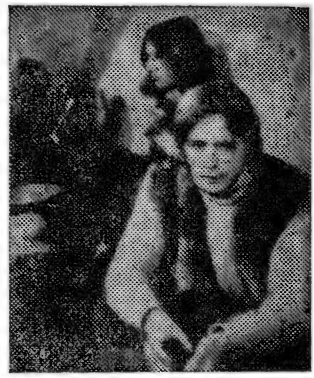
Чешская критика отмечает историческую значимость романа. Запечатлев в романе облик благоденствующей буржуазно - аристократической верхушки европейского общества и противопоставив ее бедствующим народным «низам», автор раскрыл тем самым в художественно убедительной форме неотвратимость грядущих социальных взрывов. Критика обращает внимание и на своеобразную перекличку проблематики романа с проблемами, стоящими перед человечеством в наши дни, когда на пороге нового века люди с тревогой и надеждой смотрят в будущее, которое может принести или гибель в результате атомной катастрофы, или победу разума и прогресса.

Газета «Руде право» выделяет оптимистический настрой романа, поскольку автор ясно дает понять читателю, что надвигающиеся исторические перемены, ощущаемые верхушкой буржуазного общества как «конец света», на самом деле открывают собой новый этап исторического развития. «Руде право» отмечает также мастерство Фукса-рассказчика, увлекающего читателей как глубиной поставленных проблем, так и своеобразием изобразительных средств, помогающих писателю убедительно и впечатляюще создать представление о духовной жизни социальной верхушки капиталистического общества «конца века».

Новым романом, пишет газета, Ладислав Фукс утвердил свое место «одного из самых значительных прозаиков современной чешской литературы».

«ПОДСНЕЖНИКИ И СПЕЦЫ»

Так называется новая лента чешского режиссера Карела Смычека. Два его предыдущих фильма («Только присвистнуть» и «Как зайцы») с большим успехом демонстрировались на экранах Чехословакии. Неудивителен



На снимке: кадр из фильма Карела Смычека «Подснежники и спецы».

(Журнал «Филм а дивадло»)

поэтому интерес, проявленный критикой и публикой к последней работе режиссера.

В фильме «Подснежники и спецы» (авторы сценария Р. Ион и П. Пелант) К. Смычек вновь обращается к молодежной тематике: герои киноленты — ученики гимназии, одноклассники, приехавшие в горы кататься на лыжах. Поездка, самостоятельная жизнь в горном приюте, необычная обстановка — все это выявляет в школьниках, в их отношении друг к другу и к учителям нечто новое, делаются открытия — не всегда приятные, но заставляющие ребят задуматься и присмотреться к самим себе.

Легкие, ироничные реплики, которыми перебрасываются герои фильма, прекрасно «услышанные» молодежные диалоги, веселые приключения и смешные ситуации — все это лежит на поверхности, это — не основное. В фильме сквозит тревога: не предаем ли мы забвению какие-то основополагающие моральные ценности, считая их лишними в наш стремительный век? Да и надо ли спешить? Может быть, давайте остановимся и помолчим? Еще не поздно, еще не отцвели подснежники.

Все рецензенты особо отмечают прекрасную работу К. Смычека с молодыми актерами — А. Духославом, В. Коткой, Е. Яничковой.

◆

Авторы этого номера

УМБЕРТО КОСТАНТИНИ — HUMBERTO COSTANTINI (род. в 1924 г.)

Аргентинский писатель — поэт и прозаик. Автор многих сборников рассказов и повестей, в том числе «Только здесь» («De por aquí nomás», 1958), «Некий сеньор — высокий, блондин, с усами» («Un señor alto, rubio, de bigotes», 1963), «Старая история путников» («Una vieja historia de caminantes», 1967), «Расскажите мне о Фунесе» («Háblenme de Funes», 1967), «Бандео» («Bandeo», 1975), книг стихов, пьес.
Лауреат ряда аргентинских и мексиканских литературных премий; в 1976 году эмигрировал из Аргентины в Мексику. Роман «О богах, человечках и полицейских» («De dioses, hombrecitos y policías», 1979), отмеченный латиноамериканской премией «Каса де лас Америкас», печатается в журнальном варианте по изданию Editorial Nueva Imagen, S. A., México, 1979.

МАКСИМОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ (род. в 1944 г.)

Советский переводчик латиноамериканской поэзии и прозы. В его переводе опубликованы книга стихов аргентинского поэта А. Техады Гомеса, стихи кубинского поэта Н. Гильена, стихи сальвадорских поэтов, рассказы кубинских писателей.

ЛИЛИАН ВУТЕРС — LILIANE WOUTERS

Бельгийская поэтесса. Автор книг стихов «Форсированный марш» («La Marche Forcée». Bruxelles, 1954), «Сухое дерево» («Le Bois sec», Paris, 1960), «Мороз» («Le Gel», Paris, 1966).
Публикуемые стихотворения взяты из первых двух сборников.

В подборке рассказов монгольских писателей представлены:

ДОНДОГИЙН ЦЭВЭГМИД (род. в 1915 г.)

Поэт, прозаик, ученый, член-корреспондент АН МНР, государственный и общественный деятель. Автор повестей «Чабан Найдан» (Хоньчин Найдан), «Болд и Самбуу» (Болд Самбуу хоёр), «Ученик Ганбат» (Сурагч Ганбат) и др.; поэтических произведений «Герой Олзвой» (Олзвой баатар), «На могиле» (Булшин дээр), переведенных на русский язык. Известен и как исследователь творчества А. П. Чехова. Рассказы Д. Цэвэгмида печатались в советских журналах и антологиях.
Рассказы «Крик улара» и «Гнездо ягнятника» взяты из книги «Избранное» («Зохиолууд», Улаанбаатар, 1974).

СЭНГИЙН ЭРДЭНЭ (род. в 1929 г.)

Прозаик и поэт. Лауреат Государственной премии МНР. На русский язык переведены его повести «Жители реки Салхит», «Год синей мыши» («ИЛ», 1974, № 11), «Жена охотника», сборник рассказов «Чистый источник», сборник рассказов и повестей «Солнечный журавль», «Избранное» (М., 1982). Рассказы печатались в советских журналах, в том числе в «ИЛ» (1978, № 3; 1979, № 11), в сборниках и антологиях.
Рассказы «Красная смородина» и «Перевал» взяты из книги «Солнечный журавль» («Наран тогоруу», Улаанбаатар, 1979).

ДЭМБЭЭГИЙН МЯГМАР (род. в 1933 г.)

Прозаик, поэт, драматург. Печатается с 1949 г. Автор повестей «Земля и я» (Газар бид хоёр), «Мельник» (Тээрэмчин), «Дочь мельника» (Тээрэмчны охин) и др., книг стихов, пьес.
Д. Мягмар — лауреат премии им. Нацагдоржа и Союза монгольских писателей.
В русском переводе вышли «Повести и рассказы», «Избранное», стихи и рассказы печатались в журналах и антологиях.
Рассказ «Человек-облако» был напечатан в книге «Художественное слово» («Уран үгсийн уулган», Улаанбаатар, 1978).

НАНЗАДЫН НАДМИД (род. в 1925 г.)

Прозаик и драматург. Начал печататься с 1950 г. Автор повестей, сборников рассказов, романа «Избавление». Наиболее популярны его рассказы о Сухэ-Баторе.
В русском переводе издана документальная повесть «Сухэ-Батор», рассказы печатались в журналах и сборниках.
Рассказ «Таежные гости» взят из книги «Избранные рассказы» («Монголын шилдаг уулэг», Улаанбаатар, 1981).

Публикуемые рассказы войдут в двухтомник «Рассказы монгольских писателей» в серии «Библиотека монгольской литературы», который готовит к печати издательство «Художественная литература».

БХИШАМ САХНИ (род. в 1915 г.)

Индийский писатель, пишет на языке хинди. Лауреат Международной литературной премии «Лотос». Автор многочисленных рассказов, Б. Сахни известен также как романист и драматург. За роман «Тьма» он был удостоен премии Литературной академии Индии (1975).
В его переводе на хинди вышли роман Л. Толстого «Воскресение», повесть Ч. Айтматова «Первый учитель» и др. На русский язык переведены повести Б. Сахни «Гнев всевышнего», «Окна отчего дома», многие рассказы.
Предлагаемые рассказы были напечатаны в сборниках «Ван Чу» и «Рельсы» (Дели, «Раджкамал пракашан», 1978, 1982), рассказ «Дядюшка Мангалсен» — в журнале «Саптахик хиндустан» (1982).

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС — JORGE LUIS BORGES (род. в 1899 г.)

Аргентинский поэт и прозаик. Автор двенадцати стихотворных сборников, книг

рассказов «Вымышленные истории» («Ficciones», 1944), «Алеф» («El Aleph», 1949), «Сообщение Броуди» («El Informe de Brodie», 1970), «Книга песка» («El libro de arena», 1975) и др., сборников эссе.

В русском переводе стихи и проза Борхеса публиковались в книгах «Поэзия Латинской Америки» (М., 1975), «Аргентинские рассказы» (М., 1981); «Из современной аргентинской поэзии» (М., 1982). В «Библиотеке журнала «Иностранная литература» готовится к печати сборник рассказов Х. Л. Борхеса.

Предлагаемые стихотворения взяты из сборников «Лихорадка Буэнос-Айреса» («Fervor de Buenos Aires», 1923), «Творец» («El hacedor», 1960), «Другой, все тот же» («El otro, el mismo», 1964), «Хвала тьме» («Elogio de la sombra», 1969), «Золото тигров» («El oro de los tigres», 1972).

ДУЕЙН БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1946 г.)

Советский поэт-переводчик. В его переводе с испанского публиковались стихи А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Р. Альберти, с португальского — Ф. Пессоа и др.

ЗЛОБИН ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ (род. в 1927 г.)

Советский литературный критик, переводчик.

Пишет о проблемах зарубежной литературы, в частности литературы США.

АНДРЕ БРИНК (род. в 1935 г.)

Южноафриканский писатель, пишет на африкаанс и на английском языке. Автор романов «Глядя в черноту» (1973), «Миг на ветру» (1976) и др.

В русском переводе вышли романы А. Бринка «Слухи о дожде» и «Сухой белый сезон» (М., «Прогресс», 1981).

Статья «На разные голоса» получена в рукописи.

СИТАНЧУ ЯШАСЧАНДРА МЕХТА (род. в 1941 г.)

Индийский поэт, критик, литературовед. Пишет на английском и гуджератском языках по проблемам эстетики и сравнительного литературоведения. Автор сборников стихов «Дворец Одиссея» (1975), «Мохенджо-Даро» (1976) и др., книги статей «В пределах и за пределами» (1977).

Публикуемая статья получена в рукописи.

ПЕТРИКОВСКАЯ АЛЛА САВЕЛЬЕВНА

Советский литературовед и критик, кандидат филологических наук. Автор книг и статей по литературе и культуре Австралии, Новой Зеландии и развивающихся стран Океании.

МЯЛО КСЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА

Советский историк, кандидат исторических наук. Специалист по новейшей истории Запада.

ДАВИД АЛЬФАРО СИКЕЙРОС — DAVID ALFARO SIQUEIROS (1898—1974)

Мексиканский живописец и график, один из основателей мексиканской школы монументальной живописи, общественный деятель. Лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», почетный член Академии художеств СССР.

В этом и следующем номерах мы публикуем фрагменты из книги воспоминаний Д. А. Сикейроса «Меня называли лихим полковником» («Me llamaban el Coronelazo», Editorial Grijalbo, S. A., México, 1977). В полном объеме книга выйдет в издательстве «Политическая литература».

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

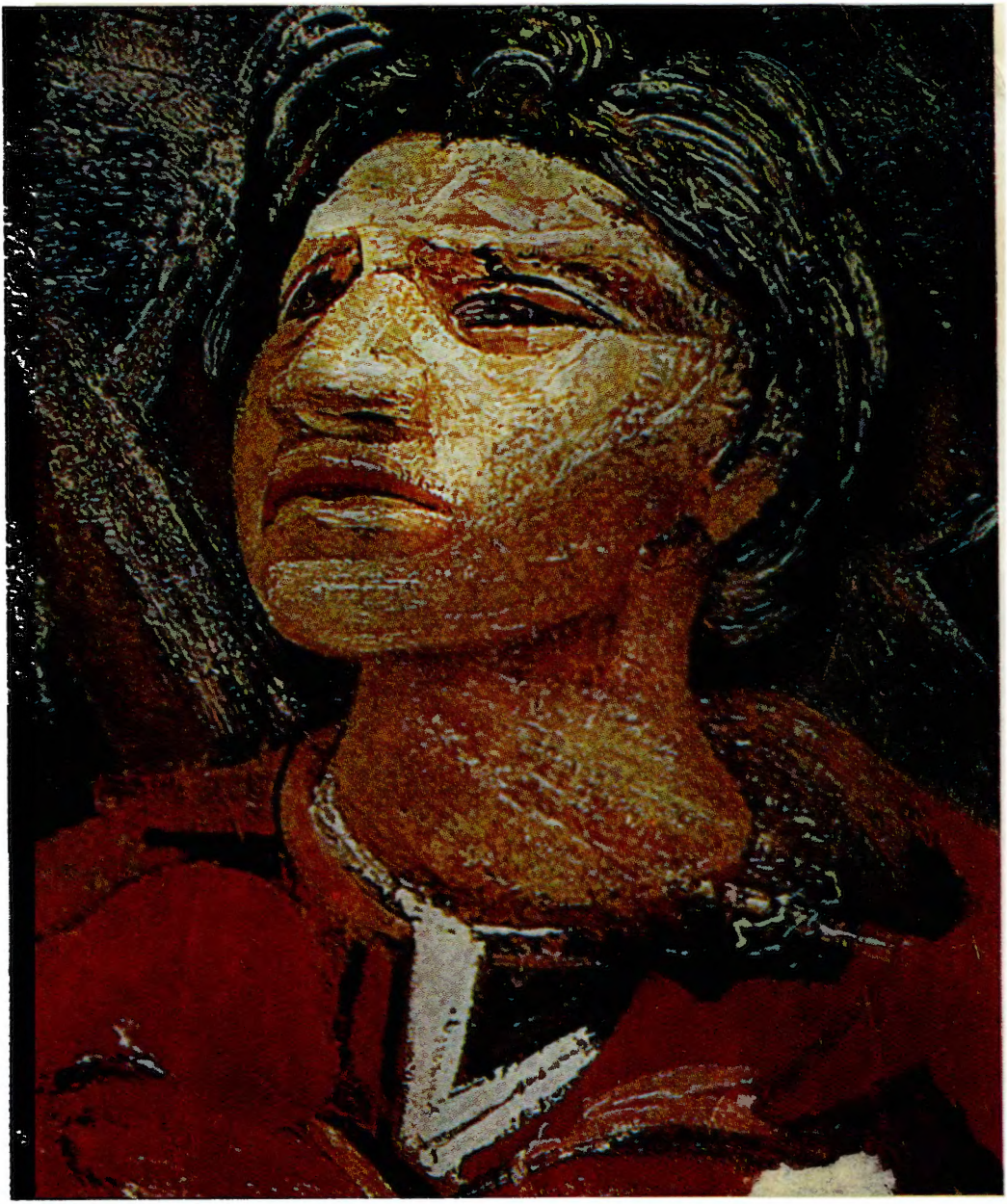
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 4.01.84. Подписано в печать 29.02.84 А03383. Формат 70×108 1/16. Печать высокая 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч. изд. л. 28,40.

Тираж 377 000 экз. Зак. 146.

Отпечатано с матриц ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. Н. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5. в типографии ордена Ленина комбината печати издательства «Радянська Україна», Киев 47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 0363.



Голова Куаутемока.

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394